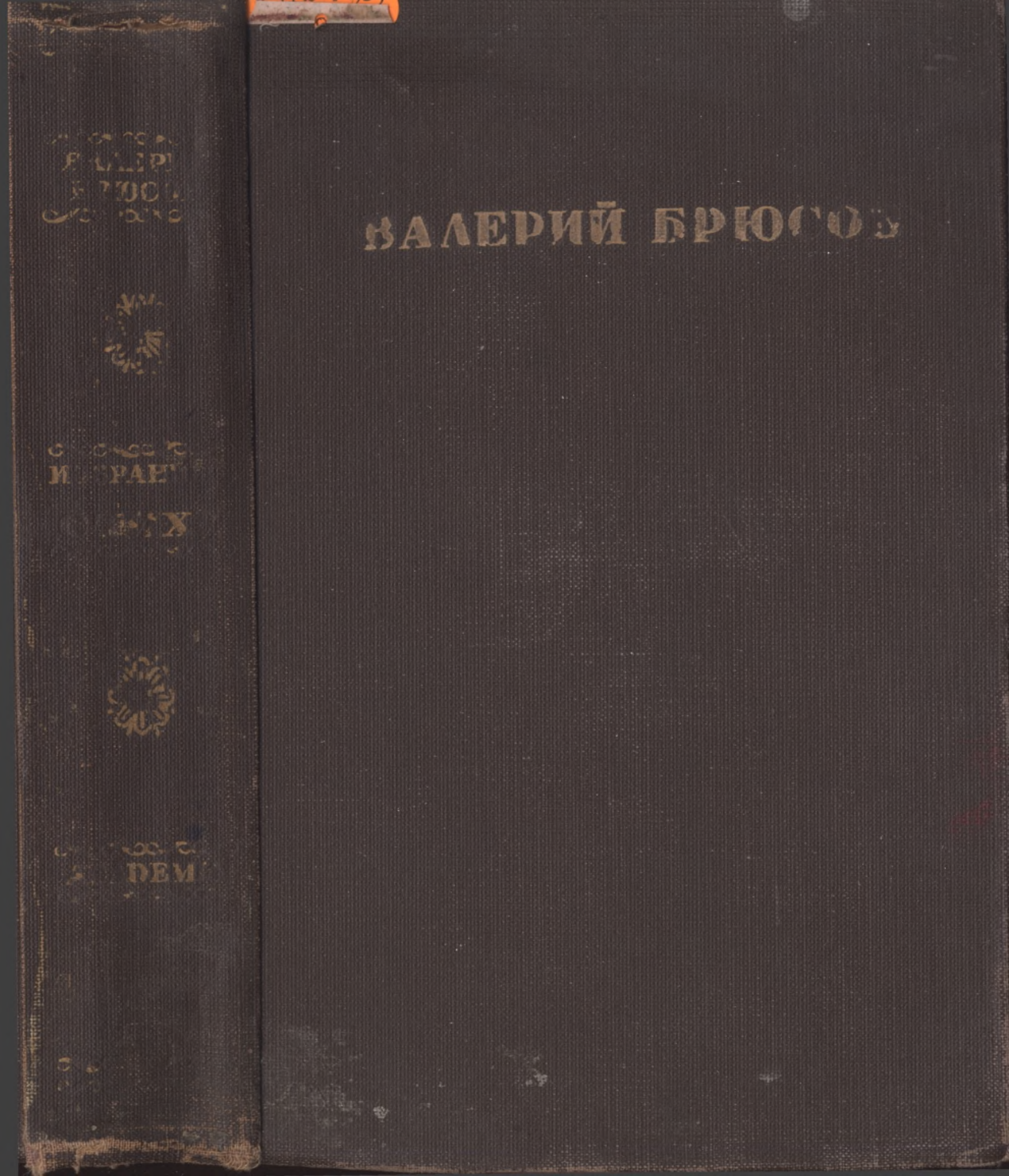
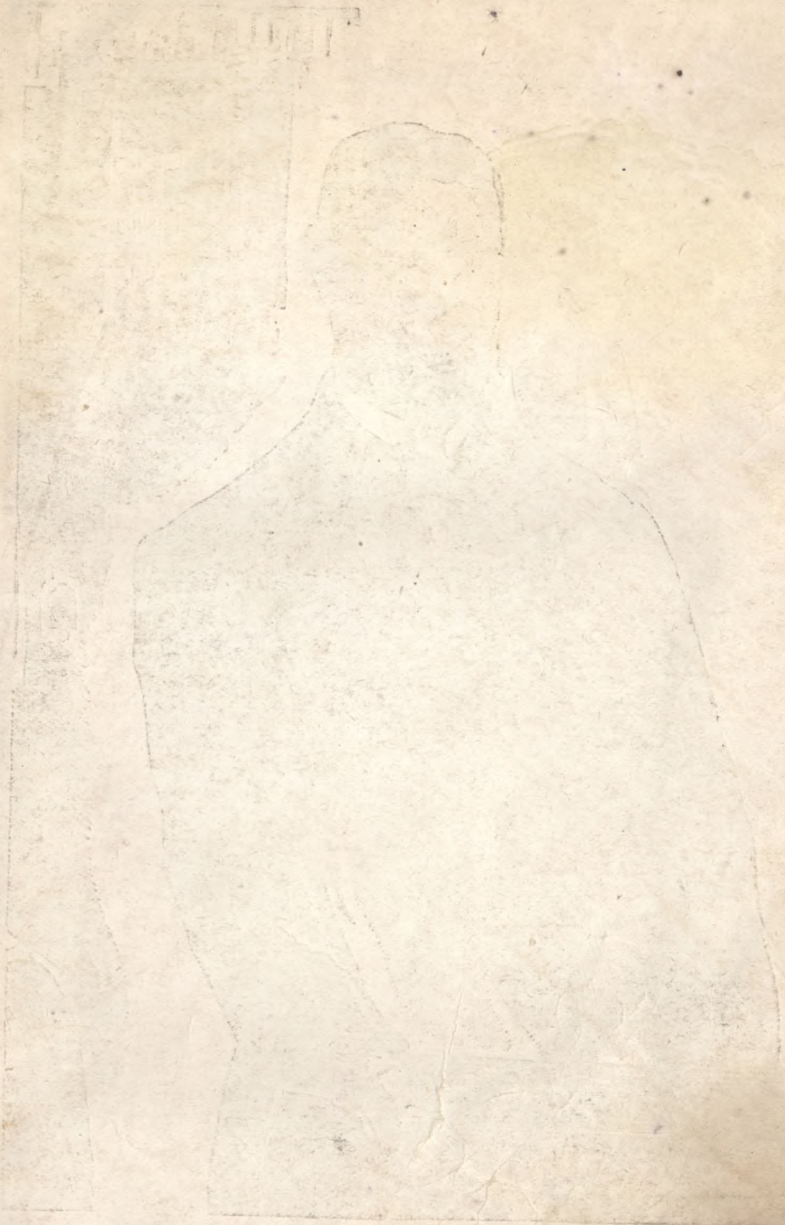
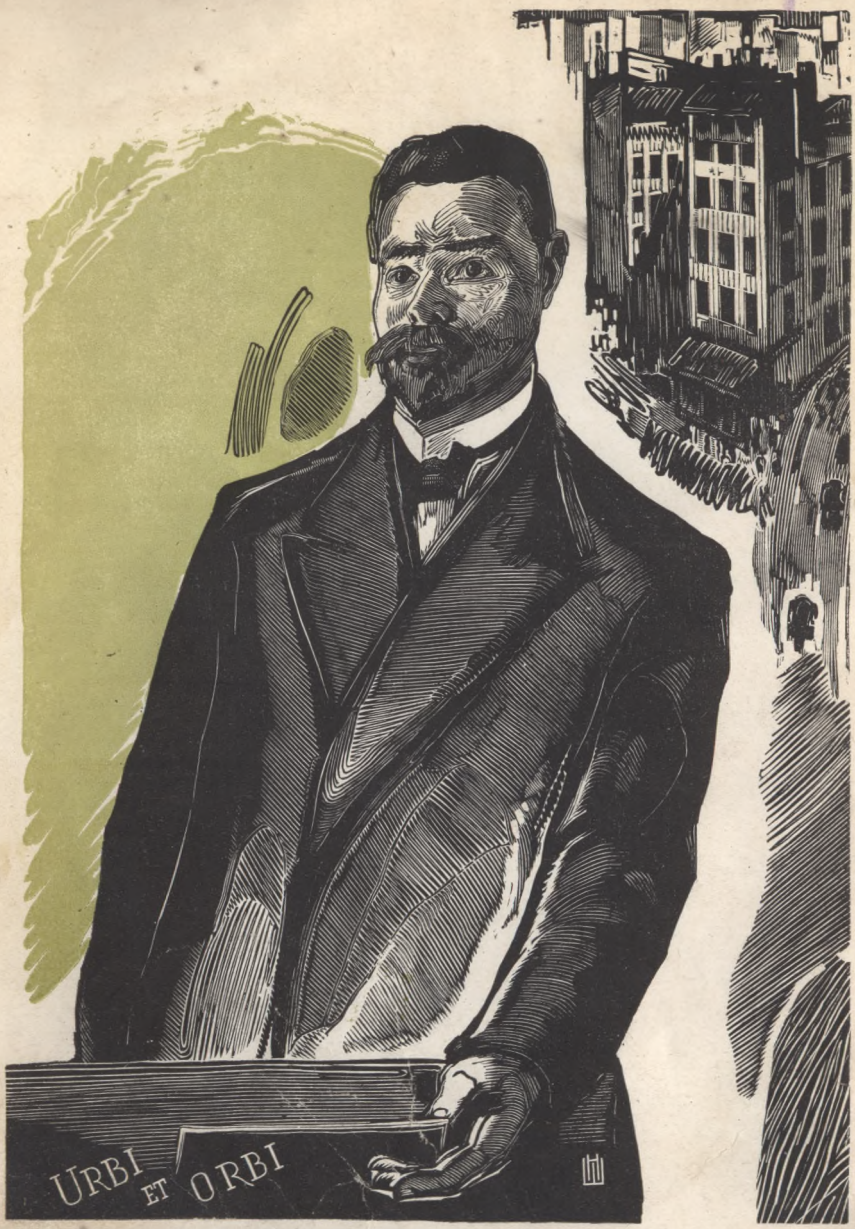

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ




URBI ET ORBI

Б-89

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

РЕДАКЦИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И КОММЕНТАРИИ
ИГОРЯ ПОСТУПАЛЬСКОГО

Материалы к биографии Валерия Брюсова
Иоанны Брюсовой

ПРОВЕРЕНО 1928 г.

ACADEMIA
1933

Супер-обложка и переплет по рисункам
Н. П. Феофилактова

2011
797632
Научная библиотека
БелГУ

ОТ РЕДАКТОРА

Предлагаемое собрание избранных стихов Валерия Брюсова своевременно не только потому, что уже делаются букинистической редкостью даже те книги поэта, которые были выпущены советскими издательствами; своевременным оно представляется прежде всего потому, что сейчас особенно чувствуется необходимость подведения некоторых итогов поэтической культуры прошлого. Творчество крупнейшего поэта, в поворотный момент истории решительно порвавшего с буржуазией и перешедшего в стан ее врагов, должно привлекать наше внимание.

Понятно, что первую свою задачу редактор видел в том, чтобы возможно яснее, при отборе брюсовских текстов, показать объективный смысл поэзии Брюсова, представить поэта носителем его подлинной, сложной идеологии.

Вторая серьезная задача была продиктована, в сущности, волей самого поэта, поскольку она выражена последним периодом его деятельности. Возникновение в брюсовском творчестве первых признаков научно-поэтической мысли, первоначальную обусловленность ее буржуазным становлением поэта,

далее борьбу противоречивых тенденций и первые большие победы на пути к новому миропониманию—все это редактор старался показать также тщательно.

Таким образом, при отборе стихов для этой антологии отклонялись преимущественно мировоззренчески нехарактерные произведения Брюсова; при высоком интеллектуализме поэта подобные произведения обычно являются и наименее интересными в собственно художественном отношении. В иных случаях, конечно, в книгу попадали и вещи не столь органические, но принципиально окрашенные (своеобразные замыслы или вещи, любопытные в плане экспериментальном). За пределами книги, по необходимости, оказались отдельные произведения, поместить которые не пришлось только ввиду их величины, либо оттого, что темы их неплохо варьировались в других стихах.

Типичную для Брюсова структуру его книг (всегда разбитых на отделы—циклы, снабженные эпиграфами, нумерацией стихотворений и пр.) необходимо будет сохранить в полном собрании сочинений поэта (оно, надо надеяться, не за горами). Но в предлагаемой антологии, чтобы избежать всевозможных провалов и пустот, которые были бы неизбежны при механическом сокращении циклов (и устранении некоторых из них), названия этих циклов сняты и в рамках каждой книги допущены некоторые (в общем незначительные) перестановки стихотворений.

Представлены в настоящем издании почти все книги стихов Брюсова, в том чередовании, в каком

они появлялись. Не исчерпаны только «Стихи Нелли» (слабейший сборник поэта) и «Опыты»— книга-учебник, составленная Брюсовым из произведений разных лет. Первыми изданиями печатаются в антологии «Девятая камена» и фрагменты «Снов человечества». Для отдела «Из посмертных стихов» использованы как выпущенные в 1928 г. «Неизданные стихи», так и архивный фонд. Шарады, шутки, экспромты и т. п. материалы в книгу не вошли.

В основу текстологической работы была положена последняя прижизненная публикация. Но были учтены и вполне законченные (имеющиеся в архиве) поправки Брюсова, сделанные им по печатному тексту для собрания сочинений, которое предполагало осуществить изд-во Гржебина. Кроме того, все стихи были сверены по рукописям.

Остается добавить, что в книге собраны лишь оригинальные (если не считать единичных, мотивированных в комментариях, исключений в отделе «Сны человечества») произведения поэта и что весь сопроводительный аппарат ее приведен в естественное соотношение со стихотворными текстами.

Игорь Поступальский

1932. Москва

ПОЭЗИЯ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА

ПОЭЗИЯ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА

ЛОЗЗНЯ ВАУЕБНЯ ЕВЮСОВА
АВОСОЮЗ КНЮЗЧАВ КНЄЄОЛ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вступлением Валерия Брюсова в литературу был первый выпуск «Русских символистов», появившийся в Москве в 1894 г. «Эта тетрадка имеет несомненные достоинства: она не отягощает читателя своими размерами и отчасти увеселяет своим содержанием»—так начал отзыв о «Русских символистах» Вл. Соловьев и затем заключил с полной резкостью: «Общего суждения о В. Брюсове нельзя произнести, не зная его возраста. Если ему не более 14 лет, то из него может выйти порядочный стихотворец, а может и ничего не выйти. Если же это человек взрослый, то, конечно, всякие литературные надежды неуместны». Брюсову в это время было около двадцати. Организовать новое литературное движение брался человек хотя и молодой, но уже в известной степени определившийся. Тем интереснее, что этот новоявленный вождь в предисловии к первому выпуску не желал отдавать особого предпочтения символизму, не считал его («как это делают увлекающиеся последователи») поэзией будущего, а просто находил raison d'être в существовании символизма, сводя смысл школы к уменью выражать «тонкие, едва уловимые настроения» и гипнотизировать читателя «рядом сопоставленных образов», но отнюдь не к «языку декадентов», не к их «необыкновенным тропам и фигурам, не составляющим необходимого элемента в символизме».

В сущности, предлагалась программа-минимум. Но, очевидно, был велик застой в тогдашней русской литературе, если первый и два последовавших выпуска «Русских символистов» рассмешили или рассердили критику до крайности, вынудили ее говорить о графоманах, сумасшедших, хулиганах. Иронизировал Соловьев, упражнялись безыменные рецензенты, негодовали критики-общественники (Михайловский, Богданович и др.). Помещичье «Новое время» писало, что «появление этой книжечки на ниве русской поэзии соответствует появлению пропитанных пачулей, полуразвалившихся бульвардье среди толпы наших парней и девушек...» Не эта ли «встреча в штыки» побудила вскоре Брюсова назвать свою собственную книгу «Шедеврами»? В русскую литературу вступил человек сильной воли, дневник которого тогда пестрел претенциозными записями, вроде такой: «Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное..... найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно, смешно ли, но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достаточного вождя. А этим вождем буду Я! Да, Я!»

Языков когда-то с гордостью говорил, что его стихи «живит не ложная свобода», что «в них нет заемной чепухи и перевода с перевода». Стихи Брюсова и его постепенно появившихся единомышленников (среди них больше было псевдонимов Брюсова) в «Русских символистах» могут быть, частично, охарактеризованы этими меткими словами: «заемная чепуха» и «перевод с перевода». Действительно, имевшиеся в «Русских символистах» в изрядном количестве переводы указывали на усвоение иностранной поэтической традиции. Малларме, Верлэн, Мэтерлинк, Рэмбо, Верхарн, Тайад— все это были имена одного ряда. Публикуя

Валерий Брюсов

Фото 1880 г.

Валерий Брюсов

Фото 1884 г.

в «Русских символистах» переводы из названных авторов, Брюсов и его присные самым определенным образом пытались ввести в русский литературный обиход новейшую французскую поэзию. Это не было однако личным делом московских символистов. Сам Брюсов впоследствии признавался, что знакомством с новыми французскими поэтами он был обязан появившейся в 1892 г. в «Вестнике Европы» статье З. Венгеровой «Поэты-символисты во Франции». Наметившийся в некоторых литературных кругах того времени интерес к новейшей французской поэзии выразился также в появлении русского перевода книги Нордау «Вырождение», затем в напечатании в общественно настроенном «Мире божьем» статьи английского критика о Маллармэ и находился в связи с определившейся литературной ситуацией, недовольством утилитаристскими воззрениями и практикой поэтов 60—70-х годов.

Линия гражданской лирики Некрасова и его учеников явно вырождалась в поэзии поздних народников и в расплывчатых «идеалах» подражателей «поэта сумерек»—Надсона. Молодые поэты постепенно переставали интересоваться политикой и живой современностью, отстранялись от злобы дня. Фофанов, Минский, Льдов, Мережковский, Гиппиус, Лохвицкая и др. составили первую фалангу русских лириков-модернистов. В 1893 г. Мережковский опубликовал книгу «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», где рассматривал предыдущее русской литературы с модернистской точки зрения и призывал современников к идеализму; годом раньше тот же автор выпустил сборник стихов под названием «Символы». Таким образом, московские начинания Брюсова оказывались только наиболее резким выражением идей, «носившихся в воздухе». Уместно обратиться к тем объективным условиям, которые повлияли на развитие символизма.

1806
35

В 1894 г., т. е. в год выхода первого выпуска «Русских символистов», появилась, в виде нелегального издания, работа неизвестного публициста—«Что такое «друзья народа» и как они воюют с социал-демократами». Автор ее никакого отношения к новоявленным символистам не имел, но для нынешнего историка литературы факт одновременного появления книги Ленина и брюсовских сборников—имеет свой смысл.

1891—1892 гг. открываются грандиозным голодом и первыми признаками организованного рабочего движения. Публицисту Шелгунову рабочие подносят адрес. Заметным явлением становятся массовые стачки. Обнаруживают свою несостоятельность мелкобуржуазные утопии народников, надежды на самобытное экономическое развитие страны и т. п. Начатый Михайловским поход против марксизма Ленин объяснял в первую очередь тем, что русский крестьянский социализм 70-х годов, мечтавший о крестьянской революции, «совершенно разложился и породил тот пошлый мещанский либерализм, который усматривает «бодрящие впечатления» в прогрессивных течениях крестьянского хозяйства, забывая, что они сопровождаются (и обусловливаются) массовой экспроприацией крестьянства». В противовес тезису народников, гласившему, что будущее принадлежит мужику, Ленин и другие русские марксисты утверждали, что в России человек будущего—пролетарий. Была в основе работы Ленина и другая мысль, по сегодня являющаяся для некоторых камнем преткновения. А именно: диалектик Ленин находил, как и его учителя Маркс и Энгельс, капиталистический путь—для данного исторического периода—прогрессивным. «...Социал-демократы считают прогрессивною работу нашего капитализма, когда он стягивает эти мелкие раздробленные рынки в один всероссийский рынок..... когда он обобществляет труд и повышает его производительность, когда он разрывает это

подчинение трудящегося местным кровопийцам и создает подчинение крупному *капиталу*. Это подчинение является прогрессивным по сравнению с тем..... потому что оно *будит мысль рабочего*, превращает глухое и неясное недовольство в сознательный протест, превращает раздробленный, мелкий, бессмысленный бунт в организованную классовую борьбу за освобождение всего трудящегося люда, борьбу, которая черпает свою силу из самых условий существования этого крупного капитализма и потому может безусловно рассчитывать на *верный успех*». Отсюда, по Ленину, и вытекала тактика социал-демократии, заключавшаяся в том, чтобы встать во главе всех революционно-демократических элементов в борьбе с русским абсолютизмом и, свалив абсолютизм, повести русский пролетариат, наряду с пролетариатом всех стран, «*прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции*».

Определив, с помощью приведенных положений Ленина, расстановку общественных сил в годы молодой деятельности Брюсова, определив эти годы как начало серьезных классовых сдвигов в России, мы должны положить ленинские тезисы в основу исследования о брюсовской поэзии. Нужно покончить как с пустым жонглированием расплывчатым термином «литературный революционер», неоднократно применявшимся к Брюсову, так и с утверждениями тех лиц, для которых Брюсов есть «сплошная реакция».

Годы вступления Брюсова в литературу были годами быстрого развития русского капитализма, наростания классовой борьбы, ликвидации народничества и усиления марксизма. В период, когда российская народническая интеллигенция, по словам Ленина, изо всех сил твердила о «неправильном» развитии России, а российская молодая буржуазия «слушала, да ела», литературная революция

могла исходить только из двух лагерей: либо из лагеря пролетарского (что в ту пору, в целом, было невозможно, хотя уже появились первые произведения Горького), либо же из лагеря агрессивной буржуазии, стремившейся к власти. Но в таком случае возникает вопрос: насколько же та поэзия, которую мы охарактеризовали как «перевод с перевода», а именно как сколок с французского символизма, соответствовала психологическим и идейным устремлениям передовой отечественной буржуазии?

Мы подошли к очень существенному пункту. Французский символизм конца прошлого века был явлением буржуазного упадка. Символизму во Франции предшествовали Парнас и «проклятый» поэт Рэмбо. Парнас, в основном, выражал протест мелкобуржуазной и буржуазной интеллигенции против той атмосферы «золотого тельца», которая царила во Франции в эпоху Второй империи. Существует неправильное представление о парнасцах, как, во-первых, о «бесстрастных» поэтах (глупая легенда!) и, во-вторых, сплошь реакционных, а потому ничем не любопытных для современного читателя. Мы должны однако понять всю противоречивость парнасской школы, в которую входили люди различных классовых ориентаций, но почти равно томившиеся в условиях своего времени. Среди парнасцев был Эредиа, потомок захватчиков Америки, сопротивлявшийся торгашескому духу времени в своей поэзии, где феодальная идеология так странно уживалась с активными буржуазными устремлениями; но среди тех же парнасцев были и поэты, не случайно принимавшие участие в революции 1848 г., например Лиль. И наоборот, ликвидаторами Парнаса позднее оказались поэты, примирившиеся с тогдашней действительностью (Коппэ, Мандэс). Парнас, поскольку он дан в поэзии его лучших представителей и в его лучшие времена, исторически ценен как выражение оппозиции пра-

вительству и политике Наполеона Маленького, императора-торгаша, с его куцой конституцией, помогавшей развитию промышленного капитализма. Позднее Парнас выродился, но в поэзии того же Лиля, антиклерикала, безбожника и автора многих чисто революционных поэм, образцы жестокой критики поэтом его скудного времени занимают не одну блестящую страницу. В 1870—1871 гг. Рэмбо в последний раз своеобразно выразил тот же общественный протест, представительствуя от самых низших слоев мелкобуржуазной интеллигенции; на развалинах империи и вскоре погибшей Коммуны прозвучали последние, уже во многом беспочвенные гимны старика Гюго, классика романтизма и учителя парнасцев,—и идейная кривая французской поэзии неудержимо пошла вниз. «Интернационал» Потье знаменовал новую эру. Поэзия господствующего класса, перед лицом решительных схваток пролетариата с буржуазией, на данном этапе естественно вырождалась в поэзию упадка, в декадентство; империалистический же подъем был еще впереди. Духовным вождем французской поэзии после 1871 г. фактически стал Маллармэ, этот по-своему гениальный представитель французского декадентства, гораздо больше Верлэна повлиявший на новых стихотворцев своей лирикой философского забытья и намеков, безумных «лебединых» порывов в неведомое, своими антиобщественными настроениями и извычурностью словесной вязи [1].

«Сборники «Русские символисты» явно шли под знаком Маллармэ. В них наблюдаются и сходная мистика, и замысловатая эротика, и мотивы смерти, и порывы высказать несказанное, причем все это, конечно, было по преимуществу подражаниями... А вместе с тем, мы видели, что организатор московского символизма в какой-то мере открещи-

[1] Для того чтобы наш читатель ясно осознал характер поэзии Маллармэ и маллармэистов, приведем здесь, без особых коммента-

вался от декадентства уже в своих предисловиях и, выбирая «путеводную звезду», заблаговременно думал, что эта звезда может оказаться и ложной... Каким же образом могла так нашуметь и после

риев, одно из основных стихотворений поэта—его «Окна» (Les Fenêtres),—впервые переведенное на русский язык М. В. Таловым:

В больнице злой томясь, где ладан вьется смрадный
К распятью грустному, с банальной белизной
Портьер взбираясь вверх, он, при смерти, злорадный,
К стене притулился сутулою спиной
И встал — не воскресить утраченные силы,
Взглянуть на солнце лишь средь крыш и кирпичей
И к окнам сединой прильнуть и костью хилой,
Спаленным золотом пылающих лучей;—
И лихорадочным, и синим ртом, волнуем,—
Так, кожи девственной прохладный ток струи
Когда-то рот глотал!—и долгим поцелуем
Он стекла теплые жег в горьком забытьи.
Он опьянел, забыв про страх соборований,
Докучную постель, лекарства и часы,
И кашель; вон закат горит на крышах зданий
И видит он: вдали, средь огневой красы,
Как стая лебедей средь водяной пустыни,
Галеры, золотясь на пурпуре реки,
Где молний блеск дробит волну зигзагом линий,
Плывут в небрежности, исполненной тоска.
Так, только аппетит свой зная, полон злобы
И человеку мстя, чья черствая душа
Отбросов ищет лишь с упрямством зверя, чтобы
Отдать их женщине, кормящей малыша,
Бегу, цепляясь за окна все, где блеклой
Проклятье жизни шлют, благословенный здесь,
Глядят в омытые росою вечной стекла
И девственной зарей овеянные, днесь,
Се, вижу ангелом себя! и умираю—
Искусство ль—то стекло, религия ль, мечта—
Я, возродясь, мечту, как диадему, к раю
Взношу старинному, где зреет Красота.
Увы, земная жизнь — тиран, ее явленья
Меня преследуют и в храмине, где Дурь
Своей блевотиной нечистой, дыхом тленья
Велит заткнуть мне нос и не глядеть в лазурь.
Возможно ли—о «Я», кто знает горечь муки!—
Разбить поруганный чудовищем кристалл
И полететь без крыл, имея только руки,
— В теченье вечности рискуя пасть в провал?

учную работу об Эгейе и Атлантиде, фактически намечена уже в «Шедеврах». Эти юношеские стихи Брюсова скорее напоминали мощные порывы к величию в созданиях Гюго, Лиля и Эредиа, чем поэзию декадентов, с их «мокрицами» и «ужами», ползающими по отдельным страницам «Шедевров».

«Шедевры» не принесли Брюсову ни понимания, ни признания. Поэт после опубликования этой книги оказался в разладе со своей средой—и с людьми непосредственно близкими, и с читателями, и тем более с критикой, в то время преимущественно дворянской или народнической. «Я был всенародно предан отлученью от литературы, и все журналы оказались для меня закрытыми на много лет, приблизительно на целый «люстр» (5 лет). Последнее обстоятельство, кстати сказать, я считаю весьма благоприятным для себя. Оно не только позволило, но и заставило меня работать вполне свободно: я не должен был приноравливаться ко вкусам редакторов» (автобиография Брюсова в «Русской литературе XX века»). Согласимся, что возможность не применяться ко вкусу редакторов в известной степени могла способствовать росту поэта; но следует сказать также, что книга «Me eum esse» («Это—я») как нельзя лучше подтвердила и правильность замечания Плеханова о том, что «склонность художников и людей, живо интересующихся художественным творчеством, к искусству для искусства возникает на почве безнадежного разлада их с окружающей их общественной средой».

«Это—я» открывалась знаменитым обращением «Юному поэту», которого Брюсов призывал жить настоящим, думать лишь о грядущем, никому не сочувствовать, любить беспредельно самого себя, поклоняться одному искусству. Тут же поэт провозглашал и о своем холоде, об уходе в неземной мечте («я чужд тревогам вселенной, отдавшись холодной мечте»). Упорно работая в этой

книге над усовершенствованием стихотворных форм, понемногу выростая из ученика французских декадентов в самостоятельного поэта, Брюсов почти на всех страницах «Это—я» выступал как индивидуалист и антиобщественник. «И, покинув людей, я ушел в тишину, как мечта одинок, я мечтами живу... Есть великое счастье—познав, утаить, одному любоваться на грезы свои». Уместно сопоставить эти плоды крайнего индивидуализма хотя бы со стихотворением «Свиваются бледные тени», помещенным в «Шедеврах». Там Брюсов тоже декадентствовал, писал о лестнице, качающейся над бездной, о последней ступени, на которой находятся «искатели смутного рая». Но тогда Брюсов употреблял местоимение «мы», а теперь он хочет писать только о себе и только для себя.

В этой наиболее «бесплотной», наиболее «безвещной» своей книге Брюсов, далее, повествовал об участи недоноска, живущего между небом и землей, экстатически уверял, что один взгляд женщины ярче тысячи звезд, апеллировал не к читателям, но к будущим «существам иным», не видел своей действительности и своего века, ненавидел родину и любил лишь идеал человека. Уже не только как урбанист, но и как мечтатель и враг реальности, Брюсов отрекался также и от природы («создал я в тайных мечтах мир идеальной природы. Что перед ним этот прах, степи, и скалы, и воды!»). В нескольких стихотворениях поэт рисовал себя как магика, носителя мистических знаний.

Брюсов в эту пору думал о самоубийстве. Не были упущены эти настроения и в творчестве (отдел «Веяние смерти»). «В безжизненном мире живу, живыми лишь думы остались. И нет никого на земле... кто б в этой томительной мгле томился и мучился рядом». Следовали «Последние слова» о том, что «так много думано, так мало свершено», строки о друге, бьющем умирающего по лицу, воспоминания о якобы виденных уже берегах страны

смерти и забвения, «Записка самоубийцы»... Брюсов не застрелился: слишком велика, повидимому, была жажда жизни и творчества. И вот в книге возникает мотив возрождения. Возврат к «приветственному шуму» основывается на том же индивидуалистическом парнассизме, на воле волхва, чьи холодные слова сильнее сладострастных желаний, чей жезл чертит «тайные знаки». За всеми этими условностями виднелись, однако, настроения более ясные. Ненависти к людям противоречило стихотворение «Часами долгого раздумия», а после своих «Обязательств» («я не знаю других обязательств, кроме девственной веры в себя») поэт в «Сне пророческом» заставлял какую-то вещую старуху декламировать, что он, Брюсов, еще будет жить, бродить десятилетьями в толпе, служить кумиром для юношей и дев.

«Это—я»,—книга, посвященная «одиночеству тех дней»,—остается в русской поэзии единственной в своем роде исповедью буржуазного индивидуалиста. Заметим вскользь, что именно эта книга приучила позднейшую критику твердить об индивидуализме Брюсова больше, чем следовало...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Поздний выход отечественной буржуазии на историческую арену понуждал ее к агрессивным действиям, которые, в соединении со старой колониальной политикой царизма, вели Россию к империализму, к этой высшей и последней стадии капитализма. После войны Японии с Китаем (1894—1895 г.) усилившееся влияние японцев на Дальнем Востоке напомнило европейским державам об их интересах, вследствие чего Японии пришлось отказаться от некоторых территориальных захватов. Под давлением России Япония отказалась, например, от Ляодунского полуострова и крепости Порт-Артур, вначале полученных ею по договору с Ки-

таем. Вслед затем европейские державы, хлопоча о восстановлении «политического равновесия», поспешили урвать у Китая ряд областей в свою пользу. Россия не осталась в накладе и тут, сумела в 1899 г. захватить Порт-Артур и негласно наводнить своими войсками Манчжурию. Потом, в период боксерского восстания, николаевская Россия потрудилась над истреблением китайских повстанцев не хуже Германии, Франции или Англии, получила свою долю в контрибуции, а в 1900 г. уже официально оккупировала Манчжурию...

В это горячее время как раз и происходили существенные сдвиги в русской литературе. Европеизация побеждала. Народническое «Русское богатство» превращалось в литературное болото. Почва из-под ног дворянских поэтов заметно ускользала. Приветствуя Горького, буржуазия старалась не понимать действительного смысла появления «Буревестника». Решающее слово уже принадлежало школе символистов. Вместе с тем выяснялось, что цитаделью символистического движения становится Москва.

В конце 1899 г. в Москве на средства просвещенного капиталиста Полякова было основано издательство «Скорпион», быстро привлекшее к себе свежие литературные силы и для развития буржуазной русской культуры сделавшее не мало.

«Скорпион» стал главным издателем Брюсова. В 1900 г. «Скорпион» выпустил книгу «Tertia vigilia» («Третья стража»), еще через два года — книгу «Urbi et orbi». Этим книгам суждено было пробить стену непонимания. Во вступительном стихотворении к «Третьей страже» за условными образами налицо реальная действительность. Много зим проведший в пустыне, живший преданиями и т. п., поэт вновь приходит на шумный пир; пирующие венчают его, как царя, и вернувшийся к активному участию в жизни Брюсов заранее обещает отказаться даже от личного счастья, едва лишь грянет призывный звук трубы. Другое вступитель-

ное стихотворение—«Я»,—было столь же типично для поэта, проповедывавшего «свободу» творчества, эту обычную иллюзию или маскировку буржуазной интеллигенции.

В «Третьей страже» значителен цикл «Любимцы веков». В стихах, порою совершенных и обладающих научным весом, Брюсов восстанавливал в памяти читателей грозные исторические фигуры и призывал современников учиться у этого величественного прошлого.

Я—вождь земных царей и царь, Ассаргадон.
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!
Едва я принял власть, на нас восстал Сидон.
Сидон я ниспроверг, и камни бросил в море.
Египту речь моя звучала, как закон,
Элам читал судьбу в моем едином взоре,
Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон.
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!
Кто превзойдет меня? Кто будет равен мне?
Деянья всех людей—как тень в безумном сне,
Мечта о подвигах—как детская забава.
Я исчерпал до дна тебя, земная слава!
И вот стою один, величьем упоен,
Я—вождь земных царей и царь—Ассаргадон.

Таков брюсовский «Ассаргадон», один из блестящих образов этого цикла. Подобные стихи, по существу лирические, писались преимущественно для буржуазных читателей, склонных преклоняться перед мощной личностью. Перечислять ли остальные темы того же ряда? Вот строфы о халдейском звездочете, с которым Брюсов хочет слиться в общей радости. Вот терцины о Рамсесе, одного имени которого достаточно, чтобы рассеялись мысли о ничтожности земной славы. Вот жрец Изиды, жертвующий своими страстями во имя высшей власти над народом. Вот Цирцея, в любов-

ном исступлении повелевающая над стихиями. Вот Александр Македонский, укрощающий свои взбунтовавшиеся фаланги. Скифы, среди которых поэт чувствовал бы себя не последним; старый викинг, вынужденный со скалы наблюдать за уплывающими внуками и заставляющий поэта выразить волю всегда оставаться «желанным и сильным для боя»; Данте в годы борьбы гибеллинов и гвельфов; Наполеон, шаги которого оставили тяжкий след на дороге поколений, и т. д. и т. д.[1] Это по большей части не мертвые зарисовки,—Брюсов осмысливал историю в интересах своего класса, тяготея пока еще вместе с ним к монархическому идеалу.

Параллельно с тем, наростала в «Третьей страже» тема города. Брюсов твердил о своей любви к большим домам, улицам, площадям, об умственном труде горожанина за опущенной шторой. Поэт преклонялся перед городом, и это преклонение было главным в новых, урбанистических стихах Брюсова. Если он и писал иногда, что «мы к ярким краскам не привыкли... мы дышим комнатною пылью» и т. п. и противопоставлял бесцветным горожанам себя, человека, для которого братья—северные владыки и чье время—викингов времена, то это было только вящшей тоской по силе. Правда, у Брюсова уже в этот период появлялись какие-то смутные ощущения катастроф, в будущем предстоящих городу, но такие ощущения были настолько специфическими, что о них нужно говорить особо.

В «Третьей страже» были хорошо выражены и другие признаки буржуазной поэзии. Показательно возникновение определенного культа страсти. Повышенное внимание к эротике—особенность бур-

[1] К «героическим» стихам в «Третьей страже» примыкает и поэма «Царю Северного полюса», за вычетом отдельных мест не утратившая своего значения и теперь, или, лучше сказать, только теперь приобретшая его в связи с начавшимся покорением полярных областей.

Валерий Брюсов

Фото 1897 г.

Валерий Брюсов

Фото 1900 г.

жуазного общества. В зависимости от состояния этого общества преобладает то упадочная, то более уравновешенная эротика. Формирование декадентского эротического комплекса мы уже проследили в ранних книгах Брюсова; а теперь приходится сказать, что гнилостного декадентского эротизма в «Третьей страже» немного. «В любви душа вскрывается до дна, яснеет в ней святая глубина, где все единственно и не случайно»—таково исповедание брюсовского «Дон-Жуана». Стихи о любви как о неотвратимой черной туче, которой надлежит горделиво покорствовать, архибуржуазное понимание взаимоотношений полов в сонете «Женщине», любовь в виде боя со страстью, подобного бою хромого Израиля с богом,—вот основные вехи этого пути познания, по Брюсову.

Оставляя в стороне некоторые примеры несложной «демонологии» Брюсова, не останавливаясь на отделе «Близким», минуя своеобразные отречения поэта от совершенного в «Это—я» и, что особенно существенно, в «Русских символистах» («мы были дерзки, были дети»), обратимся к «Прозрениям» и другим стихотворениям, сюда примыкающим. Эти вещи закончат наши соображения о «Третьей страже» как о первом этапе активного утверждения Брюсова в его классе. Не так серьезны стихотворения такого плана, как «Братьям соблазненным» (где поэт уговаривает сверстников служить богу вечной жажды и мечты и не довольствоваться достигнутой целью) или лукавое пророчество о победе («победят мои друзья, и над жалкой их победою засмеюся первым—я»). Нам следует выяснить собственно идеалистическую сущность «Третьей стражи» и характер некоторых гражданских тревог поэта. Известно, что в период «Третьей стражи», да и несколько позже, Брюсов выступал не только врагом утилитаризма, но и врагом вообще реалистического мышления. Подобно всем другим символистам, начинавшим с декадентства, и Брюсов,

в поисках неведомого, стремился расшатать устои материализма и точных знаний. В предисловии к мистической «Лествице» А. Миропольского Брюсов, например, ратовал за спиритизм, писал, что «господство позитивной науки проходит»... В этом предисловии, правда, имелись совершенно позитивистские ноты, наукоподобное обозренье фактов и предательская фраза о том, что в спиритизме есть, по крайней мере, надежды, ради которых можно и ошибиться,—но как бы там ни было, мистические теории, к которым был причастен Брюсов, должны были отразиться на его поэзии. И действительно, в «Третьей страже» мы находим ряд антиматериалистических высказываний. Но не странно ли, что именно в этих высказываниях Брюсов проявил явную скудость самостоятельной мысли, повторил самые общие места русского декадентства? «Каждый миг есть чудо... как узнать, что в жизни и во сне... этот мир иного мира тень». В другой вещи Брюсов перечислял главные радости жизни, при чем первой радостью оказывались «Тютчева песни и думы Верхарна» и только последней—вера, что «за смертью есть мир бытия»; все эти восторги были, конечно, «предвестием бога» и «молитвой на лоне отца». Достаточно слабосилен такой неглубокий мистицизм по сравнению с мистикой Гиппиус или Сологуба или позднейших символистов—Вяч. Иванова, Белого. Не углубляли брюсовский мистицизм и банальные утверждения, что «творим мы волю божию» и т. д. Зато рационализм брюсовской мистики вскрывало стихотворение «Устои» («рассудка вечные устои»), в котором Брюсов предлагал вместо экстаза и просветленной вспышки некий долгий и рассудочный труд, единственно способный привести к уверенному взгляду за «тьму завес».

... Кто готов отвергнуть миги
И ждать десятки строгих лет,—

Надень кровавые вериги,
Скажи молитвенный обет.

. . . . . .

И глянешь ты смелей и зорче
За тьму завес, что он расторг,
Чем тот, кто ведал смех и корчи
И пифий яростный восторг.

Брюсов в первые годы своей литературной деятельности мог более или менее искренно увлекаться мистицизмом и религией, но с годами выяснилось, что все это было только дымовой завесой исконного брюсовского позитивизма. Переиздавая «Третью стражу» в 1914 г. (в собр. соч.), Брюсов включил в нее поэму «Краски», долго пролежавшую в портфеле автора. И эта беседа Брюсова с «двойником» представляется хотя и запоздалым, но зато сплошным саморазоблачением. «Настоящий» Брюсов в «Красках» (1898) говорит пышные идеалистические фразы («вселенная жива лишь духом единым и чистым, материя—призрак, наше знание—сон... стань кудесником, магом»), а двойник, его раннее (пятнадцатилетнее!) «я», насмешливо напоминает, что когда-то поэт был «материалистом и позитивистом». И тайное кредо Брюсова в речах этого двойника ничем не завуалировано: «О, устарелые бредни! Я не верю в дух и не хожу к обедне! Кто мыслит, пусть честно служит науке! Наука—голова, а искусство—руки... Мне ясна моя цель. Я, наверно, не стану петь цветы, подобно Фету. Я люблю точное знание, презираю свирель. Огюст Конт навсегда указал дорогу поэту... Я не хочу остаться за флагом». Не удивительно, что Брюсов не спешил с опубликованием этой предательской поэмы!

Позитивизм Брюсова может быть окончательно проверен и на тех, будто бы «мистических», прозрениях поэта, в которых на деле выражены тревоги о социальных судьбах города. Капиталисти-

ческому обществу свойственны не только агрессивные настроения, но и боязнь будущего, происходящая от наличия социальных противоречий, экономических кризисов, активизации рабочего класса. Не существенно, питалось ли воображение Брюсова преимущественно появившимися еще в конце XIX века романами типа уэллсовского «Когда спящий проснется», или же фантазии Брюсова были оригинальными. Существенно, что, когда Брюсов прозирает будущую гибель города, подлинная основа «прозрений» выпирает на первый план и рушит условную разработку темы. Когда мы читаем «В дни запустений», нам видится в этом пророчестве о гибели урбанистической культуры нечто большее, чем предвещание космической катастрофы. Оттого и волнует нас эта вещь, что мы склонны заменить фигуру проникающего в забытые книгохранилища «смельчака» более определенным понятием класса, наследующего побежденную культуру («внемли же мне, о, слушай строки эти: я был, я мыслил, я прошел, как дым...»). Поэма «Замкнутые», которая отсутствовала в первом издании «Третьей стражи», со всей очевидностью была порождена именно классовой прозорливостью Брюсова. Сначала—видение города, хранящего в церквах первоначальную мощь свободных сил, а в музеях—трофеи былых побед. Потом—наблюдения над лицемерием изжитых обрядов, над наукой, идущей по заведомо ложному пути, над искусством, бессилью которого поэт противопоставляет якобы новый принцип «свободного творчества». Тиски пошлости, условность и продажность общества и как единственный выход—погружение в химеры городского разврата и возникновение чисто ницшеанских идеалов. Пусть опять космическую катастрофу предвидит и зовет Брюсов, пусть он опять фантазирует в духе Уэллса, но непосредственный социальный смысл этой грядущей гибели он, фактически, угадывает...

...Да, нам не избежать мучительных падений,
Погибели всех благ, чем мы теперь горды!
Настанет снова бред и крови, и сражений,
Вновь разделится мир на вражьи две орды.
. . . . . .
И все, что нас гнетет, снесет и свеет время,
Все чувства давние, всю власть заветных слов,
И по земле взойдет неведомое племя,
И будет снова мир таинственен и нов...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Уделяя столько места раннему периоду брюсовской поэзии, мы не говорим об укреплении мастерства поэта, о тех успехах, которые Брюсов делал на путях овладения словом. Характер предлагаемого исследования вынуждает нас на данной стороне становления Брюсова не задерживаться, тем более, что после всего сказанного общая обусловленность этих художественных успехов повышением идейного уровня поэта—очевидна. И потому мы только вкратце скажем, что в «Urbi et orbi» («Городу и миру») Брюсов вырос в первоклассного мастера. В «Городу и миру» Брюсов возвещал, в основном, о своих победах художника (отсюда те соображения относительно необходимости развивать русский стих, которые были высказаны автором в предисловии); но естественно, что при общем углублении брюсовского творчества книга «Городу и миру» принесла и целый ряд новых жанров, тем, мыслей, которые игнорировать нельзя и здесь.

Баллады Брюсова и во многом примыкающие к ним эротические поэмы и стихотворения должны быть охарактеризованы как гимны «сумрачному находу страсти». Вещи эти непосредственно продолжают брюсовскую прежнюю эротику, при всей их новой внешности. Можно сначала сослаться

на типично декадентскую, почти сологубову по теме балладу «Раб», на посвященное Сологубу «Сладострастие», на такие вещи, как «Решетка», «В ночном безлюдии», мистически обрисованный «Путь в Дамаск», своеобразная поэма «Город женщин»... Наряду с тем, эротика представлена здесь стихами, утверждающими силу страсти и примерами, взятыми из реальной истории человечества («Помпеянка», «Во храме Бэла»), и почти бытовым «Свиданием» в гостинице, и физиологической темой терцин о родах («Женщина») и такими глубокими образчиками буржуазной идеалистической лирики, как «Близкой» или «Одиночество».

Более новым словом поэта были многочисленные вступления к «Городу и миру». Эти вступления с особенной силой свидетельствовали об органическом вхождении Брюсова в буржуазную современность. Примечательны предупреждения самому себе в «Лестнице» («не оступлюсь ли я...»), строфы о блужданиях в лабиринте, такие вещи, как «Мечтанье», «Искатель», «Блудный сын», «У земли», «Работа»... «Последнее желание» ставило характерные вопросы, на которые вскоре пришлось ответить («приду ли в скит уединенный... иль в городе... в часы безумных баррикад... я слиться с жизнью буду рад!»). «Побег» (стихотворение с эпиграфом из «Третьей стражи», гласившим о трубном зове) являлся преодолением индивидуалистического начала: «В последний раз взглянул я свыше в мое высокое окно: увидел солнце, небо, крыши и города морское дно... И странно мне открылась новой в тот полный и мгновенный миг вся жизнь толпы многоголовой, заботы вспененный родник... бегу от пышного алькова, безумный, вольный и нагой». В том же цикле находился брюсовский отклик на стихи Хомякова об усталости и ее преодолении, эти известные мысли Брюсова о трудовом подвиге поэта-пахаря, чья мечта уподобляется волу:

...Вперед, мечта, мой верный вол!
Неволей, если не охотой!
Я близ тебя, мой кнут тяжел,
Я сам тружусь, и ты работай!..

Новшеством были в книге «Городу и миру» песни Брюсова, его прекрасные имитации городского фольклора. «Фабричная», все три частушки и «Песня сборщиков» могли быть окончательно превзойдены только спустя годы, когда поэтическое мастерство таких поэтов, как Асеев или [redacted], выразило иное идейное содержание. Очень любопытна, по-своему, была и «Солдатская» песня Брюсова, писавшаяся, конечно, как стилизация под солдатское «бахвальство», но вместе с тем служившая прямым агитационным откликом на захват русскими китайских земель и этим показывавшая, что и стилизация не может висеть в воздухе.

Новые пути для русской поэзии Брюсов прокладывал также в своих «думах». Отлично выглядели, при своем появлении, «L'ennui de vivre» и большая поэма о зачатии и рождении, подтвердившая, что у Брюсова гораздо лучше получались углубленные философские стихи, чем вычуры декадентской эротики. Подлинно характеризовали Брюсова некоторые строфы «In hac lacrimarum valle». Усваивая в «Италии» и «Париже» свободный стих французов (Верхарна и др.), Брюсов одновременно демонстрировал свою, сложившуюся в основном, идеологию буржуазного интеллигента.

Для понимания социальной природы Брюсова чрезвычайно ценным материалом в книге «Городу и миру» была дума «Мир», впервые правильно понятая в «Литературном распаде» ([redacted]). «Я помню этот мир, утраченный мной с детства», писал поэт, выходец из купеческой среды, и вспоминал темные амбары, огромные кули, скрипучие телеги, крики извозчиков и приказчиков. «Мечтанья детские в те дни уже светлели:

мне снились—рощи пальм, безвестный океан и тайны полюсов, и бездны подземелий, и дерзкие пути междупланетных стран. Но дряхлый, ветхий мир на все мои химеры улыбкой отвечал, как ласковый старик... И что-то было в нем родным и близким мне...» И вот исчез патриархальный, купеческий мир, «воздвиглись здания из стали и стекла», совершился переход к капитализму. И недавно еще отвергавший завещание столетий декадент, не узнавая теперь в этом «городе торговли» своего амбарного мира, задумывается о том, правильно ли он поступил, оторвавшись от прошлого... Брюсов в ту пору мог, конечно, не понимать естественности перехода амбарного мира к высшей стадии, но для нас нет никакого разрыва между этой метаморфозой «ласкового старика» и теми урбанистическими стихами поэта, которые в «Городу и миру» слагались во внушительный комплекс реалистических и ярких городских образов. Брюсов на долгое время стал единственным русским поэтом города, так как первый в России он предпочел «громаду стен в лучах луны» обычным «прелестям природы»—дневной зелени, синим небесам. Среди урбанистических стихов «Городу и миру» были, вдобавок, и вещи такого серьезного политического значения, как прославленный «Каменщик» или менее популярная «Ночь», т. е. стихи, еще до 1905 г. приблизившие Брюсова к буржуазно-демократической революции.

...Стрелой вонзаясь в города,
Свистя в полях, гремя над бездной,
Летят немолчно поезда
Вперед по полосе железной.
Глядят несытые ряды
Фабричных окон в темный холод,
Не тихнет резкий стон руды,
Ему в ответ хохочет молот.
И, спину яростно клоня,
Скрывают бешенство проклятий

Среди железа и огня
Давно испытанные рати.

«Книга «Urbi et Orbi», превзошедшая во всех отношениях предыдущие сборники стихов Брюсова, представляет важный и знаменательный литературный факт. Беспочвенное «декадентство» осталось далеко позади и путь к нему окончательно загражден...»—свидетельствовал А. Блок, избавлявшийся от дворянских настроений и «беспочвенного декадентства» под явным влиянием вождя отечественных буржуазных поэтов, Брюсова. Правильность этого блоковского свидетельства подтверждали брюсовские «Оды и послания». В обращениях к Бальмонту Брюсов вскрыл разницу между своим творчеством, насыщенным идеями и раздумьями, и лирикой Бальмонта, в значительной ее части легковесной. В посвящениях «Младшим» (т. е. Блоку и Белому) Брюсов признавался, что он не видит и не слышит мистической невесты младших символистов... И ничего противоречащего этому осознанию Брюсова своей, в чем-то весьма своеобразной, творческой линии не было, разумеется, в очередных утверждениях «свободы искусства»: «хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья, и господа, и дьявола хочу прославить я»... Ладья Брюсова всего меньше была «свободной».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Буржуазные критики Брюсова не раз утверждали, что «Stephanos» («Венок») является высшей точкой брюсовского творчества, его зенитом, что после этой книги поэт ничего нового не дал. Решительно отвергая подобное тенденциозное истолкование «Венка» как «зенита», мы должны все же признать, что в данную книгу действительно вошло не мало мощных произведений.

В «Венке»—стихи преимущественно 1904—1905 гг. Одно это обстоятельство что-нибудь да значило! Исходная точка книги была дана самим поэтом в посвящении Вячеславу Иванову. Брюсов, познавший преданья веков и «зов истлевших лир» Гомера и Эсхила, обращаясь к собрату по символизму, не случайно вспоминал «дерзкого вскормленника Перикла» (афинянина Алкивиада) и с таким восторгом говорил о «столице жизни новой, где всех стремящих сил простор».

Отделы «Вечеровые песни» и «На Сайме» в «Венке» были, в сущности, только экспозицией. Эпиграф из Верлэна («de la musique avant toute chose») определял, главным образом, заемный характер «Вечеровых песен» (в числе которых, конечно, есть и незаурядные: «Приветствие», «Воздух становится синим», «Охотник» и др.). Наличие хороших стихов в финском цикле также не рисовало какого-либо нового творческого этапа. Но громовый голос Брюсова слышался уже в цикле «Правда вечная кумиров». Цикл этот был принципиальным продолжением данной в «Третьей страже» галлереи мифологических и исторических образов. От поражающего своей экспрессией диалога «Адама и Евы», от такой же диалогической поэмы об Орфее и Эвридике Брюсов шел к конкретным фигурам истории. И во всем этом многообразии тем чувствовалось единое начало—волевое устремление, горделивая проповедь силы и доблести, моменты прометеевского бунта. Это начало отчетливо проявилось, например, в стихотворении «Бальдеру Локи» (где пытаемый бог зла заранее торжествует будущее падение небесных сил), проявилось в обращении Тесея к покидаемой Ариадне, («довольно страсть путями правила, я в дар богам несу ее. Нам, как маяк, давно поставила Афина строгая—копье»), в «Ахиллесе у алтаря» («прекрасен яркий жребий—просиять и умереть»)... Нам никак не возразят, если укажут, что вот, мол,

разве в «Антонии» Брюсов не соглашался с триумвиром, пожертвовавшим славой ради любви Клеопатры. Для буржуазного сознания характерно и подобное слепое поклонение перед всякой силой, в частности и перед силой любовной страсти.

В «Орфее и аргонавтах» (последнее стихотворение цикла «Правда вечная кумиров») Брюсов впадал в недвусмысленную аллегорию: «боги позволили, Арго достроен... тиграм и камням довольно служила лира твоя... в день, когда вышли на подвиг герои, будь им сподвижник, Орфей». Интересно, что поэт, воссоздавая античные мифы, говорил здесь именно о походе аргонавтов за золотым руном, т. е. о походе, в древности имевшем такое же реальное основание, как, скажем, поход России на Дальний Восток...

«Свершилось! Молодость окончена. Стою над новой крутизной». Установка исследования не обязывает нас детально рассматривать любовные стихи «Венка», поскольку они только предваряли центральную тему книги, поскольку «молодость» в «Венке» закончил и Брюсов-гражданин. Скажем лишь, что для эротики «Венка» показательна та же гиперболизация чувств, показателен тот же культ страсти. Даже темы самоубийства и казни («После пира» и «В трюме») были разработаны поэтом в плане апофеоза воли. Имевшиеся в этой эротике мистические и религиозные примеси являлись слабейшей стороной книги, наименее убедительными ее страницами. И свои эротические циклы Брюсов недаром закончил стихотворением «Из песен Мальдуна», в котором—старая тема бегства от алькова!—моряки покидали «дрожь сладострастья» ради Нового света («мы по природе—бродяги, мы моряки—по обету»). Затем Брюсов намеренно вел своего читателя сквозь «повседневность» — сквозь строй стихов об улицах, публичных и игорных домах, вагонах и т. п., покамест и этот отдел фактически не заканчивался

интереснейшей, по своему второму смыслу, вещью «После пира» (вечная красота, заслышав с утеса песню рыбаков, разрывает тесный круг друзей и с победным криком низвергается в глубину) и «Гребцами триремы». Основная идея последнего названного стихотворения—это, конечно, подневольность гребцов, ведущих трирему государства. Такую расшифровку подтвердила в дальнейшем история, и если даже Брюсов и был далек от прямого обобщения в образе гребцов—своей социальной категории и просто руководился демократическими симпатиями, стихотворение все же остается фактом примечательным.

Задача наша — дать правильный политический анализ цикла «Современность». Поэтому прежде всего отвергнем общепринятое толкование «Кинжала», которое имеется, к слову сказать, и в книге Г. Лелевича. «Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза, и песня с бурей вечно сестры». На удочку этих стихов нынешнему читателю попадаться нельзя. «Когда не видел я ни дерзости, ни сил, когда все под ярмом клонили молча выи, я уходил в страну молчанья и могил, в века загадочно былые. Как ненавидел я всей этой жизни строй, позорно мелочный, неправый, некрасивый. Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой, не веря в робкие призывы. Но чуть заслышал я заветный зов трубы, едва раскинулись огнистые знамена, я отзыв вам кричу, я песенник борьбы, я вторю грому с небосклона...» Толковать эти стихи как стихи целиком революционные—заманчиво, хотя, разумеется, нужно говорить о буржуазной революционности. Но Брюсов был сложнее и, может быть, последовательнее большинства своих критиков. Он после «Кинжала» пишет не больше, не меньше, как стихотворение «К Тихому океану» и, ораторствуя в этой вещи на условную тему о тяге «детей степей» «к родной сердцу стихии», на деле слагает гимн колониальной политике отечественного самодержавия, к дальне-

восточной авантюре которого, как известно, вначале сочувственно относилась и буржуазия. «Брат—океан! Ты—как мы! Дай обнять братскую грудь среди вражеских станов! Кто, дерзновенный, захочет разнять двух великанов?» Заметьте, что эти воинственные строки писались еще в январе 1904 г., когда царская Россия только готовилась к войне с Японией за овладение Кореей и Манчжурией, и готовилась с чисто российским головотяпством...

Стихи Брюсова о русско-японской войне и пришедших ей на смену событиях составляют своеобразный политический дневник (Брюсов недаром к этому времени поупражнялся и в писании политических обозрений). Стоит приглядеться к внутренней хронологии этого цикла, так как в нем Брюсов лучше всех других символистов сумел выразить чаяния и метания своего класса.

После вполне специфического образа «Войны» («предвечной силой рождена, ты дочь губящего Раздора») Брюсов в сильном стихотворении «На новый 1905 год» призывал современников не оспаривать величия совершающегося («молчи и никни, ум надменный! Се—высшей истины пора»). Яснее ясного сказалась активность классового сознания Брюсова и в его трубных стихах, гласивших о необходимости для всех патриотов сплотиться и отказаться от всяких споров. «Теперь не время буйным спорам, как и веселым звонам струн! Вы, ликторы, закройте форум, молчи, неистовый трибун! Когда падут крутые Веи и встанет Рим, как властелин, пускай опять идут плебеи на свой священный Авентин! Но в час сражений, в ратном строе, все—с грудью грудь»—и т. д.

Хронологические даты в цикле «Современность» Брюсов сохранял заботливо. И, видимо, поэт горячо следил за ходом войны и большие надежды, вместе со своим классом, возлагал на 2-ю тихоокеанскую эскадру, если в июне 1905 г. с отчаянием расписался в крахе этих надежд. «... Призрак вели-

чавый, Россия горестная, твой рыдает над погибшей славой своей затеи роковой! И снова все в веках далеко, что было близким наконец,—и скипетр Дальнего Востока, и Рима Третьего венец!» Провал «роковой затеи» доказал буржуазному интеллигенту Брюсову, как и всей передовой буржуазии, необходимость борьбы с феодально-крепостническими пережитками... «Наконец дикое упорство самодержавия, гигантский прогресс гражданской войны, безвыходность того положения, в которое завели Россию монархисты, стали пробивать самые косные головы. Революция становилась *фактом*. Для признания революции не требовалось уже быть революционером...» (Ленин). Жребий буржуазно-революционного поэта Брюсов выбрал для себя тотчас же после осознания «позора» родины. Но сначала требовалось расстаться с некоторыми монархическими иллюзиями. Строфы «Юлия Цезаря» великолепны. Цезарь на упреки сената в бунтовщических замыслах с негодованием отвечает: «Но вы, что сделали вы с Римом, вы, консулы, и ты, сенат? О вашем гнете нестерпимом и камни улиц говорят! Вы мне твердите о народе, зовете охранять покой, когда при вас Милон и Клодий на площадях вступают в бой... хотя б прикрыли гроб законов вы лаврами далеких стран! Но что же! Римских легионов значки—во храмах у парфян!» Именно такие стихи вели Брюсова к революции. В послании к «одному из братьев», возвестившему «суд холодный и враждебный» над брюсовскими стихами, поэт уверял, что и он, как другие борцы, стремится к земному раю, видит оковы на всех руках, и что если долг революционера рубить камень стен, то его, поэта, долг—незримо рушить ядом поэзии стены, в которых заточен наш дух, «чтоб в день, когда мы сбросим цепи с усталых рук, с усталых ног, мечтам открылись бы все степи и волям—дали всех дорог». А в августе 1905 г. Брюсов уже непосредственно реагировал на разгоравшийся пожар, причем песня

революции для него, поэта-историка, оказывалась «Знакомой песнью», звуки которой оживают «в каждом призванном народе»:

...Это—колокол вселенной
С языком из серебра,
Что качают миг мгновенный
Робеспьеры и Мара.
Пусть ударят неумело:
В чистой меди тот же звон!
И над нами загудела
Песнь торжественных времен.
Я, быть может, богомольней,
Чем другие, внемлю ей,
Не хваля на колокольне
Неискусных звонарей.

Показательно, что, «богомольно» слушая песнь революции, Брюсов «неискусных звонарей» хвалить отнюдь не собирается. Общественные идеалы Брюсова в эту пору еще весьма проблематичны. Главное для него—величие, максимализм. Даже цепи самодержавия, по Брюсову, были бы прекрасны, будь они обвиты лаврами, будь исконная государственность способна стать «лицом к измене» и не итти на уступки. Стихотворение «Да! цепи могут быть прекрасны» относилось еще не к буржуазным соглашателям, но именно к старой имперской власти, пошедшей на уступки. И только после подобных стихов Брюсов пробует недружелюбно писать о начавшемся соглашательстве буржуазии (см. стихотворение «Паломникам свободы», где пресловутые «паломники» на зарево революции «глядят с испугом и укором»). Чрезвычайно интересно для определения позиции Брюсова стихотворение «Близким», напечатанное в «Факелах», но потом не пропущенное автором ни в одно из изданий «Венка». Это та вещь, в которой Брюсов противопоставлял делате-

лям революции себя как архиреволюционера, как подлинного крушителя всех основ.

Нет, я не ваш! Мне чужды цели ваши,
Мне страшен ваш неокрыленный крик,
Но в шумном круге к вашей общей чаше
И я б, как верный, клятвенно приник.
Где вы—гроза, губящая стихия,
Я—голос ваш, я вашим хмелем пьян,
Зову крушить устои вековые,
Творить простор для будущих семян.
Где вы—как Рок, не знающий пощады,
Я—ваш трубач, ваш знаменосец я,
Зову на приступ, с боя брать преграды,
К святой земле, к свободе бытия.
Но там, где вы кричите мне: «Не боле!»,
Но там, где вы поете песнь побед,
Я вижу новый бой во имя новой воли.
Ломать—я буду с вами, строить—нет!

«Чем полнее и решительнее, чем последовательнее будет буржуазная революция, тем обеспеченнее будет борьба пролетариата с буржуазией за социализм», писал Ленин в связи с революцией 1905 года. «А из этого вывода, между прочим, следует и то положение, что *в известном смысле* буржуазная революция *более выгодна* пролетариату, чем буржуазии. Именно вот в каком смысле несомненно это положение: буржуазии выгодно опираться на некоторые остатки старины против пролетариата, например на монархию, на постоянную армию и т. п. Буржуазии выгодно, чтобы буржуазная революция не смела слишком решительно все остатки старины, а оставила некоторые из них, т. е. чтобы эта революция была не вполне последовательна, не дошла до конца, не была решительна и беспощадна.... Буржуазии выгоднее, чтобы необходимые преобразования в буржуазно-демократическом направлении

Валерий Брюсов

Фото 1902 г.

Валерий Брюсов в кругу родных

Сидят слева направо: мать поэта, М. А. Брюсова; Валерий Брюсов и его жена, И. М. Брюсова; отец поэта, Я. К. Брюсов

Фото 1904 .

произошли медленнее, постепеннее, осторожнее, нерешительнее, путем реформ, а не путем революции..... ибо иначе рабочим тем легче будет, как говорят французы, «переложить ружье с одного плеча на другое», т. е. направить против самой буржуазии то оружие, которым снабдит их буржуазная революция, ту свободу, которую она даст, те демократические учреждения, которые возникнут на очищенной от крепостничества почве» (Ленин, «Две тактики социал-демократии»).

Эти ленинские положения широко известны. Однако пришлось уделить место данным цитатам, поскольку «Венок» не имеет правильной расшифровки до сих пор, а сложная революционная ситуация придала брюсовским стихам этого периода особенную силу: в «Современности» как нельзя ярче отразились реакции поэта на «имманентную контрреволюционность буржуазии». Буржуазия тянулась к власти, особенно после того, как военные неудачи царизма оказались угрозой; буржуазия революционизировалась, но полной заинтересованности в гибели монархии, нужной ей и для борьбы с пролетариатом и для конкретной борьбы с иностранной буржуазией, у нее не было. Поэтому, когда стачки стали массовым явлением и в Лодзи вылились в вооруженное восстание, когда царский манифест оказался прелюдией к повсеместному подъему крестьянства и декабрьскому московскому восстанию,—буржуазии остался один выход—путь соглашательств и предательств, путь всемерного содействия удушению гражданской войны, зашедшей чересчур далеко. «Буржуазия,—писал Ленин в самом разгаре борьбы,—стоит за революцию непоследовательно, своекорыстно, трусливо. Буржуазия неизбежно повернет, в своей массе, на сторону контрреволюции, на сторону самодержавия, против революции, против народа, как только удовлетворятся ее узкие корыстные интересы, как только «отшатнется» она от последовательного демократизма...»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 1606 35750

Брюсов был в «Венке» поэтом буржуазной революции. От монархического идеала, от преклонения перед отечественным Ассаргадоном, Брюсов должен был отказаться, когда военное предприятие Николая II провалилось. К буржуазной революции Брюсов пришел естественным путем. Но большая заслуга Брюсова перед потомством в том, что он сумел стать беспощадным обличителем согласительского поведения своего класса. Мало того, в своих максималистских требованиях, в своем презрении к уступкам Брюсов сумел разорвать и некоторые узы классово ограниченного мышления... Вернемся к конкретному поэтическому материалу, проследим за всем ходом мыслей Брюсова. В «Уличном митинге» поэт, конечно, отказывается видеть этот путь массового действия плодотворным («из пепла общего пожара воздвигнешь новый мир—не ты!»). А затем перед нами «Лик Медузы», восприятие октябрьских событий 1905 г. в виде хаоса, куда неудержимо влечет «стезя». Жажда силы, воля к действию, к участию в больших событиях ярко сказались в двойственных, но смелых стихах:

...В эти дни огня и крови,
Что сольются в дикий бред,
Крик проклятий, крик злословий
Заклеймит тебя, поэт!
Но при заревах, у плахи,
На руинах всех святынь,
Славь тяжелых ломов взмахи,
Лиры гордой не покинь.
Ты, кто пел беспечность смеха
И святой покой могил,
Ты от века—в мире эхо
Всех живых, всех мощных сил...

И тотчас же за этими стихами Брюсов предлагал знаменитое обращение к «Довольным» (помеченное 18 октября, т. е. написанное на другой день после

объявления манифеста), где с презрением отшатывался от соглашателей («довольство ваше—радость стада, нашедшего клочок травы»), противопоставлял «ненавистным полумерам» свой (тоже весьма буржуазный!) идеал «грозной власти» вообще—пусть Ассаргадон! пусть «океан народной страсти»!—и (что очень важно) призывал «детей пламенного дня» крушить не только жизнь, но и себя, поэта...

О политических стихах «Венка» остается сказать немного. Нужно остановиться еще на «Грядущих гуннах», на этом втором призыве к будущим крушителям жизни. «Гуннами» представлял Брюсов пролетарских революционеров; подобно Гейне, считал он их приход гибелью всей культуры, но все же призывал их засеивать поля на месте тронных зал, жечь книги, творить мерзость во храме, оставаясь невинными, как дети. А сам поэт, вместе с другими «хранителями тайны и веры», собирался унести «зажженные светы в катакомбы, пустыни, пещеры». «Бесследно все сгибнет, быть может, что ведомо было одним нам, но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном». Не ясно ли, что, слагая этот приветственный гимн тем, кто позднее действительно уничтожил многое, сохранив все подлинно заветные творенья, Брюсов становился головою выше своего общества? Очевиден порыв к будущему в поэме «К счастливым», где, после всех рассмотренных стихов о революции, поэт демонстративно мечтал о грядущем социализме. Пускай Брюсов еще не видел истинных путей к этому социализму,—социализм все же примет данные стихи как свое законное достояние.

«Современность» замыкалась своеобразным пробегом по столетьям—«Фонариками». Перечислив почти все огни (Ассирия, Египет, Индия, Эллада и т. д.), поэт, уже не видя дорог, продолжал молиться будущим, еще безвестным огням... Противоречивым буржуазно-революционным поэтом Брюсов предстает и в заключительных «Лирических поэмах»

«Венка», написанных под заметным влиянием Верхарна (революционные стихи которого Брюсов переводил именно в то время). В «Духах огня»—та же тоска по силе, жажда участвовать в жизни всей планеты, быть соратником даже «космических споров». Показательна «Слава толпе». Бывший декадент сознается тут, что «черни признанье—бесценная плата, дара поэту достойнее нет». И, как бы покаявшись в том, что ему по душе славить капиталистический город, переходит к стихам, достойным лучших поэм Верхарна:

...Славлю я правду твоих своеволий,
Толпа!

Еще одно противоречие: поэма «Сквер». Здесь «рыжая рысь» зовет «сына толпы» от красных знамен и фабричных гудков—к примитивной природе, к звериной жизни, не знающей труда, условностей и т. п. Но, очевидно, во втором издании «Венка» Брюсов не случайно поставил последней вещью именно поэму «Конь блед», этот подлинный шедевр мировой урбанистической поэзии, это гениальное предвещание городу—служить горном новой жизни.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Годы реакции, сменившие революционный подъем 1905 г., в литературе ознаменовались бегством от гражданственности, волной мистицизма и порнографии. В философии процвел идеализм, в политике тон задавали столыпинские мероприятия. «Прусский путь» развития России осуществлялся тогда царизмом и сговорившейся с ним буржуазией. В промежуток времени между 1906—1913 гг. Брюсов опубликовал две книги стихов—«Все напевы» и «Зеркало теней» [1].

[1] «Зеркалу теней» предшествовало трехтомное собрание стихов под названием «Пути и перепутья».

«Внутренние» споры о символизме начались как раз во время написания «Всех напевов» (1906–09). В данной работе нас мало интересуют бывшие тогда модными разговоры о символизме идеалистическом и реалистическом, о мифотворчестве, соборности... Нас интересует то обстоятельство, что в процессе становления Брюсов явственно расходился, например, с Вячеславом Ивановым, мистиком и эсотериком, хотя и мечтавшим о «соборности». Напомним здесь только один типичный спор Брюсова с Вяч. Ивановым и А. Блоком, которые в 1910 г. в «Аполлоне» выступили с утверждениями, что книга поэзии должна быть не книгой поэзии, а чем-то большим, что поэт обязан быть не поэтом, а чем-то высшим, теургом, пророком... «Символизм не хотел и не мог быть только искусством», писал Иванов, и то же положение развивал Блок. Брюсов, и до того (в «Весах») вступавший в пререкания с подобными истолкователями символизма, решительно выступил против названных символистов. «Как ни уважаю я и художественное дарование и энергию мысли Вячеслава Иванова, все же я никак не могу согласиться, что «символизмом» может быть названо то, что ему нравится. «Символизм», как и «романтизм»,—определенное историческое явление, связанное с определенными датами и именами... Вячеслав Иванов может указывать в будущем символизму какие угодно цели, а его Бедекер» (А. Блок) «пути к этим целям, но они не в праве и не в силах изменить то, что было. Как это ни досадно, но символизм *хотел быть и всегда был только искусством*... Неужели после того, как искусство заставляли служить науке и общественности, теперь его будут заставлять служить религии? Дайте же ему, наконец, свободу... Нам Гете дважды дорог потому, что был не только величайшим поэтом XIX века, но и могущественным умом своего времени... Почему бы поэту и не быть химиком или политическим деятелем, или, если он это пред-

почитает, теургом? Но настаивать, чтобы все поэты были непременно теургами, столь же нелепо, как настаивать, чтобы они все были членами Государственной Думы. А требовать, чтобы поэты перестали быть поэтами, дабы сделаться теургами, и того нелепее»[1]. Вот та, достаточно трезвая, позиция Брюсова, которую он занимал в период споров о символизме. Опять «свобода» поэзии, эта иллюзия или маскировка буржуазной интеллигенции, опять имманентная ценность поэзии! Мы видели однако, какова была свобода брюсовского искусства. Убедимся в этом еще раз.

Настроения, господствовавшие в годы реакции, нашли свое выражение в книге «Все напевы». Резко увеличилось количество стихов о «неспешном холоде сладострастья», повысился индивидуализм («и я упьюсь последним счастием—быть без людей, быть одному!»). Весьма характерно обилие различных перепевов и вариаций декадентства, например появление встречавшейся еще в первых книгах поэта темы «египетской» любви в настоящем («Встреча»). Часты мотивы упадка, безмолвия, осеннего умирания («холод, тело тайно сковывающий... все во мне лишь смерть и тишина»). Характерно также, что поэт, утративший большую тему «Венка», теперь, усиленно разрабатывая формальную сторону стиха, нередко заполняет свои опыты и простыми клише...

И все же «Все напевы», в целом, многим непохожи на книги других символистов, выходившие в те годы. Достаточно сравнить «Все напевы» с тогдашними сборниками стихов Гиппиус или Сологуба, Иванова или Балтрушайтиса. «Ты должен быть гордым, как знамя... всего будь холодный свидетель... быть может, все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов»—эти строки стихотворения «Поэту» не случайно были написаны именно в

[1] «О речи рабской в защиту поэзии», «Аполлон» № 9 за 1910 г.

1908 г., но от ухода в чистое искусство, в индивидуализм и мистику Брюсов уберегся и теперь.

Очень выразительными оказались очередные урбанистические стихи Брюсова, особенно такие незабываемые вещи, как «Вечерний прилив» и дифирамб «Городу». Если первое стихотворение, показывающее вечернее оживление города с его магазинами, трамваями, автомобилями и толпой, ведущей во славу «праха» хоровод «вкруг алтарей из электричества», предвосхитило урбанизм русских футуристов, то прославленный брюсовский дифирамб позднее повлиял и на пролетарских поэтов. После городских стихов в «Третьей страже» и «Городу и миру», после «Коня бледа» Брюсов во «Всех напевах» пришел к синтетическому образу могущественного капиталистического города, взятого со всеми его противоречиями, заложенными в нем самом. Чутье социолога обнаружил поэт, кончая свой дифирамб следующими стихами:

...Но сам скликаешь, непокорный,
На штурм своих дворцов—орду,
И шлешь вождей на митинг черный:
Безумье, Гордость и Нужду!
И в ночь, когда в хрустальных залах
Хохочет огненный Разврат
И нежно пенится в бокалах
Мгновений сладострастных яд,—
Ты гнешь рабов угрюмых спины,
Чтоб, исступленны и легки,
Ротационные машины
Ковали острые клинки.
Коварный змей с волшебным взглядом!
В порыве ярости слепой,
Ты нож с своим смертельным ядом
Сам подымаешь над собой.

Многочисленные в книге, путевые впечатления Брюсова тоже поражают своими специфическими

особенностями. Нужно отметить «Висби», это воспоминание поэта о некогда шумной жизни торгового островного города. Нужно упомянуть о том восхищении, с которым Брюсов говорит о памятнике Карлу XII, якобы выполнявшему «сны заветные народа» («Карл XII»). Нужно сослаться на замечательное обращение «К собору Кэмпера», напомнившему поэту своей величественной архитектурой «о невозможном слияньи силы и мечты». Весьма показательны, наконец, и все итальянские стихи. Перед «пышным прахом» Венеции у Брюсова вырывается негодующее восклицание человека, связанного с немощной современностью («что наших робких дерзновений полет, лишенный крыльев! Здесь посмел желать народный гений и замысл свой исчерпать весь»). А в стихотворении «На форуме» Брюсов дал уже явный синтез эмоций и мыслей поэта, ищущего в древности не моментов упадка, а великих примеров для настоящего:

...Дорог строитель чудотворный,
Народ Траяна! Твой завет,
Спокойный, строгий и упорный,
В гранит и мрамор здесь одет.
Твоих развалин камень каждый
Напоминает мне—вести
К мете, намеченной однажды,
Среди пустынь свои пути.

Мы упоминали об упадочной эротике «Всех напевов». Однако и в этих циклах не найти единства настроения. То мистической эротике противостоит лаконичный диалог поэта с ангелом,—диалог, из которого видно, что «загробной» жизни автор предпочитает краски живого лица и водоворот земной страсти,—то декадентские мотивы уступают место просветленной «Весенней песне девушек» или совершенно уместному и на наш сегодняшний слух «Голосу мертвого». Коснемся ли мы чисто книжных,

на вид, стихов—тотчас же и здесь представятся своеобразными и отбор, и трактовка тем. Перелагая в оригинальные стихи некоторые сцены Гомера или Вергилия, описывая мифологические фрески, Брюсов остается все тем же взыскующим величия поэтом. В «Дедале и Икаре» он одинаково преклонится перед зрелым умом Дедала («взлетим мы дважды и трикраты, и сколько раз ни захотим...»), и перед безумным упоением Икара. В «Одиссее» хитроумный созерцатель сирен готов отказаться от гимнов славы, дабы полностью вкусить отраву пения; но возникнет перед нами Эней, покидающий Дидону ради высокого подвига, и мы сразу вспомним одну из главных брюсовских идей...

Но что уже окончательно странно в книге, обязанной, казалось бы, вобрать в себя упадочные настроения буржуазной интеллигенции эпохи реакции, так это значительный рост стихов, относящихся к области философской и научной поэзии. Оказывается, что Брюсов не случайно в эту пору сочувственно отзывался о научной поэзии Ренэ Гиля и его школы, а в своей критике сетовал на отсутствие у русских молодых поэтов больших мыслей. Оказывается, что и для личной поэтической практики Брюсов стал находить новые возможности. Превосходно в своем чисто гетевском взгляде на труд поколений стихотворение «Век за веком». Исключительно интересной посейчас представляется биологическая сущность «Жизни». Путь человечества от первобытного строя до нашего времени социальных раздоров и покорения стихий—такова тема «Хвалы Человеку». И именно Брюсов, первый в русской поэзии и один из первых в поэзии мировой, приветствовал успехи авиации классическим стихотворением «К кому-то» (позже—«Первым авиаторам»):

...Так! мы исполним завещанье
Великих предков. Шар земной

Мы полно примем в обладанье,
Гордясь короной четверной.
Пусть, торжествуя, вихрь могучий
Взрезают крылья корабля,
А там, внизу, в прорывах тучи,
Синеет и скользит земля!

Была ли эта линия брюсовского творчества, выделявшаяся на фоне помрачения общественной мысли и литературы и уводившая поэта в сторону от многих современников, результатом единственно воли Брюсова? Поэт, конечно, традицию научной поэзии в ту пору знал хорошо. Но любопытно, что как раз в эти годы писались и выходили также и книги других русских научных поэтов. В 1910 г. появились, например, «Звездные песни» шлиссельбуржца Н. Морозова. Слабые, но сциентические по устремлениям стихи писал Б. Гуревич (в 1913 г. издавший «Вечно человеческое»). На очереди было появление «Дикой порфиры» М. Зенкевича, акмеиста и научного поэта. И даже Н. Гумилев, не проявлявший никакого интереса к идеям Гиля, находил какие-то новые мотивы, менее всего упадочные:

...Нам брести в смертоносных равнинах,
Чтоб узнать, где родилась река,
На тяжелых и гулких машинах
Грозовые пронзать облака
. . . . . .
Но, быть может, подумают внуки,
Как орлята, тоскуя в гнезде:
«Где теперь эти крепкие руки,
Эти души горящие—где?»

Очевидно, имелась какая-то объективная причина для того, чтобы в период литературного затишья и намечавшегося кризиса символизма (на смену которому уже шли акмеизм и футуризм) сциентические тенденции, в той или иной форме,

возникли у целого ряда поэтов. Такой причиной было, конечно, дальнейшее неудержимое становление передовой буржуазии, преодолевавшее трудные условия, созданные политикой самодержавия. Характерно, что среди символистов кризису были подвержены преимущественно те поэты, которые в своем увлечении мистикой и религиозным пониманием искусства отставали от времени, или же те, которые страдали от своих идеологических связей с усадебным дворянством, как, например, Блок.

Оттого-то особенно любопытны политические стихи, имеющиеся и во «Всех напевах». Брюсов, доказавший свое умение дышать воздухом эпохи в период «Венка», теперь дает помеченное еще 1905 г. обращение к «Служителю муз», в котором, исходя из догмы патриотизма, достигает, по существу, широкого обобщения («свой хор заветный водят музы вдали от дольних зол и бед, но ты родные Сиракузы люби, как древле Архимед!»). 1905 годом помечена такая вещь, как «Дух земли», связанный с гетевскими стихами. Неопытные маги вызывают духа земли, и тот восстает в чудовищном величии, озаряя глубь столетий. «И вот, отпрянув, мы трепещем, заклятья повторяя вслух: да остановим, словом вещим, тебя—неукротимый Дух!» Основным же для периода «Всех напевов» политическим стихотворением остается «Наш демон» (1908). Вот как сказалась теперь мечта Брюсова видеть Россию великой, забывшей и Цусиму, и «ужас декабрьских дней»:

...Куда ж теперь, от скал Цусимы,
От ужаса декабрьских дней,
Ты нас влечешь, неодолимый?
Не видно вех, и нет путей.
Где ты, наш демон? Или бросил
Ты вверенный тебе народ,
Как моряка без мачт и весел,
Как путника в глуши болот?..

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Брюсов писал в книге «Все напевы»: «Я сеятеля труд упорно и сурово свершил в краю пустом; и всколосилась рожь на нивах; время снова мне стать учеником... О, радость творчества, свободного, без цели, ко мне вернешься ты... вновь, как Адам в раю, неведомым и новым весь мир увижу я». Труд «сеятеля» поэт в эту пору действительно свершил, и «рожь» его всколосилась. Учиться у жизни Брюсов продолжал, но радость «бесцельного», т. е. безыдейного, творчества и непосредственное «адамово» видение мира (здесь, собственно, и следует искать зарождение адамизма-акмеизма) были не для Брюсова.

В «Зеркале теней» отразились далеко не все события, происшедшие в России за 1909—1912 гг. Мимо брюсовского зрения прошли столыпинские виселицы, Ленский расстрел... Ставший «признанным» поэтом, Брюсов в это время был близок к «Русской мысли», являлся руководителем литературного отдела сего кадетского журнала. Прежняя нелюбовь к кадетам, как к соглашателям, в какой-то мере могла ослабеть.

Мы сказали: «признанный поэт»... Оцененный с разных точек зрения, целым рядом критиков, названный Каменевым в «Литературном распаде» величайшим поэтом русской буржуазии, Брюсов однако не имел недостатка и в хулителях. Отстраним нововременские ругательства Буренина и др. Но вот футуристы, подлинные выкормыши Брюсова (об этом дальше), кричат о «картонных латах» поэта «Василия» Брюсова. Самая же отрицательная оценка творчества Брюсова была дана в годы реакции буржуазным эстетом Ю. Айхенвальдом в брошюре «Валерий Брюсов». «От господа он никакого таланта не получил и сам вырыл его упорным заступом своей работы... илот искусства, труженик литературы... он не запечатлел своих книг красо-

той духовного аристократизма и беспечности... Преобладают у него прилежание и рассудок, и сухое веяние последнего заглушает ростки непосредственности и живой святой красоты... Где-то позади осталась жизнь, отстала от его стихов, и перед ним развертывается одна литература... Если Брюсову, с его тяжелой поэзией, и не чуждо некоторое величие, то это именно величие преодоленной бездарности». Таковы были основные утверждения Айхенвальда, которому подчас вторили, к сожалению, и люди, казалось бы, другого лагеря, например, П. Коган. Вопреки подобным суждениям поверхностных эстетов-импрессионистов и сторонников «святой простоты», Брюсов оставался единственно жизнеспособным представителем старшего поколения символистов. Показательно, что акмеист Гумилев, резко судивший появлявшиеся книги Бальмонта или Вяч. Иванова (литература вчерашнего дня, пусть порой и прекрасная,—таков смысл этих отзывов), о Брюсове неизменно говорил как о поэте актуальном.

Четырнадцать отделов «Зеркала теней» были не лишены различных противоречий, но общая направленность книги не подлежала сомнению. Во вступительном стихотворении «Веселый зов весенней зелени», после замечательных строк о неостывшей любви к миру, говорилось, правда, о загробной жизни, но достаточно условными казались эти мистические ожидания поэта-позитивиста («приди и ты, живых пугающий, неотвратимый строгий час... вечностью хранимый, в тех далях я узнаю вновь и страсть, и горесть, и любовь, блеск дня, чернь ночи, весны, зимы»). Основное в «Зеркале теней»— это дальнейшее настойчивое утверждение земной жизни вообще и полнозвучия личной жизни в частности. Отсюда и дальнейший отход от символизма, понимаемого так, как понимал его, скажем, Вяч. Иванов... Выросший на «вечернем асфальте», Брюсов, например, возвращается к темам некоторых

своих «Вечеровых песен». Появляются добротные пейзажи, чуть ли не в духе старой реалистической школы. «В поле» и «По меже» особенно удались поэту-горожанину, дед которого был крепостным мужиком. Вместе с тем, эти деревенские строки Брюсова можно целиком противопоставить дворянским элегиям Бунина. «В полях забытые усадьбы свой давний дозирают сон», словно полемизируя, пишет Брюсов. По аллеям старых дворянских парков, где когда-то шумели «прошлые затеи», ползают жабы, проходят ежи. «Лишь в бурю, осенью, тревожно парк стонет громко, как больной, стряхнуть стараясь ужас сонный... Старик, жить дважды невозможно: ты вдруг проснешься, пробужденный внезапно взвизгнувшей пилой». И тотчас же следуют строки о шоссе, по которому поэт несется (совсем в духе Игоря Северянина!) в «лимузинке». Торжество реалистического буржуазного метода сказалось и на отделе «Объятия снов», где якобы символистические мотивы на деле оказываются картинами бытового и психологического порядка («Бессонница», «Кошмар», «Сон» и др.).

Делались в советской критике ссылки на такие вещи «Зеркала теней», как «Демон самоубийства», «На пляже», «Офелия», поэма «Подземное жилище», цикл о «Соблазнителе». Правильнее всего брать эти вещи как боковые, мало характерные для Брюсова на данном этапе. Конечно, те настроения, которые в годы реакции владели широкими кругами интеллигенции и дали Арцыбашеву возможность написать «У последней черты», могли толкать поэта к подобным темам. Но мы подчеркиваем почти хроникерскую сущность терцин «На пляже» и обращаем внимание на тот, не совсем пустой, факт, что в «Подземное жилище» автор проникает не как соучастник, а... с полицией. Относительно же «Le paradis artificiel» надо сказать, что это, в основном, не столько записи гашишных переживаний, сколько прямое подражание

известному бодлэровскому трактату об «искусственном рае».

Наличие упадочнических вещей в «Зеркале теней» полностью объясняется отделом «Под мертвою луной». Стихи по-брюсовски символичны, т. е. позволяют видеть «второй план» со всей ясностью каждому, кто умеет ориентироваться в творчестве Брюсова. «В моей стране—покой осенний, дни отлетевших журавлей». Как будто просто «сезонные» строки. Но вскоре пейзаж пополняется явно публицистическим содержанием: «Свершила ты свои обеты, моя страна! и замкнут круг... насыться миром и свободой, как раньше делом и борьбой,— и зимний сон, как всей природой, пусть долго властвует тобой... чтоб иль воскреснуть с майским зовом, иль в неге сладкой умереть!» А вслед затем предлагается «Зерно» («лежу в могиле, умираю, молчанье, мрак со всех сторон... и все трудней мне верить маю, и все страшней мой черный сон»).

И только после подобных, достаточно прозрачных, вещей даются аналогии в личных признаниях («Цветок засохший, душа моя» и пр.). Что это так, что книга «Зеркало теней» полна политических мотивов,—об этом неопровержимо свидетельствует цикл «Грядущему привет». Там—стихотворение «К финскому народу», где поэт-демократ приветствует страну упорного труда в ее горькие дни и призывает к надежде на лучшее. Там—к стихотворениям «В моей стране» и «Зерно» примыкает уже прямое обращение «К моей стране», в котором Брюсов открыто говорит о 1905 г., разбудившем «мнимого мертвеца»: «О, страшен был твой недвижимый, на смерть похожий черный сон! Но вдруг пронесся гул Цусимы»—и т. д., вплоть до конца: «Ты вспомнила восторг победы и то, о чем сказали деды: что ты великой быть должна! Пусть ветры вновь оледенили разбег апрельский бурных рек: их жизнь—во временной могиле, мы смеем

верить скрытой силе—ждать мая, мая в этот век!» Брюсов в период «Зеркала теней» не случайно обращался и непосредственно к политике, напечатал, например, в «Русской мысли» большую статью по поводу тогдашних балканских событий. Многие идеи этой статьи имеются в стихотворении «Проснувшийся Восток», приведшем в экстаз Гумилева (см. его отзыв о «Зеркале теней»). Это опять воспоминание о Цусиме! Это вновь предчувствие «состязанья мирового». И за неожиданными на вид, чисто соловьевскими «пан-монголистскими» идеями Брюсова о грядущей войне Запада с Востоком, белой расы с желтой, проступал как объективный смысл империалистический подъем России... Совершенно ясно, что после тех заминок, которые были во «Всех напевах», Брюсов в «Зеркале теней» открыто возвращался к своей роли гражданского и политического поэта, сознательно или «бессознательно» приводил свои убеждения в согласие с волей империалистских верхов командующих классов. Взглянем еще на «Властительные тени»—ведь в принципе это те же «Образы былые» и «Правда вечная кумиров»! Написаны новые стихи—порою средние, порою отличные,—но общий тон их остался прежним. Выделяется поэма о Моисее, судьба которого чудесна, а душа «противоречий клуб». Пафос этой поэмы—в преклонении перед подвигом, осуществляемым год за годом не одним вождем, но и его народом, с которым Моисей умеет и бороться, воспитывая «ловцов людей». Торжество Моисея—это торжество завершенного дела («твой лик, спокойно помертвелый, взирал на ближний Галаад, но знал ты, что во все пределы твои глаголы долетят»). Из того же арсенала исторических преданий Брюсовым была взята и тема «Смерти Александра». Смерть погребла «тайну замыслов великих», и завоеватель Персии и Египта предстает перед подземным судилищем. Подымается «безликий Некто» и говорит, что Александр

Валерий Брюсов

Фото 1904 г.

Валерий Брюсов

Фото 1906 г.

провел свою жизнь буйно, а главное, сокрушив Афины и Фивы, обратил греков в рабов.

...Встает другой,—черты сокрыты,—
Вещает:—«Так назначил Рок,
Чтоб воедино были слиты
Твой мир, Эллада, твой,—Восток!
Не так же ль свяжет в жгут единый,
На Западе, народы—Рим,
Чтоб обе мира половины
Потом сплелись узлом одним?»
Поник Минос челом венчанным,
Нем Радамант, молчит Эак.
И Александр, со взором странным,
Глядит на залетейский мрак...

Это и есть приговор истории. Дело Александра не будет забыто, хотя над гробом уже спорят «буйные диадохи». Здесь Брюсов высказал правильную мысль, что перед судом истории оправдывается достижение большой, прогрессивной цели и малозначительны все побочные моменты, но, конечно, у Брюсова такое оправдание Александра было связано с империалистическими тенденциями русской буржуазии.

Заметим еще, что в «Зеркале теней» имелось много и любовных стихов. Основной тон их определялся такими строками: «хочу тоски животворящей, я по отчаянью взалкал». Иными словами—прежний культ страсти. Но в «Зеркале теней» эротика Брюсова была уже совершенно избавлена от мистической бутафории, которой в свое время поэт отдал дань. Зато для эротических циклов «Зеркала теней» характерна сугубо буржуазная обстановка: «наемные комнаты», «рестораны» и пр. Кое-что в этих стихах—подражания Брюсова самому себе, но как на своеобразное и новое можно указать на привнесение в эротику литературной темы («А! Зверь неутомимо-гибкий! Быть может,

я тебя люблю. Но все движенья, все улыбки твои— я жадно уловлю... потом—моим стихам покорным, с весельем, передам твой лик»...). После таких мыслей естественны были и имеющиеся в книге строфы о борьбе поэта с языком (стихотворение «Родной язык» в отделе «Святое ремесло»). Замечательнейшим выражением этих профессиональных настроений являлось стихотворение «Поэт—музе».

Несколькими интересными вещами швейцарского цикла был пополнен и урбанизм Брюсова. Наконец, говоря о «Зеркале теней», нельзя не упомянуть о том, что в эти, примерно, годы у Брюсова складывался грандиозный, не осуществленный полностью план «Снов человечества», этот чисто научный замысел, которым поэт, очевидно, в какой-то мере был обязан идеям Гиля (т. к. именно «Ренэ Гилю, поэту и учителю» посвящены фрагменты «Снов человечества»).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Книга «Семь цветов радуги» вышла в 1916 г., задумана же была еще в 1912. Тогда автор считал своевременным и нужным продолжать восхваления радостей бытия... Но, «как всей великой России после 1912 года суждены были великие испытания, которых в полной мере она не предугадывала, но которые,—мы верим,—сделают ее тем более великой, так и в малой личной жизни автора этой книги последние годы ознаменованы были испытаниями, которых он не ждал». Оказалось, однако, что после «испытаний» голос утверждения еще нужнее. «...Все семь цветов радуги одинаково прекрасны, прекрасны и все земные переживания, не только счастие, но и печаль, не только восторг, но и боль. Останемся и пребудем верными любовниками земли...» Уже одни эти строки предисловия подтверждают, что духовным отцом акмеистов все-таки был Брюсов. Не даром он отказы-

вался видеть в притязаниях Гумилева и его школы что-либо новое.

Урбанизация России, рост городов и промышленных предприятий, вступление страны в ряд империалистических государств внушали буржуазии мысль о расцвете, о неизбежности овладения властью. Среди тех писателей, которые отразили эту полосу буржуазного подъема, Брюсов являлся подлинно боевой единицей. Это выражалось не только его поэзией,—это явствовало и из его критической деятельности. Брюсов нападал на безыдейность молодых поэтов, толкал Блока к реализму (Блок вскоре написал «Новую Америку»), вполне дружелюбно, по тем временам, отнесся к футуристам (в урбанистических устремлениях которых видел нечто родственное себе), в силу чего сочинил даже—под псевдонимом—книгу стихов в духе Северянина («Стихи Нелли») и подвергся свирепым нападкам эпигона помещичьей поэзии—Б. Садовского. Футуристы, мелкобуржуазные интеллигенты-горожане, до войны в целом тяготели к буржуазии, и Брюсов, как это верно угадал своим классовым инстинктом Садовской, во многом действительно создал их...

«Цветовое» деление «Семи цветов радуги» искусственно. Три основные тенденции установим мы в книге: 1) брюсовский «акмеизм», 2) научные стихи, 3) отклики на войну 1914 г.

«Акмеистическое» начало в «Семи цветах радуги» порою звучит очень сильно. «Что же мне делать, когда не пресыщен я—этой жизнью хмельной... руки несытые я простираю, чтобы весь мир осязать». С «Юношами» Брюсов хочет говорить как равный, стремится походить на них, а не на стариков. Умирание осенних листьев напоминает ему о том, что опалой листве, шуршащей о смерти, суждено «в цветах весенних опять блестеть». Даже серьезная личная драма, послужившая причиной нескольких горьких признаний, не могла изменить

этот тон Брюсова, и глубоко параллельным шиллерову: «спящий в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий» представляется брюсовское стихотворение «Ушедшим мир». Бесполезно умножать такие примеры, как и приводить редкие стихи в пользу иного отношения поэта к жизни... В этих «акмеистических» стихах в особую группу могут быть выделены вещи, посвященные судьбам земли. «Дитя планеты малой», чувствующее себя (заодно с ихтиозаврами, дикарями и первыми пророками) узником земного шара, хочет добросить стих к властелинам Марса или Венеры, «к тем существам телесным иль бесплотным, что мыслят, что живут в мирах иных». Человек, с детства приученный к земной зелени, к единственной луне, к зверью и рыбам, тосковал бы о земле даже в эдеме—и об ином мире он мечтает не иначе, как в духе «Детских упований», научных фантазий о полете на Марс. И он не желает, чтобы земля, подобно диким краснокожим, удивлялась пришлецам («мы должны нести другим планетам благовестье маленькой Земли»). «Предвещанье», строфы о неизбежной, быть может, гибели земли от оледенения, фактически кончается победой человека над природой, так как на пустынном шаре остаются трепетать огни, «зажженные в веках далеких» горожанами. Содержательные мысли о сменах культур есть в стихотворении «В разрушенном Мемфисе». Обзор же противоречивых религиозных и философских учений, сделанный Брюсовым в «Истинном ответе», да и самый пессимистический конец этой вещи заставляют вспомнить Верхарна, в одном из первых своих сборников написавшего на сходную тему блестящую поэму («Книги», в сборнике «Черные факелы», 1880). И это имя здесь упоминается не случайно. Брюсов в некоторых вещах «Семи цветов радуги» вплотную подходит к научной поэзии Ренэ Гиля и Верхарна. Не менее интересен и тот факт, что в «Семи цветах радуги» Брюсов порою

совпадает и с русскими научными поэтами тех лет, например с Зенкевичем.

Оставив в стороне дополнения к финскому циклу «Венка» и встречающиеся в книге Брюсова стихи на мифологические темы,—в целом ничего к творчеству поэта не прибавляющие, а иногда просто слабые,—упомянем бегло о балладах, узаконивших, заодно с балладами Вяч. Иванова, в русской поэзии трудную французскую форму, и обратимся к отделу «В ваших чертогах», предшествовавшему стихам о войне. Здесь поэту является, конечно, «надменный корсиканец» (в связи со столетним юбилеем войны 1812 г.). «Тиран в кругу льстецов, губитель сил народа!»—декламирует Брюсов и явно старается постигнуть дух пушкинской оды Наполеону. Тут же, около стихов о корсиканце, возникает «Гарибальди», и у Брюсова выходит, что главное в этой исторической фигуре не борьба за освобождение нации от иноземных угнетателей, а то, что Гарибальди еще при жизни стал «народным мифом». Тут же и стихи о российской столице, городе Петра («наш Кесарь-Август, наш Ликург»), и стихотворение «Три кумира», неправильно понятое Лелевичем. По Лелевичу получается, что последний из трех памятников (Александр III) у Брюсова знаменовал тупик самодержавия, его остановку. Но Брюсов склонялся именно перед «мощностью наследной», перед нерушимостью и твердостью монархии. Идея великой России попрежнему владела поэтом...

Советскому читателю, понимающему значение послеоктябрьских брюсовских стихов, достаточно тяжело просматривать обширные военные циклы «Семи цветов радуги». Конечно, брюсовское творчество было полностью детерминировано его прошлым, но ведь «идея детерминизма, устанавливая необходимость человеческих поступков, отвергая вздорную побасенку о свободе воли, нимало не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни

оценки его действий» (Ленин). Отдельные произведения в этих циклах соперничают с продукцией тогдашних оголтелых шовинистов.

«От камня, брошенного в воду, далеко ширятся круги. Народ передает народу проклятый лозунг: мы—враги». Потрясенному сознанию поэта в мировой войне виделось решение всех противоречий его века и восстановление былого престижа России, пошатнувшегося в 1904—1905 гг. Показательно, что в начале войны Брюсов развивает активнейшую деятельность не только как поэт. В качестве военного корреспондента он уезжает на фронт, печатает корреспонденции в газетах, публикует в «Русской мысли» статью «Война вне Европы»... Здесь мы, впрочем, должны говорить только о военных стихах Брюсова. Эти стихи открывались «Последней войной»:

...Покрыв столицы и деревни,
Взвились, бушуя, знамена.
По пажитям Европы древней
Идет последняя война.
. . . . . .
Пусть рушатся былые своды,
Пусть с гулом падают столбы,—
Началом мира и свободы
Да будет страшный год борьбы!

Война 1914 г., может быть, и оказалась в некотором смысле «последней», но совсем не в брюсовском смысле. «...Империализм поставил на карту судьбу европейской культуры; за данной войной, если не будет ряда успешных революций, последуют вскоре другие войны—сказка о «последней войне» есть пустая, вредная сказка, мещанская «мифология»..... Пролетарское знамя гражданской войны не сегодня, так завтра, не во время теперешней войны, так после нее, не в эту, так в ближайшую следующую войну, соберет вокруг себя не только сотни тысяч сознательных рабочих, но и миллионы

одураченных ныне шовинизмом полупролетариев и мелких буржуа, которых ужасы войны будут не только запугивать и забивать, но и просвещать, учить, будить, организовывать, закалять и подготовлять к войне против буржуазии и «своей» страны и «чужих» стран» (Ленин). Об этом тогдашний Брюсов еще не думал, и господствовавшие классы России, буржуазия и помещики-капиталисты, могли быть довольны поэтом. Почти весь комплекс патриотизма, слепого шовинизма и империалистической агрессивности у Брюсова налицо. Он решает вопрос о роли славянства, чья мощь сдержала монголов, привела миру титанов духа—Пушкина, Толстого, Достоевского—и чьи войска теперь непременно должны, в союзе с Англией и Францией, побить надменную Германию («и что же! священный союз ты видишь, надменный германец? Не с нами ль свободный француз, не с нами ль свободный британец?»). Он славит встречу славянских племен в Карпатах, усиленно восхваляет «одноплеменного орла»—Польшу, перед которой теперь заискивал ее угнетатель—царизм. Он, Брюсов, ждет возобновления былых «подвигов при Ронсевале, твоих ударов, Карл Мартелл», утверждает, что война—это неизбежная и нужная буря («да выйдут древние народы из бури к просветленным дням»). Он, перекликаясь с Верхарном, забывшим о деле социализма и перешедшим к шовинистам, слагает гимны «Фламандцам» и угрожает «Тевтону», переполнившему «чашу меры» («знай: Реймса каменная груда безмолвно вопиет к векам»). Он в период поражений России на польском фронте возобновляет старые «отечественные» теории о «географической» непобедимости России («и пусть над Бугом—каски прусские; он от того чужим не стал; и будем мы все те же русские, уйдя за Волгу, за Урал»). Он торжествует победы «союзного флота» и русских войск на турецком фронте и, впадая в невыносимую пошлость позднего славяно-

фильства, с полной искренностью умиляется бомбардировкой Дарданелл новейшими «крестоносцами» («то вновь крестоносцы с высоты броненосцев засыпают снарядами валы Дарданелл»).

Несмотря на преобладание таких мотивов, Брюсов все же в иных стихотворениях оказался большим поэтом своего класса. И тут следует установить разницу между военными стихами Брюсова и Гумилева. У Брюсова, в его лучших вещах, наблюдается стремление видеть в войне какое-то высшее, идейное, назначение, исторический смысл борьбы за культуру, стадию какого-то испытания... Для Гумилева же, представителя целиком обуржуазившегося дворянства, поэта, перешедшего к империализму с геральдическими воспоминаниями, дело обстоит проще. Для него, «конквистадора», война сама по себе совершенно естественная, нужная и благородная вещь («воистину светло и свято дело величавое войны»). У Брюсова такой элементарности нет, его действительно заботят те страдания, которые выпали на долю, скажем, Польши. Оттого и возникли еще в ноябре 1914 г. смутные гуманистические мысли:

От Альп неподвижных до Па-де-Кале
Как будто дорога бежит по земле;
Протянута лентой бесцветной и плоской,
Прорезала Францию узкой полоской.
Все мертво на ней: ни двора, ни куста;
Местами—два, три деревянных креста,
Местами—развалины прежних строений
Да трупы, да трупы—тела без движений... и т. д.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В «Семи цветах радуги» были горделивые самоутверждения поэта, в которых он равнялся на «памятники» Горация—Державина—Пушкина и на такие имена, как Вергилий, Данте, Гете и др. «Распад

певучих слов в грядущем невозможен,—я есмь и вечно должен быть... повсюду долетят горящие страницы, в которых спит моя душа. За многих думал я, за всех знал муки страсти, но станет ясно всем, что эта песнь—о них». Совершенно излишне сопоставлять эти стихи с подлинно индивидуалистическими высказываниями хотя бы Сологуба. То же сознание полезности своего дела, совершаемого для многих, для целых поколений, слышится и в стихотворении «Летом 1912 года» («в длинном перечне, где Данте, где Вергилий, где Гете, Пушкин, где ряд дорогих имен, я имя новое вписал»). Какими бы претенциозными ни казались подобные стихи в те годы, Брюсов слагал их, уже имея некоторые основания для такой гордости.

Но быть большим и даже великим поэтом еще не значит не ведать никаких кризисов и ослаблений творчества. «Девятая камена» и «Последние мечты» означали именно такой глубокий кризис поэта, именно такое временное ослабление его творчества. Из этого не следует, что в названных книгах совсем нет хороших стихов. Но в большинстве случаев эти страницы мало выразительны.

К лучшим вещам «Девятой камены»[1] могут быть причислены некоторые армянские стихи Брюсова, писавшиеся параллельно тогдашним занятиям поэта литературой и историей Армении, а также явившиеся непосредственным результатом его поездок в Армению (1916—1917 гг.). В армянских стихах проявилась богатая эрудиция Брюсова, его знание

[1] В предисловии к «Последним мечтам» Брюсов указывал, что «Последние мечты» стали отдельным сборником потому, что напечатанию «Девятой камены» помешали типографские затруднения. Таким образом, считаясь с наличием двух книг (из которых одна не издана полностью), мы должны не забывать об их связанности. В своей работе я говорю о «Девятой камене», преимущественно ориентируясь на вещи, напечатанные до и после смерти Брюсова, но у меня была возможность ознакомиться и с полным машинописным текстом «Девятой камены», находящимся в архиве поэта.

древних взаимоотношений Армении с Элладой и Римом и т. д. Были в этих вещах и отклики на военную грозу, от которой Армения так пострадала,—то гуманистические, то сводившиеся к подчеркиванию воинственных моментов в былой жизни нации. Армянская националистическая буржуазия могла все это только приветствовать.

Дальнейшему развитию подверглась в «Девятой камене» тема мировой войны. Сравнивая эти очередные военные стихи Брюсова с прежними, мы видим, что первые брюсовские порывы оказались более темпераментными и яркими. После целого ряда стандартно-патриотических вещей «Девятой камены» Брюсов, как поэт войны, выдыхается (поразительна художественная слабость некоторых этих стихов). Затяжной характер войны, распутинщина, измены, неудачи русского оружия, растущее народное недовольство постепенно открывали Брюсову глаза. Трезвейший из русских буржуазных поэтов пытался заново ориентироваться в действительности. Показательно, что в 1915 г. он опубликовал стихотворение «Я первые полеты славил», где возмущался военным применением авиации, а в своем архиве оставил не напечатанными строки, которые ввиду недавно исполнившегося столетия со дня смерти Гете можно здесь привести:

Во дни великого страдания,
Когда любой рассвет кровав,
Тебе я приношу, Германия,
Венец непобежденных слав.
Да сковывает немота уста
Тех, кто забудет в этот день
Творца, изваявшего Фауста,
Елены вызвавшего тень!
Союз народов! bone ceute!
Гласи: да торжествует Гете!

Эти гуманистические стихи прибавляют, конечно, к Брюсову периода войны интереснейший

штрих. Из подобных порывов гуманизма и пацифизма сложилось и стихотворение «Тридцатый месяц», демонстративно напечатанное Брюсовым в горьковской «Новой жизни». Характерно, что Брюсов продолжает обманываться, говорит о первоначальных светлых порывах, о борьбе за право, за идеал, только потом якобы превратившейся в звериную драку. «Тридцатый месяц, бог Европы, свободный Труд—порабощен: он роет для войны окопы, для Смерти льет снаряды он. Призывы светлые забыты первоначальных дней борьбы: в лесах грызутся троглодиты под барабан и зов трубы... Борьба за право стала бойней, унижен, Идеал поник... И все нелепей, все нестройней крик о победе, дикий крик... Пора отвергнуть призрак мнимый, понять, что подменили цель...» Такой пацифизм был даже незначителен по сравнению с пацифизмом Маяковского или Хлебникова, у которых прорывались и более актуальные ноты («Война и мир», «Война в мышеловке»). Но все это подготовляло почву для будущего.

Будущее пришло сначала в образе Февральской революции. Мог ли не приветствовать ее поэт, воспевший революцию 1905 года? Брюсов пишет «Освобожденную Россию». Еще раз приходится убедиться, что Брюсов издавна был буржуазно-революционным поэтом, несмотря на свои заигрывания с монархией. «Не даром жертвы без числа Россия в дни борьбы кровавой и в дни былого принесла! Не даром сгибли сотни жизней на плахе, в тюрьмах и в снегах! Их смертный стон был гимн отчизне, их подвиг оживет в веках! Как те, и наше поколенье свой долг исполнило вполне...» Но устал ли Брюсов к этому времени от своих гражданских надежд, неоднократно лопавшихся, заметил ли он вскоре обнаружившуюся и напомнившую о 1905 г. соглашательскую тактику ставшей у власти буржуазии,—вывод один: подлинным поэтом Февраля Брюсов не сделался. Любопытно стихотворение

«В мартовские дни», писавшееся в самый разгар ликований российской буржуазии, да и не только буржуазии. «Приветствую Свободу!.. Чего ж еще хотеть? Но в золотое слово влита, я знаю, медь: оно, звуча, не может, как прежде, мне звенеть! Приветствую Победу... Свершился приговор... Но, знаю, скрыт в засаде губительный Раздор: блеск роковой кинжала мой различает взор...». В целом, брюсовские стихи в промежуток между Февралем и Октябрем, да и в первые месяцы после пролетарской революции, отмечены каким-то выжидательным характером, неуверенной гражданственностью, уходом в личные переживания и попытками найти большие темы не столько в современности, сколько в далекой истории (хотя Брюсов и выпустил в марте 1917 г. брошюру, в которой призывал к войне, правда, в целях обороны). Весьма интересно, что, издавая «Последние мечты» (книга вышла только в 1920 г.), Брюсов подвел под эту рубрику—последних мечтаний—именно такие, немощные в общественном отношении, вещи. Какое-то одряхление, какое-то отстранение от актуальных тем встречает читателя уже в первых строфах книги. «Я больше дольних смут не вижу, ничьих восторгов не делю; я никого не ненавижу и,—страшно мыслить,—не люблю! Но, с высоты полета,—бездны открыты мне былых веков...» Поэт с одинаковой и, по существу, старческой любовью безвольно перебирает «бусы»—прожитые годы, и ни от чего не в силах отречься («Ожерелья дней»). Дальше—«Ученик Орфея» и тому подобные произведения, в которых Брюсов обещает до конца служить только поэзии; дальше—стихи об уходящей юности и декларации о весне; повторения прежних урбанистических тем; переложения в бледные стихи мифологических и исторических преданий; явно неудачные строфы о детях; отдельные рецидивы старого декадентства и даже мистические молитвы и обращения к религии (в 1918 г. Брюсов, уже соединивший свою судьбу

с пролетарской революцией, умиленно пишет о библии, этой книге книг, этом откровении, данном для вселенной «всевышним»!). А наряду с тем поэт еще до Октябрьской революции приветствовал стихами Горького, которого начала травить буржуазная интеллигенция. А вместе с тем, Брюсов в 1917 г. написал новый гимн труду («Работа»), где мотивы трудового демократизма и просвещенчества перекликались с лучшими старыми стихами поэта... Можно думать, что «Последние мечты» сам Брюсов осознавал как книгу какого-то разброда, какого-то прощания с прошлым,—давая ей знаменательное название.

Но в одном из стихотворений этой книги Брюсов не случайно говорил, намекая, очевидно, на свои юношеские стихи про «гребень встающей волны» («Мы» в «Третьей страже») о том, что ему не суждено исчезнуть. «Я—капля в море! Назад отринут, кружусь в просторе,—но не исчез, и буду бурей снова вскинут под вечным куполом небес!» Исчезнуть как поэту Брюсову действительно не пришлось. Залогом его будущего участия в «буре» была крайняя противоречивость сборников «Девятая камена» и «Последние мечты». Полезным, видимо, оказался и временный отход Брюсова от неясной ему современности на позиции сугубого историзма. Именно в 1918 г. поэт написал венок сонетов—«Светоч мысли»,—в котором пытался найти в истории человечества одну линию прогресса. Тогда же, в 1917—1918 гг., Брюсов интенсивно работал и над «Снами человечества», находя для себя уроки в судьбах далеких погибших культур Эгейи и Атлантиды. А самым обещающим фактом было то обстоятельство, что Брюсов, сдержанно отнесясь к Февралю, к Октябрьской революции не проявил никакой враждебности и был одним из немногих буржуазных интеллигентов, сразу же признавших власть большевиков. Брюсов предложил свои силы новому правительству в мо-

мент, когда самое существование Октября было под вопросом. И надлежит современным читателям помнить, что тогда выразить свою симпатию к большевикам—значило вызвать целую бурю негодования, сплетен и клевет в той среде, в которой вращался Брюсов.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Появившиеся в 1921—1922 гг. очередные книги Брюсова—«В такие дни» и «Миг»—в целом прошли мимо критики. Марксистов, писавших в первые годы Октября о поэзии, фактически не было. Буржуазные литераторы, естественно, тяготели к «Последним стихам» З. Гиппиус. Эсеры упивались, в лучшем случае, Блоком и Клюевым. Позже появившиеся в советской критике оценки брюсовского творчества периода «В такие дни» и «Миг» оказались либо порочными, либо беглыми. Необходимо заполнить пробел.

Очутившийся в «Девятой камене» и «Последних мечтах» на распутьи, Брюсов мог остаться большим поэтом только в том случае, если бы он Октябрьскую революцию усвоил в своем творчестве глубоко, путем жесточайшего перевоспитания, развивая по-новому то демократическое начало, которое всегда было у поэта, преодолевая буржуазные иллюзии о свободе творчества и т. п. На такой дороге были, конечно, возможны огромные срывы, но Брюсов пошел именно по такому пути органического вростания в эпоху, крутой ломки мировоззрения, пересмотра своего культурного багажа, постепенной ликвидации того, что могло быть когда-то по-своему прогрессивным, но стало реакционным в годы пролетарской диктатуры.

Перед нами сложнейшее превращение буржуазно-революционного поэта сперва в сторонника пролетарской революции, а затем—и в ее участника. Раньше всего появилась, в новом аспекте,

прежняя идея великой России, когда-то спасшей Европу от Чингисхана, высоко поднявшейся «в дни революции Петра», а ныне, в час мировой расплаты, взметнувшей свой факел над миром, «народам озаряя путь». «Что ж нам пред этой страшной силой? Где ты, кто смеет прекословить? Где ты, кто может ведать страх? Нам—лишь вершить, что ты решила, нам—быть с тобой, нам—славословить твое величие в веках!» Это, конечно, уже было вызовом людишкам, в которых Октябрь вызвал озлобление против России и тоску по «заграницам», но само собой понятно, что в таком толковании пролетарской революции ничего пролетарского не было. Стоит взглянуть также на стихотворение «Парки в Москве». Объективная правда нашей революции в том, что, будучи революцией интернациональной, она заодно послужила толчком и для национального подъема; но, разумеется, Брюсов был еще далек от понимания существа Октябрьской революции, когда писал о древних богинях, в крестильный день, под трагические залпы, пробегавших по Москве с ножницами и разрезавших «нити длинные, свивавшиеся от Ивана Калиты». «Нить разрезав, цепко связывали к пряже—свежую кудель; чтоб страна, борьбой измученная, встать могла, бодра, легка, и тянулась нить, рассученная вновь на долгие века». Нить-то была другая! Помогает пониманию брюсовских предпосылок и «Весна», где, ничего не говоря о сущности свершившегося, Брюсов утверждает только, что «нет места для сомнений тут... где от начала бодрый Труд был торжествующей святыней».

Но здесь же находились вещи с несколько другой идейной зарядкой, напр[illegible] стихотворение «Только русский», в котором, за вычетом излишне националистических первых строк, были вполне положительные, особенно для тех лет, мысли («полюби ж в толпе вседневной шум ее и гул, и гам, даже грубый, даже гневный, даже с бранью попо-

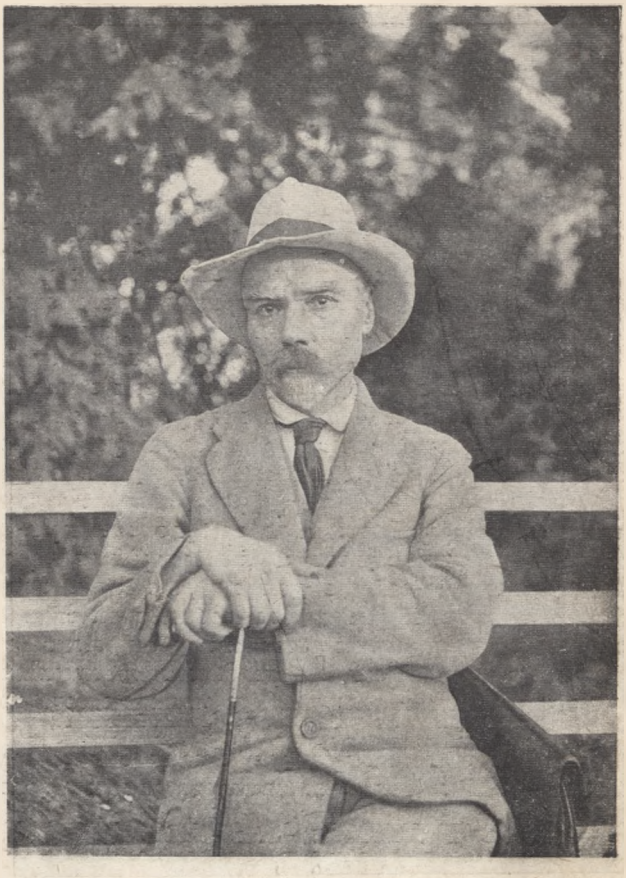
лам» и пр.). А затем уже никак нельзя обойти молчанием «Третью осень»:

Вой, ветер осени третьей,
Просторы России мети,
Пустые обшаривай клети,
Нищих вали по пути;
Догоняй поезда на уклонах,
Где в теплушках люди гурьбой
Ругаются, корчатся, стонут,
Дрожа на мешках с крупой.
. . . . . .
Но вслушайся: в гуле орудий,
Под проклятья, под вопли, под гром,
Не дружно ли, общей грудью
Мы новые песни поем?
. . . . . .
Эй, ветер, ветер! поведай,
Что в распрях, в тоске, в нищете
Идет к заповедным победам
Вся Россия, верна мечте;
Что прежняя сила жива в ней,
Что, уже торжествуя, она
За собой все властней, все державней
Земные ведет племена!

Брюсов, конечно, повредил целостному впечатлению, продемонстрировав, в конце концов, рецидив своего старого мессианизма («прежняя сила», «державней»). Но, если отбросить эту архаику и сменовеховскую тенденцию (появившуюся, впрочем, до «смены вех»), мы признаем «Третью осень» вещью очень значительной. Брюсов был единственным старым поэтом, не вопившим о разгроме страны, нищете, голоде и т. д., а главное, он обошелся здесь без всякого мистицизма, изуродовавшего лебединую песню Блока—его «Двенадцать». А что уже совсем важно, так это тот факт, что с «Третьей осенью» соседило обращение «К рус-

Валерий Брюсов

Фото 1907 г.



Валерий Брюсов.

Фото 1923 г.

ской революции»—стихотворение, в котором Брюсов с достаточной точностью выразил именно интернациональный размах Октября...

Уже эти, открывающие книгу «В такие дни», стихи показывают, насколько порочны утвержденья Г. Горбачева, который даже в 1925 г. (т. е. после выхода «Далей» и «Меа»—сборников Брюсова, ценность которых мы вскоре определим) находил возможным писать: «Брюсов как поэт умер, в сущности, одновременно с Бальмонтом... Приняв ее» (Октябрьскую революцию) «политически, он, конечно, не переродился в глубинах своей духовной жизни и в основах мировосприятия. Поэтому большой ошибкой со стороны В. Брюсова было выпустить два сборника стихов, в значительной части посвященных пролетарской революции...» В том-то и дело, что начавшаяся борьба Брюсова с самим собой как раз и происходила в глубинах его «духовной жизни», так как поэт рвал с целым рядом своих основных иллюзий, а не только с былыми политическими взглядами. Брюсов, например, пишет стихотворение «Нам проба», где, отказываясь от индивидуализма и пассивного отношения к событиям, требует от современников беспощадного выбора между двумя борющимися сторонами, отказа от «нег» и строжайшей дисциплины. Очень замечательна инвектива «Товарищам-интеллигентам». Это настоящий суд над обширной частью «носителей знаний». Поэт с превосходным презрением говорит о тех, кто недавно еще наслаждался и Уэллсом, и Лондоном, и Леру, и его собственным «Венком»:

...То, что мелькало во сне далеком,
Воплощено, в дыму и в гуле...
Что ж вы коситесь неверным оком
В лесу испуганной косули?
Что ж не спешите в вихре событий
Упиться бурей, грозно-странной,

И что ж в былое с тоской глядите,
Как в некий край обетованный?
Иль вам, фантастам, иль вам, эстетам,
Мечта была мила, как дальность,
И только в книгах да в лад с поэтом
Любили вы оригинальность?

Такие строки явно перекликались со старым обращением к «Довольным», но было ясно их новое оправданье. Брюсов-максималист в своем стремительном разрыве с «интеллигентами» шел далеко. В то время, когда не только контрреволюционная интеллигенция, но и вполне доброжелательно относившиеся к советской власти умы впадали в уныние при каждом известии о случайной гибели какого-нибудь памятника, библиотеки и т. п., Брюсов, на новый лад продолжая свое былое приветствие «Грядущим гуннам» и верхарново «Восстание», прославлял «Мятеж» («разрушается старое, значит, поднимется новое... разрушению — привет»).

«Пусть гнал нас временный ущерб в тьму, в стужу, в пораженья, в голод: нет, не случайно новый герб зажжен над миром—Серп и Молот». Наличие попутнических тенденций в книге «В такие дни» очевидно для всякого непредубежденного и не механистически мыслящего человека. Брюсов, при всех своих срывах, действительно повернул к творческому освоению Октября. Вместе с тем, надо сказать, что целый ряд других стихов книги еще нагляднее свидетельствовал, что в 1919—1920 гг. поэт никак не обладал цельным мировоззрением. Богатый дополнительный материал дают любовные стихи, составляющие два больших отдела («Над мировым костром» и «Шаги Афродиты»). Основная идея этих стихов в том, что «над мировым костром» любовная страсть приобретает особенно победный и бурный характер и тем самым адэкватна страсти революционной. В этой идее нетрудно

узнать дореволюционного Брюсова. Не удивительно, что при подобном преувеличении эротики Брюсов в одном стихотворении склонен видеть чуть ли не весь смысл революции в том, что она вновь бросила поэта в круговорот страсти. «Чтобы око земное не слепло, на мгновенье двум сближенным в смех—от советской Москвы на Алеппо революции праздничный сбег. И с земли до звезды, до столетий восстающих—борьбе и войне этот огненный столп одолеть ли...» После такого «романтизма» характерной представляется и попытка Брюсова сделать буржуазных романтиков (даже не романтиков типа Гюго, но именно певцов фантастических принцесс и пр.) прямыми предшественниками пролетарских революционеров (стихотворение «Романтикам»). К порочнейшим стихам книги должно присоединить и почти все вещи, трактующие любовь в мифологических образах,—все эти «Шаги Афродиты», «Гимны Афродите», «Цезари и Клеопатры»; такие произведения являлись стихийным продолжением буржуазной лирики. Из этого обширного эротического ряда мы сейчас можем выделить только некоторые стихотворения, отличающиеся наибольшей художественностью, близостью к реализму, оригинальностью темы, философской и научной глубиной. «Мы—человечества всплеск, мы—поэты, в огне веков как можем не гореть? Пусть гимны ночи в Атлантиде петы, нам страсти вещий ужас—вечно петь», говорит поэт в одной из таких вещей. Своеобразен «Египетский профиль», по-своему ярка и «Klassische Walpurgisnacht». Не лишена экспрессии «Ночная улица», этот набросок ночной Москвы «девятьсот двадцатого», по которой поэт «проплывает в ладье безумия». Наше сознание никак не мирится с идеей исторического фатума, выраженной в стихотворении «Руками плечи опоясаны», но нельзя не сказать, что эту идею Брюсов разработал эффектно. Наивысшего же выражения такая, во многом «онаученная», эротика Брюсова достигла в

стихотворении «Череп на череп», где, при всей резкости брюсовских образов, были, несомненно, материалистические мысли:

...Земли не насытить
Миллиардам скелетов!
Ей надо тучнеть, тучнеть!
Чтоб кино событий
Шло в жизни этой,
Ты должен любить—хотеть...

Эта научная тенденция в книге «В такие дни» вообще проявлялась с достаточной силой, хотя Брюсов еще не предугадывал своих будущих стихов. Поэт, например, размышлял о том, что, быть может, на «синих планетах» мы должны предполагать наличие не людей, а «чудовищ, владык стихий», причем—весьма показательно!—Брюсов склонялся даже к мысли, что в мире существуют и демоны («а быть может, в огне иль в незримом дьявол, демон, вы, кто пылаете, мимо, мимо...»). Упомянем о «Пределах», о стихотворении «Во мне», о «Первом меридиане», где, в частности, появилась у Брюсова впервые строфа, выросшая в норму поведения научного поэта:

...Расточить, как щедрый наследник,
На пиру этого дня умей
Мудрецов, поэтов, проповедников
Клад, что собран в твоем уме...

Таким образом, при всей своей странной противоречивости, книга свидетельствовала о появлении и плодотворных тенденций, свидетельствовала о подлинно творческом становлении поэта в условиях Октября. И мы видим, что это становление Брюсов осуществлял с всегдашней своей страстностью, которую не могли заглушить ни большая, во многом чисто буржуазная, эрудиция поэта, ни его сложившийся жизненный опыт.

...Одно лишь знаю: дальше к свету я
Пойду, громам нежданным рад,
Ловя все миги и не сетуя
Отцветший час бросать назад.

Нужно теперь остановиться на известной статье лефовского теоретика Бориса Арватова—«Контрреолюция формы»,—на той статье, с которой не случайно солидаризировался Горбачев. Арватов предлагал свой «социологический анализ поэтических приемов Брюсова», дабы разоблачить ту реакцию, главным выразителем которой, по Арватову, был Брюсов. Осуществлялся же этот анализ следующим образом. Арватов выписывал длинные столбцы «архаических имен», в число которых почему-то попадали и астрономические названия, и имена известных исторических деятелей, и такие вещи, как Атлантида, Эгейя, Троя... «Основная черта буржуазной поэзии заключается в том, что она резко противопоставляет себя действительности», говорил Арватов и утверждал, что Ахилл именно в силу этого приятнее Брюсову, чем Архип, Киферы—любезнее, чем Конотоп, и т. д. Схоластика Арватова ясна уже здесь. Мы, прежде всего, знаем, что «резко противопоставляет себя действительности» не буржуазная поэзия вообще, а поэзия буржуазного упадка (на примере Брюсова мы в этом убедились). Далее, понятно и то, что Архип (как верно указал Брюсов в своем любопытном ответе Арватову) только тогда становится значительнее Ахилла, когда получает известное идейное значение; Арватов же мыслил чисто вербально, оперировал абстрактным словом. Точно таким же образом Арватов затем исследовал брюсовский синтаксис, метр и т. п. и пришел на основании своего анализа к сомнительным для социолога выводам: что Брюсов-де пишет «для нэпманов», что работает он не творчески, а по шаблону, что, наконец, «поэзия Брюсова, несмотря на ее «содер-

жание», является не чем иным, как социально-художественной реакцией». Меньше всего склонны мы отрицать огульно все положения Арватова. Наоборот, в его статье был и ряд четких, полезных, в первую очередь для Брюсова, указаний. Но Арватов не сумел понять существа даже одной книги «В такие дни» (о недопустимом игнорировании «Мига» и «Далей», сборников, ко времени опубликования статьи Арватова уже появившихся, не говорим). Стоя на полуформалистских позициях, впадая в мелкобуржуазную схоластику, Арватов, занявшись подсчетом «архаизмов», не понял ни достаточно положительного значения брюсовских стихов на фоне тогда еще функционировавшей буржуазной поэзии, ни борьбы противоречий в сложном творчестве Брюсова, ни его ведущей тенденции.

Рассмотрим еще «Миг»—сборник, хронологически вплотную примыкающий к книге «В такие дни». «Миг», в основном, был продолжением плодотворного кризиса. Здесь сначала появлялись стихи о неустанном движении вперед («Смотреть в былое»), строфы о грузе прожитого («Груз»), стихи о Франческе да-Римини, некоторые научные мотивы, подчас повторявшие тему фатума, хотя и менее мистически («Звено в цепь»), подчас уводившие к мысли о круговороте мировой любви («нет счета верстам, грани нет векам, кружась, летят в дыханьи солнц планеты... и здесь, и здесь, в былом, в грядущем.... другой любовник смотрит с дрожью в мрак»). Находим в «Миге» также несколько стихотворений, непосредственно относящихся к Октябрьской революции и ее горизонтам. Стихи эти предварялись «Грядущим гимном» («солнце летит неизмерной орбитой, звезды меняют шеренгами строй. Что ж, если что-то под солнцем разбито? Бей, и удары удвой и утрой!»). Затем шли «Октябрь 1917 года» («выше всех над датами святыми... сверкаешь ты, слепительный

Октябрь»), стихотворение «Коммунарам» (где, при самых лучших намерениях, Брюсов сделал политическую ошибку, сравнив парижских коммунаров с религиозными фанатиками) и «Пасха 1921 года»— вещь, в которой Брюсов, то ли следуя за некоторыми пролетарскими поэтами, болезненно реагировавшими на нэп, то ли по собственным соображениям, писал о нэповском оживлении как о победе старого («московским царям дубовый Ярило протягивал руку в советской Москве»). В противовес этому последнему стихотворению тут же, впрочем, предлагались «Оклики», не являвшиеся еще лучшим новым словом Брюсова, но все же бывшие результатом правильного освоения советской действительности («из войны, из распрь, из поражений все мы вышли к бодрому труду; мы куем, справляя срок весенний, новой жизни новую руду»).

Упомянем также, что в эту пору Брюсов в своих критических работах пытался стать на марксистскую точку зрения, отказывался от теории «искусства для искусства», учился критиковать эпигонов буржуазной поэзии. Упомянем также, что в это время Брюсов настойчиво переучивался и как собственно поэт, старался (порою не без успеха) сломать свое консервативное языковое сознание и, в своих интересах, овладеть суммой передовых технических достижений футуризма. Буржуазная классика Брюсова постепенно отходила в прошлое. А ведь эта большая и сложная внутренняя работа во многом производилась на-глаз, так как успех ее тормозили и тогдашняя среда Брюсова (преимущественно литературная «кафейная» богема) и отсутствие товарищеской критики (которую не могли заменить ни визги буржуазных писак, ни ошибочные оценки арватовского толка). Огромный груз допролетарской культуры поэт преодолевал достаточно самостоятельно, напрягая всю силу своего разума. Отсюда возникла поэма «Дом

видений», которая, должно быть, сохранится надолго:

Видениями заселенный дом,
Моя, растущая как башня, память .. и т. д.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В августе 1921 г. умер Блок. Почти одновременно с ним выпал из жизни, будучи расстрелян за участие в контрреволюционном заговоре, Гумилев. С уходом этих поэтов русский символизм и его разветвление—акмеизм—завершили свое историческое развитие. Мережковский и Гиппиус сразу же после Октября предпочли эмигрировать. За рубеж перебрался после опубликования «Песни о рабочем молоте» и Бальмонт. Оставшиеся в пределах РСФСР видные деятели символизма и акмеизма с советской Россией творчески уже ничего общего не имели (за исключением Зенкевича, сумевшего, как позже выяснилось, идейно перевооружиться, да Андрея Белого, которому предстоял еще очень долгий и мучительный путь перерождения). За границей оказался, конечно, и певец дворянского ущерба, Бунин. Прославленные эсерами «крестьянские поэты» быстро обнаруживали свою кулацкую сущность. Уже начиналась «кабацкая» трагедия Есенина. Одно время обитавшие в Петрограде эпигоны школы Гумилева, побрюзжав и поэстетничав, вскоре с советского горизонта удалились. Московский имажинизм исчерпал себя быстро...

Футуристы и первые пролетарские поэты—вот те серьезные силы, которые определили собой характер молодой послеоктябрьской поэзии. Левое крыло футуристов (Северянин бежал за границу), этих недавних отщепенцев литературы, сыграло в образовании нашей поэзии большую роль. Мощно вырастал Маяковский, еще в 1919 г. выпустивший «Все сочиненное Владимиром Маяковским», писав-

ший теперь «Стихи о революции», «Про это» и начавший проповедь утилитаризма в «Лефе». Превращался в «стального соловья» Николай Асеев. Глубочайший идейный кризис испытывал Хлебников, после «Войны в мышеловке» пришедший к «Ночному обыску» и «Ладомиру», но вскоре безвременно умерший. Отзывы на революцию были в стихах Каменского, Пастернака и др. К этим московским поэтам тяготел талантливый петроградский поэт Тихонов.

Очень бурно развивалась пролетарская поэзия. Первые представители ее—Бедный, Герасимов, Кириллов, Обрадович, Филипченко, Казин, Полетаев, Санников, Самобытник разбредались по разным дорогам, не без воздействия нэпа. Жизнеспособные реалисты отмежевывались от поэтов, съеденных символизмом. Уже писали свои ранние стихи представители второго призыва—[redacted] и др.

От буржуазной русской поэзии к этому времени фактически уцелел как активный и нужный художник один Брюсов. Но, как мы видели, Брюсов сохранил себя только мужественным отказом от прошлого и ломкой мировоззрения, выразившейся в книгах «В такие дни» и «Миг»... Дальнейший путь Брюсова оказался еще более своеобразным. «Ломать—я буду с вами, строить—нет!» писал поэт в 1905 г. Брюсов однако строил—и не без успеха—дело своего класса в промежуток 1900—1917 гг. Октябрьская революция взорвала это строительство, но Брюсов, незадолго до того, сам отошел в сторону... Октябрьская же революция в дальнейшем дала Брюсову волю и право строить здание новой культуры.

Брюсов умер, еще не переделав себя с ног до головы, еще не став коммунистическим поэтом. Но подобный процесс и не мог полностью совершиться в течение тех немногих лет, которые Брюсов прожил после своего вступления в компартию (1920 г.). И нужно считаться с тем фактом, что после Октя-

бря Брюсов твердо шел к намеченной цели—и в жизни, и в творчестве. Как член партии Брюсов работал в Наркомпросе, затем в созданном по личной инициативе поэта Высшем литературно-художественном институте. Как член партии Брюсов воспитывал себя и в своей писательской практике. Он с глубоким вниманием следил за новой поэзией, подчеркивал заслуги левых футуристов, изучал то идейное и художественное новое, которое несли пролетарские поэты. Мы, впрочем, не можем говорить здесь об очередных работах Брюсова-критика и историка литературы, поэтому напомним только его суждение о самом себе («Доля обвинений, выдвинутых мною против символистов, падает и на меня.... позволю себе сказать, что, действительно, признаю, поскольку способен критически отнестись к себе, и свои стихи 1912—1917 годов не свободными от общих недостатков символической поэзии того периода. Но, продолжая столь же откровенно, думаю, что некоторых, роковых для символизма, путей мне удалось избежать и что мои стихи следующего пятилетия.... выходят на иную дорогу»—см. в статье «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии») и перейдем к «Далям»—книге стихов, углубившей разрыв Брюсова с буржуазной интеллигенцией.

Предисловие Брюсова к «Далям»—ключ к последнему этапу брюсовской поэзии. «... Поэт должен, по возможности, стоять на уровне современного научного знания и в праве мечтать о читателе с таким же миросозерцанием. Было бы несправедливо, если бы поэзия навеки должна была ограничиться, с одной стороны, мотивами «о любви и природе», с другой—«гражданскими темами». Все, что интересует и волнует современного человека, имеет право на отражение в поэзии... общедоступность произведений поэзии (и вообще искусства)—фикция. В настоящее время читатели расслоены по образованию, по подготовке, в силу исторических усло-

вий; одним Пушкин «доступен», другим—нет. Но читатели останутся расслоенными всегда, при любых, самых идеальных условиях, в силу индивидуальных склонностей, в силу того, что одни посвящают жизнь одному делу, другие—другому; в данный исторический момент всегда будут произведения, доступные более широким и менее широким кругам.... Поэзия вовсе не должна ограничиться и научными темами. От ученого мы требуем, чтобы он не замыкался в области своих специальных изысканий, чтобы часть работы, и значительную часть, он посвящал также распространению знаний и применению их к нуждам сегодняшней жизни. Так, от художника мы ждем, что он использует средства своего искусства и для целей ближайших (вплоть до пропаганды и агитации), даст и ряд произведений, доступных широко. Но, как ученый должен отдавать силы исследованиям, назначенным для специалистов, так художник может работать над темами, обращенными к более узким кругам...».

Таким образом, в «Далях» Брюсов открыто выступал в качестве научного поэта. Ничего принципиально нового в этом как будто не было. Но дело в том, что в подлинного научного поэта Брюсов вырастал о р г а н и ч е с к и, в связи с крутой ломкой своего миропонимания; меньше всего в этом обращении «к более узким кругам» оказалось того хитроумного бегства от действительности, о котором, игнорируя «Дали» и «Меа», говорили Арватов и Горбачев... Но надлежит помнить, что научная поэзия, существовавшая и в классической древности, и в мрачном средневековьи,—в более позднее, ближайшее к нам время выражала, преимущественно, прогрессивные тенденции буржуазии (список имен рискует стать длинным). Между тем, признав перспективы научной поэзии еще в дореволюционные годы, Брюсов в период написания «Далей» являлся не только лойяльным советским гражданином, но и коммунистом. Партийность Брю-

сова должна была в какой-то мере повлиять на его творчество после «Мига».

«Дали»—книга творческого подъема. Около тридцати стихотворений было написано в течение нескольких месяцев и в пору, когда Брюсов был перегружен не только обязанностями поэта. Это много. Ведь если Брюсов когда-то писал в брошюре «О искусстве», что «достойный имени художника может довольствоваться тем, что будет записывать свои мелькающие настроения», то уже в 1905—1909 гг. он фактически соглашался с Гилем, считавшим, что научный поэт—отнюдь не регистратор мимолетных настроеньиц и не безыдейный рисователь пейзажиков. Поэзия для покойного Ренэ Гиля была верховным актом мысли.

Горизонты Брюсова в «Далях» широки. Он поэтически реагирует на дали астрономии и биологии, математики и социологии, физики и лингвистики, философии и политики... Но уместно обратиться в первую очередь к тем стихам, в которых Брюсов исходил, главным образом, из переворота в физической картине мира, переворота, произведенного победами теории относительности Эйнштейна. Интерес Брюсова в «Далях» к этому научному перевороту нетрудно видеть даже при беглом перелистывании книги: «первозданные оси сдвинуты во вселенной... самое Время—канатный плясун... бедный бред, что везде—скреп Эвклидовых, тверд устой» и т. д. Характерно также, что в стихотворении «Принцип относительности» Брюсов недвусмысленно полемизировал с противниками теории относительности:

...Иль колеса в мозгу так закручены,
Что душат и крики, и речь,
И одно вам—из церкви порученный
Огонек ладонью беречь?

Сущность теории относительности изложить на одной-двух страницах, конечно, нельзя. Но, не ка-

саясь физико-математических начал этой теории, мы можем и должны обратить внимание на философскую сторону вопроса, так как теория относительности является блестящим доказательством поворота передовой научной мысли в сторону диалектического материализма. Поставив себе целью релятивизовать все понятия, теория относительности пришла к определению как раз абсолютных величин. «В теории относительности, многократно вызывавшей недоразумения, абсолютное не устранено, а, напротив, еще резче выражено то, насколько физика со всех сторон опирается на абсолютное, лежащее во внешнем мире»—так говорит М. Планк, один из близких (в своей области) к диалектическому материализму физиков, в работе, озаглавленной «От относительного к абсолютному». Наряду с тем, теория относительности была, как известно, с экстазом принята и реакционными научными кругами. Объявить относительным все, отказаться от всех абсолютов и, таким образом, иметь право отстаивать равноценность заведомо мракобесных идей—да ведь это всегда было заветной мечтой эксплоатирующих классов! Людям, учившим, что мир есть комплекс человеческих ощущений, субъективная реальность и т. п., релятивизм, в известном плане, пришелся по душе. Плодотворная научная доктрина быстро обросла различными лжетолкованиями, чему не мало способствовало отсутствие у «стыдливых материалистов» выверенных философских убеждений (махистская путаница в философских взглядах Эйнштейна, допущение бога Планком и др.). Задолго до Октябрьской революции Ленин, словно предугадывая будущую шумиху, ясно и прямо ставил вопрос об отношении диалектики к релятивизму. «...Положить релятивизм в основу познания, значит неизбежно осудить себя либо на абсолютный скептицизм, агностицизм и софистику, либо на субъективизм. Релятивизм, как основа теории познания, есть не только признание

относительности наших знаний, но и отрицание какой бы то ни было объективной, независимо от человечества существующей мерки или модели, к которой приближается наше относительное познание..... Материалистическая диалектика Маркса и Энгельса безусловно включает в себя релятивизм, но не сводится к нему, т. е. признает относительность всех наших знаний не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле исторической условности пределов приближения наших знаний к этой истине... Природа бесконечна, но она бесконечно существует, и вот это-то единственно категорическое, единственно безусловное признание ее существования вне сознания и ощущения человека и отличает диалектический материализм от релятивистского агностицизма и идеализма».

Эти выдержки из «Материализма и эмпириокритицизма» необходимы. Именно в свете данных положений мы обязаны рассмотреть дальнейшее становление Брюсова. Принцип «релятивизма» в «Далях» не является основой теории познания, но зато простирается на всю широкую тематику книги, начиная от собственно научных вещей и кончая личной лирикой и политикой. И тот же релятивизм дает себя знать в «Меа».

В базальты скал вбивая анналы,
Рабы, под плетью фараона Снофру,
Печально мечтали ль, что гимн Интернационала
Победно пройдет от Сены к Днепру?
Дикарь сторожит в тростниках Мвутанга,
В волоса воткнув два важных пера;
А в залах Bull еще вертится танго,
И пляшет в огнях avenue de l'Opéra.
Но, как древле, все так же муравьи суетятся,
Из игл возводя дом до смелых высот,
Бобры за плотиной уставной ютятся,
Пчелы межат шестигранный сот;
И все те же в пространстве кольца Сатурна,

Свеченье Венеры, круги комет,
Как в дни, когда сцены тряслись от котурна
Иль на храмы луну сводил Магомет.
От Перикла до Ленина—от сегодня до завтра,
Моряка, что причалил на берег, сон.
Тупую докуку под черепом плезиозавра
Лишь мутно осмыслил упрямый Бергсон.
И дерзкие светы Лобачевского или Маркса,
Состязанья и песни столетий и стран,—
Быть может, лишь плошки там, с красного Марса,
С песчинки, что мчит вдаль Альдебаран.

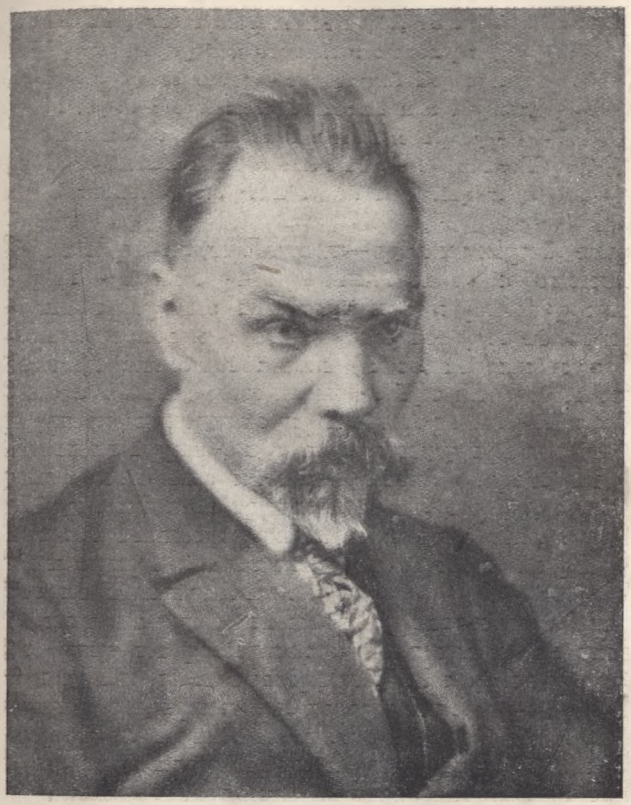
«От Перикла до Ленина»—одна из вещей, открывающих «Дали». «Астрономическое» в основном, это стихотворение приучает нас к размаху новой мысли Брюсова и одновременно говорит об относительности значения земли (с ее веками и событиями) в бесконечном космосе. Тут же, поблизости, в «Далях» находится и стихотворение «Мы все—Робинзоны Крузо», где есть, между прочим, такие строки: «весь мир наш—спокойный остров. Он без нас будет мчаться грузно в ласке солнца, знойной и острой. И вся груда наук и раздумий, картин, поэм и статуй—станет пепл, что в огонь не раздует налет кометы хвостатой...»

Возможно, что некоторые торопливые читатели сразу же усомнятся в положительном значении подобных стихотворений. Мы уже предугадываем такие, примерно, доводы: эти вещи Брюсова голосуют за признание ничтожности всех земных дел, ведут к пессимизму, подрывают веру в необходимость борьбы за лучшую жизнь,—словом, данные вещи релятивизуют наши революционные абсолюты... Но такое поспешное понимание цитированных стихов Брюсова будет и преждевременно, и ошибочно. Пора уже приучить себя к мысли, что земля, как и все другие планеты,—действительно лишь крупинка в пространстве, что жизнь целого человечества—только малая единица в кру-

говороте мировой жизни. Но делать отсюда вывод, что, при наличии таких масштабов в природе, отдельный человек и даже все человечество есть абсолютная ничтожность,—значит делать вывод нелепый, бессмысленный, помогающий мракобесию, религии и т. п. И меньше всего читатели, столь быстро совершившие суд над этими брюсовскими стихами, являются обладателями подлинно революционного мировоззрения: защищая ложные абсолюты, они, эти читатели, совершенно не обратили должного внимания на главные мысли Брюсова, в частности и на этот знаменательный стих: «он без нас будет мчаться грузно», представляющий вполне определенное утверждение независимости существования внешнего мира; не обратили они внимания также на то, что в предположении Брюсова о возможной гибели земли никакого субъективного привнесения нет[1]. И наконец, тем торопливым читателям, которые усомнились в размахе брюсовского космизма, мы, еще не касаясь «земных» стихов «Далей», можем, в виде лучшего аргумента, противопоставить стихотворение 1920 г., случайно не опубликованное поэтом при жизни, но имеющее непосредственное отношение к нашей небольшой полемике:

Когда стоишь ты в звездном свете,
Смотря на небо, не забудь,
Что эти звезды, блестки эти
И те, что слиты в Млечный Путь,—

[1] «Но все, что возникает, достойно гибели. Пройдут миллионы лет, народятся и сойдут в могилу сотни тысяч поколений, но неумолимо надвигается время, когда истощающаяся солнечная теплота не сумеет уже растапливать надвигающийся с полюсов лед, когда все более и более скучивающееся у экватора человечество перестанет находить и там необходимую для жизни теплоту, когда постепенно исчезнет и последний след органической жизни и земля—застывший мертвый шар, подобно луне,—будет кружить в глубоком мраке по все более коротким орбитам вокруг тоже умершего солнца, на которое она, наконец, упадет» (Ф. Энгельс, «Диалектика природы», ГИЗ. изд. 3-е, 1930 г.



Валерий Брюсов

Фото 1924 г.

Валерий Брюсов на смертном одре

Рисунок, сделанный д—ром Ю. А. Рихтером тотчас же после смерти поэта

Все это—солнца огневые,
Как наше солнце, и кругом
Плывут шары земель—такие,
Как шар земной, где мы живем.
В просторном океане неба,
Как в жизни нашей,—тот же круг;
Там тот же бодрый труд для хлеба,
Та ж радость песен и наук!

Лучшее доказательство того, что брюсовский космизм, в целом, является правомерным развитием научной мысли, а не бегством в заоблачные выси от трудовой и, как мы сейчас убедимся, революционной практики человечества! Оттого и бесплодны попытки сопоставлять брюсовский научный космизм с «космизмом» хотя бы Герасимова—поэта, погибшего для передовой пролетарской поэзии отчасти и по недостатку научно-философского образования...

Основной порок критиков, судивших научную поэзию Брюсова, заключался, во-первых, в том, что они недостаточно учитывали «почти астрономические масштабы» брюсовской мысли (о которых говорил Бухарин в своей надгробной речи о поэте), и, во-вторых, недостаточно были знакомы с некоторыми (иногда и всеми) основами диалектического материализма и теми передовыми научными открытиями, за которыми внимательно следил автор «Далей». Возьмем, к примеру, Г. Лелевича, писавшего свою книгу о Брюсове с несомненной любовью к поэту. Обратимся только к той части книги, в которой Лелевич высказывает—очень бегло—соображения насчет научных стихов Брюсова. Приходится констатировать, что Лелевич, по существу, игнорирует научный характер брюсовской мысли, а в силу этого не способен измерить глубину идей поэта и проследить за новыми художественными качествами его стихов. Даже четверостишие, в котором, казалось бы, принцип независимости приро-

ды от наших ощущений выражен с предельной четкостью,—«прежде, после—ей что? Наших выкладок ей не брать—единиц в биллионе! Звезд ряды строить в небе привыкла так, что меня, здесь, во тьме, для нее нет!»—даже подобное четверостишие не останавливает внимания Лелевича. Зато он, неправомерно мешая брюсовские стихи 1917 г. со стихами периода «Далей» и «Меа», произведениям такого рода, как «От Перикла до Ленина» или «Мы все—Робинзоны Крузо», приписывает несуществующее: «Поэт грустно размышляет над слабостью человечества перед лицом мира. Забыв о гордом пафосе борьбы с природой, он скорбит о нищете человеческих дел и обреченности культуры...» Почему предлагалась такая «скорбная» трактовка брюсовских мыслей—неясно. А вот тот факт, что в пониманьи отдельных стихов Лелевич ошибался до конца, совершенно ясен. По Лелевичу выходило, например, что «открытия Эйнштейна, вместо того, чтобы порадовать возможностью новых научных изысканий, еще более углубили сомнение Брюсова в силах человеческого разума» (следовало вполне неверное истолкование стихотворения «Принцип относительности»). Затем, имеется в «Далях» «Загадка сфинкса». Релятивизм Брюсова здесь сказался в том, что поэт, отнюдь не говоря об отсутствии абсолютов или об их непознаваемости, не без горечи говорил, что земле еще преждевременно гордиться, что наука еще не создала жизни в тигле, что за сто столетий не постигнуты пляска спиралей и пути планет, что попрежнему длятся предварительные эксперименты, а «пред Эдипом загадка Сфинкса—простые числа все не разгаданы»,—т. е. поэт говорил об относительности и недостаточности наших знаний и толкал научную мысль вперед. А Лелевич видел здесь полное разочарование поэта в силе человеческого разума, в прочности и глубине завоеваний науки, проявление упадочничества и т. п. Остается только недоумевать, почему

этот критик Брюсова не дал сходного толкования и другому стихотворению того же плана—«Мы и те», где скорбь Брюсова опять-таки проявилась в том, что он в дни противостояния Марса, когда распространились вести о якобы полученных с этой планеты сигналах, возмущался тем, что «сквозь светогода еще не докинуты наши мечты и мысли» («велика ли корысть, что мы славим радостно честь свою, в обсерватории на весы Сатурн опустив, подсчитав на Венере градусы по Цельсию, каналы на Марсе ловя в объектив? Все равно! все равно! И ничтожного отзыва нет из пространства»). Неверно понимая многие мысли Брюсова, не учитывая положительного значения подобной научной поэзии, Лелевич, наконец, недооценил и такое стихотворение, как «Молодость мира», хотя эта вещь и замыкала отдел «Века и пространства»:

...Но океаны поныне кишат протоплазмами
И наш радий в пространствах еще не растрачен,
И дышит Земля земными соблазнами
В мириадах миров всех, быть может, невзрачней.
А сколько учиться—пред нами букварь еще!
Ярмо на стихии наложить не пора ли,
Наши зовы забросить на планеты товарищу,
Шар земной повести по любой спирали?..

Было бы излишним перечислять все успехи поэта в «Далях», убеждать читателя дальнейшими цитатами. В таких стихах, как приведенное, немалое, как будто даже неожиданное, повышение идейного уровня брюсовской поэзии очевидно, и такие именно стихи составляют ядро научных циклов «Далей». Но излишним было бы также умалчивать и о специфических недостатках брюсовской лирики в «Далях». Чувствуется, например, идейный срыв в стихотворении «Pou stô». Брюсов говорит здесь, что с разрушением Эвклидовой геометрии пробил час

выкидывать истин груз, все их в муть неся». С этим «все», конечно, примириться нельзя. Далее, ряду стихотворений повредила некоторая «гипертрофия эротики» (Лелевич). Возьмем «Легенду лет». После совершенно законных у научного поэта мыслей о человеческой культуре и ее конечной относительности («при прежнем солнце глянет день и, к тайнам причислен, станет баснословен—слон; бред в смене бредов — Архимед с Эйнштейном, легенда лет — Москва иль Вавилон»), Брюсов вдруг, прибегнув к гетевскому образу Фауста с Еленой («где призрак-мысль и призрак-страсть слиты»), не оставляет нужного места труду и борьбе. Отголоском буржуазной эротики является в «Далях» и провозглашаемый Брюсовым метод сопротивления nihil, провалу в «ничто»,—преимущественно эротическим восприятием жизни, притом даже в плане «наслажденья» («что буду я, этот—не бездонное ль nihil... если я не узнаю мило-мнимых мгновений, где вот эти губы припали к лицу»). Поэту, в числе своих учителей имевшему и Гете, следовало бы помнить, что в заключительном монологе Фауст видел другой путь борьбы с nihil—общественно-полезный труд, память в потомстве... Подобные нотки нет-нет да появлялись в «Далях», в одном из стихотворений («Не шествия...») приводя поэта к чисто субъективному провозглашению главенства мигов интимной близости с женщиной над «правдой современной», в другом—к ощущению глубочайшего погружения в биологическое былое, в «прошлое, черное, мертвое», откуда доносится только «отвергнутый друг», ветер («Под зимним ветром»). Случаи подобных отклонений от правильного маршрута налицо. Но в целом надо признать, что даже личная эротическая тематика Брюсова в период «Далей» свидетельствовала о постепенном преодолении поэтом прежнего буржуазного лиризма. Очень показательно такое стихотворение, как «Кто?—Мы? Иль там...», первые строки которого начаты в духе

буржуазной лирики, но затем уступают место глубоким научным ассоциациям, постижению инстинкта продолжения рода («чудовищ тех, эпохи ранней, вздох в океан, громовый всхип, где в ласке клык смертельно ранит, где рот рычать от крови слип...»).

Собственно научные стихи «Далей» в основном являлись движением вперед, приближением к диалектическому материализму. Релятивизм приводил Брюсова к признанию объективного, независимо от людей существующего мира, приводил поэта к правильным взаимоотношениям с природой, к ощущению нужной, не пантеистической связи с ней (отклонением в этом последнем смысле является стихотворение «В прятки»—по существу, подражание субъективизму Пастернака, его антропоморфной метафоре). Своеобразно пропагандируя прогресс истинных знаний, осуществляя научную поэзию чисто мировоззренчески, Брюсов явно сближался с партийным пониманием науки и искусства. А это определило и наличие в «Далях» непосредственно политических стихов. В книге мы читаем не лишенное нужной иронии раздумье «Над картою Европы 1922 г.» («где мечты? Везде пределы, каждый с каждым снова враг; голубь мира поседелый брошен был весной в овраг. Это—Крон седобородый говорит веками нам: суждено спаять народы только красным знаменам») и удавшуюся, в общем, попытку дать агитационные строфы («в побежденном Берлине — голод, но ослепительней блеск по Wein-ресторанам... и лапы из золота тянет Франция,—все в свой блокгауз! Вам новейшая лямка, крестьяне! Рабочие, вам усовершенствованный локаут!»), и «Перед съездом в Генуе», и, наконец, «Стихи о голоде», вскрывающие всю оригинальность тогдашней позиции Брюсова:

...Однако!
Наша власть над стихиями—где ж она?
«Пи» исчислено до пятисотого знака,

Любая планета в лабораториях свешена,
Комариные нервы исчислил анатом,
Мы разложили атом...
Но вот—от голода обезумевший край
Умирает, людоедствует,
Мать подымает на сына руку;
А ученый ученому мирно наследствует,
Определяет пыльцу апатура!..
Кто там! бог! или рок! иль натура!
Карай
Эту науку!
. . . . . .
Как! все народы, в единеньи страстном,
Не стали братьями на этот раз нам?
И кто-то прокричал, вслух всем векам:
«Полезна ль помощь русским мужикам?»
. . . . . .
Нет, не все знали, что мир гниет,
До этого раза!.
. . . . . .
Мы сами, под ропот вражды и злорадства,
Переживем лихолетье!
Все же заря всемирного братства
Заблестит,—из пещеры руда!—
Но дано заалеть ей
Лишь под знаменем красным—Труда!

Подобные стихи, конечно, воочию свидетельствовали, что политическое развитие Брюсова, продолжалось. Поэт-позитивист, в прошлом выразитель передовых устремлений буржуазии, Брюсов, порвав со своим классом, в «Далях» выражал процесс перехода лучшей части научно-технической интеллигенции на идейные позиции пролетариата. Редкое сочетание в поэте поэтических и научных знаний позволяет ставить Брюсова в один ряд не столько с поэтами, сколько с такими учеными, как Марр, Бах, Ферсман и др.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В последней своей книге Брюсов продолжал стоять на той же точке зрения, имея в виду проложить пути к научной поэзии (см. предисловие). «Меа» по-латыни значит «спеши». Перед лицом близкой, как оказалось, смерти Брюсов спешил окончательно переделаться, чтобы войти в историю новым поэтом.

В «Меа»—стихи 1923—1924 гг. и ряд вещей, писавшихся параллельно «Далям», но туда не вошедших. Во вступительном отделе Брюсовым были собраны «злободневные» стихи. Здесь он писал об Октябре, как о новой «Магистрали», сопоставлял движение СССР к грядущему с движением солнечной системы к созвездию Геракла, приветствовал создание Закавказской федерации. Среди таких злободневно-политических стихотворений должны быть выделены две вещи, связанные со смертью Ленина. По поводу этих стихов в критике были указания, что вот, мол, даже тут Брюсов не освободился от книжности и условности космизма. Упреки эти не слишком справедливы. «Земля! зеленая планета! ничтожный шар в семье планет! Твое величье—имя это! меж слав твоих—прекрасней нет!.. Он умер! жил одно мгновенье в веках; но дел его объем превысил жизнь, и откровенья его—мирам мы понесем». Читателям же, которым этот размах мало импонирует, следует обратить внимание на стихотворение «После смерти В. И. Ленина» и признать эту вещь от начала до конца партийной, выражающей мысли пролетариата, звучащей в унисон с лучшими стихами об умершем вожде («Товарищи! Но кто был он? Воль миллионных воплощенье... пусть эти воли не сдадут!» и т. д.). В большинстве случаев подобные злободневно-политические вещи «Меа» значительны и посейчас, хотя, конечно, имелись в них разные неубедительные частности (например, в «Магистрали» Брюсов

заключал, что будущее объединение советских республик произойдет чуть ли не для того, «чтоб скрыть в цветах былых столетий гроб»,—любование прошлым дало себя знать!).

Но, несмотря на наличие таких, непосредственно связанных с политикой, стихов, мы должны сказать, что главным содержанием книги являлась все же научная поэзия, т. е. разработка, на основе нового миропонимания, особых, специфических тем. За редкими исключениями, Брюсов и в «Меа» не упражнялся в писании стихов на какую-нибудь одну, определенную и ограниченную тему. Носитель широкой эрудиции, Брюсов и здесь, как в «Далях», оперировал суммой ассоциаций, соединял иногда в одном стихотворении целые тематические ряды. Тем не менее, условно разбить стихи «Меа» на какие-то группы (пусть не совпадающие с циклическим планом книги) нужно. И сначала следует, конечно, взглянуть на те вещи, в которых видно влияние того же релятивизма («Эры», «Прибой поколений», «Невозвратность», «Мир электрона», «Мир N измерений», «Явь» и пр.). Приходится сказать, что недостаточная выдержанность брюсовского сознания и неполное знание им диалектики местами здесь проявились. Картина разрушения «прежнего бреда» (сперва политического) толкала поэта в одном месте («Эры») к неверному отказу от материалистических абсолютов ради какого-то сплошного «искания» («смысл вещей, смысл пространств, смысл времен, все—на слом»). Такое же увлечение преходящестью и относительностью в с е г о замечалось и в «Прибое поколений». В стихотворении «Мир N измерений» Брюсов, взявшийся за весьма острую проблему математики и физики и отправляясь от научной гипотезы, вдруг возвратился к своей, забытой, казалось бы, демонологии, поступился наукой ради откровенной мистики. «Но живут, живут в N измереньях вихри воль, циклоны мыслей, те, кем смешны мы с нашим

детским зреньем, с нашим шагом по одной черте... боги те тщету земных желаний метят снисходительно в уме»—крупнейший срыв, и едва ли только в области лексики!

Но характерно, что тут же находились вещи, по существу парализовавшие сдачу материалистических позиций фидеизму. Назовем, «Невозвратность»—стихотворение, которое может быть не понято читателем невнимательным. «Миг, лишь миг быть земле в данной точке вселенной!» Следуя теории Эйнштейна, Брюсов говорил об относительности «абсолютного» покоя и в том счастливом будущем, которое даст Всемирная коммуна. Вечное движение жизни во времени и пространстве Брюсов утверждал здесь как настоящий материалист-диалектик. А тем, кто жаждет неподвижности, остановки навсегда, а не в относительном «теперь», поэт правильно предлагал акт смерти, этот пока что необратимый процесс, связывающий миг с вечностью и дающий иллюзию «невозможных полнот». Совершенно исключительной была победа диалектического материализма в стихотворении «Мир электрона». На примере названной вещи мы, кстати, можем убедиться, что такое подлинно научная поэзия, этот верховный акт мысли. Какие готовые данные науки были у Брюсова при написании «Мира электрона»? По всей вероятности, Брюсов отправлялся здесь от превосходного образчика научной гипотезы—от «фантастической» книги Фурнье Дальба «Два новых мира». Каким вопросам посвящена книга Дальба? Основываясь на открытиях Резефорда, Бора, Лоджа и других физиков, установивших сходство строения атома с солнечной системой, Дальб «продолжил это сравнение еще дальше и пришел к поразительным аналогиям. Если представить себе атом вместе с его электронами увеличенным линейно в триллионы раз, то получается, что электроны вращаются вокруг ядра атома с тою же скоростью, что и земля вокруг солнца;

время обращения электронов в триллионы раз более коротко, так как и орбиты их в триллионы раз меньше. Следовательно, то, что для нас является годом, было бы для обитателя электрона временем обращения его «земли» вокруг центрального атома. Каждая наша секунда соответствует, в таком случае, триллионам электронных лет. Вполне возможно, что в каждой из этих «инфрасолнечных систем» (а такой системой мы можем считать всякий атом видимого мира) в каждую нашу секунду совершается то, что в нашей солнечной системе совершилось и еще совершится в триллионы лет. В то короткое мгновенье, пока у нас металлическая пылинка успевает вступить в соединение с кислотой,—там возникают и гибнут миры. И точно таким же образом возможно, с другой стороны, что вся наша звездная система является ничтожной частицей некоего «супра-мира», в триллионы раз превышающего наш мир» [1]. Брюсов не ограничивается тем, что просто излагает стихами эту гипотезу. Данные и предположения науки дают толчок к созданию стихов, являющихся не только хвалой смелой мысли физиков, но и серьезным ударом по субъективистской философии, по остаткам представлений о «провиденциальном» назначении земли, по религии наконец:

Быть может, эти электроны—
Миры, где пять материков,
Искусства, знанья, войны, троны
И память сорока веков.
Еще, быть может, каждый атом—
Вселенная, где сто планет;
Там все, что здесь в объеме сжатом,
Но также то, чего здесь нет.

[1] Г. Николаи. «Успехи современного естествознания». Изд-во «Восток», Берлин, 1922. Русский перевод книги Дальба: «Два новых мира». Изд-во «Mathesis», Одесса, 1911.

Их меры малы, но все та же
Их бесконечность, как и здесь;
Там скорбь и страсть, как здесь, и даже
Там та же мировая спесь.
Их мудрецы, свой мир бескрайный
Поставив центром бытия,
Спешат проникнуть в искры тайны
И умствуют, как ныне я;
А в миг, когда из разрушенья
Творятся токи новых сил,
Кричат, в мечтах самовнушенья,
Что бог свой светоч погасил!

Проследить за этой линией разрыва Брюсова с его прошлым миропониманием нужно также по отделу, одно название которого—«Наедине с собой»—звучит предупреждающе. Обратим внимание на такие стихотворения, как «У смерти на примете» и «Так вот где»; глубоко личный характер этих вещей поможет установить ведущие тенденции «Меа». В великолепных стихах о смерти Брюсов, в прошлом автор пессимистических юношеских стихов, предстает настоящим философом-материалистом, мудро говорит о прелести мира, лежащего вне нас («когда шесть круглых дул нацелено, чтоб знак дала Смерть-командир, не стусклена, не обесценена твоя дневная прелесть, мир!»), и окончательно отрекается от «безумцев», в число которых, конечно, попадают все его бывшие соратники—мистики, солипсисты и пр. «... Нам одинаково взлетать к звезде иль падать к ней! Но жердь от лестницы Иакова, безумцы, вам всего ценней! Да! высь и солнце, как вчера, в ней... Но не сны осилят мир денной, и пусть шесть круглых дул уравнено с моей спокойной сединой». После таких стихов не удивительно, что и в полосе каких-то тяжелых личных переживаний, каких-то ударов судьбы Брюсов умеет и состояние глубокого упадка сил выражать в поэзии только в плане индивидуальном,

не распространительно, одновременно разоблачая природу субъективизма:

Так вот где жизнь таила грани!
Стол, телефон и голос грустный...
Так сталь стилета остро ранит,
И сердце, вдруг, без боли хрустнет.
И мир, весь мир—желаний, счастий
(Вселенная солнц, звезд, земель их),
Испеплен, рухнет,—чьи-то части,—
Лечь в память, трупа онемелей.
Я знал, я ждал, предвидел, мерил,
Но смерть всегда нова...

Над моментами усталости, личной печали, упадка, пессимизма в «Меа» почти неизменно торжествует материалистическое мироощущение Брюсова, воля к существованью, уменье ценить жизнь и не бояться естественного ее завершенья. К своему пятидесятилетнему юбилею Брюсов написал очень показательное стихотворение—«Пятьдесят лет», где действительно проявил себя как «старик упрямый» («пятьдесят лет—пятьдесят вех; пятьдесят лет—пятьдесят лестниц... Еще б этот счет! всход вперед! И пусть на дне суд обо мне мировых сплетниц!»). Этот философский оптимизм и могучие взлеты мысли (см. еще стихотворение «Мысленно, да!»), естественно, вели Брюсова в его последней книге и к таким вещам, в которых вечная деятельность жизни получила широкое общее осмысление. «Мировые спазмы» конкурируют с лучшими «биологическими» стихами Ренэ Гиля в «L'Ordre altruiste». Прекрасна в своей непосредственности «Песня девушки в тайге». О будущей борьбе человечества со смертью поэт пророчит в стихотворении «Как листья в осень».

Пафос биологии подсказал Брюсову и «Атавизм»—вещь, показавшую, что для материалиста эволюция от низших видов к высшим и сохранение

связи с природой составляют предмет разумной гордости, а не глупой меланхолии.

В известной связи с этим последним упомянутым стихотворением Брюсов предлагал в «Меа» и такие вещи, как «Не память—зов», «Родное» и др.,—вещи, в которых поэт говорил о своей кровной связи с крепостным крестьянством («во мне вдруг вздрогнет доля деда, кто вел соху под барский бич... мужичья Русь! там, вне заводов, без фабрик—обреченный край» и т. п.). Здесь, конечно, Брюсов порою несколько посягал на права социологии, но не случайно над сходной темой поэт работал и в период «Зеркала теней» (стихотворение «Я—междумирок. Равен первым...», напечатанное только после смерти Брюсова).

Особую группу составляли в «Меа» брюсовские гимны техническому прогрессу и взаимодействию человека и его машин с природой. Вырастая из лучших дореволюционных вещей Брюсова, стихи эти подчас несли на себе груз прошлого и в самой разработке темы, и во фразеологии. Характерны «Машины». Брюсов желал прославить мощь техники, созданной человеком и ему служащей. («Здесь что?—мысль роль мечты играла, металл ей дал пустой рельеф»). Но некоторые изъяны мировоззрения и языка оказали свое действие, и у Брюсова получилось, что эти машины—«некий призрак вещий», что в чьей-то руке—«святой моток», что «перед волей числ мы все—рабы» и что, наконец, «солнца путь вершат, покорны немым речам их ворожбы». От подобных пережитков более или менее свободны в «Меа» такие произведения, как «Лесная тьма» (противопоставляющая встречающимся и в «Меа», хотя и не в мистическом плане, домовым, Рюбецалям и Панам—«электро-плуг, электро-тралер»), как отличный «Штурм неба», «В Тихом океане» и др.

Последовательным научным поэтом Брюсов оставался и в отделе «Из книг». Книга—законный

элемент культуры, но, вдохновляясь книжными образами, поэт должен был теперь знать, какими книгами и для чего вдохновляется он. Эти «книжные» стихи Брюсова, в целом, не сходны с предыдущими стихами его на готовые темы книг (исключенье только «Елена у Париса»). «Книга», «Диадохи», ироническая «Общая станция», «Бодлэр», «Вариации»—подлинно серьезные вещи поэта.

Брюсовское творчество почти на всем его протяжении было насыщено историзмом. Историзм сложился у Брюсова в годы становления поэта в капиталистическом обществе, служил ему и средством защиты от буден, и сокровищницей, откуда Брюсов черпал героические образы. Буржуазный историзм поэт после Октября изживал. Однако излишним и не всегда материалистическим историзмом отягощены и некоторые страницы «Меа». Именно потому интересны те стихи, которые собраны поэтом в конце его последней книги (хотя этот цикл целиком помечен 1922 г.). Здесь Брюсов, со всей наглядностью, пытался отделаться стихами (лермонтовский рецепт: «и от него отделался—стихами!») от излишка собственной эрудиции, от остатков прежнего историзма, от всяких «призраков». В этих «Бредах» Брюсова, где конечно, нет даже грана мистицизма, были характерны попытки поэта освоить прошлое иронически. Тут и «Ночь с привиденьями», под пристальным надзором планет собирающая древних философов и поэтов и заканчивающаяся висящим в полоске зари на тоненькой ниточке А. Блоком; тут и не менее оригинальная разработка заката в гастрономических метафорах (соответствующих разным эпохам); тут и продуманная проекция средневековья на фоне современного «Дачного бреда» («а мужик, с кем сейчас столкнулся в двери я, из кабачка «Трех бродяг» под утесом виллан, и в ветре поет, гудит Жакерия»); тут и безумное кружение «Карусели» лет; здесь и такие вещи,

как «На рынке белых бредов» и «Волшебное зеркало». Поэт остро чувствовал помехи своей эрудиции, выработанной в условиях допролетарской культуры и потому теперь оказавшейся во многом обременительной. Осколки «Волшебного зеркала» из сказки Андерсена мешали его поэтическому зрению, и избавиться от них поэт находил возможным только путем сочетания учительской роли («где Октябрь загудел в просонки Человечества, я учу собирать вдоль мировой Амазонки золотой каучук») с ролью ученика. Вдумайтесь в эти, замечательные своей четкостью и искренностью, строки:

...Но глаза! Глаза в полстолетье
парт-дисциплине не обучены:
От книг, от музеев, со сцены—
осколки (как ни голосуй!),
Словно от зеркала Г. Х. Андерсена,
засели в глазу...

Когда Брюсов на праздновании своего юбилея (незадолго до смерти) указывал, что сквозь символизм он прошел с тем мировоззрением, которое в глубине его существа залегло с детства, и что он в новых условиях ощущает себя тем, чем он был всегда, то поэт, несомненно, был не совсем точен. Приняв Октябрьскую революцию, участвуя в закладке фундамента новой культуры, Брюсов, этот «каменщик» поэзии, конечно, все дальше отходил от буржуазного позитивизма, все более сближался с мировоззрением передового пролетариата. Но эта прекрасная борьба с самим собой была нелегкой. Исследовав послеоктябрьскую поэзию Брюсова, мы можем понять, каких серьезных усилий, какого жестокого самообуздания стоила эта творческая борьба. Но зато Брюсов уже вплотную подходил к пролетарской философии, но зато творчество его блистательно преображалось. И в силу всего этого подлинным итогом поэзии Брюсова нам

представляются его строфы о красной Москве, об этом городе-мифе, вне которого Брюсов видел только бурелом, а внутри которого чувствовал себя дома:

...Там—ждут, те—в гневе, трепет—с теми;
Гул над землей метет молва...
И,—зов над стоном, светоч в темень,—
С земли до звезд встает Москва.
А я, гость лет, я, постоялец
С путей веков, здесь дома я.
Полвека дум нас в цепь спаяли,
И искра есть в лучах—моя!
Здесь полнит память все шаги мне,
Здесь, в чуде, я—абориген,
И я храним, звук в чьем-то гимне,
Москва! в дыму твоих легенд!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Между буржуа-идеологами, переходящими на сторону пролетариата, мы видим очень мало художников. Это объясняется, вероятно, тем, что «возвыситься до теоретического понимания всего хода исторического движения»[1] могут только те, которые думают, а современные же художники, в отличие, например, от великих мастеров Возрожденья,—думают очень мало. Но как бы там ни было, можно с уверенностью сказать, что всякий, сколько-нибудь значительный художественный талант в очень большой степени увеличит свою силу, если проникнется великими освободительными идеями нашего времени. Нужно только, чтобы эти идеи вошли в его плоть и кровь, чтобы он выражал их именно как художник». Эти меткие слова Плеханова, несомненно, применимы к Брюсову. Брюсов умел думать. Он является одним из самых идейных поэтов XX века. Темпы его идей-

[1] См. «Коммунистический манифест».

ного роста в условиях Октября позволяют предполагать, что, живи Брюсов в наши дни, он изжил бы окончательно все дефекты своего миропонимания, окончательно овладел бы марксизмом и с честью участвовал в строительстве социализма, творчески вырастая и совершенствуясь.

Плеханов был однако в понимании спецификума искусства и особенно поэзии эклектиком. Плехановское понимание поэзии как сферы преимущественно «эмоциональной», как «мышленья в образах» на деле во многом совпадает с положениями хотя бы Потебни, чье учение о слове-образе, слове-символе, слове-метафоре легло в основу русского символизма. В задачи нашего исследования не входил анализ спецификума брюсовской поэзии. Мы не имели возможности говорить ни об языковых изменениях в ней (см. замечательное стихотворение «Новый синтаксис» в «Далях»), ни о постепенном исчезновении символов-метафор, ни о победном превращении пресловутой «поэзии эмоций» в «поэзию мысли», ни о деформации брюсовской технологии стиха, ни о том, наконец, общем несоответствии, которое есть между поэтической практикой Брюсова в последние годы его жизни и его же чисто плехановским пониманием природы поэзии, данным в интереснейшей статье «Синтетика поэзии» (1924). Мы могли ограничиться только беглыми указаниями. Но здесь, в заключении, необходимы некоторые дополнительные соображения.

Среди более молодых учеников Плеханова, критиков и литературоведов, находились люди, не преодолевшие некоторых ошибок своего учителя. Неверным критерием при определении спецификума брюсовской поэзии пользовались многие из писавших о послеоктябрьском Брюсове и, естественно, приходили к неверным, в той или иной мере, выводам. Мы видели, например, заблуждения Лелевича, допустившего в своей, в общем достаточно ценной, книге о Брюсове ряд неправильных суждений,

так как он, по существу, не заметил всего своеобразия большинства последних произведений Брюсова и не причислил их к органическим созданиям поэзии. Видели мы и более пагубные ошибки Горбачева и других критиков, учившихся, в разной степени, у Плеханова и отказывавшихся в основных позднейших стихах Брюсова видеть живую поэзию... Было бы прямым излишеством в пределах данного исследования подробно говорить о том, что уже вполне неправильное представление о творчестве Брюсова пропагандируется в немногочисленных, но крайне характерных работах, посвященных Брюсову, в недавние годы, представителями идеалистического литературоведения. Ю. Тынянов, например, в своей статье сумел вообще ни единым словом не обмолвиться о послеоктябрьских стихах Брюсова. Испытывающий влияние формалистов С. Шувалов, при самом искреннем желании, не мог разобраться в брюсовских стихах периода «Меа» и увидел в этой книге чуть ли не одни «научные слова». Короче: все еще существует и даже пользуется некоторой поддержкой версия, что послеоктябрьская поэзия Брюсова незначительна, что поэт-де и в прежние времена был не слишком силен, ибо всегда пребывал в состоянии «книжности», «холодности», «отчуждения от жизни» и т. д. Тема «Брюсов в современной ему критике» кажется поэтому актуальной.

Получается странная картина. Брюсов, до Октября бывший передовым буржуазным поэтом России, а в начале пролетарской диктатуры единственным крупным буржуазным художником слова, смело и, как мы определили, отнюдь не напрасно перешедшим в лагерь пролетариата,—этот Брюсов все еще остается непонятым и недооцененным. И особенно непоняты последние книги Брюсова—«Дали» и «Меа».

Со всей прямотой надо сказать, что подобная «участь» Брюсова свидетельствует о том, что брю-

совская поэзия явно переживает своего автора, что вокруг этой поэзии идет своеобразная классовая борьба, сказывающаяся в различных ошибках, лжетолкованиях, замалчиваниях. Думается, что какое-то вмешательство здесь необходимо.

Это с одной стороны. С другой—нелишне, в заключительной части нашей работы, приглядеться и к тем взаимоотношениям, которые имелись в последние годы жизни Брюсова между его материалистической поэзией и идеалистическим сциентизмом, скажем, М. Волошина[1]. Мы, в меру нашего понимания, выяснили общий смысл брюсовского «релятивизма». Полюбопытствуем теперь, как воспринял теорию относительности Волошин в поэме «Космос», начинающейся, конечно, с возникновения «слова», «господнего дыхания» и т. п.

...Мы ищем лишь удобства вычислений,
А, в сущности, не знаем ничего:
Ни емкости,
Ни смысла тяготенья,
Ни масс планет,
Ни формы их орбит,
На вызвездившем небе мы не можем
Различить глазом «завтра» от «вчера».
Нет вещества —
Есть круговерти силы;
Нет твердости —
Есть натяженье струй;
Нет атома —
Есть поле напряженья...

И оказывается, что для Волошина относительна не степень близости наших знаний к абсолютам,

[1] Максимилиан Волошин родился 16 мая 1877 г., умер в Коктебеле (Крым) 11 августа 1932 г. Некоторые последние произведения его заслуживают внимания исследователей. Цитируемая поэма Волошина была напечатана в 5-й книге альманаха «Недра» за 1924 г.

но относительно самое существование этих абсолютов! «Мы, возводя соборы космогоний, не внешний в них отображаем мир, а только грани нашего незнанья». Так разошлись пути буржуазного идеалистического сциентизма и послеоктябрьской научной поэзии Брюсова!

Творчество Валерия Брюсова имеет громадное познавательное значение. Уже одного этого факта достаточно для того, чтобы проблема критического освоения наследства Брюсова представилась во всей своей полноте. Но ведь, помимо этого, в поэзии Брюсова очевидно присутствие множества еще близких нам мотивов и—мало того—наличие элементов грядущего искусства. А в таком случае Брюсова надо не только читать и изучать, но и кое в чем следовать его заветам. В борьбе с идеалистической лирикой нашим поэтам, даже не сознающим всех перспектив поэзии, не мешает опереться на то положительно, что есть в книгах Брюсова. Научные стихи Брюсова должны быть поняты как активное начало в современной поэзии.

Игорь Поступальский

Март 1932 г. Москва

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА

Дед поэта Валерия Брюсова, Козьма Андреевич Брюсов (1808—1891), был в свое время крепостным крестьянином Костромской губернии. Отец поэта, Яков Козьмич (1848—1907), родился тоже крепостным. Дед откупился с семьей на волю, переехал в Москву, занялся торговлей, сделался купцом, понемногу разбогател, но до конца своих дней вел скромный образ жизни. Своего единственного сына держал строго, с детства приучал к делу, образования почти никакого не дал. Но веяние 60-х годов дошло и до торговой части «города», до лавки Брюсовых. Коснулось оно и молодого Якова Брюсова. Наскучила ему пробочная торговля, он стал мечтать о самообразовании и приблизительно в 70-м году начал посещать кружки молодежи, а затем поступил на какие-то курсы.

Мать Валерия Яковлевича, Матрена Александровна (1846—1920), дочь лебедянского мещанина, поэта и баснописца-самоучки Александра Яковлевича Бакулина, под влиянием тех же идей примерно в том же 70-м году покинула Елец, где воспитывалась как «барышня» у тетки-купчихи, приехала в Москву, сняла с шеи крест, остригла волосы, поступила на службу, повела знакомство с молодежью, стремившейся, как она сама, к образованию и отчасти к развлечению, устроилась на тех же курсах, что и молодой купец Яков Брюсов...

Не по сердцу пришлась закоренелому в своих привычках Козьме Андреевичу его невестка, «безбожница», нарушительница всех «старинных устоев» и ко всему—бесприданница. На всю жизнь в его глазах осталась она виновницей того,

что сын оторвался от торговли и пристрастился в зрелые годы к скачкам и вину. Вскоре после женитьбы Яков Козьмич поехал один путешествовать по Германии; по возвращении бросил торговлю и поступил на службу в казенную палату, но так как жалованья на содержание жены и новорожденного сына Валерия нехватало, то принужден был вернуться к отцу и приняться снова за торговлю. По смерти Козьмы Андреевича его дело было прекращено Яковом Козьмичом, выписавшимся из купеческого звания и прожившим остаток своих дней на проценты от оставленного отцом капитала.

Собрать материалы и различные воспоминания для полной биографии В. Я. Брюсова—одна из твердо намеченных мною себе задач. Двадцать семь лет я была спутницей его жизни, знала его хорошо и как человека и как поэта, помогала ему в его работах (выполняя, конечно, лишь секретарский труд), повседневная жизнь у нас была общая, литературные интересы, поскольку я поспевала за Брюсовым, были одни и те же; они для меня и по сей день—неизменны. Мне легче других разобраться во всех имеющихся материалах и взять на себя труд по составлению биографии Брюсова. Разумеется, при последовательном чтении прозаических и стихотворных произведений В. Брюсова мы находим отображение брюсовского времени и быта, отражение личной жизни поэта, его мечтаний, увлечений, его научных и общественных интересов. Но не всегда легко извлечь из-под поэтической стилизации то, что относится к самому автору лично. Кто, например, узнает в Рупрехте, юноше XVI столетия, в герое «Огненного ангела», самого Брюсова? Трудно даже поверить, что поэт сумел так искусно вплести эпизод из своей жизни в быт отдаленного от нас века.

Здесь, в этой краткой биографической заметке, я хочу указать на некоторые материалы, необходимые для будущей полной биографии поэта.

Валерий Яковлевич Брюсов родился в 1873 г., 1 декабря, а метрика гласит: «2-го декабря в доме Херодиновых» (Милютинский пер., Москва).

Сестра Валерия Яковлевича, Надежда Яковлевна Брюсова, в своих «Воспоминаниях о Валерии Брюсове», прочитанных в 1925 г. на вечере памяти В. Брюсова, пишет: «...О раннем

детстве Валерия я, разумеется, знаю только по рассказам... Родился он очень некрасивым, с большой головой «толкачом». «Но мне,—говорила мама,—он все-таки казался хорошеньким». В детстве он перенес очень много болезней... Научился читать, говорят, трех лет. Мама и отец считали возможным давать ему только книги по естественной истории, приспособленные для детей книги по научным вопросам и реалистические рассказы. Сказки и фантастика были изгнаны... Рассказывают также, что лет семи он уже эмансипировался от опеки старших в отношении выбора книг и стал читать все, что хотел, даже романы».

Действительно, рассказы всех близких и родных сводятся к тому, что маленький Валерий был чрезвычайно живой, затейливый и необыкновенно умный ребенок, но что, как первенец, был до невероятности избалован. «В число его положительных качеств в детстве скромность и послушание, конечно, нельзя внести...», говорит дальше Надежда Яковлевна. «Мать и отец, видимо, считали, что жизнь детей должна итти по их собственному плану. Идеи «шестидесятых годов», «нигилизм», знакомство с революционерами-народниками оставили некоторый отпечаток свободомыслия, правда, смешанный с пережитками старых жизненных традиций наших родителей. Сознательной идеи «свободного воспитания», конечно, не было: просто взрослые жили своею жизнью, дети своею: сами придумывали игры, сами следили за своим ученьем» («Воспоминания Н. Я. Брюсовой»).

С 1885 по 1889 г. Валя Брюсов обучался в частной гимназии Креймана, имевшей немецкий уклон. Учился Брюсов в те годы плохо. Некогда было юному поэту, предоставленному самому себе, сосредоточиться на учении. В 1886 г. тринадцатилетний мальчик пробует свои литературные силы: он уже редактирует и целиком сочиняет рукописный журнал «Начало» (сохранилось 17 номеров); в 1887 г. заводит первую тетрадь стихов с громкими названиями: «Рай Шадада», «Гибель троянцев», «Из трагедии Ксеркса», «Из отчета о скачках 1886 г.» (стихи), «Куртизанка» и т. п. В 1888 г. пишет поэмы «Месть демона», «Наполеон», «Изобретатель» и стихотворение «Содом и Гоморра», к которому делает позднее примечание: «Это было моим самым популярным стихо-

творением, хорошо известным среди товарищей; кроме того оно было самым отделанным, так как было переделано несколько раз от начала до конца». В этом же году поэт впервые заносит в свои тетради переводы «Фауста» и переводы из Гейне. К 1889 г. относится рукописный «Листок V класса». От школьных лет, проведенных у Креймана, сохранились разные романы и драмы, оконченные и неоконченные, такие, как «Борьба», «Черный огонь», «Руджеро», «Тайна черного кольца», «Два центуриона»; альбомы тщательным образом исполненных географических карт; тетради с изображением тоже географических карт, но фантастических стран, с повествованием о выдуманных народах, об их быте, войнах и даже об истории их литературы и т. д. Совершенно невозможно перечислить в краткой заметке всех работ, проделанных юношей Брюсовым помимо школьных. Если бы напечатать все сохранившиеся детские сочинения, то это составило бы целые томы. Ясно, что со всем этим писанием можно было справиться только при особо пристрастном отношении к нему, при большой одаренности и исключительном трудолюбии.

Лирические стихи 90-х годов уже носят иные названия: «Nocturno», «Греза», «Фантазия», «Любовь № 4», "Любовь № 6» и среди них первые переводы из Гомера, Шиллера, Ибсена. Летом в 1890 г. Брюсов должен был готовиться к экзаменам для поступления в гимназию Поливанова, но, судя по беглым записям дневника тех дней, время провел довольно легкомысленно; тут отмечены сплошные прогулки, встречи с друзьями, карты, дачные балы в Одинцове (где Брюсовы жили на даче), ухаживания, поездки на скачки и т. п. И лишь в августе впервые записано: 13-го—«Отчаянно занимаюсь»; 15-го—«Прощание. Бал. Дождь. Занимаюсь весь день»; 16-го—«Математику выдержал»; 17-го—«Утро один. Латынь. История»; 18-го—«Провал по греческому»; 20-го—«Русский—«Капитанская дочка». Описание этих экзаменов и вообще периода поливановской гимназии изложено подробно частью в книге «Из моей жизни», частью в «Дневниках». (Здесь, по возможности, я пользуюсь материалом, не изданным.) К стихам 1891 г.—приписка от 8/XII 1892 г.: «В этот период я главным образом предался науке.

Потому здесь так много переводов с классических языков. Кроме того я жил гимназической жизнью (отсюда эпиграммы). Под конец, так сказать, «рассеянное чувство продиктовало мне два-три стихотворения знакомым барышням». В конце 91 г. я начал чаще и чаще посещать Красковых, отношение к которым однако развилось, собственно, в следующем году. Таким образом, этот год незаметно сливается со следующим...» В тетрадях, действительно, в этот период имеется много эпиграмм на товарищей и на себя. К стихам, видимо при их переписывании, делались различные примечания, их много, и они очень разнородны: то относятся к сюжету, то к замыслу, то ко времени их написания, то к размеру стиха и т. д. Так, к переводу из Виргилия «Энеиды» (кн. II, ст. 667—687) сделано примечание: «Переведено по предложению Аппельрота, нашего преподавателя латинского языка. Мой перевод он ценил баллом 5». К поэме «Король» сделано пояснение: «Поэма, над которой я особенно много работал; она, собственно, выработала мой стих. Начал я ее летом 90 г. и написал две главы, потом она была заброшена. Перечтя ее, я был сам восхищен и вздумал послать ее в какую-нибудь редакцию, но, переписывая, нашел ошибки и опять забросил ее до лета 1891 г.». Всего любопытнее в этих юношеских тетрадях—замыслы; к некоторым из них Брюсов уже в расцвете своих поэтических сил возвращался; так, например, драма «Земля» представляет собою обработку поэмы «Гибель Земли» (1890); на это заимствование Брюсов сам указывает в XV томе «Полного собрания сочинений», изд. «Сирина», 1914.

В 1892 г. Брюсов выделяет часть стихов в особый отдел—«Символизм». Первое стихотворение в нем—«из Римбо, «Утро любви. Леле» (2-е). Но тут же под ним мелким шрифтом: «Это мистификация. Тогда я еще не читал Римбо, да и вообще с символизмом был знаком не непосредственно, а через статью З. Венгеровой в «Вестнике Европы», 92 г., № 9». В этом же отделе, дальше: «Гаснут розовые краски...» из Малларме; к нему эпиграф: «Une dentelle s'abolit...» Stéphane Mallarmé». Пояснения однако не дано: является ли это тоже мистификацией или подражанием французскому символисту. Большинство стихотворений, вошедших позднее в сборники «Русские символисты», занесено в этот отдел, в котором, кроме того:

«К задуманной поэме «Ars Amandis» (по Овидию), «Из Торкватто Тассо», «Подражание Э. По» и т. д.

За период поливановской гимназии 1890—1893 гг., кроме лирических стихов и переводов, сохранились пьесы, в большинстве случаев разрешенные цензурой (некоторые из них исполнялись на дачной сцене; сам автор как актер-любитель принимал в них участие). Вот эти сценки, комедии, драматические этюды: «Дачные страсти», «Проза», «Каракалла». В «Дневниках» у Брюсова работы этого периода отмечены более полно. Гимназическое учение прошло вполне успешно, хотя много воевал сам Л. И. Поливанов со своим талантливым, но непокорным учеником. Рассказывают, что однажды, когда Брюсов подал ему прекрасно написанное сочинение, но абсолютно не на заданную тему, Лев Иванович поставил ему в тетрадь единицу, а в журнал 5. Кончить блестяще гимназию, как намеревался («Дневники»), Брюсову однако помешала совпавшая с выпускными экзаменами смерть Елены Масловой, девушки, с которой он незадолго до ее смерти сблизился.

С осени 1893 г. Валерий Яковлевич уже в университете. «Я занят больше университетом. Старательно посещаю лекции, работаю, даже все литературные занятия кинул, кроме лирики; расстаться с ней уж выше моих сил».

На странице одной из черновых статей «О символизме» сохранилась любопытная диаграмма—четырьмя графами изобразил Брюсов четыре периода своей жизни: «до гимназии», «у Креймана», «у Поливанова», «университет»; в центре по трем графам, кроме «до гимназии», всевозможными кривыми обрисована большая площадь, по ней написано—«*поэзия*»; в графе «до гимназии» «поэзия» занимает сравнительно очень маленькую площадь; слева от большой «*поэзии*»—облакообразные фигуры—«*любовь*», «*любовь*»; на одном из облаков—«*Леля*»; в графе «до гимназии» и «у Креймана»—площадь, ограниченная кривыми, подобие двух овалют эллипса—«*рисование*». Полагаю, что если бы пришлось составить диаграмму и на всю последующую жизнь поэта, то «поэзия» и «любовь» заняли бы не малую площадь в ней.

В университет Брюсов поступил на филологический факультет, классическое отделение, в 1895 г. перешел на исто-

рическое отделение, которое окончил в 1898 г., а выпускные экзамены выдержал весной 1899 г.

За годы 1894—1896, попутно с университетскими работами, Брюсов занят печатанием своих книг: «Русские символисты» (три выпуска), «Романсы без слов», переводы из П. Верлэна, «Chefs d'Oeuvre» (два издания) и «Me eum esse» (фактически вышла в 1896 г., на обложке—1897 г.), и в то же время пишет «Историю русской лирики».

«Я много работаю над «Историей Русской Лирики»; это будет труд громадный, величайший. Он должен будет создать науку «истории литературы». Подобного ему нет, не было. Он разрастается с каждым новым шагом: годы, годы—предо мной. И неужели мне суждено будет умереть со словами Бокля: «Книга, моя книга, я никогда не окончу ее!» Да—«это моя книга». Пока еще меня волнуют думы, я пишу повести, поэмки, стихи; но если б я обладал совершенной волей, я весь отдался бы своему труду, весь», сообщал Валерий Яковлевич 15 июля 1897 г. одному из друзей в письме.

В этом же 1897 году, в феврале, я была приглашена обучать французскому языку младших сестер и брата Валерия Яковлевича. Семья Брюсовых была самая странная, самая оригинальная, какую случалось мне когда-либо видеть. В те годы главой семьи была мать поэта, женщина умная, в достаточной мере своевольная и обожавшая своих детей. Отец держался в стороне от всех домашних и каких бы то ни было иных забот. Жил он в смежной квартире, где, между прочим, жил и Валерий Яковлевич. Квартира эта имела весьма холостецкий вид, об ней не заботились, ее мало убирали. Яков Козьмич целыми днями с самым серьезным и деловым видом сидел у себя за большим письменным столом и читал газету или новейший толстый журнал от начала до конца или же раскладывал пасьянс; в общую квартиру являлся к обеду и ужину или иногда вечером, чтоб поиграть в карты. Вообще в доме все от мала до велика жили каждый своей самостоятельной жизнью. С отцом никто не считался, так же как и он ни во что не вмешивался. Молчаливый, странный, затаенный, он начинал полунасмешливо, полудобродушно каждое обращение с поговорки: «Отчасти, господин». Всего больше меня поражали безразличные отношения отца к семье

и каждого члена семьи к отцу. Невольно напрашивалось сравнение нашей семьи в ее отношении к нашему отцу, всегда полному забот о нас, когда мы были детьми, и живо интересовавшемуся нами, когда мы стали взрослыми. С нашей стороны, мы безгранично любили отца и оставались с ним ласковы даже взрослыми, экономически уже не зависевшими от него, и несмотря на некоторое, приобретенное образованием, превосходство пред ним, литейщиком по профессии. Впрочем, и у Брюсовых отца любили, но как-то скрытно, холодно. Как я уже говорила, в семье Брюсовых все росли очень самостоятельными, независимыми, но самым независимым был все же Валерий Яковлевич. Никто не знал и не интересовался, где он бывает, кто у него бывает, что делает, приходит ли домой, нет ли, но были строго установленные часы, в которые Валерий Яковлевич регулярно в продолжение нескольких лет занимался со своими сестрами, не посещавшими гимназию, но всецело обучавшимися у брата. Валерий Яковлевич, так же как и отец, приходил к общему обеду,—приходил, сухо здоровался, садился за стол, ставил перед собой книгу, в которую, бывало, уставится, ничего не замечая и не вникая в то, что происходит кругом.

Весной того же 1897 г. Матрена Александровна с Яковом Козьмичом уехали в Париж на Всемирную выставку. Валерий Яковлевич понемногу привык ко мне, чужой в доме, скинул напускную строгость, стал чаще оставаться с нами в послеобеденное время, завлекательно беседовал, цитировал латинских поэтов, читал стихи французских символистов, чаще всего Верлэна, по поводу которого у нас возник на всю жизнь неразрешенный спор. Валерий Яковлевич утверждал, что поэт вне богемы—не поэт. Спор велся больше потому, что я доказывала обратное. В действительности же Брюсов с богемой не мирился, за редким исключением, под давлением каких-нибудь «авантюристических» влияний.

Летом Валерий Яковлевич ездил в Германию; оттуда прислал мне письмо, нежнее, чем можно было предполагать. Осенью состоялась наша свадьба. Еще до свадьбы Валерий Яковлевич писал весьма высокопарно одному из друзей:

«Друг мой, искренний! близкий! Буду говорить с Вами так откровенно, как не всегда говорят наедине с собой,—

постараюсь ответить на все Ваши сделанные и подразумевавшиеся вопросы. Вот прежде всего характеристика моей будущей жены. Она—не из числа замечательных женщин; таких, как она, много; нет в ней и той оригинальности, того самостоятельного склада души, которому мы с Вами дивились в письмах Евгении Ильиничны. Это—вполне романский характер. Она была воспитана, как в монастыре. В поэзии чтит «Ars poëtique» Буало, из которого знает длинные цитаты. Она догматична, наивна, но—как все романское—склонна к мимолетному безграничному протесту. (Это не значит—капризна...) Добавлю еще, что далеко не красива и не слишком молода (ей 21 год); впрочем, Вы с ней встречались.

Да, этот брак не будет тем идеальным союзом, о котором Вы проповедуете. Избранница, которая была бы равна мне по таланту, по силе мысли, по знаниям,—вероятно, это было бы прекрасно. Но можете ли Вы утверждать, что я встречу такую и что мы полюбим друг друга? А может быть возненавидим? Да и то, вспомните Жорж Занд и Альфреда де-Мюссе. В прошлом у меня были подруги, которые стояли выше других женщин. Мне случалось проводить ночи с женщиной, которая рифмовала не хуже меня, и на постели мы вперегонки слагали строфы шуточных поэм. Наконец, та же Евгения Ильинична, со своими мучительными думами о счастьи людей, о добре, о боге. Но ни одну из таких я не желал бы иметь постоянной подругой. Все они самостоятельные, талантливые,—все же (Вы поверите!) ниже меня, все же в умственной сфере я должен к ним спускаться. И это вечное положение наставника, с которым спорят и которого осуждают (потому что меня не поймут никогда), для меня невыносимо. И она бы стала оценивать мои стихи! Я предпочитаю, чтобы со мной было дитя, которое мне верит. Мне нужен мир, келья для моей работы,—а там была бы вечная, и для меня бесплодная, борьба. Видите, что этот брак почти «по расчету». Но, конечно, не в этих доводах все дело! Есть один великий довод, перед которым все остальные ничто,—это любовь, ее любовь. Неужели же в нелепой гордости мне пройти мимо, повторяя себе: «О, этого я найду сколько угодно».

Я очень дорожу Вашим мнением, М. В., мне было бы очень больно, если б Вы нашли, что я поступаю безрассудно. Боже мой, ведь не ослеплен же я страстью—это смешно. Десять лет я веду пышную жизнь нео-романтика, бездельничающего поэта, довольствующегося строфами о своем настроениии. Но Вы знаете, что *этого* мне не нужно.

Так много планов, так много замыслов передо мной! Чтоб исполнить *все*, конечно, жизни не хватит. И вот я замыкаюсь в мою келью. Вы скажете, что я много говорю о себе, а не подумал о том, что нужно *ей*. Неправда, подумал и думаю. Я вовсе не хочу заставить ее жить только моими радостями. Я люблю жизнь обыкновенную, общую, хотя, правда, больше как наблюдатель. О, во мне достаточно молодости, чтобы дурачиться и веселиться, как школьнику. Вы еще скажете, что я должен «учить» ее. Да,—в пределах. Теперь мы читаем Шекспира, когда-нибудь будем читать —Мэтерлинка. Но, в конце концов, Вы правы,—я больше думаю о себе. Мой девиз в этом браке: не надо бросать светильник за то только, что это не солнце.

Душою Ваш *Валерий Брюсов*».

Началась «мирная жизнь изо дня в день», как пишет в «Дневниках» Валерий Яковлевич, вернее было бы сказать—трудовая жизнь изо дня в день, из года в год, на всю жизнь. Только благодаря страстному увлечению своим делом, неслыханной быстроте, с какой справлялся с каждой работой, и большой усидчивости мог Брюсов то писать реферат, то философские размышления, то исследования о поэтах, а то по десять раз переделывать какой-нибудь рассказ, заведомо зная, что не скоро удастся что-нибудь из написанного напечатать.

«...Дело в том, что я так привык к миру начатых работ (из которых $^{9}/_{10}$ не будут кончены), что не могу вообразить себя занятым чем-нибудь одним. Устал я переводить, бросаю Вергилия, забываю об нем,—пишу трагедию; потом зовут меня обедать; возвращаясь, я критикую наших поэтов,—но когда вернется настроение, я опять возьмусь за трагедию и буду продолжать диалог с полуслова так же свободно, как если б перерыва не было. Так я живу в мире моей

поэзии, и только так могу я жить в окружающем меня мире...»—писал Валерий Яковлевич еще в 1896 г. (черновой отрывок письма). И действительно, в архиве имеется целый ряд рассказов, драм и статей, обрывающихся буквально на полуслове.

Брюсов самым серьезным образом учился писать, нисколько не кичась тем, что газеты и журналы провозгласили его тогда уже вождем символистов. Написанные стихи таил про себя, читал их очень немногим, ибо полагал, что большинство в стихах ничего не понимает. В повседневной жизни был скромен и мил, хотя мог быть и очень резким, особенно если при нем высказывали «глупое» суждение вообще, а в частности—о стихах. В работе был методичен, упорен. Время у него было всегда рассчитано, на «пустые разговоры» не любил его тратить. Сидим, бывало, часами, работаем и молчим. В дни подготовки к университетским выпускным экзаменам усидчивость проявил совершенно исключительную, на долгие часы даже запирался в своей комнате.

Как робкий ученик, отнес Брюсов в 1898 г. свою статью «О Тютчеве» П. И. Бартеневу, редактору «Русского архива». И был принят старым ласковым учителем, который подыскивал способного ученика, к тому же «бессеребренника»,—не любил Петр Иванович платить большие гонорары,—чтобы вручить ему свои литературные навыки, которые были с признательностью приняты Брюсовым.

В 1899 г. в одном из писем кому-то из друзей Валерий Яковлевич рисует свою жизнь следующим образом: «Жизнь моя на время вступила в тихое русло. Прошлый год был для меня очень шумным. Я дважды ездил в Петербург, встретился, познакомился с сотней новых лиц, потом томился в государственных испытаниях, потом отдыхал в Крыму; этой осенью последовал как бы ответный визит многих петербургских знакомых, появлявшихся в Москве в утомительной смене... Читаете ли Вы что-нибудь? Следите ли за газетами?.. Было время, я с трепетом ждал телеграммы из Рейна. Теперь если не с трепетом, то с жадностью читаю вести из Южной Африки. Война Англии с бурами—событие первостепенной исторической важности и для нас, для России,

величайшего значения. Только, конечно, наши политики медлят и колеблются и забывают, что рано или поздно нам все равно предстоит с ней великая борьба на Востоке, борьба не только двух государств, но и двух начал, все тех же, борющихся уже много веков. Мне до мучительности ясны события будущих столетий».

В другом черновике, наброске письма, должно быть, к Ив. Бунину, Валерий Яковлевич пишет в августе того же 1899 г.: «Очень много значит, с какой маской на лице вышли мы первый раз к людям. Мы много лжем, не потому, чтобы хотели обмануть, а лишь потому, что надо сохранять однажды принятую личину. Надо! люди не любят, чтобы ее нарушали, и не легко это. И я стиснут моей колеей, в которой стою, иду вперед, как лошадь с наглазниками. Но есть по крайней мере сознание позорности этого. А мыслей и сочувствий своих мне не будет стыдно ни перед кем. Все это говорю вот к чему. За последние годы раздумывал я о разных вещах и свои думы записывал. В журналах напечатать эти раздумья-статейки я, конечно, не мог, ибо меня даже не считали человеком пишущим (в «Русском Архиве» кроме библиографических заметок ничему не место). Отдельной же книжкой своих статей я не издавал именно потому, что они слишком противоречили принятому на себя облику. Теперь я отбрасываю этот рабский страх. Вы же, как кажется, не боитесь моего имени, потому я решаюсь предложить Вам эти мои статьи; их много, вот содержание некоторых: О последних статьях Чернышевского (в его переводе Вебера). О новейших французских поэтах (Вьеле Гриффин, Ренье, Верхарн, Ретте, Мерриль). О Ироде (греческом поэте александрийского периода, произведения которого так жизненны, словно писаны современным реалистом). О «Энеиде» и ее русских переводах...»

В «Южном обозрении», куда, видимо, Брюсов предлагал все эти свои работы, были напечатаны за этот и за следующий год лишь стихи из серии «Картинки Крыма» и несколько переводов из Верлэна, Роденбаха, Приска де-Ландель и Эверса.

По выработанному нами вместе с Брюсовым плану, мы должны были провести зиму после окончания В. Я. универ-

ситета в Германии, чтобы обоим нам усовершенствоваться в немецком языке, а самому Валерию Яковлевичу глубже проникнуться немецкой философией. Выполнению этого плана помешало, главным образом, то, что Валерий Яковлевич вместе со своим новым знакомым, переводчиком Кнута Гамсуна и Ибсена, С. А. Поляковым, увлеклись издательской идеей. У Полякова были деньги (в достаточном количестве), у Валерия Яковлевича—знания и запас литературных работ, а редакторско-издательский пыл в избытке был у обоих. Так возникло издательство «Скорпион», где появилась «Tertia vigilia» (1900), стихи для которой накопились за три года после «Me eum esse». Затем с невероятным увлечением были изданы «Северные цветы» (1901). С основания издательства «Скорпион» Брюсов становится уже «писателем». Среди черновых набросков сохранилось следующее послание (относящееся к 1900 г.) без всякого обращения; имеется оно в двух вариантах, по всему видно, что Брюсов писал его серьезно, обдумывая каждое слово: «Чувствую в себе силы и бодрость. Знаю, что во мне теперь сосредоточены все тайные нити человеческой мысли, идущие от первых дней. Все, что я писал и говорил, конечно, ничтожно; может быть, все, что я буду писать, ничтожно, но знаете ли Вы сознание возможности? С поразительной ясностью понимаю я все, даже что считаю величайшим. И потому иду к людям, мешаюсь с ними, братаюсь с людьми. Валерий Брюсов».

В 1900 г. Брюсов—секретарь и постоянный сотрудник «Русского архива», близкий участник издательства «Скорпион», корреспондент лондонского «Atheneaum», для которого пишет ежегодно о русской литературе с 1900 по 1906 г.; также печатает статьи в «Ребусе» о спиритизме.

Чтобы настоящая биографическая заметка не зиждилась исключительно на моих воспоминаниях, не была слишком голословной, считаю необходимым привести некоторые цитаты из черновых или, по разным причинам, не отосланных писем, в которых Валерий Яковлевич излагает свои взгляды на политику, на искусство, на литературу, на злободневные для него интересы. Меня могут упрекнуть в известном подборе цитат. Да, это уже неизбежное свойство цитат вообще. Конечно, при желании, можно подобрать у Брюсова—по ха-

рактеру чрезвычайно сложного, скрытного и не всегда искреннего в письмах—и противоположные цитаты. Я не спорю, но все же всей своей деятельностью, особенно последних лет, он доказал, что шел к определенно намеченной себе цели. Как на пример сложности характера Брюсова хочу указать на два черновых письма, одно редактору «Ребуса», В. Прибыткову, у которого В. Я. сотрудничал по доброй воле и абсолютно бесплатно. Письмо—милое, вежливое извещение о посылке ему, Прибыткову, своей книги; у меня нет этого письма под рукой, оно само по себе—незначительное, но ласковое. Наряду с этим имеется набросок письма, думается, К. Д. Бальмонту: «...Затем пишу спиритические статьи и заметки в «Русском Архиве»... делаю все, что делать не должно. Но ведь давно известно, что в том и сладость. Делать глупости—конечно—грех, но что же заманчивее греха? Читаю Киреевского, Хомякова, Самарина,—кого Вы читать не будете. Посещаю одно спиритическое общество, которое прелесть. Безумцы со всей Москвы тянутся туда. Толпа помешавшихся женщин и потерявших разум мужчин, истерия, дьяволы, тьма и юный проповедник Христа. Боже мой, да что же еще желать...» А вот клочок чернового письма (1901, февраль) к А. М. Горькому: «...Разве это, именно то же, не бывало тысячи тысяч раз в прошлом, и при Ассаргадонах и при Петрах? Было. И те были люди. Какая разница прежде и теперь? Для меня никакой. Вы скажете, когда умирает близкий, больно... Мне нет, лишь поскольку теряю я сам, а то в смерти я вижу лишь смерть. Давно привык я на все смотреть с точки зрения вечности. Меня тревожат не частные случаи, а условия, их создавшие. Не студенты, отданные в солдаты, а весь строй нашей жизни, всей жизни. Его я ненавижу, ненавижу, презираю! Лучшие мои мечты о днях, когда все это будет сокрушено.

«В руинах, звавшихся парламентской палатой» и т. д. Мне не мешает это проводить дни в библиотеках, вечера в ресторанах, как знание коперникова открытия не мешает видеть восхода и захода, а кантовские откровения не мешают мне знать, что далеко, что близко, что прошло, а что лишь будет. Но я не считаю себя вне борьбы. Разве мои стихи, дробящие размеры и заветы, не нанесли ни одного удара тому

целому, которое и сильно своей цельностью? И если можно будет, о, как весело возьмусь я за молот, чтобы громить хоть свой собственный дом, буду жечь и свои книги. Да. Но не буду браться за молот лишь затем, чтобы разбили мне голову. Для этого я слишком многих презираю. Ваш вполне. В. Брюсов».

Составление альманахов «Северные цветы» на 1901 г. и на 1902 было одной из увлекательных литературных работ для Брюсова. Более серьезные труды того периода надо отметить—«Письма Пушкина и к Пушкину» и сборник стихов «Urbi et orbi». В то же время Валерий Яковлевич был приглашен Мережковскими и П. П. Перцовым сотрудничать и даже секретарствовать в затеваемом им журнале «Новый путь». Лишь в период построения этого журнала Брюсов считался его секретарем, но по выходе первой книги от секретарства отказался, а сотрудничество его выразилось в напечатании в I и II книгах журнала (за подписями Вал. Бр., Аврелий, «Москвитянин») политического обзора и обзора книг. Вот некоторые отрывки из писем к П. П. Перцову (М., 1903, 28 июля) и З. Н. Гиппиус по поводу этого самого «Нового пути». «Дорогой Петр Петрович! Не гневайтесь и верьте, что во мне нет нисколько «обиды». Но ведь совершенно ясно, что о папах мне писать совершенно бесполезно. Я лучше пойду грибы собирать,—благо они у нас объявились. Из трех последних опытов уже несомненно, что мои «политики» никогда не попадут в тон «Н. Пути» tel que. Я смею думать, что предан «свободе» (и политической?) не меньше Мережковских с Егоровым, и во всяком случае не меньше их и всех либералов и редакторов вместе желаю преоборота и даже переворота, но только не для того, чтобы перестроить Русь на западный образец, а чтобы и на Западе уничтожить все эти опостылевшие образы. Таков смысл всех моих политик. Если это ретроградно, я смиряюсь...» В другом письме (к З. Н. Гиппиус) Брюсов с крайней резкостью отзывается о «Новом пути»:

«...Очень уж много в нем прямо противоположно мне, решительно отталкивает меня, никак не допускает «прилепиться» телом, как душой. Пусть я люблю все «двери» и сразу умею проникнуться во все «Я». Но все же милее прочих

мне дверь поэзии, искусства. А в «Н. Пути» она в таком заброшенном виде, словно это «черный ход», дверь на грязную лестницу... Затем, сколько вы меня ни обвиняете за все плохое, что есть и бывает в «Северных Цветах», но уж глупостей (просто, не в переносном, а в самом прямом смысле) там нет! А в «Н. Пути» как рассказ—оскорбление искусства, так посторонние статьи—оскорбление мысли... Вы скажете—это неприличие, это декадентство. А я скажу—в «Пути»—пошлость и глупость, кому что больше нравится...»

Я не могу утверждать, были ли эти письма посланы, вероятнее всего они были смягчены; во всяком случае, они достаточно ярко выражают настроение В. Я. и отношение его к «Новому пути». То же «ругательное» настроение выражено в письме (1903) к С. А. Соколову, издателю альманаха издательства «Гриф»:

«Уважаемый Сергей Алексеевич! Ни я, ни Марк Криницкий в этом году не можем принять участия в альманахе «Грифа». Причины этого Вам, вероятно, известны. Вкратце они таковы. И я, и все мои сотоварищи по «Скорпиону» и «Северным Цветам» с удовольствием приняли бы участие в литературном предприятии кружка писателей, разделяющих наши взгляды на искусство. Таким представлялся мне «Гриф» в прошлом году. С такой же радостью примкнули бы мы (оставаясь при этом, конечно, на втором плане) к группе лиц, преследующих иные, чем мы, задачи, но не враждебных нашим исканиям. Так смотрю я на свое участие в «Новом Пути». В этом году уяснилось, что «Гриф» не представляет никакой самостоятельной величины: пригласив к участию в своем альманахе всех участников «Сев. Цветов», и почти исключительно их, он тем самым утратил всякую индивидуальность, стал повторением, копией, т. е. тем, что мне более всего нелюбезно в мире. Альманах «Грифа» оказался при этом ненужным повторением «Сев. Цветов». Я надеюсь, что наше удаление послужит «Грифу» только на пользу, создаст истинного «Грифа», воззовет к жизни, к литературному бытию молодежь, у которой, может быть, нам еще придется учиться. Истинно уважающий Вас Валерий Брюсов».

С 1904 г. меценат С. А. Поляков наряду с издательством «Скорпион» стал издавать художественно-литературный и кри-

тико-библиографический ежемесячник «Весы». Всем хорошо известно, сколь любимым детищем были «Весы» для Брюсова. Но он был далеко не полновластным их редактором. Средь черновых писем есть такие, где Валерий Яковлевич горько жалуется на стесненность и т. д., но тем не менее Брюсовым вложен огромный труд в этот журнал. С необычайной быстротой подбирался ежемесячно материал, составлялась хроника и мелкие заметки. Можно с уверенностью сказать, что все неподписанные заметки в «Весах» принадлежат Брюсову; ряд подписей, такие, как Аврелий, В. Бакулин, Пентуар, Сбирко, Гармодий, К. К. К., Ch., Турист, А., Р., Enrico., L. и др.,—псевдонимы Брюсова. В архиве Брюсова сохранились подобранные листы хроники «Весов» за все годы. Те заметки, которые не принадлежат перу Брюсова, зачеркнуты, те, которые не зачеркнуты,—заметки Брюсова, а на полях против некоторых значится карандашом: «Мое?» или «Кажется, мое?». Не зачеркнутых—большинство. «Весы» начали помещать беллетристику только в 1906 г. В 1907—1908 гг. печаталась там повесть Брюсова «Огненный ангел». Вещь эта в окончательном виде писалась наспех, некоторые главы дописывались по мере печатания, некоторые досылались в типографию с надписью: «Окончание завтра». Но это не значит, что эта повесть была написана сразу. Много лет обдумывал В. Я. свою «Ведьму», как первоначально решил ее назвать. Несколько лет выписывались для изучения XVI века книги, иллюстрации, рисующие быт, нравы, инквизицию, костюмы и т. п. В архиве есть другие начала этой повести, каждое в отдельности разработано, но ни одно не доведено до конца; эти начала носят названия: «Молот ведьм», «Повесть о ведьмах», «Правдивая повесть» и т. д.

«Весы» кончили свое существование по воле их издателя в 1909 г. Валерий Яковлевич вышел из редакции вследствие ряда недоразумений, возникших у него с Поляковым. По этому поводу привожу следующее письмо к К. Д. Бальмонту: «Все, что Ты сообщаешь об отношении к Тебе конторы «Весов», даже чудовищно. Но, должен сознаться, что удивить меня Твое письмо не удивило... Отношение в «Весах» и в «Скорпионе» к сотрудникам похоже на отношение к пиратам или, точнее (ибо с пиратами ведется от-

крытая и порою красивая борьба), на отношение какой-то высокой особы к надоедливым просителям. Ты возразишь мне не без основания, что в таких отношениях к сотрудникам повинен и я, так как в течение многих лет состоял в числе администраторов «Весов». Здесь начинается та моя правота, в которой вот уже пять лет я никак не могу убедить ни близких людей, ни далеких. Устно, письменно и печатно уверяю я всех, что «Весы» никогда не были «моим» журналом, и никто мне не поверит. Даже в области чисто редакционной я никогда не имел возможности делать вполне, что хотел... В области же конторской я был совершенно безвластен и должен был исполнять решения Сергея Александровича. На все мои попытки реформировать контору «Весов» мне указывали довольно определенно, что это не мое дело... Прости, что опять все письмо наполняю дрязгами «Весов»... Теперь Ты знаешь мое отношение к поведению «Весов» и можешь на основании данных установить свое отношение. Однако, в заключение, очень Тебя прошу— не принимать решения, которое порою как бы напрашивается: не покидай «Весы» и «Скорпион». Все же мы в них выросли, мы обязаны известным пиэтетом к ним. Прошлое «Весов» и «Скорпиона», пусть исполненное всяких промахов, оставляет за ними самые широкие возможности в будущем. Необдуманно было бы из-за недостатков отдельных лиц отвергать целое дело, которое уже получило самостоятельное бытие, переросло своих основателей и движется далее своей собственной внутренней силой. Всегда Твой Валерий».

Так проходила литературная жизнь писателя. Попутно он был вовлечен как председатель в работу Литературно-художественного кружка, членами которого являлись артисты, литераторы, буржуазная интеллигенция, купцы-меценаты и т. п. После всех редакторских и издательских дел Брюсов тратил много энергии на участие в собраниях, заседаниях, на составление смет, на административные распоряжения, а иногда, правда редко, но все же засиживался и за картами. Здесь, в кружке, как везде, сумел Брюсов проявить себя очень серьезным работником, толковым председателем и добрым товарищем.

Тесно было Брюсову в обычной жизни. Его мечты о «келье», о книгах, о тихом доме, где он мог бы работать, и только работать, оставались лишь детскими мечтами. Неслыханное загружение себя работой, неустанная погоня за бесконечными сюжетно интересными житейскими романами подрывали его здоровье и силы. В 1905 г. 18/5 апреля Брюсов так определяет свой сложный характер в письме к К. Д. Бальмонту: «Ты тот же, что в дни, когда приходил ко мне... и говорил: «О, я знаю, я знаю себя, я доведу себя до того, что *буду* видеть». В моей жизни не было этого прямого пути. Твои годы были прояснением одного лика, мои—сменой двойников. При замкнутости моей души, при моей привычке везде, передо всеми носить маски, при моей вечной лжи передо всеми (о, я так люблю правду, что предпочитаю таить ее в себе!)—эта смена совершается тайно, невидимо. Одну износившуюся маску я заменяю другой,—всем казалось, что я тот же, и никто не примечал, что под этой сходной маской уже другое лицо, другой человек...» Конечно, тут много декадентских слов, это язык Брюсова и Бальмонта, когда они сходились для бесед, но тут и не малая доля правды.

События 1905 г. застали Брюсова в одном из туманов житейской осложненности, когда он так уместно и верно сравнил себя с Антонием:

...Когда вершились судьбы мира
Среди вспененных боем струй,—
Венец и пурпур триумвира
Ты променял на поцелуй...—

когда Брюсов говорил про себя: «Меня, искавшего безумий, меня, просившего тревог...» и т. д. Но не одних безумий и пустых тревог искал Брюсов, он временно запутался в поисках «живой модели» для героини своего «Огненного ангела»—Ренаты. В предисловии к книге стихов этого года, к «Stephanos», как бы сознавая несвоевременность или, вернее, противоречивость ее, Брюсов считает нужным сказать:

«Бедная моя книга: я отдаю тебя читателям в дни, когда им нужен не голос спокойных раздумий, не напевы вечных

радостей и вечных страданий, но гимн борьбы и бой барабанов. Ты будешь похожа, моя книга, на безумного певца, который вышел на поле битвы в дым, под выстрелы,—только с арфой. Одни, пробегая, не заметят тебя, другие оттолкнут со словами: «Не время!», третьи проклянут за то, что в руках у тебя не оружие. Не отвечай на эти упреки. Они правы: ты не для сегодняшнего дня. Проходи мимо, чтобы спокойно ждать своего часа. Прощай, моя бедная книга! Ты уже далеко от меня. Да, настало время военных труб и песен сражений».

Действительно, во всей книге только в отделе «Современность»—прямые отклики на политические события тех исторических дней да среди ненапечатанных стихов 1905 г.—«К Народу»—«Vox Populi» (не опубликованное при жизни поэта), «Нет, я не ваш, мне чужды цели ваши» и немногие другие, опубликованные позднее. Лето 1905 г. мы с Валерием Яковлевичем, как мирные туристы, блуждали по Швеции, но В. Я. зорко следил по шведским газетам за событиями в России, и когда однажды утром он увидал расклеенные по стенам сообщения: «Groot strick!» (всеобщая забастовка в России), тотчас же, немедля, достал билеты в обратный путь.

По закрытии «Весов» Брюсов в 1910 г. стал сотрудничать в «Русской мысли», в которой с 1911 г. работал как редактор литературного отдела. С переездом «Русской мысли» в Петербург редакторство фактически отпало. В 1912 г. Брюсов заключил договор с издательством «Сирин»—затеей киевского сахарозаводчика М. И. Терещенко—на полное собрание сочинений в 25 томов.

Усиленная многолетняя работа, бессонные ночи, бесконечные житейские переживания отразились на здоровьи Валерия Яковлевича, от природы не очень крепком. Врачи советовали санаторное лечение для укрепления нервов. По этому поводу декабрь и январь 1913/14 г. он провел под Ригой. После этого летом, еще не совсем оправившись, он отдыхал в Опалихе, близ Москвы, под наблюдением врача. В день разразившейся войны покинул дачу, забыв о лечении; в величайшем возбуждении, потратив минимум времени на сборы, отправился на фронт корреспондентом от «Русских ведомостей».

Очень быстро вошел в свою роль и по силе своего умения справлялся с возложенной на него задачей. 11 сентября 1914 г. пишет мне: «Начинаю входить во вкус работы «корреспондента» и понимать это ремесло, а до сих пор только учился». А 25 сентября: «4 русских корреспондента допущены на «театр». Меня в том числе нет. Это меня сильно побуждает вернуться в Москву. Но очень обидно уехать, не видав ни одного сражения!» Позднее, уже в феврале, по шестимесячном пребывании на фронте: «В «День Печати», увы!—ничего не написал. Зато написал статью о Пушкине, много перевел «Энеиды» и (почему-то) деятельно работал над своим «Учебником стихосложения». Вообще хочется работать «литературно», и корреспондентская деятельность, сказать по правде,—надоела. Не знаю, может быть, после поездки опять почувствую к ней влечение...» В мае 1915 г. окончательно возвратился глубоко разочарованный войной, не имея уже ни малейшего желания видеть поле сражения. К тому же, Брюсов приехал больным, так что пришлось снова начать прерванное лечение и уложить его в постель, а с такого рода пленением он легко мирился. Оно давало ему возможность сосредоточиться и быть у себя со своими работами.

Вскоре по возвращении Брюсова из областей военных действий к нему обратились, по совету Максима Горького, с предложением взять на себя редактирование и переводы сборника армянской поэзии представители Московского армянского комитета, уговорившие Брюсова не отказываться, как он намеревался, от этой работы, предложили ознакомить его со свойствами армянского языка и стихосложения, обещали сделать подстрочные переводы и в них отметить размеры и чередования рифм армянских подлинников. Все это было выполнено, и Брюсов справился и с этой работой вполне удачно, так что многие из армянских ашугов переданы с полной точностью на русский язык и равноценны в нем по поэтическому значению. Так возникла «Поэзия Армении», появившаяся в 1916 г. частью в переводах Брюсова, частью под тщательной его редакцией. Но так как Брюсов ко всему на свете относился с научной точки зрения, то, взявшись за переводы, он, естественно, изучил до подробностей историю культуры армянского народа; отсюда возникла «Летопись

исторических судеб армянского народа», изд. Московского армянского комитета, 1918 г. В 1916—1917 гг. Валерий Яковлевич был приглашен Обществом любителей армянской словесности в Баку, Тифлис, Эривань и даже в Эчмиадзин, чтобы прочесть ряд публичных лекций. Приглашение было принято, и лекции прошли с полным успехом. Не только «Поэзия Армении»—лекция, близкая по теме армянским сердцам, но даже «Учители учителей»—работа, серьезно обоснованная, слушались публикой с поразительным вниманием.

В 1915 г. по прихоти М. И. Терещенко издательство «Сирин» было ликвидировано и этим самым прервалось «Полное собрание сочинений В. Я. Брюсова». Это обстоятельство очень встревожило и опечалило Брюсова, столько лет мечтавшего о своем полном собрании. В одном из черновиков письма из Варшавы к Р. В. Иванову-Разумнику, близкому сотруднику «Сирина», Брюсов пишет: «Многоуважаемый Разумник Васильевич, известие о «катастрофе», постигшей «Сирин», признаюсь, поразило меня, что называется, как громом. Ясно, что жаловаться—совершенно бесплодно, тем более Вам, также, вероятно, пострадавшему в этой «катастрофе», но трудно и совсем промолчать... В самом деле, иметь 8 разрозненных томов из 25 ведь тысячу раз хуже, чем не иметь ни одного или иметь все 25. Думать, что найдется издательство, которое возьмется продолжать издание «Сирина»,—совершенно нельзя: издание «Сирина» было предпринято крайне неэкономично, цена тома почти не прикрывала его стоимости (Вы это знаете лучше меня), и никто не захочет продолжать такое издание в такой форме. Многое я еще мог бы сказать на эту тему, но, повторяю, это—вполне бесплодно».

Переводческая работа Брюсова не ограничилась одним сборником армянской поэзии. По напечатании этого сборника и параллельно с ним Валерий Яковлевич переводит и редактирует поэтов Латвии, Финляндии, Украины и еврейских поэтов для кн-ва «Парус», которое предприняло издание целого ряда сборников, «посвященных обзору литературного творчества племен, живущих с нами, русскими». Сохранившиеся в архиве черновики писем к А. Н. Тихонову, близкому участнику в то время кн-ва «Парус», дают точное

представление о взаимоотношениях Брюсова и «Паруса», поэтому привожу некоторые из отрывков пространной переписки:

«Многоуважаемый Александр Николаевич! Хотя это и может показаться излишне «романтическим» для нашего времени и деловой переписки, но я не могу не сказать, в ответ на Ваше последнее письмо, что был им глубоко тронут. Вы знаете, что мы, авторы, никак не приучены к таким письмам от редакторов и издателей... Всем, что Вы говорите в Вашем письме, Вы заставили меня живо почувствовать, в какой степени я не раз с недостаточной внимательностью относился к делам Вашего «Паруса»! Ваше внимание ко мне обязывает меня вдвое и вдесятеро усилить мои, доступные мне, заботы о Вашем издательстве. О времени, потерянном по причине моей болезни, говорить уже не приходится. Я очень жалею об нем, сознаю себя очень виноватым, но обстоятельства были таковы, что после операции, подвергаясь ежедневным перевязкам (нечто напоминающеее «допрос с причастием» святой инквизиции), я абсолютно не в состоянии был ни руководить чужими переводами, ни переводить сам. Остается только подумать о будущем и постараться новыми усилиями загладить, насколько то возможно, промахи и пробелы прошлого. По счастью, именно теперь, после болезни, я с каждым днем чувствую себя все лучше и все бодрее и, право, испытываю такой наплыв сил и такое желание работать, каких не ведал уже в течение ряда лет, с эпохи задолго «до войны». Попытаюсь и оправдать такое свое утверждение на деле в самом близком будущем.

Вместе с этим ответом, который мне настолько хотелось Вам высказать, посылаю два деловых письма. Одно касается «Паруса», но по его делам я вскоре пришлю Вам еще ряд дальнейших разъяснений... Другое—имеет в виду Ваше, столь лестное (и, признаюсь, неожиданное для меня), предложение—принять более близкое участие в «Летописи» и даже стать ее «постоянным» сотрудником. Извиняясь за крайнюю пространность этого письма, я все же очень прошу Вас—прочесть его все: правда, что это важнее для меня, нежели для Вас, но вы сами, добрым своим приглашением, вызвали

меня на целый «цикл» соображений и побудили к цепи разных предложений, которых лично я был чужд. Если Вы позволите мне принять à la lettre Ваше выражение: «нам» («Летописи») было бы очень желательно иметь вас постоянным сотрудником»... может быть, мои соображения и предложения и не покажутся Вам лишними...»

К этому же письму, вероятно, относятся страницы, в подзаголовок которым поставлено: I. «Летопись» и II. «Парус». Под главой I «Летописи» длинные рассуждения о принципиальном согласии сотрудничать в этом журнале, ко 2-й главе («Парус») отнесен подробный отчет о проделанной работе по переводам для сборников финских и латышских поэтов.

15 апреля 1917 г. в одной из неотосланных открыток Брюсов пишет: «Дорогой А. Н.! Благодарю за письмо, интересно очень. Что до меня—завален больше, чем всегда, работой. Принял на себя Комиссариат по регистрации произведений печати, т. е. состою комиссаром-председателем. Работаю не 8 ч. в сутки, а 12. *Кроме того,* пишу. А потом издаю вновь свое собрание сочинений, перевожу Верхарна, редактирую украинский сборник, также серию книг «Orbis litterarum universus» etc. etc. Попутно читаю курс лекций в Университете Шанявского. Совсем где-то состою председателем Л.-Х. Кружка (оборот $^1/_2$ милл. р. в год, все дела на мне). Представьте все это, если мыслимо: мне не представимо. Чувствую себя неким отвлечением. Посему простите бессвязность этих строк. Душевно Ваш В. Б.». А незадолго до того, в черновом наброске от 26 марта 1917 г.: «Трудно было в эти дни работать. Как ни стою я в стороне от общественной деятельности, все же частично захвачен ее волнами. Пришлось появляться, говорить, даже чигать доклады на разных собраниях, митингах и т. д. Все это еще раз убедило меня, что я создан не для этого, и, кажется, я сумею уклониться совсем, чтобы вполне вернуться к своим книгам и рукописям...»

«25 апреля 1917 г. Многоуважаемый Александр Николаевич!.. От Вас я не получал писем опять в течение нескольких недель. Не получил я также ни проекта договора об издании собрания моих сочинений, ни денежного расчета конторы... Особенно тяготит меня вопрос об издании моих

сочинений. Основываясь на определенном ответе З. И. Гржебина, а затем и на Вашем письме, я уже отказался от нескольких предложений других издательств... Между тем, окончательного утверждения моего договора с «Парусом» все еще нет, и я не знаю, как должен я объяснить себе это промедление. Не получил я ответа и на свое сообщение о «Египетских Ночах»... Добавлю, что я уже приступил к подбору материала для издания моих сочинений и уже составил «рукописи» томов I, II, III и VIII, что все же берет труда и времени не мало (ибо я хочу издание обработать серьезно), и не знаю, продолжать ли мне эту работу.

Не менее затрудняет меня вопрос об изд. соч. Верхарна. Я, конечно, продолжаю это дело и собрал уже много переводов для I тома. Но, как я писал в предыдущем письме, мне необходимо знать, к каким срокам хотите Вы получать рукописи томов... Далее, неопределенными остаются и мои отношения к «Летописи». Мною было предложено редакции три рукописи: статья о поэзии, 1-я песня «Ада» и 3 главы исследования «Учители Учителей». Первая статья по разным причинам не подошла (а теперь уже вполне устарела). Перевод «Ада», повидимому, Вы также не хотите поместить. (Решение редакции я оспаривать не буду, хотя с ним все же не согласен: по моему мнению, новый перевод, хотя бы и одной песни, Данте есть новое явление в русской литературе и, следовательно, уместен в журнале, при условии, конечно, если самый перевод хорош.) Остается исследование об Атлантиде. Относительно него я до сих пор не знаю Вашего решения (Вы только писали, что рукопись получили). Поэтому я не решаюсь обрабатывать дальнейшей главы: могу приняться за это лишь в том случае, если буду знать, что редакция «Летописи» находит метод моей работы подходящим, что она будет помещена, если следующие главы будут написаны так же, как первые. Без того я работать над статьей не решаюсь, ибо в изложении должен применяться к читателям: например, для научного, специального издания я обработал бы все это иначе. Итак, и в этом отношении я завишу от Вашего ответа. Наконец—«Новая Жизнь». Вероятно, Вас не удивит, если я скажу, что с некоторыми из позиций, занятых

газетой, я в основе не согласен. Для меня это, может быть, и не так существенно, ибо я давно предупреждал Вас, что ни к какой политической партии не принадлежу, считаю, что к общественно-политической деятельности я «не призван», и стараюсь в этой области активно не выступать. Кроме того, также «*не* согласен» я и с «политическими» позициями других изданий, в которых участвовал, хотя бы той же «Русской Мысли». Но, может быть, мое откровенное признание покажется не безразличным для редакции «Новой Жизни». Такие боевые органы должны подбирать сотрудников-единомышленников, а я не вижу, что мог бы я дать газете в ее духе. Кажется, и посланные мною стихи и те, которые остались у меня в запасе, внесут на столбцы газеты диссонанс. Отдела же литературного в газете пока нет, и чем я могу быть ей полезен, я пока не знаю...»

Приняв на себя Комиссариат по регистрации произведений печати, Валерий Яковлевич перевоплощается в серьезного чиновника, если судить по копиям длинных, скучнейших деловых писем, выдержанных в стиле от подчиненного к своему начальству, как, например, письма к С. А. Венгерову; таких писем в 1917 г. не мало.

Жизнь у нас в доме шла своим чередом, только здоровье Валерия Яковлевича плохо поправлялось. Регулярно посещал он свой Комиссариат, работал, иные вечера выступал, с переменным успехом, в разных кафе. По заведенному обычаю, у нас по средам собирались молодые поэты. Беседа велась исключительно на литературные темы, о поэзии, о стихосложении; политики касались мало. Но помню, однажды в разговоре с одним поэтом В. Я. сказал: «Скоро все переменится, ведь приехал Ленин!»—«А кто такой Ленин?» спросил молодой поэт. Валерий Яковлевич встал и, слегка дотронувшись до плеча своего собеседника, удивленно спросил: «Как, вы не знаете, кто такой Ленин? Погодите, скоро все узнают Ленина».

В дни октябрьского переворота Валерий Яковлевич лежал больной (осложнение на легкие после «инфлуэнции»). В эти дни,—должно быть, под влиянием болезни,—был сумрачен, крайне неразговорчив и мало реагировал на события, несмотря на то, что стрельба шла почти под окнами. На чет-

вертый день восстания поднялся еще с температурой и вышел,—пробираясь окольными путями, чтоб миновать обстрел,—навестить свой Комиссариат.

В период литературного затишья начал переводить II часть «Фауста» (1918). В свободное от службы время читал лекции в Университете Шанявского (к лекциям всегда тщательно готовился), изредка посещал Литературно-Художественный кружок, где еще продолжал быть председателем, но в общем людей видал мало. По этому поводу он пишет Бальмонту: «...Ты видишь людей больше моего. Что Вячеслав? что Белый? что Мережковские? Эгоистично, но мне бы хотелось узнать об них именно от Тебя. За своим столом, как на камне на берегу океана, я собираю «шумы»—«слухи», но они очень смутны, и Твой голос, как повеление мага, обратил бы их в определенные образы. Можно ли надеяться?..»

Перевод «Лилюли» Ромэна Роллана сделан был в несколько дней. Я подивилась, что Брюсов перевел прозаическую вещь стихами. На это он мне ответил, что стихами переводить легче и интереснее.

Зима 1918/19 г. была злополучной для здоровья Валерия Яковлевича. Несмотря на целый ряд литературных удач (издательства уже начали развертываться), несмотря на исполнение таких заветных мечтаний, как поручение редактирования нового издания Пушкина от Литературного отдела при Наркомпросе ,и даже невзирая на то обстоятельство, что наконец удалось устроить снова собрание сочинений, договорившись с З. И. Гржебина (издание не осуществилось, но надежда на его появление была полная),—несмотря на все это, Брюсов находился в достаточно подавленном состоянии, несомненно под влиянием своих недугов. Стихов сравнительно писал мало, а на тех, что писал, лежит философический отпечаток. Дата «1919—1920» на книге «В такие дни»—довольно случайная дата: в этой книге только три стихотворения 1919 года. Отсюда не следует, что Брюсов не работал из-за болезни. Он и на постели, весь забинтованный вследствие вскрытия флегмон, справлялся с работой. Так правил он корректуры Пушкина, начал перевод Гюго—«Эрнани», подготовлял 10-томное собрание сочинений и делал ряд других работ.

По освобождении Валерия Яковлевича от заведования Книжной палатой (преобразованный Комиссариат по регистрации произведений печати), чего сам он упорно добивался, и от заведывания Отделом научных библиотек Брюсов был назначен заместителем заведующего отделом «Лито» НКП. К этому времени здоровье Валерия Яковлевича значительно поправилось, и он с новой энергией и с постоянно свойственным ему увлечением развертывает свои организаторские силы и в короткое время создает при содействии А. В. Луначарского живое «Лито», с его научно-исследовательской литературной студией. Вокруг студии большое оживление, устремление—учиться, работать. Но Брюсов заведывал «Лито» всего лишь год. В 1921 г. он назначается заведующим литературными курсами при Дворце искусств. Эти курсы вместе со студией «Лито» были реорганизованы Брюсовым в Высший литературно-художественный институт.

Наконец-то удалось Валерию Яковлевичу воплотить свою давнюю мечту, с которой он носился с юных лет,—мечту о том, что писателю необходимо иметь, «как имеет архитектор или музыкант», свою специальную школу, где он мог бы учиться своему «ремеслу» в дополнение к призванию.

Согласно имеющейся в архиве «учетной карточке», Брюсов вступил в РКП(б) в июле 1920 г., в разгар работы «Лито», что породило среди старой интеллигенции сплетни. Ректор и профессор своего ВЛХИ, Брюсов уделяет ему много сил и времени, хотя и без того все мгновения дня у него заняты: он читал лекции в I МГУ и на рабфаке этого же МГУ, в Ком. академии, в Государственном институте слова, заведывал Охобром (Отдел художественного образования при Наркомпросе), участвовал в Государственном ученом совете, кроме того, выполнял свои творческие работы, готовился к лекциям; как я уже упоминала, он никогда не выступал, не подготовившись. Лекции читал: по истории древнегреческой литературы, по истории римской литературы, новой русской литературы, энциклопедию стиха и др. В то же время Брюсов с удвоенным вниманием следил за успехами науки, очень много читал по математике, изучал Маркса, Энгельса, Ленина.

Настоящая биографическая заметка вовсе не претендует

на то, чтобы дать полное и всестороннее освещение жизни и деятельности Валерия Яковлевича Брюсова. Она лишь указывает на некоторые существенные черты поэта, подмеченные в домашней жизни или заимствованные из моих воспоминаний и из безусловно случайных материалов, сохранившихся в архиве. Дать характеристику Брюсова-общественника, профессора и ректора предстоит его коллегам, сослуживцам и, главным образом, его ученикам, которых осталось не мало и которые в данном случае знали Брюсова лучше меня. Стараясь по возможности быть краткой в этой заметке, я сознательно не коснулась многих сторон как деятельности, так и личной жизни многогранного поэта и полного противоречий человека.

День 50-летия В. Я. Брюсова (1/XII 1873—1923) был отмечен публичным чествованием, к которому присоединилось правительство. А. В. Луначарский приветствовал юбиляра от Народного комиссариата по просвещению, П. Г. Смидович прочел грамоту ВЦИК РСФСР.

ВЦИК

Валерию Брюсову.

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета в день 50-летнего юбилея Валерия Яковлевича *Брюсова* отмечает перед всей страной его выдающиеся заслуги.

Даровитый поэт, многосторонний ученый—он внес ценный вклад в культуру своей родины.

Еще задолго до революции в ряде стихотворений он выражал нетерпеливое ожидание освободительного переворота, приветствовал грядущую революцию, заранее выражая горячую симпатию ее последователям-борцам и клеймя презрением людей половинчатых и нерешительных.

После Октябрьской революции он немедленно и твердо вступил в ряды ее работников, а с 1919 года в ряды Российской Коммунистической Партии. Он воспел с присущим ему талантом этот величайший в мировой истории переворот.

Последние шесть лет он неизменно работает на ниве коммунистического народного просвещения и является создателем и руководителем Института Литературы, привлекшего

к себе многие десятки пролетарских и крестьянских молодых талантов, учащихся у него мастерству слова.

За все эти заслуги Президиум Всероссийского Центрального Комитета в день 50-летнего юбилея выражает Валерию Яковлевичу Брюсову благодарность Рабоче-крестьянского правительства.

Москва, Кремль
17 декабря 1923 года.

Много было оказано в дни чествования внимания Валерию Яковлевичу, много было произнесено приветствий. В ответной речи Брюсов выразил признательность за все внимание к нему, но тем не менее припомнил стихи Фета, написанные им тоже по поводу 50-летия: «Нас отпевают в этот день, никто не подойдет с хулою. Всяк благосклонною хвалою немую провожает тень...» и в заключение сказал: «Я знаю то, что, в конце концов, сознавая все свои недостатки и ошибки, я все-таки не даром делал тот путь, по которому я прошел. Слушая здесь, с эстрады, свои стихи, мои давние стихи, которые я давно писал, я все время качал головой и в самом себе критиковал, как это плохо и неверно, потому что сейчас я пишу по-другому, лучше, насколько могу... Я начал стихами Фета и позвольте мне его же стихами и кончить. Вот что говорит Фет:

Покуда на груди земной
Хотя с трудом дышать я буду,
Весь трепет жизни молодой
Мне будет внятен отовсюду».

После многих лет беспрерывной работы Брюсов взял отпуск со службы на два месяца, и мы отправились в Крым всей семьей, т. е. Валерий Яковлевич, я и наш приемный сын и племянник 8-летний Коля, к которому «дядя Валя» проявлял любовь поистине дедовскую. Местом отдыха была выбрана Алупка, та самая Алупка, в которой мы с Брюсовым провели наше первое лето. Отдохнуть было пора; переутомление В. Я. чувствовалось во всем. Моим просьбам обратиться к врачу, чтоб полечить кашель, мучивший его, не внимал Валерий Яковлевич, но старался доказать, что он совершенно здоров, бодрился, взбирался на горы, катался вер-

хом, купался, плавал. Возвращались мы в Москву врозь. Валерий Яковлевич заехал на несколько дней в Коктебель, к поэту Максимилиану Волошину, где был сбор московских литераторов, среди них—знакомые, друзья и почитатели Брюсова. В последнем ко мне, очень тревожном, письме Валерий Яковлевич сообщает, что он окончательно расхворался, что сильно простудился во время экскурсии, попав под неслыханную грозу, сейчас лежит и, чтобы скорее поправиться, лечится аспирином.

Выбраться из Крыма осенью 1924 г. в нужный момент было делом нелегким. Валерий Яковлевич слишком серьезно относился к своим служебным обязанностям, не допускал, что он может опоздать даже по болезни, с непомерной трудностью достал билет в Москву и больным начал посещать службу, усердно хлопотал о своем ВЛХИ, всецело поглощенный заботами о предстоящем первом выпуске студентов.

Вскоре по возвращении из Крыма Брюсов слег. Крупозное и ползучее воспаление легких вместе с плевритом—констатировали врачи. После первой вспышки высокой температуры больной повеселел, сразу начал заниматься делами, лежа писал статью о Безыменском, просил ему читать вслух какую-то французскую научную книгу,—я запамятовала, какую; читала я ему Платона, журналы и др. Как выздоравливающий, он на все реагировал, делал распоряжения, давал советы. Но болезнь шла на ухудшение. Врачи ждали сначала кризиса, затем лизиса, а ползучее воспаление с каждым разрешением нового фокуса расслабляло больного. В полном сознании и понимании происходившего с ним лежал Валерий Яковлевич спокойно и почти безмолвно, но иногда выговаривал: «Конец! конец!» 8 октября настало мнимое облегчение. Валерий Яковлевич взял меня за руку и с трудом сказал несколько добрых и ласковых слов, относящихся ко мне. Затем после большого промежутка, подняв указательный палец, медленно произнес: «Мои стихи...» Я поняла—сбереги. То были последние слова поэта. Ночью больной метался, но был в сознании. В 10 часов утра, в присутствии врачей, профессора В. Д. Шервинского и его сына, поэта С. В.,—умер Валерий Яковлевич Брюсов.

Иоанна Брюсова

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

ИЗ КНИГИ
JUVENILIA
1892—1894

Сонет к форме

Есть тонкие властительные связи
Меж контуром и запахом цветка.
Так бриллиант невидим нам, пока
Под гранями не оживет в алмазе.

Так образы изменчивых фантазий,
Бегущие, как в небе облака,
Окаменев, живут потом века
В отточенной и завершенной фразе.

И я хочу, чтоб все мои мечты,
Дошедшие до слова и до света,
Нашли себе желанные черты.

Пускай мой друг, разрезав том поэта,
Упьется в нем и стройностью сонета
И буквами спокойной красоты!

1894

Осеннее чувство

Гаснут розовые краски
В бледном отблеске луны;
Замерзают в льдинах сказки
О страданиях весны;

Светлых вымыслов развязки
В черный креп облечены,
И на празднествах все пляски
Ликом смерти смущены.

Под лучами юной грезы
Не цветут созвучий розы
На куртинах Красоты,

И сквозь окна снов бессвязных
Не встречают звезд алмазных
Утомленные мечты.

1892

Творчество

Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.

Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине.

И прозрачные киоски
В звонко-звучной тишине
Вырастают, словно блестки
При лазоревой луне.

Всходит месяц обнаженный,
При лазоревой луне...
Звуки реют полусонно,
Звуки ластятся ко мне.

Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне,

И трепещет тень латаний
На эмалевой стене.

1894

О закрой свои бледные ноги.

1894

Умер великий Пан.

Она в густой траве запряталась ничком,
Еще полна любви, уже полна стыдом.
Ей слышен трубный звук: то император пленный
Выносит варварам регалии Равенны;
Ей слышен чей-то стон,—как будто плачет лес;
То голоса ли нимф, то голос ли небес,
Но внемлют вместе с ней безмолвные поляны:
Богиня умерла, нет более Дианы!

1894

Ученый

Посвящ. В. М. Ф.

Вот он стоит, в блестящем ореоле,
В заученной, иконописной позе.
Его рука протянута к мимозе,
У ног его цитаты древних схолий.

Прочь от него! Наш мир—фатаморгана,
Но правда есть и в призрачном оазе:
То—мир земли на высоте фантазий,
То—брат Ормузд, обнявший Аримана!

1894

Мечты о померкшем

Мечты о померкшем, мечты о былом,
К чему вы теперь? Неужели
С венком флер-д'оранжа, с венчальным венком
Сплели стебельки иммортели?

Мечты о померкшем, мечты о былом,
К чему вы на брачной постели
Повисли гирляндой во мраке ночном,
Гирляндой цветов иммортели?

Мечты о померкшем, мечты о былом,
К чему вы душой овладели,
К чему вы трепещете в сердце моем
На брачной веселой постели?

1893

ИЗ КНИГИ
CHEFS D'ŒUVRE
1894—1896

Мечты о поцелуях, мечты о бедах,
К чему вы, как бледные вестницы,
Повисли гирляндой во мраке ночном,
Гирляндой цветов мармеладных?

Мечты о поцелуях, мечты о бедах,
К чему вы, как душный омморфий,
К чему вы трепещете в сердце моем,
На брачной вакхической тризне?

1895

ИЗ КНИГИ
CHEFS D'ŒUVRE
1894—1895

Предчувствие

Моя любовь—палящий полдень Явы,
Как сон разлит смертельный аромат,
Там ящеры, зрачки прикрыв, лежат,
Здесь по стволам свиваются удавы.

И ты вошла в неумолимый сад
Для отдыха, для сладостной забавы?
Цветы дрожат, сильнее дышат травы,
Чарует все, все выдыхает яд.

Идем: я здесь! Мы будем наслаждаться,—
Играть, блуждать, в венках из орхидей,
Тела сплетать, как пара жадных змей!

День проскользнет. Глаза твои смежатся.
То будет смерть.—И саваном лиан
Я обовью твой неподвижный стан.

1895

Тени

Сладострастные тени на темной постели окружили,
легли, притаились, манят.
Наклоняются груди, сгибаются спины, веет жгучий,
тягучий, глухой аромат.

И, без силы подняться, без воли прижаться и вдавить свои пальцы в округлости плеч,
Точно труп наблюдаю бесстыдные тени в раздражающем блеске курящихся свеч;
Наблюдаю в мерцаньи колен изваянья, беломраморность бедер, оттенки волос...
А дымящее пламя взвивается в вихре и сливает тела в разноцветный хаос.

О, далеко утро на вспененном взморье, странно-алые краски стыдливой зари!..
О, весенние звуки в серебряном сердце и твой сказочно-ласковый образ, Мари!
Это утро за ночью, за мигом признанья, перламутрово-чистое утро любви,
Это утро, и воздух, и солнце, и чайки, и везде—точно отблеск—улыбки твои!
Озаренный, смущенный, ребенок влюбленный, я бессильно плыву в безграничности грез...
А дымящее пламя взвивается в вихре и сливает мечты в разноцветный хаос.

1895

Знаешь, Миньона,—один только раз.
Были с тобою мы близки!
Час лишь один был действительный час,
Прочие—бледные списки!

Свет озарил нас и странно погас,
Сжались извивы объятий,
Стрелка часов обозначила: «час»
На роковом циферблате!

В этот лишь миг, лишь единственный раз
Видел тебя я моею!
Как объяснить, что покинуло нас?
Нет, не могу, не умею!

Ярок, как прежде, огонь твоих глаз,
Ласки исполнены яда,—
Свет озарил нас и быстро погас...
Сердце! чего ж тебе надо?

Нет, не всесилен любовный экстаз!
Нет, мы с тобою не близки!
Час лишь один был действительный час,
Прочие—бледные списки!

1895

На журчащей Годавери

Лист широкий, лист банана,
На журчащей Годавери,
Тихим утром—рано, рано—
Помоги любви и вере!

Орхидеи и мимозы
Унося по сонным волнам,
Осуши надеждой слезы,
Сохрани венок мой полным.

И когда, в дали тумана,
Потеряю я из виду
Лист широкий, лист банана,
Я молиться в поле выйду;

В честь твою, богиня Счастья,
В честь твою, суровый Кама,
Серьги, кольца и запястья
Положу пред входом храма.

Лист широкий, лист банана,
Если ж ты обронишь ношу,
Тихим утром—рано, рано—
Амулеты все я сброшу.

По журчащей Годавери
Я пойду, верна печали,
И к безумной баядере
Снизойдет богиня Кали!

1895

На острове Пасхи

Раздумье знахаря-заклинателя

Лишь только закат над волнами
Погаснет огнем запоздалым,
Блуждаю один я меж вами,
Брожу по рассеченным скалам.

И вы, в стороне от дороги,
Застывши на каменной груде,
Стоите, недвижны и строги,
Немые, громадные люди.

Лица мне не видно в тумане,
Но знаю, что страшно и строго.
Шепчу я слова заклинаний,
Молю неизвестного бога.

И много тревожит вопросов:
Кто создал семью великанов?
Кто высек людей из утесов,
Поставил их стражей туманов?

Мы кто?—Жалкий род без названья!
Добыча нам—малые рыбы!
Не нам превращать в изваянья
Камней твердогрудые глыбы!

Иное,—могучее племя
Здесь грозно когда-то царило,
Но скрыло бегучее время
Все то, что свершилось, что было.

О прошлом никто не споет нам.
Но грозно, на каменной груде,
Стоите, в молчаньи дремотном,
Вы, страшные, древние люди!

Храня океан и утесы,
Вы немы, навек, исполины!..
О, если б на наши вопросы
Вы дали ответ хоть единый!

И только, когда над волнами
Даль гаснет огнем запоздалым,
Блуждаю один я меж вами,
По древним, рассеченным скалам.

1895

Львица среди развалин

Гравюра

Холодная луна стоит над Пасаргадой.
Прозрачным сумраком подернуты пески.
Выходит дочь царя, в мечтах ночной тоски,
На каменный помост—дышать ночной прохладой.

Пред ней знакомый мир: аркада за аркадой;
И башни и столпы, прозрачны и легки;
Мосты, повисшие над серебром реки;
Дома, и Бэла храм торжественной громадой...

Царевна вся дрожит... блестят ее глаза...
Рука сжимается мучительно и гневно...
О будущих веках задумалась царевна!

И вот ей видится: ночные небеса,
Разрушенных колонн немая вереница
И посреди руин,—как тень пустыни,—львица.

1895

Жрец

Бронзовая статуэтка

Далекий Сириус, холодный и немой!
Из ночи в ночь надменно
Сверкаешь ты над сумрачной землей,
Царишь над бедственной вселенной.

Владыка Сириус, не внемлющий мольбам,
Непобедимый мститель!
Пред алтарем ненужный фимиам
Тебе затеплил твой служитель.

Ты чужд нам, Сириус! но твой холодный луч
Сжигает наши жатвы.
Губи меня! и отравляй! и мучь!
И отвергай с презреньем клятвы!

Тебе, о Сириус, не знающий людей,
Я возношу моленья,
Среди толпы и в хижине своей,
И пав на ложе наслажденья!

1895

С кометы

Помнишь эту пурпурную ночь?
Серебрилась на небе земля
И луна, ее старшая дочь.
Были явственно видны во мгле
Океаны на светлой земле,
Цепи гор, и леса, и поля.

И в тоске мы мечтали с тобой:
Есть ли там и мечта и любовь?
Этот мир серебристо-немой
Ночь за ночью осветит; потом

Будет гаснуть на небе ночном,
И одни мы останемся вновь.

Много есть у пурпурных небес,—
О, мой друг, о, моя красота,—
И загадок, и тайн, и чудес.
Много мимо проходит миров,
Но напрасны вопросы веков:
Есть ли т а м и любовь и мечта?

1895

Осужденная жрица

Одна из осужденных жриц,
Я наблюдаю из кровати
Калейдоскоп людей и лиц
И поцелуев и объятий.

Вся жизнь проходит, как во сне,
В тупом тумане опьяненья,
И непонятно больше мне
Святое слово: наслажденье.

И ласки юношей, и грязь
Восторгов старчески бессильных
Переношу я, не томясь,
Как труп в объятиях могильных.

Желаний миг не для меня
И утомляться не могу я:
Даю подобие огня,
Изображенье поцелуя.

Творя обряд, из темноты
Лишь отмечаю без участья,
Как искажаются черты
В последней спазме сладострастья.

1894

Ночью

Дремлет Москва, словно самка спящего страуса,
Грязные крылья по темной почве раскинуты,
Кругло-тяжелые веки безжизненно сдвинуты,
Тянется шея—беззвучная черная Яуза.

Чуешь себя в африканской пустыне на роздыхе.
Чу! что за шум? не летят ли арабские всадники?
Нет! качая грузными крыльями в воздухе,
То приближаются хищные птицы—стервятники.

Падали запах знаком крылатым разбойникам,
Грозен голос сходящего с неба возмездия.
Встанешь, глядишь... а они все кружат над покойником,
В небе ж тропическом ярко сверкают созвездия.

1895

Сумасшедший

Чтоб меня не увидел никто,
На прогулках я прячусь, как трус,
Приподняв воротник у пальто
И на брови надвинув картуз.

Я встречаю нагие тела,
Посинелые в рыхлом снегу,
Я минуты убийств стерегу
И смеюсь беспощадно с угла.

Я спускаюсь к реке. Под мостом
Выбираю угрюмый сугроб.
И могилу копаю я в нем,
И ложусь в приготовленный гроб.

Загорается дом... и другой...
Вот пылает весь город в огне...

Но любуюсь на блеск дорогой
Только я—в ледяной тишине.

А потом, отряхнувши пальто,
Принадвинув картуз на глаза,
Я бегу в неживые леса...
И не гонится сзади никто!

1895

Свиваются бледные тени,
Видения ночи беззвездной,
И молча над сумрачной бездной
Качаются наши ступени.

Друзья! Мы спустились до края!
Стоим над развернутой бездной—
Мы, путники ночи беззвездной,
Искатели смутного рая.

Мы верили нашей дороге,
Мечтались нам отблески рая...
И вот—неподвижны—у края
Стоим мы в стыде и тревоге.

Неверное только движенье,
Хоть шаг по заветной дороге—
И нет ни стыда, ни тревоги,
И вечно, и вечно паденье!

Качается лестница тише,
Мерцает звезда на мгновенье,
Послышится ль голос спасенья:
Откуда—из бездны иль свыше?

1895

ИЗ КНИГИ

ME EUM ESSE

1896—1897

Юному поэту

Юноша бледный со взором горящим!
Ныне даю я тебе три завета.
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее—область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.

Юноша бледный со взором смущенным!
Если ты примешь моих три завета,
Молча паду я бойцом побежденным,
Зная, что в мире оставлю поэта.

1896

Холод

Как царство белого снега,
Моя душа холодна.
Какая странная нега
В мире холодного сна!—
Как царство белого снега,
Моя душа холодна.

Проходят бледные тени,
Подобные чарам волхва,
Звучат и клятвы, и пени,
Любви и победы слова...
Проходят бледные тени,
Подобные чарам волхва.

А я всегда, неизменно,
Молюсь неземной красоте;
Я чужд тревогам вселенной,
Отдавшись холодной мечте.
Отдавшись мечте,—неизменно
Я молюсь неземной красоте.

1896

...И, покинув людей, я ушел в тишину,
Как мечта, одинок, я мечтами живу.
Позабыв обаянья бесцельных надежд,
Я смотрю на мерцанья сочувственных звезд.

Есть великое счастье—познав, утаить;
Одному любоваться на грезы свои;
Безответно твердить откровений слова
И в пустыне следить, как восходит звезда.

1896

Идеал человека

Я действительности нашей не вижу,
Я не знаю нашего века,
Родину я ненавижу,—
Я люблю идеал человека.

И в пространстве звенящие строки
Уплывают в даль и к былому;
Эти строки от жизни далеки,
Этих грез не поверю другому.

Но когда настанут мгновенья,
Придут существа иные.
И для них мои откровенья
Прозвучат как песни родные.

1896

Мучительный дар

Мучительный дар даровали мне боги,
Поставив меня на таинственной грани.
И вот я блуждаю в безумной тревоге,
И вот я томлюсь от больных ожиданий.

Нездешнего мира мне слышатся звуки,
Шаги эвменид и пророчества ламий...
Но тщетно с мольбой простираю я руки,
Невидимо стены стоят между нами.

Земля мне чужда, небеса недоступны,
Мечты навсегда, навсегда невозможны.
Мои упованья пред миром преступны,
Мои вдохновенья пред небом ничтожны!

1896

По поводу «Chefs d'œuvre»

Ты приняла мою книгу с улыбкой,
Бедную книгу мою...
Верь мне: давно я считаю ошибкой
Бедную книгу мою.

Нет! не читай этих вымыслов диких,
Ярких и странных картин:
Правду их образов, тайно великих,
Я прозреваю один.

О, этот ропот больных искушений,
Хохот и стоны менад!
То — к неземному земные ступени,
Взгляд — до разлуки — назад.

Вижу, из сумрака вышедши к свету,
Путь свой к лучам золотым;
Ты же на детскую долю не сетуй:
Детям их отблеск незрим!

Так! не читай этих вымыслов диких,
Брось эту книгу мою:
Правду страниц ее, тайно великих,
Я, покоряясь, таю.

1896

Четкие линии гор;
Бледно-неверное море...
Гаснет восторженный взор,
Тонет в бессильном просторе.

Создал я в тайных мечтах
Мир идеальной природы,—
Что перед ним этот прах:
Степи, и скалы, и воды!

1896

О, плачьте, о, плачьте,
До радостных слез!
— Высоко на мачте
Мелькает матрос.

За гранью страданий
Есть новые дни.
— Над морем в тумане
Сверкнули огни.

Желанья — как воды,
Страданья — маяк...
— Плывут пароходы
В таинственный мрак.

1896

Есть что-то позорное в мощи природы,
Немая вражда к лучам красоты:
Над миром скал проносятся годы,
Но вечен только мир мечты.

Пускай же грозит океан неизменный,
Пусть гордо спят ледяные хребты;
Настанет день конца для вселенной,
И вечен только мир мечты.

1896

Мгновение

Один ее взгляд ярче тысячи звезд!
Небесный, алмазный, сверкающий крест,—
Один ее взгляд выше тысячи звезд!

Я встретил на миг лишь один ее взгляд,—
Алмазные отсветы так не горят...
Я встретил на миг один ее взгляд.

О, что за вопросы виделись в нем!
Я смутно померк в венце золотом—
О, что за вопросы виделись в нем!

Умрите, умрите, слова и мечты,—
Что может вся мудрость пред сном красоты?
Умрите, умрите, слова и мечты!

1896

Я помню вечер, бледно-скромный,
Цветы усталых георгин,
И детский взор,—он мне напомнил
Глаза египетских богинь.

Нет, я не знаю жизни смутной:
Горят огни, шумит толпа,—
В моих мечтах—Твои минуты:
Твои мемфисские глаза.

1897

Побледневшие звезды дрожали,
Трепетала листва тополей,
И, как тихая греза печали,
Ты прошла по заветной аллее.

По аллее прошла ты и скрылась...
Я дождался желанной зари,
И туманная грусть озарилась
Серебристою рифмой Марии.

1896

Последний день
Сверкал мне в очи,
Последней ночи
Встречал я тень.

А. Полежаев

И ночи, и дни примелькались,
Как дольные тени волхву.
В безжизненном мире живу,
Живыми лишь думы остались.

И нет никого на земле
С ласкающим горестным взглядом,
Кто б в этой томительной мгле
Томился и мучился рядом.

Часы неизменно идут,
Идут, и минуты считают...
О, стук перекрестных минут!
— Так медленно гроб забивают.

1895

Я бы умер с тайной радостью
В час, когда взойдет луна.
Овевает странной сладостью
Тень таинственного сна.

Беспредельным далям преданный,
Там, где меркнет свет и шум,
Я покину круг изведанный
Повторенных слов и дум.

Грань познания и жалости
Сердце вольно перейдет,
В вечной бездне, без усталости,
Будет плыть вперед, вперед.

И все новой, странной сладостью
Овевает призрак сна...
Я бы умер с тайной радостью
В час, когда взойдет луна.

1897

Последние слова

И я опять пишу последние слова,
Предсмертные стихи, звучащие уныло...
Опять, опять пишу унылые слова.

Но не забыто все, что грезилось и было!
Пусть будущего нет, пусть завтра—не мое,
Но не забыто все, что грезилось и было.

Теперь не жизни жаль, где я изведал все:
Победу и позор, и все изгибы чувства,—
Нет, мне не жизни жаль, где я изведал все.

Но вы, мечты мои! провиденья искусства!
Ряды замышленных и не свершенных дел!
Вы, вы, мечты мои, провиденья искусства!

Как горько умирать, не кончив, что хотел,
Едва найдя свой путь к восторгам идеала!—
О, горько умирать, не кончив, что хотел...

Так много думано, исполнено так мало!

1896

Посв. ★ ★ ★

Мне снилось: мертвенно-бессильный,
Почти жилец земли могильной,
Я, глухо, близился к концу.

И бывший друг пришел к кровати
И, бормоча слова проклятий,
Меня ударил по лицу.

1896

Кончено, кончено! Я побежден.
— Смейтесь!
Погас, погас весенний сон...
Листья осенние, вейтесь!

Медленно всходит былая луна,
Всходит...
Горит в огнях, горит волна;
Челнок опрокинутый бродит.

Утром наляжет на ропотный лес
Иней,
И, все в крови,—укор небес,—
Солнце взойдет над пустыней.

1896

...Я вернулся на яркую землю,
Меж людей, как в тумане, брожу,
И шумящему говору внемлю,
И в горящие взоры гляжу.

Но за ропотом снежной метели,
И под шопот ласкающих слов—
Не забыл я полей асфоделей,
Залетейских немых берегов.

И в сияньи земных отражений
Мне все грезятся—ночью и днем—
Проходящие смутные тени,
Озаренные тусклым огнем.

1896

Из бездны ужасов и слез,
По ступеням безвестной цели,
Я восхожу к дыханью роз
И бледно-палевых камелий.

Мне жаль восторженного сна
С палящей роскошью видений;
Опять к позору искушений
Душа мечтой увлечена.

Едва шепнуть слова заклятий,—
И блеском озарится мгла,
Мелькнут, для плясок, для объятий,
Нагие, страстные тела...

Но умирает вызов властный
На сомкнутых устах волхва;
Пускай желанья сладострастны,—
Покорно-холодны слова!

1896

Не плачь и не думай:
Прошедшего — нет!
Приветственным шумом
Врывается свет.

Уснувши, ты умер
И утром воскрес,—
Смотри же без думы
На дали небес.

Что вечно,—желанно,
Что горько,—умрет...
Иди неустанно
Вперед и вперед.

1896

Годы молчания

Есть для избранных годы молчания.
Они придут—
И осудят былые желания...
О, строгий суд!

Но томленье о благе единственном
Не явит нам,
Как пройти переходом таинственным
К иным мечтам.

В лабиринте блуждая, бессильные,
Собьемся мы,

И заманят нас в глуби могильные
Соблазны тьмы!

1897

Обязательства

Я не знаю других обязательств,
Кроме девственной веры в себя.
Этой истине нет доказательств,
Эту тайну я понял, любя.

Бесконечны пути совершенства,
О, храни каждый миг бытия!
В этом мире одно есть блаженство—
Сознавать, что ты выше себя.

Презренье—бесстрастие—нежность—
Эти три,—вот дорога твоя.
Хорошо, уносясь в безбрежность,
За собою видеть себя.

1897

ИЗ КНИГИ

TERTIA VIGILIA

1898—1901

Возвращение

Я убежал от пышных брашен,
От плясок сладострастных дев,
Туда, где мир уныл и страшен;
Там жил, прельщения презрев.

Бродил, свободный, одичалый,
Таился в норах давней мглы;
Меня приветствовали скалы,
Со мной соседили орлы.

Мои прозренья были дики,
Мой каждый день запечатлен;
Крылато-радостные лики
Глядели с довременных стен.

И много зим я был в пустыне,
И ждал условленного дня,
Но был мне глас. И снова ныне
Зрят в шумной суете—меня.

Надел я прежнюю порфиру,
Умастил миром волоса,
Едва предстал я, гордый, пиру,
«Ты царь!»—решили голоса.

Среди цариц веселой пляски
Я вольно предъизбрал одну:
Да обрету в желаньи ласки
Свою безвольную весну!

И ты, о, мой цветок долинный,
Как стебель, повлеклась ко мне.
Тебя пленил я сказкой длинной...
Ты—на яву, и ты—во сне.

Все миги для тебя случайны:
Восторги встреч, намеки звезд,—
И ты дрожишь во храме Тайны
Блаженным трепетом невест.

Но дух испытанный не властен
Не проницать до глуби даль.
В грядущем каждый миг мне ясен:
Там будет радость, там печаль.

Срок нашей радости мне ведом,
Но не боюсь вечерних слез
И смерти, нисходящей следом,
Как не жалею поздних роз.

И если, страстный, в миг заветный,
Заслышу я мой трубный звук,
— Воспряну! кину клич ответный
И вырвусь из стесненных рук!

1900

— Я —

Мой дух не изнемог во мгле противоречий,
Не обессилел ум в сцепленьях роковых.
Я все мечты люблю, мне дороги все речи,
И всем богам я посвящаю стих.

Я возносил мольбы Астарте и Гекате,
Как жрец, стотельчих жертв сам проливал я кровь,
И после подходил к подножиям распятий
И славил сильную, как смерть, любовь.

Я посещал сады Ликеев, Академий,
На воске отмечал реченья мудрецов,
Как верный ученик, я был ласкаем всеми,
Но сам любил лишь сочетанья слов.

На острове Мечты, где статуи, где песни,
Я исследил пути в огнях и без огней,
То поклонялся тем, что ярче, что телесней,
То трепетал в предчувствии теней.

И странно полюбил я мглу противоречий,
И жадно стал искать сплетений роковых.
Мне сладки все мечты, мне дороги все речи,
И всем богам я посвящаю стих...

1899

Tertia vigilia

Ребенком я, не зная страху,
Хоть вечер был и шла метель,
Блуждал в лесу, и встретил пряху,
И полюбил ее кудель.

И было мне так сладко в детстве
Следить мелькающую нить
И много странных соответствий
С мечтами в красках находить.

То нить казалась белой, чистой;
То вдруг, под медленной луной,
Блистала тканью серебристой;
Потом слилась со мглой ночной.

И, наконец, на третьей страже
Восток означился, горя,
И обагрила нити пряжи
Кровавым отблеском заря!

1901

Ассаргадон

Ассирийская надпись

Я—вождь земных царей и царь, Ассаргадон.
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!
Едва я принял власть, на нас восстал Сидон.
Сидон я ниспроверг и камни бросил в море.

Египту речь моя звучала, как закон,
Элам читал судьбу в моем едином взоре,
Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон.
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!

Кто превзойдет меня? кто будет равен мне?
Деянья всех людей—как тень в безумном сне,
Мечта о подвигах—как детская забава.

Я исчерпал до дна тебя, земная слава!
И вот стою один, величьем упоен,
Я, вождь земных царей и царь—Ассаргадон.

1897

Халдейский пастух

Отторжен от тебя безмолвием столетий,
Сегодня о тебе мечтаю я, мой друг!
Я вижу ночь и холм, нагую степь вокруг,
Торжественную ночь при тихом звездном свете.

Ты жадно смотришь в даль; ты с вышины холма
За звездами следишь, их узнаешь и числишь,

Предвидишь их круги, склонения... Ты мыслишь,
И таинства миров яснеют для ума.

Божественный пастух! среди тиши и мрака
Ты слышал имена, ты видел горний свет:
Ты первый начертал пути своих планет,
Нашел названия для знаков Зодиака.

И пусть безлюдие, нагая степь вокруг;
В ту ночь изведал ты все счастье дерзновенья,
И в этой радости дай слиться на мгновенье
С тобой, о, искренний, о, неизвестный друг!

1898

Жрец Изиды

Я—жрец Изиды Светлокудрой;
Я был воспитан в храме Фта,
И дал народ мне имя «Мудрый»,
За то, что жизнь моя чиста.

Уста не осквернял я ложью,
Корыстью не прельщался я,
И к женской груди, с страстной дрожью,
Не припадала грудь моя;

Давал я щедро подаянье
Всем, обращавшимся ко мне...
Но есть в душе воспоминанье,
Как змей лежащее на дне.

Свершал я путь годичный в Фивы...
На палубе я утра ждал...
Чуть Нил влачил свои разливы;
Смеялся вдалеке шакал.

И женщина, в одежде белой,
Пришла на пристань, близ кормы,

И стала, трепетно-несмело,
Там, пред порогом водной тьмы.

Дрожал корабль наш, мертвый, сонный,
Громадой черной перед ней,
А я скрывался потаенно
Меж бревен, весел и снастей.

И, словно в жажде утешенья,
Та, в белом женщина, ждала,
И медлила свершить решенье...
Но дрогнула пред утром мгла...

В моей душе все было смутно,
Хотел я крикнуть,—и не мог...
Но вдруг повеял ветр попутный
И кормщик затрубил в свой рог.

Все пробудились, зашумели,
Вознесся якорь с быстротой,
Канаты радостно запели,—
Но пристань видел я—пустой!

И мы пошли, качаясь плавно,
И быстро все светлело вкруг,—
Но мне казалось, будто явно
В воде распространялся круг...

Я—жрец Изиды Светлокудрой;
Я был воспитан в храме Фта,
И дал народ мне имя «Мудрый»,
За то, что жизнь моя чиста!

1900

Рамсес

По бездорожьям царственной пустыни,
Изнемогая жаждой, я блуждал.
Лежал песок, за валом вал,

Сияли небеса, безжалостны и сини...
Меж небом и землей я был так мал.

И, встретив памятник, в песках забытый,
Повергся я на каменный помост.
Палили тело пламенные плиты,
И с неба падал дождь огнистых звезд.
Но в полумгле томительного бреда
Нащупал надпись я на камнях тех:

— Черты, круги, людские лики, грифы—
Я разбирал, дрожа, гиероглифы:
«Мне о забвеньи говорят—о, смех!
Векам вещают обо мне победы!»

И я смеялся смыслу знаков тех
В неверной мгле томительного бреда.

— Кто ты, воитель дерзкий? дух тревожный?
Ты—Озимандия? Ассаргадон? Рамсес?
Тебя не знаю я, твои вещанья ложны!
Жильцы пустынь, мы все равно ничтожны
В веках земли и в вечности небес.

И встал тогда передо мной Рамсес.
. . . . . .

1899

Александр Великий

Неустанное стремленье от судьбы к иной судьбе,
Александр Завоеватель, я—дрожа—молюсь тебе.

Но не в час ужасных боев, возле древних Гавгамел,
Ты мечтой, в ряду героев, безысходно овладел.

Я люблю тебя, Великий, в час иного торжества.
Были буйственные клики, ропот против божества.

И к войскам ты стал, как солнце; ослепил их грозный взгляд,
И безвольно Македонцы вдруг отпрянули назад.

Ты воззвал к ним: «Вы забыли, кем вы были, что̀ теперь!
Как стада, в полях бродили, в чащу прятались, как зверь.

Создана отцом фаланга, вашу мощь открыл вам он;
Вы со мной прошли до Ганга, в Сарды, в Сузы, в Вавилон.

Или мните: государем стал я милостью мечей?
Мне державство отдал Дарий! скипетр мой, иль он ничей!

Уходите! путь открытый! размечите бранный стан!
Дома детям расскажите о красотах дальних стран,

Как мы шли в горах Кавказа, про пустыни, про моря...
Но припомните в рассказах, где вы кинули царя!

Уходите! ждите славы! Но—Аммона вечный сын—
Здесь, по царственному праву, я останусь и один».

От курений залы пьяны, дышат золото и шелк.
В ласках трепетной Роксаны гнев стихает и умолк.

Царь семнадцати сатрапий, царь Египта двух корон,
На тебя—со скиптром в лапе—со стены глядит Аммон.

Стихли толпы, колесницы, на равнину пал туман...
Но, едва зажглась денница, взволновался шумный стан.

В поле стон необычайный, молят, падают во прах...
Не вздохнул ли, Гордый, тайно о своих ночных мечтах?

О, заветное стремленье от судьбы к иной судьбе,
В час сомненья и томленья я опять молюсь тебе!

1899

Скифы

Если б некогда гостем я прибыл
К вам, мои отдаленные предки,—
Вы собратом гордиться могли бы,
Полюбили бы взор мой меткий.

Мне не трудно далась бы наука
Поджидать матерого тура.
Вот—я чувствую гибкость лука,
На плечах моих барсова шкура.

Словно с детства я к битвам приучен!
Все в раздолье степей мне родное!
И мой голос верно созвучен
С оглушительным бранным воем.

Из пловцов окажусь я лучшим,
Обгоню всех юношей в беге;
Ваша дева со взором жгучим
Заласкает меня ночью в телеге.

Истукан на середине деревни
Поглядит на меня исподлобья.
Я уважу лик его древний,
Одарить его пышно—готов я.

А когда рассядутся старцы,
Молодежь запляшет под клики,—
На куске сбереженного кварца
Начерчу я новые лики.

Я буду, как все,—и особый.
Волхвы меня примут, как сына.
Я сложу им песню для пробы,
Но от них уйду я в дружину.

Гей вы! слушайте, вольные волки!
Повинуйтесь жданному кличу!
У коней развеваются челки,
Мы опять летим на добычу.

1900

Старый викинг

Он стал на утесе; в лицо ему ветер суровый
Бросал, насмехаясь, колючими брызгами пены.
И вал возносился и рушился, белоголовый,
И море стучало у ног о гранитные стены.

Под ветром уклончивым парус скользил на просторе,
К Винландии внук его правил свой бег непреклонный,
И с каждым мгновеньем меж ними все ширилось море,
А голос морской разносился, как вопль похоронный.

Там, там, за простором воды неисчерпно-обильной,
Где Скерлингов остров, вновь грянут губящие битвы,
Ему же коснеть безопасно под кровлей могильной
Да слушать, как женщины робко лепечут молитвы!

О, горе, кто видел, как дети детей уплывают
В страну, недоступную больше мечу и победам!
Кого и напевы военных рогов не сзывают,
Кто должен мириться со славой, уступленной дедам.

Хочу навсегда быть желанным и сильным для боя,
Чтоб не были тяжки гранитные, косные стены,

Когда уплывает корабль среди шума и воя,
И ветер в лицо нам швыряется брызгами пены.

1900

Разоренный Киев

Четыре дня мы шли опустошенной степью,
И вот открылось нам раздолие Днепра,
Где с ним сливается Десна, его сестра...
Кто не дивится там его великолепью!

Но было нам в тот день не до земных красот!
Спешили в Киев мы,—разграбленный, пустынный,
Чтоб лобызать хоть прах от церкви Десятинной,
Чтоб плакать на камнях от Золотых ворот!

Всю ночь бродили мы, отчаяньем объяты,
Среди развалин тех рыдая о былом;
Мы утром все в слезах пошли своим путем...
Еще спустя три дня открылись нам Карпаты.

1893

Данте

Безумцы и поэты наших дней
В согласном хоре смеха и презренья
Встречают голос и родных теней.

Давно пленил мое воображенье
Угрюмый образ из далеких лет,
Раздумий одиноких воплощенье.

Я вижу годы, как безумный бред,
Людей, принявших снова вид звериный,
Я слышу вой во славу их побед.

(То с гвельфами боролись гибеллины!)
И в эти годы с ними жил и он,—
На всей земле прообраз наш единый.

Подобных знал он лишь в дали времен,
А в будущем ему виднелось то же,
Что в настоящем,—безобразный сон.

Мечтательный, на девушку похожий,
Он приучался к зрелищу смертей,
Но складки на челе ложились строже.

Он, веривший в величие людей,
Со стоном звал: пускай придут владыки
И усмирят бессмысленных детей.

Под звон мечей, проклятия и крики
Он меж людей томился, как в бреду...
О, Данте! о, отверженец великий,—

Воистину ты долго жил—в аду!

1898

Наполеон

Да, на дороге поколений,
На пыли расточенных лет,
Твоих шагов, твоих движений
Остался неизменный след.

Ты скован был по мысли Рока
Из тяжести и властных сил:
Не мог ты не ступать глубоко,
И шаг твой землю тяготил.

Что строилось трудом суровым,
Вставало медленно в веках,
Ты сокрушал случайным словом,
Движеньем повергал во прах.

Сам изумлен служеньем счастья,
Ты, как пращей, метал войска,

И мировое самовластье
Бросал, как ставку игрока.

Пьянея славой неизменной,
Ты шел сквозь мир, круша, дробя...
И стало, наконец, вселенной
Невмоготу носить тебя.

Земля дохнула полной грудью,
И ты, как лист в дыханьи гроз,
Взвился и полетел к безлюдью,
И пал, бессильный, на утес,—

Где, на раздолье одичалом,
От века этих дней ждала
Тебя достойным пьедесталом
Со дна встающая скала!

1901

Я люблю большие дома
И узкие улицы города,—
В дни, когда не настала зима,
А осень повеяла холодом.

Пространства люблю площадей,
Стенами кругом огражденный,—
В час, когда еще нет фонарей,
А затеплились звезды смущенные.

Город и камни люблю,
Грохот его и шумы певучие,—
В миг, когда песню глубоко таю,
Но в восторге слышу созвучия.

1898

Когда опускается штора
И ласковый ламповый свет

Умиряет усталые взоры,—
Мне слышится счастья привет.

Мне не нужно яркого блеска,
Красоты и величья небес.
Опустись, опустись, занавеска!
Весь мир отошел и исчез.

Со мной любимые книги,
Мне поет любимый размер.
— Да! я знаю, как сладки вериги
В глубине безысходных пещер.

1899

Я провижу гордые тени
Грядущих и гордых веков,
Ушедшие в небо ступени,
Застывшие громады домов;

Улицы, кишащие людом,
Шумные дикой толпой,
Жизнь, озаренную чудом,
Где каждый миг—роковой;

Всю мощь безмерных желаний,
Весь ужас найденных слов,—
Среди неподвижных зданий,
В теснине мертвых домов.

1899

Мы к ярким краскам не привыкли,
Одежда наша—цвет земли;
И робким взором мы поникли,
Влачимся медленно в пыли.

Мы дышим комнатною пылью,
Живем среди картин и книг,

И дорог нашему бессилью
Отдельный стих, отдельный миг.

А мне что снится?—дикие крики.
А мне что близко?—кровь и война.
Мои братья—северные владыки,
Мое время—викингов времена.

1899

К металлам

Золото, убранство тайного ковчега,
Где хранят издревле благостные мощи,
Золото, добыча хищного набега,
Золото, ты символ сладострастной мощи,
И в твоем сверканьи медленная нега.

Серебро сияет тихо на иконе,
Мученице юной покрывает плечи,
Серебро так ясно в перелетном звоне,
Голос серебристый мне звучал предтечей
Прежде недоступных сладостных гармоний.

И люблю я бронзу: сумрачные тени
Томной баядерки в роскоши вечерней,
В твердости изгибов столько легкой лени,
Отблески так чисты на холодной черни!
Да, люблю я в бронзе тайну отражений.

Но не эти тени дороги в металле!
Не сравню их блестки я с кинжальным блеском!
Змеи резких молний быстро засверкали,
Я прильнул, ревнивый, к белым занавескам...
Ты—моя надежда, мщенье верной стали!

1899

В борьбе с весной редеет зимний холод,
Сеть проволок свободней и нежней,

Снег, потемневший, сложен в кучи, сколот,
Даль улицы исполнена теней.

Вдали, вблизи—все мне твердит о смене:
И стаи птиц, кружащих над крестом,
И ручеек, звеня, бегущий в пене,
— И женщина с огромным животом.

1900

Дон-Жуан

Да, я—моряк! искатель островов,
Скиталец дерзкий в неоглядном море.
Я жажду новых стран, иных цветов,
Наречий странных, чуждых плоскогорий.

И женщины идут на страстный зов,
Покорные, с одной мольбой во взоре.
Спадает с душ мучительный покров,
Все отдают они—восторг и горе.

В любви душа вскрывается до дна,
Яснеет в ней святая глубина,
Где все единственно и неслучайно.

Да! я гублю! пью жизни, как вампир!
Но каждая душа—то новый мир,
И манит вновь своей безвестной тайной.

1900

Женщине

Сонет

Ты—женщина, ты—книга между книг,
Ты—свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.

Ты—женщина, ты—ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.

Ты—женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты—в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся—от века—на тебя!

1900

Любовь

Не мысли о земном и малом
В дыханьи бури роковой,—
И, не стыдясь святого страха,
Клони чело свое до праха.
Любовью—с мировым началом
Роднится дух бессильный твой.

Любовь находит черной тучей.
Молись, познав ее приход!
Не отдавай души упорству,
Не уклоняйся, но покорствуй!
И кто б ни подал кубок жгучий,—
В нем дар таинственных высот.

1899

И снова ты, и снова ты,
И власти нет проклясть!
Как Сириус палит цветы
Холодным взором с высоты,
Так надо мной восходишь ты,
Ночное солнце—страсть!

Мне кто-то предлагает бой
В ночном безлюдьи, под шатром.
И—я лицом к лицу с судьбой,
И—я вдвоем с тобой, с собой,
До утра упоен борьбой,
И—как Израиль—хром!

Дневные ринутся лучи,—
Не мне пред ними пасть!
Они—как туча саранчи.
Я с богом воевал в ночи,
На мне горят его лучи.
Я твой, я твой, о, страсть!

1900

К портрету Лейбница

Когда вникаю я, как робкий ученик,
В твои спокойные, обдуманные строки,
Я знаю—ты со мной! Я вижу строгий лик,
Я чутко слушаю великие уроки.

О, Лейбниц, о, мудрец, создатель вещих книг!
Ты—выше мира был, как древние пророки.
Твой век, дивясь тебе, пророчеств не постиг
И с лестью смешивал безумные упреки.

Но ты не проклинал, и тайны от людей
Скрывая в символах, учил их, как детей.
Ты был их детских снов заботливый хранитель.

А после—буйный век глумился над тобой,
И долго ждал ты час, назначенный судьбой...
И вот теперь встаешь, как Властный, как Учитель!

1897

К портрету К. Д. Бальмонта

Угрюмый облик, каторжника взор!
С тобой роднится веток строй бессвязный,
Ты в нашей жизни призрак безобразный,
Но дерзко на нее глядишь в упор.

Ты полюбил души своей соблазны,
Ты выбрал путь, ведущий на позор;
И длится годы этот с миром спор,
И ты в борьбе—как змей многообразный.

Бродя по мыслям и влачась по дням,
С тобой сходились мы к одним огням,
Как братья на пути к заветным странам,

Но я в тебе люблю,—что весь ты ложь,
Что сам не знаешь ты, куда пойдешь,
Что высоту считаешь сам обманом.

1899

По поводу сборников «Русские символисты»

Мне помнятся и книги эти,
Как в полусне недавний день.
Мы были дерзки, были дети,
Нам все казалось в ярком свете...
Теперь кругом и тишь и тень,
Далеко первая ступень,—
Пять беглых лет—как пять столетий!

1899

По поводу «Me eum esse»

«О, эти звенящие строки!
Ты сам написал их когда-то!»

— Звенящие строки далеки,
Как призрак умершего брата.

«О, вслушайся в голос подруги!
Зову я к восторгам бесстрастья!»
— Я слышу, на радостном Юге
Гремят сладострастно запястья.

«Я жду, я томлюсь одиноко.
Мне луч ни единый не светит!»
— Твой голос далеко, далеко,
Тебе не могу я ответить.

1900

Тени прошлого

Осенний скучный день. От долгого дождя
И камни мостовой и стены зданий серы;
В туман окутаны безжизненные скверы,
Сливаются в одно и небо и земля.

Близка в такие дни волна небытия,
И нет в моей душе ни дерзости, ни веры.
Мечте не унестись в живительные сферы,
Несмело, как сквозь сон, стихи слагаю я.

Мне снится прошлое. В виденьях полусонных
Встает забытый мир и дней, и слов, и лиц.
Есть много светлых дум, погибших, погребенных,—

Как странно вновь стоять у темных их гробниц
И мертвых заклинать безумными словами!
О, тени прошлого, как властны вы над нами!

1898

В неконченном здании.

Мы бродим в неконченном здании
По шатким, дрожащим лесам,

В каком-то тупом ожидании,
Не веря вечерним часам.

Бессвязные, страстные лопасти
Нам путь отрезают... мы ждем.
Мы видим бездонные пропасти
За нашим неверным путем.

Оконные встретив пробоины,
Мы робко в пространства глядим:
Над крышами крыши надстроены,
Безмолвие, холод и дым.

Нам страшны размеры громадные
Безвестной растущей тюрьмы.
Над безднами, жалкие, жадные,
Стоим, зачарованы, мы.

Но первые плотные лестницы,
Ведущие к балкам, во мрак,
Встают, как безмолвные вестницы,
Встают, как таинственный знак!

Здесь будут проходы и комнаты!
Все стены задвинутся сплошь!
О, думы упорные, вспомните!
Вы только забыли чертеж!

Свершится, что вами замыслено,
Громада до неба взойдет
И в глуби, разумно расчисленной,
Замкнет человеческий род.

И вот почему—в ожидании
Не верим мы темным часам:
Мы бродим в неконченном здании,
Мы бродим по шатким лесам!

1900

В дни запустений

Приидут дни последних запустений,
Земные силы оскудеют вдруг.
Уйдут остатки жалких поколений
К теплу и солнцу, на далекий Юг.

А наши башни, города, твердыни
Постигнет голос страшного суда,
Победный свет не заблестит в пустыне,
В ней не взгремят по рельсам поезда.

В плюще померкнут зодчего затеи,
Исчезнут камни под ковром травы,
На площадях плодиться будут змеи,
В дворцовых залах поселятся львы.

Но в эти дни последних запустений
Возникнет—знаю!—меж людей смельчак.
Он потревожит гордый сон строений,
Нарушит светом их безмолвный мрак.

На мшистых улицах заслышат звери
Людскую поступь в ясной тишине,
В домах застонут, растворяясь, двери,
Ряд изваяний встанет при огне.

Прочтя названья торжищ и святилищ,
Узнав по надписям за ликом лик,
Пришлец проникнет в глубь книгохранилищ,
Откроет тайны древних, наших, книг.

И дни, и ночи будет он в тревоге
Впивать вещанья, скрытые в пыли,
Исканья истины, мечты о боге,
И песни, гимны сладостям земли.

Желанный друг неведомых столетий!
Ты весь дрожишь, ты потрясен былым!

Внемли же мне, о, слушай строки эти!
Я был, я мыслил, я прошел, как дым...

1899

Братьям соблазненным

Светлым облаком плененные,
Долго мы смотрели вслед.
Полно, братья соблазненные!
Это только беглый свет.

Разве есть предел мечтателям?
Разве цель нам суждена?
Назовем того предателем,
Кто нам скажет—здесь она!

Разве редко в прошлом ставили
Мертвый идол Красоты?
Но одни лишь мы прославили
Бога жажды и мечты!

Подымайте, братья, посохи,
Дальше, дальше, как и шли!
Паруса развейте в воздухе,
Дерзко правьте корабли!

Жизнь не в счастьи, но в искании,
Цель—не здесь, вдали всегда!
Славьте, славьте неустаннее
Подвиг мысли и труда!

1899

Устои

Рассудка вечные устои
Влегли в недремлющую грудь,
И в жажде ведать неземное
Ты должен горы пошатнуть.

Кто без руля в пучинах плавал,
Ветрилом ветры все ловил,
Тому предстанет бледный Дьявол
С толпами разъяренных сил.

Сквозь бешенство и вопль, и скрежет
Он к синим молниям влечет,
Но этот свет минутно нежит,
И вновь кипит круговорот!

Ценой нарушенных согласий,
Ценой и мук и слепоты
Лишь проблеск в беспокойном часе,
Мгновенье покупаешь ты.

Но кто готов отвергнуть миги
И ждать десятки строгих лет,—
Надень кровавые вериги,
Скажи молитвенный обет.

И, чуток к углубленной вере,
Вдруг колыхнет, лаская слух,
В заветный час в твоей пещере
Струю эфира Светлый Дух.

И глянешь ты смелей и зорче
За тьму завес, что он расторг,
Чем тот, кто ведал смех и корчи,
И пифий яростный восторг.

1900

Отрады

Знаю я сладких четыре отрады.
Первая—радость в сознании жить,
Птицы и тучи, и призраки—рады,
Рады на миг и для вечности быть.

Радость вторая—в огнях лучезарна!
Строфы поэзии—смысл бытия.
Тютчева песни и думы Верхарна,
Вас,—поклоняясь,—приветствую я.

Третий восторг—то восторг быть любимым,
Ведать бессменно, что ты не один.
Связаны, скованы словом незримым,
Двое летим мы над страхом глубин.

Радость последняя—радость предчувствий,
Знать, что за смертью есть мир бытия.
Сны совершенства! в мечтах и в искусстве
Вас,—поклоняясь,—приветствую я.

Радостей в мире таинственно много.
Сладостна жизнь от конца до конца.
Эти восторги—предвестие бога,
Это—молитва на лоне отца.

1900

— Мы —

В мире широком, в мире шумящем
Мы—гребень встающей волны.
Странно и сладко жить настоящим,
Предчувствием песни полны.

Радуйтесь, братья, верным победам!
Смотрите на даль с вышины!
Нам чуждо сомненье, нам трепет неведом,—
Мы—гребень встающей волны.

1899

С неустанными молитвами,
Повторяемыми вслух,
Прохожу я между битвами,
Ускользающий, как дух.

От своих друзей отторженный,
Предвещаю я венцы;
И на голос мой восторженный
Откликаются бойцы.

Но настанет миг—я ведаю—
Победят мои друзья,
И над жалкой их победою
Засмеюся первым—я.

1899

Краски

Я сегодня нашел свои старые краски.
Как часто взгляд на забытый предмет
Возвращает все обаянье ускользнувших лет!
Я сегодня нашел мои детские краски...
И странный отрок незванно ко мне вошел
И против меня уверенно сел за стол,
Достал, торопясь, тяжелую тетрадь...
Я ее не мог не узнать:
То были мои забытые, детские сказки!

Тогда я с ним заговорил; он вздрогнул, посмотрел
(Меня не видел он—я был для него привиденьем),
Но, через миг смущенья, он собой овладел
И ждал, что будет, с простым удивленьем.
Я сказал: «Послушай! я тебя узнаю.
Ты—это я, я—это ты, лет через десять...»
Он засмеялся и прервал: «Я шуток не люблю!
Я знаю лишь то, что можно измерить и взвесить.
Ты—обман слуха, не верю в действительность твою!»

С некоторым гневом, с невольной печалью
Я возразил: «О, глупый! тебе пятнадцать лет.
Года через три ты будешь бредить безвестной
далью,
Любить непонятное, стремиться к тому, чего нет.
Вселенная жива лишь духом единым и чистым,

Материя—призрак, наше знание—сон...»
О боже, как искренно надо мной рассмеялся он,
И я вспомнил, что был матерьялистом и
позитивистом.

И он мне ответил: «О, устарелые бредни!
Я не верю в дух и не хожу к обедне!
Кто мыслит, пусть честно служит науке!
Наука голова, а искусство—руки!»
—«Безумец!—воскликнул я,—знай, что ты будешь
верить,
Будешь молиться и плакать пред Знаком Креста,
Любить лишь то, где светит живая мечта,
И все проклянешь, что можно весить и мерить!»

«Не думаю,—возразил он,—мне ясна моя цель.
Я, наверно, не стану петь цветы, подобно Фету.
Я люблю точное знание, презираю свирель,
Огюст Конт навсегда указал дорогу поэту!»
—«Но, друг,—я промолвил,—такой ли теперь час?
От заблуждений стремятся все к новому свету!
Тебе ли вновь повторять, что сказано тысячу раз!
Пойми тайны души! стань кудесником, магом...»
—«Ну, нет,—он вскричал,—я не хочу остаться
за флагом!»

—«Что за выражения! ах, да! ты любишь спорт...
Все подобное надо оставить! стыдись, будь же
горд!»
—«Я—горд,—он воскликнул,—свое значение я знаю.
Выступаю смело, не уступлю в борьбе!
Куда б ни пришел я, даже если б к тебе,
Приду по венкам!—я их во мгле различаю!»

И ему возразил я печально и строго:
«Путь далек от тебя ко мне,
Много надежд погибнет угрюмой дорогой,
Из упований уступишь ты много! ах, много!
О, прошлое! О, юность! кто не молился весне!»

И он мне: «Нет! Что решено, то неизменно!
Не уступлю ничего! пойду своим путем!
Жаловаться позорно, раскаянье презренно,
Дважды жалок тот, кто плачет о былом!»

Он стоял предо мной и уверен и смел,
Он не видел меня, хоть на меня смотрел,
А если б увидел, ответил презреньем.
Я—утомленный! я—измененный! я—уступивший судьбе,
Вот я пришел к нему, вот я пришел к себе,—
В вечерний час роковым привиденьем...
И медленно, медленно образ погас,
И годы надвинулись, как знакомые маски.
Часы на стене спокойно пробили час...
Я придвинул к себе мои старые, детские краски.

1898

Аганат

Финикийский рассказ

Женская звезда — планета Истар: она такова на закате. Мужская звезда — планета Истар: она такова при восходе.

Из текстов в библиотеке Ассурбанипала.

I

Ей было имя: Аганат. Она
Прекрасней всех в Сидоне. В темном взоре
Сверканье звезд ночных, а грудь бледна.

В дни юности она познала горе:
Ее жених, к сидонским берегам
Не возвратясь, погиб безвестно в море.

И, девственность принесши в дар богам,
Она с тех пор жила как жрица страсти,
А плату за любовь несла во храм.

Едва вздымались в дали синей снасти,
Она спешила на берег, ждала,
Встречала моряков игрой запястий,

И, обольщенного, к себе вела,
В свой тесный дом, на башенку похожий,
Где в нижней комнате царила мгла

И возвышалось каменное ложе.
Никто не забывал ее ночей!
Из всех гетер платили ей дороже,—

Но каждый день входили гости к ней.
И от объятий в вихре наслажденья,
От тел сплетенных, словно пара змей,

Означилось на камне углубленье.

II

Когда бы маг, искусный в звездочтеньи,
Составил летопись судеб твоих,
Ее прочел бы он в недоуменьи.

Так!—не погиб в скитаньях твой жених:
В стране далекой он томился пленным,
За годом годы, как за мигом миг.

Он жил рабом, отверженцем презренным,
Снося обиды, отирая кровь,
Но в сердце он остался неизменным:

К тебе хранил он прежнюю любовь,
Живя все годы умиленной верой,
Святой надеждой: все вернется вновь!

И не забыт владычицей Ашерой,
Он, наконец, покинул горький плен,
Бежал, был принят греческой триерой

И счастливо добрался в Карфаген.
Отсюда путь на родину свободный!
И он плывет и ждет сидонских стен,

Как алчет пищи много дней голодный,
И молится: «пусть это все не сон!»
Но только берег встал над гладью водной,

Едва раздался с мачты крик: «Сидон!»,
— Иное что-то вдруг открылось думам,
Своей мечты безумье понял он,

И замер весь в предчувствии угрюмом.

III

И жизнь, и шум на пристани Сидона
В веселый час прихода кораблей:
И весел мерный плеск в воде зеленой,

Канатов скрип, и окрики людей,
И общий говор смешанных наречий...
Но горе тем, кто не нашел друзей,

Кто был обманут вожделенной встречей!
Для тех гетеры собрались сюда,
Прельщают взглядом, обнажили плечи.

Как жаждал он хоть бледного следа
Былого!—Тщетно! Что воспоминанья
Нетленно проносили сквозь года,

Исчезло все. Сменились очертанья
Залива: пристань разраслась с тех пор,
Столпились вкруг неведомые зданья.

Нигде былого не встречает взор...
Лишь моря шум твердит родные звуки,
Да есть родное в высях дальних гор.

— Пятнадцать лет! пятнадцать лет разлуки!
Искать друзей иль убежать назад?
Но вдруг до плеч его коснулись руки.

Он смотрит: золото, браслетов ряд,
И жгучий взор под бровью слишком черной.
«Моряк, пойдем! на нынче ты мой брат!»

И за гетерой он идет покорный.

IV

Не начато вино в больших амфорах,
Он с ней не рядом (то недобрый знак),
И мало радости в упорных взорах.

Глядит он молча за окно, во мрак;
Ее вопросы гаснут без ответа;
Он страшен ей, задумчивый моряк.

Но сознает она всю власть обета.
Рукой привычной скинут плащ. Спеши!
Она зовет тебя полураздетой.

Но он,—томим до глубины души,—
Садится к ней на каменное ложе,
И вот они беседуют в тиши.

— Зачем меня ты позвала?—«Прохожий,
Ты так хорош».—Ты здешняя?—«О, да!»
— Что делала ты прежде?—«Да все то же».

— Нет, прежде! Ты была ведь молода,
Быть может, ты любила...—«Я не сказки
Рассказывать звала тебя сюда!»

И вдруг, вскочив, она спешит к развязке,
Зовет его. Но, потупляя взгляд,
Не внемлет он соблазнам слов и ласке.

Потом, глухим предчувствием объят,
Еще вопрос он задает подруге:
— А как зовут тебя?—«Я—Аганат!»

И вздрогнул он, и прянул прочь в испуге.

V

О, велика богиня всех богинь,
Астарта светлая!—ты царствуешь всевластно
Над морем, над землей, над сном пустынь.

Ты видишь все, все пред бессмертной ясно;
Твое желанье—всем мирам завет;
Дрожат и боги—пред тобой, прекрасной!

Когда свершилась эта встреча, свет
Твоей звезды затмился на мгновенье...
Но благости твоей предела нет.

Решила ты,—исполнено решенье.
И в тот же миг рассеялись года,
Как смутный сон исчезли поколенья,

Восстали вновь из праха города,
Вернулись к солнцу спавшие в могиле,
Все стало вновь как прежде, как т о г д а.

Все о недавнем, как о сне, забыли.
Был вечер. Аганат и с ней жених
Опять в лесу за городом бродили.

И длинный спор, как прежде, шел у них:
До свадьбы он хотел пуститься в море,
Искать богатства в городах чужих,

А ей была разлука эта—горе.
«Не уезжай! на что богатство нам!»
И, этот раз, он уступил ей в споре.

И в день, когда, отдавшись парусам,
Его корабль ушел по глади синей,
Они торжественно пошли во храм,—

Свои обеты повторить богине.

1897—1898

Царю Северного Полюса

Вступления

1

Много было песен сложено
О твоей стране бесследной.
Что возможно, невозможно,—
Было все мечтой изведано.

К этой грани недоступной
Шли безумные, отважные,
Но их замыслы преступные
Погасали в бездне влажной.

Эти страны неизвестные
Открывали дали сказкам...
Тем, кому в пределах тесно,
Эти сказки были ласками.

2

Если был победитель, тебя развенчавший, о, Полюс,
Имя его отошло в тихую тайну веков.
Люди наших дней не победы ищут, а славы;
Сладок им не венец,—рукоплесканья венцу.
О, великая сладость—узнав, утаить от вселенной!
Мне довольно знать,—что я свершил,—одному.

I

Свен Краснозубый врагам улыбался, бурь не боялся,
Викинг великий, кликнул он клич по Норвегии.

Собрались бойцы могучие:
Эрик, вскормленный тучами,
Анунд, прославленный скальдами,
Горм с сыновьями, с двумя Освальдами,
С ними со всеми сорок дружинников.
Не долго бойцы собирались,
На корабль садились,—смеялись.
Навсегда с друзьями прощались.
Жена поплачет—утешится,
Друг погрустит—другого найдет,
Старуха-мать—все равно умрет.

Плыть все вдаль—
Не печаль.
Где волна,
Там весна.
Есть топор,—
Будет спор!
Бой в руке держу!
Если ж скальда нет,
Песнь и сам сложу
В честь побед!

II

Скрылся в налете тумана Скерлингов остров, земля;
Дрожью святой Океана зыблется дрожь корабля.
Море и небо, и море—к Северу путь без границ;
Дико звучат на просторе крики чудовищных птиц.
Медленно ходят по воле первые дерзкие льды.—
Викингам любо раздолье, дали холодной воды.

Любит безвестности Эрик, далью захвачен варяг.
(Где-нибудь выглянет берег, где-нибудь встретится
враг!)
Знает он все побережья, всюду рубиться был рад:
С Русью ходил в Обонежье, плавал по рекам
в Царьград,
Грабил соборы Севильи, видел останки Афин...
Парус, развейся, как крылья! Челн, полети,
как дельфин!

Анунд, скиталец угрюмый, смотрит на зыби зыбей.
Вольно ширяется дума в волнах, как птица морей.
Истинный викинг ни ночи в хижине дымной не спит,
Истинный викинг не хочет на ночь повесить свой
щит;
Пенистый рог не веселье пить среди женщин
и дев;
В челнах—всегда новоселье, в волнах—не молкнет
напев.

Горм распахнул свою шубу, вновь он доволен
судьбой:
Скоро заслышит он трубы, трубы, зовущие в бой.
Выйдет старик, как берсеркер, душу потешить
в бою...
Дуй, куда вздумаешь, ветер! мчи, куда хочешь,
ладью!
С кем бы ни бой, что за дело! Горм жаждет биться
сплеча!
Страшно в жилище у Гелы, жданная смерть—
от меча.

К Северу взором прикован, Свен не уйдет от руля.
Зовом мечты зачарован, правит он бег корабля.
Скоро во мраке засветит полночи чара—Звезда;
Свен, весь дрожа, ей ответит, верен он ей навсегда.
Товарищам лучшая доля—битвы и крики врагов,
Но властная воля стремит их в области ночи
и льдов.

Затмился налетом тумана Скерлингов остров, земля;
Дрожью святой Океана зыблется дрожь корабля.

III

Пышны северные зимы, шестимесячные ночи!
Льды застыли, недвижимы, в бахроме из снежных клочий.
Волны дерзкие не встанут, гребни их в снегу затихли,
Ураган морской, обманут, обо льды стучится в вихре.
Чаще царствует молчанье, сон в торжественной пустыне;
Мир без грез, без содроганья, в полутьме немеет, стынет.

Совершая путь урочный, круг вокруг Царицы Ночи,
Звезд девичник непорочный водит пламенные очи.
Им во льдах зеркальных снятся—двойники, земные сестры,
На снегах они дробятся, словно луч цветной и пестрый.
Ослепляя блеском горы, между них в потоке звездном,
Вдруг спадают метеоры, торопясь от бездны к безднам.

Часто, звездный блеск смиряя, расстилаясь, будто знамя,
В небе с края и до края пламя движется столбами.
Нет им грани, очертанья: в смене рдяных освещений
Царь полярного сиянья гонит сумрачные тени,
Создает деревья, травы, высылает птиц чудесных,—
Сам смеется на забавы,—царь в безвестностях небесных.

А когда застонет буря, снег подымется, как тучи;
Брови белые нахмуря, Один ринется могучий.

Дев-валькирий вереницы заторопят черных коней,
Будут крики без границы, будет стук мечей о брони,
Будет скачка, пляска, бубны, будет бой в безумном вое...
Из могил на голос трубный встанут древние герои.

Пышны северные зимы, хороши морозом жгучим!
Дни проходят, словно дымы, дни подобны снежным тучам.
Поспешай на быстрых лыжах, взор вперяя в след олений,
Жди моржей косматo-рыжих, бей раскидистых теленей,
Встреть уверенной острогой хмурых, медленных медведей,—
Смейся, смейся над тревогой, в песнях думай о победе!
Пышны северные зимы, образ будущей Валгалы!
Дни проходят, словно дымы, время вечность оковала.

IV

Песня Свена

«Одна на полюсе небесном
Царит бессменная звезда,
Манит к пределам неизвестным,
Снов не обманет никогда.

«В круговращеньи вольно-смелом
Летит над нами небосвод:
Она в восторге онемелом
Из праха к горнему влечет.

«Я схвачен беспощадным зовом,
Как парус ветром,—увлечен;

Жених невесте верен словом,
С звездой небес я обручен.

«Ах, знаю! мощь в руке все та же,
Мой взор пронзителен и смел,
Я б побороться с силой вражьей,
Как в годы подвигов, сумел.

«Но, верен высшему запрету,
Страстей волну я превозмог.
Так! путник я, идущий к свету,
Я—вестник, ставший на порог.

«Друзья, друзья! взметайте чаши!
Над снежной кровлей блещет твердь.
Нет, не солгали клятвы наши:
Я вас туда влеку, где смерть!»

И плыли они над холодной водой,
И ветры по снастям свистели;
Зима надвигалась грозой ледяной,
Приветствия ей они пели.

Их легкие челны томились в плену,
Но, дерзкие, в хижине дымной,
Пируя, они величали весну,
С метелью спевались их гимны.

И ветер весенний вздувал паруса,
И кони морские, все в пене,
Бросались в пучину, зажмурив глаза,
За брызгами пряча колени.

И плыли, и пели, в метели, в грозе,
Морской возрастающей степью,
Вождю-предводителю верные все,
С ним связаны клятвенной цепью.

И много могил, неоплаканных тел
Корабль в безызвестности бросил.
Но что им за дело! ведь парус их цел,
Есть копья для боя, есть руки для весел!

V

Пойте печальные песни,
Ветер, месяц, туман!
Плачьте на Полюсе вечном,
Дети пламенных стран.
Волны идут издалека,
Ветер свистит одиноко,
Месяца тусклое око
Всюду глядит в Океан.
Пойте на Полюсе вечном,
О торжестве скоротечном,
Дети пламенных стран.

Плачьте на ранней могиле,
Где Эрик-скиталец зарыт.
Мечты его дальше стремили,
На пути он выронил щит.

В скале, в причудливом гроте,
Горма покоится прах;
Он погиб на веселой охоте,
Умер с острогой в руках.

Освальды, ободряя друг друга,
В непогоду пошли за моржем;
И засыпала шумная вьюга
Братьев в объятьях вдвоем.

Любя бушевание влаги,
Любовались бойцы на шквал;
Утром сочлись варяги,—
Анунда никто не видал.

И погибли все сорок, все сорок!
Спят под водой и во льдах,
Но Тор, кому храбрый дорог,
Их примет в своих полях.

Славьте на Полюсе вечном
Павших в упорной борьбе,
Глядевших в лицо судьбе,
Погибших в молчаньи беспечном.

Славьте на Полюсе вечном,
Волны, месяц, туман!
Пойте хвалебные песни,
Дети пламенных стран!

VI

Тени ходят, ветер веет,
Океан о камни бьет,
И замедлить жизнь не смеет
Свой развернутый полет.

Часть морей купая в зное,
Часть прохладам уделя,
Ни на миг не спит в покое
Солнцу верная земля.

Солнце, искра в сонмах млечных,
Увлекает путь слуги.
Пики гор остроконечных
Чертят бешено круги.

Без предела, без начала,
Этот бег вперед, вперед!
Вечность в прошлом миновала,
Вечность нынче настает.

И только один лишь утес недвижимо
На Север подъемлет чело.

Вы, ветры, его обтекаете мимо,
Ты, время, встревожить его не могло.

Когда-то взглянул он восторженным оком
На мертвую прелесть Полярной Звезды,
И долго смотрел, и во сне одиноком
Он замер, застыл, оковался во льды.

Пронизан восторгом, с тех пор неизменно
Века он следит за избранной Звездой.
Смеется Звезда, как Царица вселенной,
И вкруг нее сестры идут чередой.

Кто нарушил мир заветный,
Тишину великих вод,
И вступил в приют запретный,
И упал на вечный лед?

На снегах, в степях бесплодных,
Сон друзей его глубок...
Произволу волн свободных
Предоставил он челнок.

Тот челнок лежит разбитый,
Кончен дерзкий переезд.
Словно в храмине открытой,
Свен следит за бегом звезд.

Их стремится вереница,
Но над ним—в ответ мечте—
Стала Севера царица
Прямо, в ясной высоте.

Сердце бо́льшего не просит,
К цели жизни Свен проник.
Так. Звезда сиянье бросит
На его померкший лик.

VII

Голоса стихий

Земля

Я—земля, я—косность мира,
Сотворила горы, скалы,
Твердь гранита и порфира,
Грани малого кристалла.

Я дала приюты тучам,
На груди подъяла море,
Я полна огнем текучим...
Кто со мной, с могучей, в споре?

Сестры, братья! славьте землю!
Славьте косность и пределы!
Все держу я, все объемлю,
Вас родню, и мной вы целы!

Вода

Я—вода. Я в вечной смене.
В дрожи долгой не устала...
Корни тянутся растений,
Стадо к речке побежало.

Жизнь воды многообразна:
Петь ручьем, летать туманом,
Зацветать в озерах праздно,
Выть и биться океаном.

Сестры, братья! славьте воды!
Славьте жизнь и переливы!
Я—движение природы,
Вас влеку,—и мной вы живы.

Огонь

Я--огонь. Мой лик случаен,
Вольной прихоти послушен.
Целый мир не мной ли спаян?
Мною будет мир разрушен!

Я ползу. Я дик и злобен;
Спать умею в камне малом;
Лгать, притворствовать способен,
Но встаю до неба жалом.

Сестры, братья! славьте пламя!
(—Очи блещут, очи красны—)
Я—над миром битвы знамя,
Вас гублю, но мной вы властны.

Воздух

Воздух, я незрим, неслышен,
Я проник в глубины скважин.
Но огонь не мной ли пышен?
Я водой дышу—и влажен.

Я ласкаю розы мая;
В буре вею, беспощаден;
Землю вздохом обтекая,
В голубом плаще наряден.

Славьте воздух! сестры, братья
Облака меня колышат,
Горы принял я в объятья,
Всех люблю,—все мною дышат.

Все вместе

Если к тайне заповеданной
Взор, единой думе преданный,
С дерзкой радостью проник,—

Не покинем мы беспечности:
Было то однажды в вечности,
Было—лишь на беглый миг.

Но да будет он единственный!
Этот день, как сон таинственный,
Скроем мы в святую тьму.
Мы засыпем гроб неведомый.
Слишком громкими победами
Не гордиться никому!

Мы даем обет молчания.
Мы задвинем край изгнания.
Бездной вихрей и пучин.
И о том, что тайны видены,
Что прошел ты путь неиденный,
Будешь знать лишь ты один.

Земля

Даю обет молчания;
От века я молчу.

Вода

Я знаю; только знания
В мгновенной смене мчу.

Огонь

Я—ложь. Твержу неверное,
Не знаю истин я.

Воздух

Мое движенье мерное—
Безмолвная струя.

VIII

Свен Краснозубый, на Полюсе диком
Ты встретил смиряющий сон.
Снова кругом все в молчаньи великом,
Ясен и тих небосклон.
На конях свободных, бурных
От высот своих лазурных
Под военные напевы
И к тебе слетели девы.
Ты достоин чести бранной,
Ты—валькирий гость желанный.
На тебя из той страны
Благосклонно смотрят деды:
Ты погиб не в день войны,—
В день победы!

Встретишь ты в полях Валгалы
Всех, кому был в жизни люб.
Ты войдешь, пловец усталый,
Под веселый голос труб.

Там, с семьей других героев,
Уготован, ждет приют.
Все для игр и славных боев
Дни бестенные найдут.

Может быть, где отдых сладок,
Обретет душа твоя
Мир от тягостных загадок,
Вечных в бездне бытия.

IX

Голос

Я вам принес благую весть,
Мечты былых веков:

Что в мире много истин есть,
Как много дум и слов.

Противоречий сладких сеть
Связует странно всех:
Равно и жить и умереть,
Равны Любовь и Грех.

От дней земли стремись в эфир,
Следи за веком век:
О, как ничтожен будет мир,
Как жалок человек!

Но, вздрогнув, как от страшных снов,
Пойми—все тайны в нас!
Где думы нет, там нет веков,
Там только свет, где глаз.

Стихий бессильна похвальба,
То—мрак души земной.
К победе близится борьба,
Дышу, дышу весной!

И что в былом свершилось раз,
Тому забвенья нет.
Пойми—весь мир, все тайны в нас,
В нас Сумрак и Рассвет.

1898—1900

Отрывок из поэмы «Замкнутые»

Громадный город-дом, размеченный по числам,
Обязан жизнию (машина из машин!)
Колесам, блокам, коромыслам,
Предчувствую тебя, земли желанный сын!

Предчувствую я жизнь замкнутых поколений,
Их думы, сжатые познаньем, их мечты,

Мечтам былых веков подвластные, как тени,
Весь ужас переставшей пустоты!

Предчувствую раба подавленную ярость
И торжествующих многообразный сон,
Всех наших помыслов блистательную старость
И час предсказанных времен!

Да, нам не избежать мучительных падений,
Погибели всех благ, чем мы теперь горды!
Настанет снова бред и крови и сражений,
Вновь разделится мир на вражьи две орды.

Борьба, как ярый вихрь, промчится по вселенной
И в бешенстве сметет, как травы, города.
И будут волки выть над опустелой Сеной,
И стены Тауэра исчезнут без следа.

Во глубях помыслов из тьмы тысячелетий
Возникнут ужасы и радость бытия.
Народы будут хохотать, как дети,
Как тигры грызться, жалить как змея.

И все, что нас гнетет, снесет и свеет время,
Все чувства давние, всю власть заветных слов,
И по земле взойдет неведомое племя,
И будет снова мир таинственен и нов.

В руинах, звавшихся парламентской палатой,
Как будет радостен детей свободных крик,
Как будет весело дробить останки статуй
И складывать костры из бесконечных книг.

Освобождение, восторг великой воли,
Приветствую тебя и славлю из цепей!
Я узник, раб в тюрьме, но вижу поле, поле...
О солнце! о простор! о высота степей!

1899

ИЗ КНИГИ
URBI ET ORBI
1901—1903

По улицам узким, и в шуме и ночью, в театрах,
в садах я бродил.
И в явственной думе грядущее видя, за жизнью,
за сущим следил.
Я песни слагал вам о счастьи, о страсти, о высях,
границах, путях.
О прежних столицах, о будущей власти, о всем
распростертом во прах.
Спокойные башни и белые стены, и пена раздроб-
ленных рек,
В восторге всегдашнем, дрожали, внимали стихам,
прозвучавшим навек.
И девы и юноши встали, встречая, венчая меня,
как царя,
И, теням подобно, лилась по ступеням потоком
широким заря.
Довольно, довольно! я вас покидаю! берите и сны
и слова!
Я к новому раю спешу, убегаю. Мечта неизменно
жива!
Я создал и отдал, и поднял я молот, чтоб снова
сначала ковать.
Я счастлив и силен, свободен и молод, творю, чтобы
кинуть опять!

1901

Лестница

Все каменней ступени,
Все круче, круче всход.
Желанье достижений
Еще влечет вперед.

Но думы безнадежней
Под пылью долгих лет.
Уверенности прежней
В душе упорной—нет.

Помедлив на мгновенье,
Бросаю взгляд назад:
Как белой цепи звенья—
Ступеней острых ряд.

Ужель в былом ступала
На все нога моя?
Давно ушло начало
В безбрежности края,

И лестница все круче...
Не оступлюсь ли я,
Чтоб стать звездой падучей
На небе бытия?

1902

Последнее желанье

Где я последнее желанье
Осуществлю и утолю?
Найду ль немыслимое знанье,
Которое, таясь, люблю?

Приду ли в скит уединенный,
Горящий главами в лесу,

И в келью бред неутоленный
К ночной лампаде понесу?

Иль в городе, где стены давят,
В часы безумных баррикад,
Когда Мечта и Буйство правят,
Я слиться с жизнью буду рад?

Иль, навсегда приветив книги,
Веков мечтами упоен,
Я вам отдамся,—миги! миги!—
Бездонный, многозвонный сон?

Я разных ратей был союзник,
Носил чужие знамена,
И вот опять, как алчный узник,
Смотрю на волю из окна.

1902

У себя

Так все понятно и знакомо,
Ко всем изгибам глаз привык;
Да, не ошибся я, я—дома:
Цветы обоев, цепи книг...

Я старый пепел не тревожу,—
Здесь был огонь и вот остыл.
Как змей на сброшенную кожу,
Смотрю на то, чем прежде был.

Пусть много гимнов не допето
И не исчерпано блаженств,
Но чую блеск иного света,
Возможность новых совершенств!

Меня зовет к безвестным высям—
В горах поющая весна,

А эта груда женских писем
И не жива, и холодна!

Лучей зрачки горят на росах,
Как серебром, все залито...
Ты ждешь меня у двери, посох!
Иду! иду! со мной—никто!

1901

Побег

И если, страстный, в час заветный,
Заслышу я мой трубный звук...
Tertia vigilia

Мой трубный зов! ты мной заслышан
Сквозь утомленный, сладкий сон!
Альков, таинственен и пышен,
Нас облегал со всех сторон.

И в этой мгле прошли—не знаю,—
Быть может, годы и века.
И я был странно близок раю,
И жизнь шумела, далека.

Но вздрогнул я, и вдруг воспрянул,
И разорвал кольцо из рук.
Как молния, мне в сердце глянул
Победно возраставший звук.

И сон, который был так долог,
Вдруг кратким стал, как все во сне.
Я распахнул тяжелый полог
И потонул в палящем дне.

В последний раз взглянул я свыше
В мое высокое окно:
Увидел солнце, небо, крыши
И города морское дно.

И странно мне открылась новой,
В тот полный и мгновенный миг,
Вся жизнь толпы многоголовой,
Заботы вспененный родник.

И я—в слезах, что снова, снова
Душе открылся мир другой,—
Бегу от пышного алькова,—
Безумный, вольный и нагой!

1901

Работа

Здравствуй, тяжкая работа,
Плуг, лопата и кирка!
Освежают капли пота,
Ноет сладостно рука!

Прочь венки, дары царевны,
Упадай порфира с плеч!
Здравствуй, жизни повседневной
Грубо кованная речь!

Я хочу изведать тайны
Жизни мудрой и простой.
Все пути необычайны,
Путь труда, как путь иной.

В час, когда устанет тело,
И ночлегом будет хлев,—
Мне под кровлей закоптелой
Что̀ приснится за напев?

Что̀ восстанут за вопросы,
Опьянят что̀ за слова,
В час, когда под наши косы
Ляжет влажная трава?

А когда и в дождь и в холод
Зазвенит кирка моя,
Буду ль верить, что я молод,
Буду ль знать, что силен я?

1901

Мечтание

О, неужели день придет
И я в слезах и умиленьи
Увижу этот небосвод,
Как верный круг уединенья?

Пойду в поля, пойду в леса
И буду там везде один я,
И будут только небеса
Друзьями счастья и унынья!

Мне ненавистна комнат тишь,
Мне тяжело входить под кровлю.
Люблю простор, люблю камыш,
Орла, летящего на ловлю.

Хочу дождя, хочу ветров,
И каждый день менять жилище!
Упасть бессильным в тяжкий ров,
Среди слепцов бродить, как нищий.

Меж ними, где навис забор,
Я разделю их братский ужин,
А ночью встретит вольный взор
Лишь глубину да сеть жемчужин.

Случайный гость в толпе любой,
Я буду дорог, хоть и странен,
Смешон невольной похвальбой,
Но вечной бодростью желанен.

И женщина—подруга дня—
Ко мне прильнет, дрожа, ревнуя,
Не за стихи любя меня,
А за безумство поцелуя!

1901

Искатель

О, прекрасная пустыня!
Прими мя в свою густыню.
Народный стих

Пришел я в крайние пустыни,
Брожу в лесах, где нет путей,
И долго мне не быть отныне
Среди ликующих людей!

За мной—последняя просека,
В грозящей чаще нет следа.
В напевы птиц зов человека
Здесь не врывался никогда.

Что́ я увижу? Что́ узнаю?
Как примут тишину мечты?
Как будут радоваться маю,
Встречая странные цветы?

Быть может, на тропах звериных,
В зеленых тайнах одичав,
Навек останусь я в лощинах
Впивать дыханье жгучих трав.

Быть может, заблудясь, устану,
Умру в траве под шелест змей,
И долго через ту поляну
Не перевьется след ничей.

А, может, верен путь, и вскоре
Настанет невозможный час,

И минет лес—и глянет море
В глаза мне миллионом глаз.

1901

Блудный сын

Так отрок Библии, безумный
расточитель...

Пушкин

Ужели, перешедши реки,
Завижу я мой отчий дом
И упаду, как отрок некий,
Повергнут скорбью и стыдом?

Я уходил, исполнен веры,
Как лучник опытный на лов,
Мне снились тирские гетеры
И сонм сидонских мудрецов.

И вот, что грезилось, все было:
Я видел все, всего достиг.
И сердце жгучих ласк вкусило,
И ум речей мудрее книг.

Но, расточив свои богатства
И кубки всех отрав испив,
Как вор, свершивший святотатство,
Бежал я в мир лесов и нив.

Я одиночество, как благо,
Приветствовал в ночной тиши,
И трав серебряная влага
Была бальзамом для души.

И вдруг таким недостижимым
Представился мне дом родной,
С его всходящим тихо дымом
Над высыхающей рекой!

Где в годы ласкового детства
Святыней чувств владел и я,—
Мной расточенное наследство
На ярком пире бытия!

О, если б было вновь возможно
На мир лицом к лицу взглянуть,
И безраздумно, бестревожно
В мгновеньях жизни потонуть!

1902

У земли

Помоги мне, мать-земля!
С тишиной меня сосватай!
Глыбы черные деля,
Я стучусь к тебе лопатой.

Ты всему живому—мать,
Ты всему живому—сваха!
Перстень свадебный · сыскать
Помоги мне в комьях праха!

Мать, мольбу мою услышь,
Осчастливь последним браком!
Ты венчаешь с ветром тишь,
Луг с росой, зарю со мраком.

Помоги сыскать кольцо!..
Я об нем без слез тоскую
И, упав, твое лицо
В губы черные целую.

Я тебя чуждался, мать,
На асфальтах, на гранитах...
Хорошо мне здесь лежать
На грядах, недавно взрытых.

Я—твой сын, я тоже—прах,
Я, как ты,—звено созданий.
Так откуда—страсть и страх,
И бессонный бред исканий?

В синеве плывет весна.
Ветер вольно носит шумы...
Где ты, дева-тишина,
Жизнь без жажды и без думы?..

Помоги мне, мать! К тебе
Я стучусь с последней силой.
Или ты, в ответ мольбе,
Обручишь меня—с могилой?

1902

В ответ

П. П. Перцову

Довольно, пахарь терпеливый,
Я плуг тяжелый свой водил.
А. Хомяков

Еще я долго поброжу
По бороздам земного луга,
Еще не скоро отрешу
Вола усталого—от плуга.

Вперед, мечта, мой верный вол!
Неволей, если не охотой!
Я близ тебя, мой кнут тяжел,
Я сам тружусь, и ты работай!

Нельзя нам мига отдохнуть,
Взрывай земли сухие глыбы!
Недолог день, но длинен путь,
Веди, веди свои изгибы!

Уж полдень. Жар палит сильней.
Не скоро тень над нами ляжет.

Пустынен кругозор полей.
«Бог—помочь!» нам никто не скажет.

А помнишь, как пускались мы
Весенним, свежим утром в поле,
И думали до сладкой тьмы
С другими рядом петь на воле?

Забудь об утренней росе,
Не думай о ночном покое!
Иди по знойной полосе.
Мой верный вол,—нас только двое!

Нам Кем-то Высшим подвиг дан,
И спросит властно Он отчета...
Трудись, пока не лег туман,
Смотри: лишь начата работа!

А в час, когда нам темнота
Закроет все пределы круга,
Не я, а тот, Другой,—мечта,
Сам отрешит тебя от плуга!

1903

Фабричная

Есть улица в нашей столице.
Есть домик, и в домике том
Ты пятую ночь в огневице
Лежишь на одре роковом.

И каждую ночь регулярно
Я здесь под окошком стою,
И сердце мое благодарно,
Что видит лампадку твою.

Ах, если б ты чуяла, знала,
Чье сердце дрожит у окна!

Ах, если б в бреду угадала,
Чья тень поминутно видна!

Не снятся ль тебе наши встречи
На улице, в жуткий мороз,
Иль наши любовные речи
И ласки, и ласки до слез?

Твой муж, задремавши на стуле,
Проспит, что ты шепчешь в бреду;
А я до зари караулю
И только при солнце уйду.

Мне вечером дворники скажут,
Что ты поутру отошла,
И молча в окошко укажут
Тебя посредине стола.

Войти я к тебе не посмею,
Но, земный поклон положив,
Пойду из столицы в Расею
Рыдать на раздолии нив.

Я в камнях промучился долго,
И в них загубил я свой век.
Прими меня, матушка Волга,
Царица великая рек.

1901

Частушка II

То-то жизнь наша прискорбна:
Мы весь день разлучены!
Но зато всю ночь подробно
Про тебя я вижу сны.

Как ты, бедный друг, страдаешь,
Под гуденье, за станком,

Как, закрыв лицо, рыдаешь,
Что с весельем незнаком.

Что мне сделать, неудачной?
Чем мне милому помочь?..
Полно мне считаться прачкой!
Я уйду на долгу ночь.

Полюблюсь на тротуаре
Я богатому купцу,
Укачу я с ним на паре,
До утра с ним прокучу.

Будут серьги, будет брошка,
Будут деньги в портмонэ.
Я себе возьму немножко,—
За другим приди ко мне.

Подарю тебе часы я
На цепочке золотой...
Может, деньги и чужие,
Да подарок будет мой!

Если с кем я целовалась,—
Он уехал в Верею.
Я тебе верна осталась,
Ты, которого люблю.

1931

Частушка III

Дай мне, Ваня, четвертак,
Пожертвуй полтинник.
Что ты нынче весел так,
Словно именинник?

Раскошелься до гроша,
Не теряй минуты.

Или я не хороша?
Мои плечи круты!

Надо жить, чтоб пьяной быть
До обеда, влежку,
Чтоб поутру не тужить
Про нашу дорожку.

Чтобы щеки от тех слез,
Белые, не пухли,
Я румянюсь ярче роз,
Подбиваю букли.

Если ж станет не втерпеж
С мутного похмелья,
Ты опять, опять придешь,
Принесешь веселья.

Буду ждать я час-другой,
Где-то мой сударик?
Помни, помни, друг милой,
Красненький фонарик!

1901

Раб

Я—раб, и был рабом покорным
Прекраснейшей из всех цариц.
Пред взором, пламенным и черным,
Я молча повергался ниц.

Я лобызал следы сандалий
На влажном утреннем песке.
Меня мечтанья опьяняли,
Когда царица шла к реке.

Но раз—мой взор, преступно-страстный,
Я удержать в пыли не мог,

И он скользнул к лицу прекрасной,
И очи бегло ей обжег...

И вздрогнула она от гнева,
Казнь—оскорбителям святынь!
И вдаль пошла—среди напева
За ней толпившихся рабынь.

И в ту же ночь я был прикован
У ложа царского, как пес.
А месяц, нежно очарован,
Ронял в окно гирлянды роз...

Она вошла стопой неспешной,
Как только жрицы входят в храм,
Такой прекрасной и безгрешной,
Что было тягостно очам.

И падали ее одежды
До ткани, бывшей на груди...
И в ужасе сомкнул я вежды...
Но голос мне шепнул: гляди!

Явился юноша... И встречи
Она, покорная, ждала...
Рабыня погасила свечи...
Настала тишина и мгла.

И было все на бред похоже!
Я был свидетель чар ночных,
Всего, что тайно кроет ложе,
Их содроганий, стонов их...

И утром я их видел—рядом!
Еще дрожащих в смене грез.
И вплоть до дня впивался взглядом,—
Прикован к ложу их, как пес.

Вот сослан я в каменоломню,
Дроблю гранит, стирая кровь.
Но эту ночь я помню! помню!
О, если б пережить все—вновь!

1901

Решетка

Между нами частая решетка,
В той тюрьме, где мы погребены.
Днем лучи на ней мерцают кротко,
Проходя в окно, в верху стены.

Между нами кованные брусья,
Проволок меж них стальная сеть.
До твоей руки не дотянусь я,—
В очи только можем мы смотреть...

Тщетно ближу губы сладострастно,—
Лишь железо обжигает их...
Смутно вижу, в полутьме неясной,
У решетки—очерк губ твоих.

И весь день, пока на темной стали
Там и сям мелькает луч дневной,
В содроганьях страсти и печали
Упиваюсь я тобой, ты—мной!

Нас разводит сумрак. На соломе
Мы лежим, уйдя в свои углы;
Там томимся в сладострастной дреме,
Друг о друге грезим в тайне мглы.

Но опять у роковой преграды
Мы, едва затеплятся лучи.
И, быть может, нет для нас отрады
Слаще пытки вашей, палачи!

1903

Помпеянка

«Мне первым мужем был купец богатый,
Вторым поэт, а третьим жалкий мим,
Четвертым консул, ныне евнух пятый,
Но кесарь сам меня сосватал с ним.

Меня любил империи владыка,
Но мне был люб один нубийский раб.
Не жду над гробом: «casta et pudica»,
Для многих пояс мой был слишком слаб!

Но ты, мой друг, мизиец мой стыдливый!
Навек, навек тебе я предана!
Не верь, дитя, что женщины все лживы:
Меж ними верная нашлась одна!»

Так говорила, не дыша, бледнея,
Матрона Лидия, как в смутном сне;
Забыв, что вся взволнована Помпея,
Что над Везувием лазурь в огне.

Когда ж без сил любовники застыли,
И покорил их необорный сон,
На город пали груды серой пыли,
И город был под пеплом погребен.

Века прошли; и, как из алчной пасти,
Мы вырвали былое из земли.
И двое тел, как знак бессмертной страсти,
Нетленными в объятиях нашли.

Поставьте выше памятник священный,
Живое изваянье вечных тел,
Чтоб память не угасла во вселенной
О страсти, перешедшей за предел!

1902

L'ennui de vivre...

Я жить устал среди людей и в днях,
Устал от смены дум, желаний, вкусов,
От смены истин, смены рифм в стихах.
Желал бы я не быть «Валерий Брюсов».
Не пред людьми—от них уйти легко—
Но пред собой, перед своим сознаньем,—
Уже в былое цепь уходит далеко,
Которую зовут воспоминаньем.
Склонясь, иду вперед, растущий груз влача:
Дней, лет, имен, восторгов и падений.
Со мной мои стихи бегут, крича,
Грозят мне замыслов недовершенных тени,
Слепят глаза сверканья, без числа
(Слова из книг, истлевших в сердце-склепе),
И женщин жадные тела
Цепляются за звенья цепи.

О, да! вас, женщины, к себе воззвал я сам
От ложа душного, из келий, с перепутий,
И отдавались мы вдвоем одной минуте,
И вместе мчало нас теченье по камням.
Вы скованы со мной небесным, высшим браком,
Как с морем воды впавших рек,
Своим я вас отметил знаком,
Я отдал душу вам—на миг, и тем—навек.
Иные умерли, иные изменили,
Но все со мной, куда бы я ни шел.
И я влеку по дням, клонясь как вол,
Изнемогая от усилий,
Могильного креста тяжелый пьедестал:
Живую груду тел, которые ласкал,
Которые меня ласкали и томили.

И думы... Сколько их, в одеждах золотых,
Заветных дум, лелеянных с любовью,
Принявших плоть и оживленных кровью!..
Я обречен вести всю бесконечность их.

Есть думы тайные—и снова в детской дрожи,
Закрыв лицо, я падаю во прах...
Есть думы светлые, как ангел божий,
Затерянные мной в холодных днях.
Есть думы гордые—мои исканья бога—
Но оскверненные притворством и игрой.
Есть думы-женщины, глядящие так строго,
Есть думы-карлики с изогнутой спиной...
Куда б я ни бежал истоптанной дорогой,
Они летят, бегут, ползут—за мной!

А книги... Чистые источники услады,
В которых отражен родной и близкий лик,
—Учитель, друг, желанный враг, двойник—
Я в вас обрел все сладости и яды!
Вы были голубем в плывущий мой ковчег
И принесли мне весть, как древле Ною,
Что ждет меня земля, под пальмами ночлег,
Что свой алтарь на камнях я построю...
С какою жадностью, как тесно я приник
К стоцветным стеклам, к окнам вещих книг,
И увидал сквозь них просторы и сиянья,
Лучей и форм безвестных сочетанья,
Услышал странные, родные имена...
И годы я стоял, безумный, у окна!
Любуясь солнцами, моя душа ослепла,
Лучи ее прожгли до глубины, до дна,
И все мои мечты распались горстью пепла.

О, если б все забыть, быть вольным, одиноким,
В торжественной тиши раскинутых полей,
Итти своим путем, бесцельным и широким,
Без будущих и прошлых дней.
Срывать цветы, мгновенные, как маки,
Впивать лучи, как первую любовь,
Упасть, и умереть, и утонуть во мраке,
Без горькой радости воскреснуть вновь и вновь!

1902

Habet illa in alvo

Ее движенья непроворны,
Она ступает тяжело,
Неся сосуд нерукотворный,
В который небо снизошло.
Святому таинству причастна,
И той причастностью горда,
Она по-новому прекрасна,
Вне вожделений, вне стыда.
В ночь наслажденья, в миг объятья,
Когда душа была пьяна,
Свершилась истина зачатья,
О чем не ведала она!
В изнеможеньи и в истоме
Она спала без грез, без сил,
Но, как в эфирном водоеме,
В ней целый мир уже почил.
Ты знал ее меж содроганий,
И думал, что она твоя...
И вот она с безвестной грани
Приносит тайну бытия!

Когда мужчина встал от роковой постели,
Он отрывает вдруг себя от чар ночных,
Дневные яркости на нем отяготели,
И он бежит в огне—лучей дневных.
Как пахарь, бросил он зиждительное семя,
Он снова жаждет дня, чтоб снова изнемочь,—
Ее ж из рук своих освобождает Время,
На много месяцев владеет ею Ночь!
Ночь—Тайна—Мрак—Неведомое—Чудо,
Нам непонятное, что приняла она...
Была любовь и миг, иль только трепет блуда,—
И вновь вселенная в душе воплощена!

Ребекка! Лия! мать! с любовью или злобой
Сокрытый плод нося, ты служишь как раба,
Но труд ответственный дала тебе судьба:

Ты охраняешь мир таинственной утробой.
В ней сберегаешь ты прошедшие века,
Которые преемственностью живы,
Лелеешь юности красивые порывы
И мудрое молчанье старика.
Пространство, время, мысль—вмещаешь дважды ты,
Вмещаешь и даешь им новое теченье:
Ты, женщина, ценой деторожденья
Удерживаешь нас у грани темноты!
Носи, о, мать, свой плод! внемли глубокой дрожи.
Таи дитя, оберегай, питай,
И после, в срочный час, припав на ложе,
Яви земле опять воскресший май!

Свершилось. Сон недавний явен,
Миг вожделенья воплощен:
С тобой твой сын пред небом равен,
Как ты сама—бессмертен он!
Что было свято, что преступно,
Что соблазняло мысль твою,
Ему открыто и доступно,
И он как первенец в раю!
Что пережито—не вернется,
Берем мы миги, их губя;
Ему же солнце улыбнется
Лучом, погасшим для тебя!
И снова будут чисты розы,
И первой первая любовь;
Людьми изведанные грезы
Неведомыми станут вновь;
И кто-то, сладкий яд объятья
Вдохнув с дыханьем темноты
(Быть может, также, в час зачатья),
В его руках уснет, как ты!

Иди, походкой непоспешной,
Неси священный свой сосуд,
В преддверьи каждой ночи грешной
Два ангела с мечами ждут.

Спадут, как легкие одежды,
Мгновенья радостей ночных.
Иные, строгие надежды
Откроются за тканью их.
Она—покров заветный тайны,
Сокрытой в явности веков,
Но неземной, необычайный,
Огнем пронизанный покров.
Прими его, покрой главу им,
И в сумраке его молись,
И верь под страстным поцелуем,
Что в небе глубь, и в бездне высь!

1902

Лев святого Марка

Кем открыт в куске металла
Ты, святого Марка лев?
Чье желанье оковало
На века—державный гнев?

«Мир тебе, о, Марк, глашатай
Вечной истины моей».
И на книгу лев крылатый
Наступил, как страж морей.

Полузверь и полуптица!
Охраняема тобой,
Пять веков морей царица
Насмехалась над судьбой.

В топи илистой лагуны
Встали белые дворцы.
Пели кисти, пели струны,
Мир судили мудрецы.

Сколько гордых, сколько славных,
Провожая в море день,

Созерцали крыл державных
Возрастающую тень!

И в святые дни Беллини
Ты над жизнью мировой
Так же горд стоял, как ныне
Над развенчанной страной.

Я—неведомый прохожий,
В суете других бродяг;
Пред дворцом, где жили дожи,
Генуэзский вьется флаг;

Не услышишь ты с канала
Тасса медленный напев:
Но, открыт в куске металла,
Ты хранишь державный гнев,

Над толпами, над веками,
Равен миру и судьбе,
Лев с раскрытыми крылами
На торжественном столбе.

1902

Италия

Страна, измученная страстностью судьбы!
Любовница всех роковых столетий!
Тебя народы чтили, как рабы,
И императоры, как дети.
Ты с трона цезарей судила властно мир,
И больший мир из Ватикана.
Былая власть твоя—низверженный кумир,
Но человечество твоим прошедшим пьяно.
Твои художники на зыбкости холста
Запечатлели сны, каких не будет дважды!
Они—к источникам открытые врата
Для всех, томящихся от безысходной жажды!

На все пути души ты простирала жезл,
Как знак владычества,—и люди были рады,
Ниц преклоненные у величавых чресл,
Лобзать края одежд, ловить слова и взгляды.

Италия! священная царица!
Где ныне скипетр твой и лавровый венец?
Разломана твоя златая колесница,
Раскрыты двери в твой дворец.
Италия! несчастная блудница,
И вот к чему пришла ты, наконец!
В лоскутьях мантии и в платье устарелом,
Улыбкой искривив надменно строгий рот,
Ты вышла торговать еще прекрасным телом,
И в ложницу твою—открыт за деньги вход.
Мы смеем все вкусить от ласк, святых бывало!
Мы можем все тебя увидеть в наготе!
Как женщина, ты всем доступна стала,
И стыдно нам тебя узнать в мечте!

Но еще ты прекрасна, Италия!
Под заемной краской румян,
И с наглостью робкой во взоре!
Прекраснее всех неуниженных стран,
К которым покорно ласкается пленное море.
В лагунах еще отражаются
Дворцы вознесенной Венеции—
Единственный город мечты,
И гордые замки вздымаются
В суровой и нежной Флоренции,
Где создан был сон красоты.
И Рим, чародатель единственный,
Ужасный в величьи своем,
Лежит не живой, но таинственный,
Волшебным окованный сном.
Нетленные рощи лимонные
Под немыслимым небом цветут.
Горы—в белых цветах новобрачные!
Воды, собой опьяненные,

Озаряя гроты прозрачные,
Говорят и живут!
Ты прекрасна, Италия,—
От Альп крепковыйных до ясной Капреи
И далее,
До пустынь когда-то богатой Сицилии,
Где сирокко, устав и слабея,
Губит высокие лилии,
Цветы святого Антония,—
Ты прекрасна, Италия,—
Как знакомая сердцу гармония!

Я пришел к тебе усталый,
Путь недавний потеряв.
Беспокойный, запоздалый,
Напрямик по влаге трав.
И случайные скитальцы
Мир нашли в твоем дворце...
О, как нежно эти пальцы
На моем легли лице!
Как прижавшееся тело
Ароматно и свежо!
Пусть притворство, что за дело!
Пусть обман,—мне хорошо!
В этой нежности мгновенной,
Может, тайно разлита,
Непритворна и чиста,
Ласка матери вселенной.

1902

Париж

И я к тебе пришел, о, город многоликий,
К просторам площадей, в открытые дворцы;
Я полюбил твой шум, все уличные крики:
Напев газетчиков, бичи и бубенцы;
Я полюбил твой мир, как сон, многообразный
И вечно дышащий, мучительно живой...

Твоя стихия—жизнь, лишь в ней твои соблазны,
Ты на меня дохнул—и я навеки твой.

Порой казался мне ты беспощадно старым,
Но чаще ликовал, как резвое дитя,
В вечерний, тихий час по меркнущим бульварам
Меж окон блещущих людской поток катя.
Сверкали фонари, окутанные пряжей
Каштанов царственных; бросали свой призыв
Огни ночных реклам; летели экипажи,
И рос, и бурно рос глухой людской прилив.
И эти тысячи и тысячи прохожих
Я сознавал волной, текущей в новый век.
И жадно я следил теченье вольных рек,
Сам—капелька на дне в их каменистых ложах,
А ты стоял во мгле—могучим, как судьба,
Колоссом, давящим бесчисленные рати...
Но не скудел пэан моих безумных братий,
И Города с Людьми не падала борьба...

Когда же, утомлен виденьями и светом,
Искал приюта я—меня манил собор,
Давно прославленный торжественным поэтом...
Как сладко здесь мечтал мой воспаленный взор,
Как были сладки мне узорчатые стекла,
Розетки в вышине—сплетенья звезд и лиц.
За ними суета невольно гасла, блекла,
Пред вечностью душа распростиралась ниц...
Забыв напев псалмов и тихий стон органа,
Я видел только свет, святой калейдоскоп,
Лишь краски и цвета сияли из тумана...
Была иль будет жизнь? и колыбель? и гроб?
И начинал мираж вращаться вкруг, сменяя
Все краски радуги, все отблески огней.
И краски были мир. В глубоких безднах рая
Не эти ль образы, века, не утомляя,
Ласкают взор ликующих теней?

А там, за Сеной, был еще приют священный,
Кругообразный храм, и в бездне саркофаг,
Где, отделен от всех, спит император пленный,—
Суровый наш пророк и роковой наш враг!
Сквозь окна льется свет, то золотой, то синий,
Не яркий, слабый свет, таинственный, как мгла,
Прозрачным знаменем дрожит он над святыней,
Сливаясь с веяньем орлиного крыла!
Чем дольше здесь стоишь, тем все кругом безгласней,
Но в жуткой тишине растет беззвучный гром,
И оживает все, что было детской басней,
И с невозможностью стоишь к лицу лицом!
Он веком властвовал, как парусом матросы,
Он миллионам душ указывал их смерть;
И сжали вдруг его стеной тюрьмы утесы,
Как кровля, налегла расплавленная твердь.
Заснул он во дворце—и взор открыл в темнице,
И умер, не поняв, прошел ли страшный сон...
Иль он не миновал? ты грезишь, что в гробнице?
И вдруг войдешь сюда—с жезлом и в багрянице,-
И пред тобой падем—мы ниц, Наполеон!

И эти крайности!—все буйство жизни нашей,
Средневековый мир, величье страшных дней,—
Париж, ты съединил в своей священной чаше,
Готовя страшный яд из песен и идей!
Ты человечества—Мальстрем. Напрасно люди
Мечтают от твоих влияний ускользнуть!
Ты должен все смешать в чудовищном сосуде.
Блестит его резьба, незримо тает муть.
Ты властно всех берешь в зубчатые колеса
И мелешь души всех, и веешь легкий прах.
А слезы вечности кропят его, как росы...
И ты стоишь, Париж, как мельница, в веках!

В тебе возможности, в тебе есть дух движенья,
Ты вольно окрылен, и вольных крыльев тень
Ложится и теперь на наши поколенья,

И стать великим днем здесь может каждый день.
Плотины баррикад вонзал ты смело в стены
И замыкал поток мутящихся времен,
И раздроблял его в красивых брызгах пены.
Он дальше убегал, разбит, преображен.
Вторгались варвары в твой сжатый круг, крушили
Заветные углы твоих святых дворцов,
Но был не властен меч над тайной вечной были:
Как феникс, ты взлетал из дыма, жив и нов.
Париж не весь в домах, и в том иль в этом лике:
Он часть истории, идея, сказка, бред.
Свое бессмертие ты понял, о великий,
И бреду твоему исчезновенья—нет!

1903

In hac lacrimarum valle

Весь долгий путь свершив по высям и низинам,
Твои зубцы я вижу, наконец,
О, горный кряж веселости и смеха!
В рассветный час ты вырос исполином,
Как до небес воздвигнутый дворец,
И гулко на привет твое мне вторит эхо.
За мной падений стыд и боль палящих ран,
Теснины скал и быстрины потоков,
За мной покинутый в равнине бранный стан,
За мной пустыня—мир безумцев и пророков...
Кругом меня—немые тополя,
Как женщины, завернутые строго.
Свивается причудливо дорога,
Вся белая, мглу надвое деля.
И лилии, закрыв в сыром тумане
Кадильницы ночных благоуханий,
Сгибают выгибы упругого стебля.
Чу! ближний ключ запел неравномерно...
Долина слез! чье имя—как печаль!
Как все в тебе неясно и неверно.
Но для меня уже белеет даль,

Я вышел из страны позора и успеха,
Снимаю я с своей главы венцы.
Уже блестят в огне, уже блестят зубцы
Твои,—о, кряж торжественного смеха!

Я взойду при первом дне
Хохотать к зубцам, на выси,
И на смех завторят мне
Неумолчным смехом рыси.

Стану рыскать наугад
Вверх и вниз я лугом, лесом:
Встречный друг и вечный брат
С нимфой, с зверем, с богом, с бесом.

Повлекут меня с собой
К играм рыжие силены;
Мы натешимся с козой,
Где лужайку сжали стены.

Всем настанет череда
Выпить острый сок услады.
Лица скроют от стыда
В чащах белые дриады.

Зазовут меня в свой грот
Скальных недр владыки—гномы.
Буду пить я дикий мед,
Гость желанный и знакомый.

Я спою им про Грааль.
То-то будет им веселье!
Подарит мне Рюбецаль
На прощанье ожерелье.

Канет в сумрак летний зной,
Лунный глаз проглянет слева,—
Обручальный перстень свой
Мне подаст лесная дева.

Я его, склонясь, приму,
Уроню свой плащ багровый...
Ночь длинней протянет тьму,
Отлетят ночные совы.

Я к вам вернусь, о, люди,—вернусь, преображен,
Вся жизнь былая будет как некий душный сон.
Я к вам вернусь воскресшим, проснувшимся от сна...
Волна волну стирает, и все ж она—волна.
И я иной, чем прежде, но все же это—я,
И песнь моя другая, но это—песнь моя.
Никто ее не может сложить, как я могу,
А тайну прошлых песен я в сердце берегу.
И все мои напевы еще подвластны мне:
И те, что пел я в детстве, и те, что пел во сне.
Дано мне петь, что любо, что нравится мечтам,
А вам—молчать и слушать, вникать в напевы вам!
И что бы ни задумал я спеть—запрета нет,
И будет все достойно, затем, что я—поэт!
Я в жизнь пришел поэтом, я избран был судьбой,
И даже против воли останусь сам собой.
Я понял неизбежность случайных дум своих,
И сам я чту покорно свой непокорный стих.
В моем самохваленьи служенье богу есть,—
Не знаю, сам, какая, и все ж я миру весть!

1902

Свидание

В одном из тех домов, придуманных развратом,
Где всем предложена наемная кровать,
На ложе общих ласк, еще недавно смятом,
И мы нашли приют—свою любовь скрывать.

Был яркий летний день, но сдвинутые шторы
Отрезывали нас от четкого луча;
Во мгле искусственной ловил я только взоры
Да тени смутные прически и плеча.

Вся жизнь была в руках: я слышал все биенья,
Всю груди теплоту, все линии бедра;
Ты прилегла ко мне, уже в изнеможеньи,
И ты на миг была—как нежная сестра.

Но издали, крутясь, летела буря страсти,
Как изменились вдруг внизу твои глаза!
И ложе стало челн: у зыбких волн во власти,
Помчался он, и вихрь—сорвал все паруса.

И мне пригрезилось: сбылась судьба земного.
Нет человечества! Ладью влечет хаос!
И я, встречая смерть, искал поспешно слова,
Чтоб трепет выразить последних в мире грез.

Но вместо слов был бред, и, неотступно жаля,
Впивался и томил из глубины твой взгляд.
Твой голос слышал я: «Люблю! твоя! мой Валя!»
Ладья летит быстрей... и рухнул водопад.

И мы на берегу очнулись в брызгах пены.
Неспешно, как из форм иного бытия,
Являлся внешний шум и выступали стены,
Сливалось медленно с действительностью «я».

Когда ж застенчиво, лицо в густой вуали,
На улицу за мной ты вышла из ворот,
Еще был яркий день, пролетки дребезжали,
И люди мимо шли—вперед, вперед...

1901

В ночном безлюдии

В ночном безлюдии немых домов
Молюсь о чуде я недавних снов.

Мечты стоокие со всех сторон...
Дитя далекое, храни свой сон!

Альков задвинутый, дрожанье тьмы,
Ты запрокинута,—и двое мы.

И к телу тело нам прижать не стыд.
Грехом соделанным душа горит.

Все уничтожено—одна любовь.
Нет, невозможно то, не будет вновь.

Из тьмы восстану ли! ты далека!
Мгновенья канули. Прошли века.

Я гость единственный на всей земле.
Спит мир таинственно в предсмертной мгле.

Зачем в безлюдии последних дней
Молюсь о чуде я—о ней! о ней!

1901

В Дамаск

Губы мои приближаются
К твоим губам,
Таинства снова свершаются,
И мир—как храм.

Мы, как священнослужители,
Творим обряд.
Строго в великой обители
Слова звучат.

Ангелы, ниц преклоненные,
Поют тропарь.
Звезды—лампады зажженные
И ночь—алтарь.

Что нас влечет с неизбежностью,
Как сталь магнит?

Дышим мы страстью и нежностью,
Но взор закрыт.

Водоворотом мы схвачены
Последних ласк.
Вот он, от века назначенный
Наш путь в Дамаск!

1902

К близкой

Предстанет миг, и дух мой канет
В неизмеримость без времен,
И что-то новое настанет,
И будет прах земли как сон.

Настанет мир иных скитаний,
Иных падений и высот,
И, проходя за гранью грани,
Мой дух былое отряхнет.

Воспоминанья все утратит,
В огне небес перегорит
И за познанье тайн заплатит
Забвеньем счастья и обид.

И, вот, как облако влекомый,
Молчанье строгое храня,
Я вдруг завижу лик знакомый,
И трепет обожжет меня.

В моей душе преображенной,
От всех условий бытия,
Как мысль от тени, отрешенной,
Восстанет вся любовь моя,

Весь круг бессилия и счастья,
Все дни, что вечностью прошли,

Весь вещий ужас сладострастья,
Вся ложь, вся радуга земли!

И, словно вновь под сводом звездным
С своей бездонной высоты,
Твое я имя кину безднам,
И мне на зов ответишь—ты!

1903

Таинства ночей

Хранятся в памяти, как в тайной книге,
Свершившиеся таинства ночей.
Те, жизни чуждые, святые миги,
Когда я был и отдан, и ничей.

Я помню запах тьмы и запах тела.
Дрожавших членов выгибы и зной,
Мир, дышащий желаньем до предела,
Бесформенный, безобразный, иной.

Исторгнутые мукой сладострастья,
Безумны были речи,—но тогда
Казалось мне, что властен их заклясть я
Заклятием забвенья—навсегда!

Что этот бред, мучительным отливом
Вскрывающий души нагое дно,
Навек умрет с растаявшим порывом,
Что в миге будет все погребено!

Нет! Эта мгла и криков и видений
В другой мечте, как и в моей, жива!
О, вы, участницы ночных радений,
Вы слышали запретные слова!

Я был не одинок во храме страсти,
Дал подсмотреть свой потаенный сон,

И этот храм позором соучастий,
В святых воспоминаньях, осквернен!

1902

Одиночество

Проходят дни, проходят сроки,
Свободы тщетно жаждем мы.
Мы беспощадно одиноки
На дне своей души-тюрьмы!

Присуждены мы к вечной келье,
И в наше тусклое окно
Чужое горе и веселье
Так дьявольски искажено.

Напрасно жизнь проходит рядом
За днями день, за годом год.
Мы лжем любовью, словом, взглядом,—
Вся сущность человека лжет!

Нет сил сказать, нет сил услышать,
Невластно эхо, мертв язык.
Лишь время знает, чем утишить
Безумно вопиющий крик.

Срывай последние одежды
И грудью всей на грудь прильни,—
Порыв бессилен! нет надежды!
И в самой страсти мы одни!

Нет единенья, нет слиянья—
Есть только смутная алчба,
Да согласованность желанья,
Да равнодушие раба.

Напрасно дух о свод железный
Стучится крыльями, скользя.

Он вечно здесь, над той же бездной:
Упасть в соседнюю—нельзя!

И путник, по средине луга,
Кругом бросает тщетный взор:
Мы вечно, вечно в центре круга,
И вечно замкнут кругозор!

1903

Отвержение

Мой рок, благодарю, о верный, мудрый змий!
Яд отвержения—напиток венценосный!
Ты запретил мне мир изведанный и косный,
Слова и числа дав—просторы двух стихий!

Мне чужды с ранних дней—блистающие весны
И речи о «любви», заветный хлам витий;
Люблю я кактусы, пасть орхидей да сосны,
А из людей лишь тех, кто презрел «не убий».

Вот почему мне так мучительно знакома
С мишурной кисеей продажная кровать.
Я в зале меж блудниц, с ватагой пьяниц дома.

Одни пришли сюда грешить и убивать,
Другие, перейдя за глубину паденья,
Вне человечества, как странные растенья.

1901

Сонет

О ловкий драматург, судьба, кричу я «браво»
Той сцене выигрышной, где на смерть сам сражен.
Как все подстроено правдиво и лукаво...
Конец негаданный, а неизбежен он.

Сознайтесь, роль свою и я провел со славой,
Не закричат ли «бис» и мне со всех сторон,

Но я, закрыв глаза, лежу во мгле кровавой,
Я не отвечу им,—я на смерть поражен.

Люблю я красоту нежданных поражений,
Свое падение я славлю и пою.
Не все ли нам равно, ты или я на сцене.

«Вся жизнь игра». Я мудр и это признаю.
Одно желание во мне, в пыли простертом:
Узнать, как пятый акт развяжется в четвертом.

1901

Женщина

Я видел женщину. Кривясь от мук,
Она бесстыдно открывала тело,
И каждый стон ее был дикий звук.

Ее лицо от боли посерело,
Шла кровь из сдавленных зубами губ.
С упорной яростью она глядела,

И смысл речей ее был странно груб.
Когда порой ее слабели схватки,
Она молчала, тягостно, как труп.

И после вновь металась в лихорадке
И, мучась, вся вытягивалась вновь,
И, видимо, ей все казались гадки.

Хотелось одного: уйти от боли...
В ней все угасло—разум и любовь,
Пьянящим запахом царила кровь.

О, девушки! О, мотыльки на воле!
Вас на балу звеняший вальс влечет,
Вы в нашей жизни, как цветы магнолий!

Но каждая узнает свой черед,
И, корчась, будет припадать на ложе,
Глаза сжимая, искривляя рот...

Вы станете зверями—тоже! тоже!

1901

Терцины к спискам книг

И вас я помню, перечни и списки,
Вас вижу пред собой за ликом лик.
Вы мне, в степи безлюдной, снова близки.

Я ваши таинства давно постиг!
При лампе, наклонясь над каталогом,
Вникать в названья неизвестных книг;

Следить за именами; слог за слогом
Впивать слова чужого языка;
Угадывать великое в немногом;

Воссоздавать поэтов и века
По кратким, повторительным пометам:
«Без титула», «в сафьяне» и «редка».

И ныне вы предстали мне скелетом
Всего, что было жизнью сто веков,
Кивает он с насмешливым приветом.

Мне говорит: «Я не совсем готов,
Еще мне нужны кости и суставы,
Я жажду книг, чтоб сделать груду слов.

Мечтайте, думайте, ищите славы!
Мне все равно, безумец иль пророк,
Созданье для ума и для забавы.

Я всем даю определенный срок.
Твори и ты, а из твоих мечтаний
Я сохраню навек семь-восемь строк.

Всесильнее моих упоминаний
Нет ничего. Бессмертие во мне.
Венчаю я—мир творчества и знаний».

Так остов говорит мне в тишине,
И я, с покорностью целуя землю,
При быстро умирающей луне,

Исчезновение! твой зов приемлю.

1901

Раньше утра

Я знаю этот свет неумолимо-четкий,
И слишком резкий стук пролетки в тишине,
Пред окнами контор железные решетки,
Пустынность улицы, не дышащей во сне.

Ночь канула в года, свободно и безумно.
Еще горят огни всех вдохновенных сил.
Но свежий утренник мне веет в грудь бесшумно,
Недвижные дома—как тысячи могил.

Там люди-трупы спят, вдвоем и одиноко,
То навзничь, рот открыв, то ниц—на животе.
Но небо надо мной глубоко и высоко,
И даль торжественна в открытой наготе!

Два равных мира есть, две равные стихии:
Мир дня и ночи мир, безумства и ума.
Но тяжки грани их—часы полуночные,
Когда не властен свет и расточилась тьма.

С последним чаяньем, свою мечту ночную
Душа стремится влить в пустые формы дня,

Но тщетно я борюсь и тщетно я колдую:
Ты, день, могучий враг, вновь покоришь меня!

1903

Прохожей

Она прошла и опьянила
Томящим сумраком духов
И быстрым взором оттенила
Возможность невозможных снов.

Сквозь уличный железный грохот
И пьян от синего огня,
Я вдруг заслышал жадный хохот
И змеи оплели меня.

В моих глазах еще синела
Небес вечерних полумгла,
Но теплота чужого тела
Меня объяла и прожгла.

И в ужасе борьбы упорной,
Меж клятв, молений и угроз,
Я был опутан влагой черной
Ее распущенных волос.

1901

Каменщик

— Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строишь? кому?
— Эй, не мешай нам, мы заняты делом.
Строим мы, строим тюрьму.

— Каменщик, каменщик с верной лопатой,
Кто же в ней будет рыдать?
— Верно не ты и не твой брат, богатый.
Незачем вам воровать.

— Каменщик, каменщик, долгие ночи
Кто ж проведет в ней без сна?
— Может быть сын мой, такой же рабочий.
Тем наша доля полна.

— Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй,
Тех он, кто нес кирпичи!
— Эй, берегись, под лесами не балуй...
Знаем все сами, молчи!

1902

Мир

Я помню этот мир, утраченный мной с детства,
Как сон непонятый и прерванный, как бред...
Я берегу его—единое наследство
Мной пережитых и забытых лет.
Я помню формы, звуки, запах... О! и запах!
Амбары темные, огромные кули,
Подвалы под-полом, в грудях земли,
Со сходами, припрятанными в трапах;
Картинки в рамочках на выцветшей стене,
Старинные скамьи и прочные конторки;
Сквозь пыльное окно какой-то свет не зоркий,
Лежащий без теней в ленивой тишине;
И запах надо всем,—нежалящие когти
Вонзающий в мечты, в желанья, в речь, во все!
Быть может выросший в веревках или дегте,
Иль вползший, как змея, в безлюдное жилье,
Но царствующий здесь над всем житейским складом,
Проникший все насквозь, держащий все в себе!
О, позабытый мир! и я дышал тем ядом,
И я причастен был твоей судьбе!

Я помню: за окном, за дверью с хриплым блоком
Был плоский и глухой, всегда нечистый двор.
Стеной и вывеской кончался кругозор.
(Порой закат блестел на куполе далеком).
И этот старый двор всегда был пуст и тих,

Как заводь сорная, вся в камышах и тине...
Мелькнет монахиня... Купец в поддевке синей...
Поспешно пробегут два юрких половых...
И снова душный сон всех звуков, красок, линий...
Когда въезжал сюда телег тяжелый ряд,
С самоуверенным и беспощадным скрипом,—
И дюжим лошадям, и безобразным кипам,
И громким окрикам сам двор казался рад.
Шумели молодцы, стуча, вскрывались люки.
Мелькали руки, пахло кумачом...
Но проходил тот час, вновь умирали звуки,
Двор застывал во сне, привычном и немом....
А под вечер опять мелькали половые,
Лениво унося порожние судки...
Но поздно... Главы гаснут золотые.
Углы—приют теней—темны и глубоки.
Уже давно вся жизнь влачится неисправней,
Мигают лампы, пахнет керосин...
И скоро вынесут на волю, к окнам, ставни,
И пропоет замок, и дом заснет—один.

Я помню этот мир. И сам я в этом мире
Когда-то был как свой, сливался с ним в одно.
Я мальчиком глядел в то пыльное окно,
У сумрачных весов играл в большие гири.
И лазил по мешкам в сараях, где темно.
Мечтанья детские в те дни уже светлели:
Мне снились:—рощи пальм, безвестный океан,
И тайны полюсов, и бездны подземелий,
И дерзкие пути междупланетных стран.
Но дряхлый ветхий мир на все мои химеры
Улыбкой отвечал, как ласковый старик,
И тихо надо мной—ребенком—ник,
Громадный, неподвижный, серый.
И что-то было в нем родным и близким мне.
Он глухо мне шептал, и понимал его я...
И смешивалось все, как в смутном сне:
Мечта о неземном и сладкий мир покоя...
. . . . . .

Недавно я прошел знакомым переулком
И не узнал заветных мест совсем.
Тот, мне знакомый мир, был тускл и нем,—
Теперь сверкало все, гремело в гуле гулком!
Воздвиглись здания из стали и стекла,
Дворцы огромные, где вольно бродят взоры...
Разрыты навсегда таинственные норы,
Бесстрастный свет вошел туда, где жалась мгла.
И лица новые, и говор чужд... Все ново!
Как сказка смелая—воспоминанья лет!
Нет даже и во мне тогдашнего былого;
Напрасно в глубине ищу желанный след...
Во мне все новое, как в городе торговли,
И мысли, и мечты, и чаянья, и страх.
Я думал мальчиком о будущих годах:
И вот они пришли... Ну, что же? Я таков ли,
Каким желал я быть? Добыл ли я венец?
Иль эти здания, все из стекла и стали,
Восставшие в мечтах, как призрачный дворец,
Все утоленные восторги и печали,
Все это новое—напрасно взяло верх
Над миром тем, что мне—столетья завещали,
Который был моим, который я отверг?

1903

На скачках

Люблю согласное стремленье
К столбу летящих лошадей,
Их равномерное храпенье
И трепет вытянутых шей.

Когда в начале свежи силы,
Под шум о землю бьющих ног
Люблю задержанной кобылы
Уверенный, упругий скок.

Люблю я пестрые камзолы,
В случайный сбитые букет,

И финиш, ярый и тяжелый,
Где миг колеблет «да» иль «нет».

Когда счастливец на прямую
Выходит, всех опередив,
Я с ним победу торжествую,
Его понятен мне порыв!

Быть первым, вольно-одиноким!
И видеть, что близка мета,
И слышать отзвуком далеким
Удары ног и щелк хлыста!

1902

Ночь

Горящее лицо земля
В прохладной тени окунула.
Пустеют знойные поля,
В столицах молкнет песня гула.

Идет и торжествует мгла,
На лампы дует, гасит свечи,
В постели к любящим легла
И властно их смежила речи.

Но пробуждается разврат.
В его блестящие приюты
Сквозь тьму, по улицам, спешат
Скитальцы покупать минуты.

Стрелой вонзаясь в города,
Свистя в полях, гремя над бездной,
Летят немолчно поезда
Вперед по полосе железной.

Глядят несытые ряды
Фабричных окон в темный холод,

Не тихнет резкий стон руды,
Ему в ответ хохочет молот.

И, спину яростно клоня,
Скрывают бешенство проклятий
Среди железа и огня
Давно испытанные рати.

1902

Прелести земли

Все реже я и все бесстрастней
Смотрю на прелести земли.
Как в детстве нежившие басни,
Красоты мира отошли.

Мне тяжела дневная зелень
И слишком сини небеса,
Для слуха каждый звук разделен,
Когда взволнуются леса.

Люблю я сумрачные краски,
Громады стен в лучах луны,
Меня приветствует по-братски
Мир дорассветной тишины.

Дрожа, белеет сумрак чуткий,
Гремящий город мертв на час,
Спят мудрецы, спят проститутки,
И в два ряда мне светит газ.

1902

Зимняя красота

Твердят серебряные сени
О счастьи жизни для мечты,
О сладком бытии растений
В убранстве зимней красоты.

Но я не внемлю, не приемлю
Их мерный шопот, белый зов.
Люблю воскреснувшую землю
И кровь растоптанных цветов!

Нет, нет, не надо мертвой неги
В лучах прельстительной луны!
Вставайте, мощные побеги,
На пире огненной весны!

Я буду сам как стебель явлен,
Омою в зное венчик свой,
И лягу, сломан и раздавлен,
До первой вьюги снеговой!

1903

Яростные птицы

Яростные птицы с огненными перьями
Пронеслись над белыми райскими преддверьями,
Огненные отблески вспыхнули на мраморе,
И умчались странницы, улетели за море.

Но на чистом мраморе, на пороге девственном,
Что-то все алелося блеском неестественным,
И в вратах под сводами вечными, алмазными
Упивались ангелы тайными соблазнами.

1901

Сладострастие

Ф. Сологубу

В ярком венке из пурпурного мака,
Смутно ресницы к земле опустив,
Женщина вышла из тусклого мрака...
Облик лица ее грубо красив.

Серьги по золоту блещут рубином,
Шею оплел ей кровавый коралл,
Веет от губ ее чем-то звериным,
Тишью пещер и пустынностью скал.

Черные волосы, с сумраком слиты,
Пали на белую матовость плеч,
Выпуклы, подняты, вечно не сыты,
Груди дрожат от желания встреч.

Руки протянуты (так, беспокоясь,
Ищет слепая далекой стены),
Бедра опутал ей тигровый пояс...
Тише! приветствуй восторг тишины!

Чу! загремели чуть слышно запястья,
Губы скривились в мучительный знак...
Снова, о, снова, истомы и счастья!
Пусть осыпается пурпурный мак.

1901

В раю

Лишь закрою глаза, как мне видится берег
Полноводной реки, тени синей волны.
Дремлет небо одной из полдневных Америк,
Чуть дрожа на качелях речной глубины.

Веет ветер какого-то лучшего века,
Веет юность свободной и гордой земли.
Мчатся легкие серны, друзья человека,
Песня вольных охотников молкнет вдали.

Обнаженные юноши, девы и дети
Выбегают на отмель веселой толпой,
И бросаются в воду, при радостном смехе,
Словно горсти жемчужин блестя под водой.

Длится время, качаются зыби заката,
Здесь и там задымился и светит костер.
Дева спутника игр обнимает, как брата...
О, как сладки во мгле поцелуи сестер!

Да, я знаю те земли и знаю то время,
Их свободно и быстро в мечтах узнаю...
И часами смотрю на блаженное племя,
И как путник прохожий, я с ними в раю!

1902

Знойный день

Белый день, прозрачно белый,
Золотой, как кружева...
Сосен пламенное тело,
Зноем пьяная трава.

Пробегающие тучи,
Но не смеющие пасть...
Где-то в сердце, с силой жгучей,
Затаившаяся страсть.

Не гляди так, не зови так,
Ласк ненужных не желай.
Пусть пылающий напиток
Перельется через край.

Ближе вечер... Солнце клонит
Возрастающую тень...
Пусть же в памяти потонет
Золотой и белый день.

1902

К устью!

На волны набегают волны,
Растет прилив, отлив растет,

Но, не скудея, вечно полны
Вместилища свободных вод.

На годы набегают годы,
Не молкнет ровный стук минут,
И дни и годы, словно воды,
В просторы вечности текут.

Дыша то радостью, то грустью,
И я мгновеньям отдаюсь,
И как река стремится к устью,
К безбрежной дали я стремлюсь.

Промчится жизни быстротечность,
За днями дни, за годом год.
И утлый челн мой примет вечность
В неизмеримость черных вод.

1903

К. Д. Бальмонту

Вечно вольный, вечно юный,
Ты как ветер, как волна.
Речь твоя поет, как струны,
Входит в души, как весна.

Веет ветер перелетный,
И кругом дрожат цветы.
Он ласкает, безотчетный,
Все вокруг—таков и ты!

Ты как звезды—близок к небу.
Да, ты—избранный поэт!
Дара высшего не требуй!
Дара высшего и нет.

«Высшим знаком ты отмечен»,
Чти свою святыню сам,

Будь покорен, будь беспечен,
Будь подобен облакам.

Все равно, куда их двинет
Ветер, веющий кругом.
Пусть туман как град застынет,
Пусть обрушится дождем.

И над полем и над бездной
Облака зарей горят.
Будь же тучкой бесполезной,
Как она лови закат!

Не ищи, где жаждет поле,
На раздумья снов не трать.
Нам забота. Ты на воле!
На тебе ее печать!

Может: наши сны глубоки,
Голос наш—векам завет,
Как и ты, мы одиноки,
Мы—пророки... Ты—поэт!

Ты не наш—ты только божий.
Мы весь год—ты краткий май!
Будь единый, непохожий,
Нашей силы не желай.

Ты сильней нас! Будь поэтом,
Верь мгновенью и мечте.
Стой, своим овеян светом,
Где-то там, на высоте.

Тщетны дерзкие усилья,
Нам к тебе не досягнуть!
Ты же, вдруг раскинув крылья,
В небесах направишь путь.

1903

Ему же

Нет, мой лучший брат, не прав ты:
Я тебя не разлюблю!
Мы плывем, как аргонавты,
Душу вверив кораблю.

Все мы в деле: у кормила,
Там, где парус, где весло.
Пыль пучины окропила
Наше влажное чело.

Но и в диком крике фурий,
Взором молний озарен,
Заклинатель духов бури,
Ты поешь нам, Арион!

Если нас к земному лону
Донести дано судьбе,
Первый гимн наш—Аполлону,
А второй наш гимн—тебе!

Если ж зыбкий гроб в пучине
Присудили парки нам,
Мы подземной Прозерпине
И таинственным богам

Предадим с молитвой душу,—
А тебя из мглы пучин
Тихо вынесет на сушу
На спине своей—дельфин.

1903

Андрею Белому

Я многим верил до исступленности,
С такой надеждой, с такой любовью!

И мне был сладок мой бред влюбленности,
Огнем сожженный, залитый кровью.

Как глухо в безднах, где одиночество,
Где замер сумрак молочно-сизый...
Но снова голос! зовут пророчества!
На мутных высях чернеют ризы!

«Брат, что ты видишь?»—Как отзвук молота,
Как смех внемирный, мне отклик слышен:
«В сияньи небо—вино и золото!—
Как ярки дали! как вечер пышен!»

Отдавшись снова, спешу на кручи я,
По острым камням, меж их изломов.
Мне режут руки цветы колючие.
Я слышу хохот подземных гномов.

Но в сердце—с жаждой решенье строгое,
Горит надежда лучом усталым.
Я много верил, я проклял многое.
И мстил неверным в свой час кинжалом.

1903

Младшим

Они Ее видят! Они Ее слышат!
С невестой жених в озаренном дворце!
Светильники тихое пламя колышат,
И отсветы радостно блещут в венце.

А я безнадежно бреду за оградой,
И слушаю говор за длинной стеной.
Голодное море безумствовать радо,
Кидаясь на камни, внизу, подо мной.

За окнами свет, непонятный и желтый,
Но в небе напрасно ищу я звезду...

Дойдя до ворот, на железные болты
Горячим лицом приникаю—и жду.

Там, там, за дверьми—ликование свадьбы,
В дворце озаренном с невестой жених!
Железные болты сломать бы, сорвать бы!..
Но пальцы бессильны и голос мой тих.

1903

З. Н. Гиппиус

Неколебимой истине
Не верю я давно,
И все моря, все пристани
Люблю, люблю равно.

Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья.
И господа и дьявола
Хочу прославить я.

Когда же в белом саване
Усну, пускай во сне
Все бездны и все гавани
Чредою снятся мне.

1901

На этих камнях, вытесанных морем,
Последний жрец, пишу сказанья дней.
Мы, смертные, с богами мира спорим,
Но мир для них—ряд тесаных камней!
Как я черчу на бело-твердых плитах
За знаком знак: ответ свой и вопрос,
Так боги пишут на веках открытых
Столбцы своих неистребимых грез.

Все то, чем жили мы, отцы и деды,—
Быть может, сон и песня божества,
И наших ратей прошлые победы
В той скорбной песне—громкие слова!

1903

ИЗ КНИГИ
STEPHANOS
1904—1905

ИЗ КНИГИ
STEPHANOS
1904—1905

Вячеславу Иванову

Когда впервые, в годы блага,
Открылся мне священный мир,
И я со скал Архипелага
Заслышал зов истлевших лир,

Когда опять во мне возникла
Вся рать, мутившая Скамандр,
И дерзкий вскормленник Перикла,
И завершитель Александр,—

В душе зажглась какая вера!
С каким забвением я пил
И нектар сладостный Гомера,
И твой безумный хмель, Эсхил!

Как путник над разверстой бездной,
Над тайной двадцати веков,
Стремил я руки бесполезно
К былым теням, как в область снов.

Но путь был долог, сердце слепло,
И зоркость грез мрачили дни,
Лишь глубоко под грудой пепла
Той веры теплились огни.

И вот, в столице жизни новой,
Где всех стремящих сил простор,
Ты мне предстал: и жрец суровый
И вечно юный тирсофор!

Как странен в шуме наших споров,
При нашей ярой слепоте,
Напев твоих победных хоров
К неумиравшей красоте!

И нашу северную лиру
Сведя на эолийский звон,
Ты возвращаешь мне и миру
Родной и близкий небосклон!

1904

Приветствие

Поблек предзакатный румянец.
На нитях серебряно-тонких
Жемчужные звезды повисли;
Внизу—ожерелье огней;
И пляшут вечерние мысли
Размеренно-радостный танец
Среди еле слышных и звонких
Напевов встающих теней.

Полмира, под таинством ночи,
Вдыхает стихийные чары
И слушает те же напевы
Во храме разверстых небес.
Дрожат, обессилевши, девы,
Целуют их юноши в очи,
И мучат безумных кошмары
Стремительным вихрем чудес.

Вам всем, этой ночи причастным,
Со мной в эту бездну глядевшим,

Искавшим за поясом млечным
Священным вопросам ответ,
Сидевшим на пире беспечном,
На ложе предсмертном немевшим,
И нынче, в бреду сладострастном,
Всем зачатым жизням—привет!

1904

Вечеровая песня

Воздух становится синим,
Словно разреженный дым...
Час упоительно-мирный
Мы успокоенно минем,
Близясь к часам роковым.

Выгнулся купол эфирный,
Движется мерно с Востока
Тень от ночного крыла;
В бездне бездонно-глубокой
Все откровенное тонет,
Всюду—лишь ровная мгла.

Морю ли ставить препоны
Валом бессильных огней?
Черные всадники гонят
Черных быков миллионы,—
Стадо полночных теней!

1904

Помню вечер...

Помню вечер, помню лето,
Рейна полные струи,
Над померкшим старым Кёльном
Золотые нимбы света,
В этом храме богомольном—
Взоры нежные твои...

Где-то пели, где-то пели
Песню милой старины.
Звуки, ветром тиховейным
Донесенные, слабели,
И сливались, там, над Рейном,
С робким ропотом волны.

Мы любили! мы забыли,
Это вечность или час!
Мы тонули в сладкой тайне,
Нам казалось: мы не жили,
Но когда-то Heinrich Heine
В стройных строфах пел про нас!

1904

Голос прошлого

Вьет дорога на деревни
Зеленеющим овсом,
И поет мне голос древний,
Колокольчик, о былом.

Словно в прошлое глядится
Месяц, вставший над рекой,
И янтарный лик двоится:
Он и тот же, и другой.

Снова смутное бряцанье,
Вновь и вечер и овес,
Лишь одни воспоминанья
Я живыми не донес.

Как в тумане все поблекло,
На минувших годах тень...
Так едва мерцают стекла
Удаленных деревень.

Все темнее. Кто томится
В смутной песне под дугой?

Словно в прошлое глядится
Лик янтарный над рекой.

1904

Охотник

Над бредом предзакатных марев,
Над трауром вечерних туч,
По их краям огнем ударив,
Возносится последний луч.

И, глуби черные покинув,
В лазурный день из темноты
Взлетает яркий рой павлинов,
Раскрыв стоцветные хвосты.

А Ночь, охотник с верным луком,
Кладет на тетиву стрелу.
Она взвилась с протяжным звуком,
И птица падает во мглу.

Весь выводок сразили стрелы...
От пестрой стаи нет следа...
На запад, слепо потемнелый,
Глядит Восточная Звезда.

1904

Целение

Целит вечернее безволие
Мечту смятенную мою.
Лучей дневных не надо более,
Всю тусклость мига признаю!

Пускай темнеют дали синие,
Я не зажгу во тьме свечи:
В душе ни смеха, ни уныния...
Ты, голос памяти,—молчи!

Обвили сладостными платами
Мне тени дышащую грудь.
Нависла сводами и скатами
Над взором тягостная муть.

Идут часы—мгновенья серые,
Царит всевластно темнота...
Иль позабыт во мгле пещеры я,
И все что было—лишь мечта?

Иль я лишь прах, во гробе тающий,
Я—чей-то призрак в бледной мгле,
К давно-минувшему взывающий
И всем безвестный на земле?

1904

Первые встречи

Как любил я, как люблю я эту робость первых встреч,
Эту беглость поцелуя и прерывистую речь!

Как люблю я, как любил я эти милые слова,—
Их напев не позабыл я, их душа во мне жива.

Я от ласковых признаний, я от нежных просьб отвык,
Стал мне близок крик желаний, страсти яростный язык,

Все слова, какие мучат воспаленные уста,
В час, когда бесстыдству учат—темнота и нагота!

Из восторгов и уныний я влекусь на голос твой,
Как изгнанник, на чужбине услыхавший зов родной.

Здесь в саду, где дышат тени, здесь, где в сумраке светло,
Быстрой поступью мгновений вновь былое подошло.

Вижу губы в легкой сети ускользающих теней.
Мы ведь дети! все мы дети, мотыльки вокруг огней!

Ты укрыла, уклонила в темноту смущенный взгляд...
Это было! все, что было, возвратил вечерний сад!

Страсти сны нам только снятся, но душа проснется вновь,
Вечным светом загорятся—лишь влюбленность! лишь любовь!

1904

Меня, искавшего безумий,
Меня, просившего тревог,
Меня, вверявшегося думе
Под гул колес, в столичном шуме,
На тихий берег бросил Рок.

И зыби синяя безбрежность,
Меня прохладой осеня,
Смирила буйную мятежность,
Мне даровала мир и нежность
И вкрадчиво влилась в меня.

И между сосен тонкоствольных,
На фоне тайны голубой,
Как зов от всех томлений дольных,—
Залог признаний безглагольных,—
Возник твой облик надо мной!

1905

Сайма

Желтым шелком, желтым шелком
По атласу голубому
Шьют невидимые руки.
К горизонту золотому

Ярко-пламенным осколком
Сходит солнце в час разлуки.

Тканью празднично-пурпурной
Убирает кто-то дали,
Расстилая багряницы,
И в воде желто-лазурной
Заметались, заблистали
Красно-огненные птицы.

Но серебряные змеи,
Извивая под лучами
Спин лучистые зигзаги,
Беспощадными губами
Ловят, ловят все смелее
Птиц, мелькающих во влаге.

1905

Мох, да вереск, да граниты...
Чуть шумит сосновый бор.
С поворота вдруг открыты
Дали синие озер.

Как ковер над легким склоном
Нежный папоротник сплел.
Чу! скрипит с протяжным стоном
Наклоненный бурей ствол.

Сколько мощи! сколько лени!
То гранит, то мягкий мох...
Набегает ночь без тени,
Вея, словно вещий вздох.

1905

К Деметре

Небо четко, небо сине,
Жгучий луч палит поля;

Смутно жаждущей пустыней
Простирается земля;

Губы веющего ветра
Ищут, что поцеловать...
Низойди в свой мир, Деметра,
Воззови уснувших, мать!

Глыбы взрыхленные черны,
Их вспоил весенний снег.
Где вы, дремлющие зерна?
Замышляйте свой побег!

Званы вы на пир вселенной!
Стебли к солнцу устремя,
К жизни новой, совершенной,
Воскресайте, озимя!

И в душе за ночью зимней
Тоже—свет, и тоже—тишь.
Что ж, душа, в весеннем гимне
Ты проснуться не спешишь?

Как засеянное поле,
Простираются мечты,
И в огнистом ореоле
Солнце смотрит с высоты.

Брошен был порой осенней
И в тебя богатый сев,—
Зерна страсти и мучений,
Всколоситесь, как напев!

Время вам в движеньях метра
Прозвучать и проблистать.
Низойди в свой мир, Деметра,
Воззови к уснувшим, мать!

1904

Адам и Ева

Ева

Адам! Адам! приникни ближе,
Прильни ко мне, Адам! Адам!
Свисают ветви ниже, ниже,
Плоды склоняются к устам.

Адам

Приникни ближе, Ева! Ева!
Темно. Откуда темнота?
Свисают ветви справа, слева,
Плоды вонзаются в уста.

Ева

Адам! Адам! кто ветви клонит?
Кто клонит, слабую, меня?
В певучих волнах тело тонет,
Твои касанья—из огня!

Адам

Что жжет дыханье, Ева! Ева!
Едва могу взглянуть, вздохнуть...
Что это: плод, упавший с древа,
Иль то твоя живая грудь?

Ева

Адам! Адам! я—вся безвольна...
Где ты, где я?.. все—сон иль явь?
Адам! Адам! мне больно, больно!
Пусти меня—оставь! оставь!

Адам

Так надо, надо, Ева! Ева!
Я—твой! Я—твой! Молчи! Молчи!
О, как сквозь ветви, справа, слева,
Потоком ринулись лучи!

Ева

Адам! Адам! мне стыдно света!
О, что ты сделал! Что со мной?
Ты позабыл слова запрета!
Уйди! уйди! дай быть одной!

Адам

Как плод сорвал я, Ева, Ева?
Как раздавить его я мог?
О, вот он, знак Святого Гнева—
Текущий красный, красный сок!

1905

Орфей и Эвридика

Орфей

Слышу, слышу шаг твой нежный,
Шаг твой слышу за собой.
Мы идем тропой мятежной,
К жизни мертвенной тропой.

Эвридика

Ты—ведешь, мне—быть покорной,
Я должна итти, должна...
Но на взорах—облак черный,
Черной смерти пелена.

Орфей

Выше! выше! все ступени,
К звукам, к свету, к солнцу вновь!
Там со взоров стают тени,
Там, где ждет моя любовь!

Эвридика

Я не смею, я не смею,
Мой супруг, мой друг, мой брат!

Я лишь легкой тенью вею,
Ты лишь тень ведешь назад.

Орфей

Верь мне! верь мне! у порога
Встретишь ты, как я, весну!
Я, заклявший лирой—бога,
Песней жизнь в тебя вдохну!

Эвридика

Ах, что значат все напевы
Знавшим тайну тишины!
Что весна,—кто видел севы
Асфоделевой страны!

Орфей

Вспомни, вспомни! луг зеленый,
Радость песен, радость пляск!
Вспомни, в ночи—потаенный
Сладко-жгучий ужас ласк!

Эвридика

Сердце—мертво, грудь—недвижна.
Что вручу объятью я?
Помню сны,—но непостижна,
Друг мой бедный, речь твоя.

Орфей

Ты не помнишь! ты забыла!
Ах! я помню каждый миг!
Нет, не сможет и могила
Затемнить во мне твой лик!

Эвридика

Помню счастье, друг мой бедный,
И любовь, как тихий сон...
Но во тьме, во тьме бесследной,
Бледный лик твой затемнен...

Орфей

— Так смотри!—И смотрит дико,
Вспять, во мрак пустой, Орфей.
— Эвридика! Эвридика!—
Стонут отзвуки теней.

1904

Медея

На позлащенной колеснице
Она свергает столу с плеч
И над детьми, безумной жрицей,
Возносит изощренный меч.

Узду грызущие драконы,
Взметая крылья, рвутся в высь;
Сверкнул над ними бич червленый,—
С земли рванулись, понеслись.

Она летит, бросая в долы
Куски окровавленных тел,
И мчится с нею гимн веселый,
Как туча зазвеневших стрел.

«Вот он, вот он, ветер воли!
Здравствуй! в уши мне свисти!
Вижу бездну: море, поле—
С окрыленного пути.

«Мне лишь снилось, что с людьми я,
Сон любви и счастья сон!
Дух мой, пятая стихия,
Снова сестрам возвращен.

«Я ль, угодная Гекате,
Ей союзная, могла
Возлюбить тщету объятий,
Сопрягающих тела?

«Мне ли, мощью чародейства,
Ночью зыблившей гроба,
Засыпать в тиши семейства,
Как простой жене раба?

«Выше, звери! хмелем мести
Я дала себе вздохнуть.
Мой подарок—на невесте,
Жжет ей девственную грудь.

«Но, дробя тела на части
И бросая на земь их,
Я позор последней страсти
Отрясаю с чресл моих.

«Выше, звери! взвейтесь выше!
Не склоню я вниз лица,
Но за морем вижу крыши,
Верх Ээтова дворца».

Вожжи брошены драконам,
Круче в воздухе стезя.
Поспешают за Ясоном,
Обезумевшим, друзья.

Каждый шаг—пред ним гробница,
Он лобзает красный прах...
Но, как огненная птица,
Золотая колесница
В дымно-рдяных облаках.

1904

Бальдеру Локи

Светлый Бальдер! мне навстречу
Ты, как солнце, взносишь лик.
Чем лучам твоим отвечу?
Опаленный, я поник.

Я взбегу к снегам, на кручи:
Ты смеешься с высоты!
Я взнесусь багряной тучей:
Как звезда сияешь ты!
Припаду на тайном ложе
К алой ласковости губ:
Ты метнешь стрелу,—и что же!
Я, дрожа, сжимаю труп.

Но мне явлен Нертой мудрой
Призрак будущих времен.
На тебя, о, златокудрый,
Лук волшебный наведен.
В час веселья, в ясном поле
Я слепцу вручу стрелу,—
Вскрикнешь ты от жгучей боли,
Вдруг повергнутый во мглу!
И когда за темной Гелой
Ты сойдешь к зловещим снам,—
Я предам, со смехом, тело
Всем распятьям! всем цепям!
Пусть в пещере яд змеиный
Жжет лицо мне,—я в бреду
Буду петь с моей Сигиной:
Бальдер! Бальдер! ты в аду!

Но вотще вещали норны
Мне таинственный обет.
В пытках вспомнит дух упорный:
Нет! не вечен в мире свет!
День настанет: огнебоги
Сломят мощь небесных сил,
Рухнут Одина чертоги,
Рухнет древний Игдразил.
Выше радуги священной
Встанет зарево огня,—
Но последний царь вселенной,
Сумрак! сумрак!—за меня.

1904

Тесей Ариадне

«Ты спишь, от долгих ласк усталая,
Предавшись дрожи корабля,
А все растет полоска малая,—
Тебе сужденная земля!

«Когда сошел я в сень холодную,
Во тьму излучистых дорог,
Твоею нитью путеводною
Я козни Дедала превозмог.

«В борьбе, меня твой лик божественный
Властней манил, чем дальний лавр...
Разил я с силой сверхъестественной,—
И пал упрямый Минотавр!

«И сердце в первый раз изведало,
Что есть блаженство на земле,
Когда свое биенье предало
Тебе—на темном корабле!

«Но всем судило Неизбежное,
Как высший долг,—быть палачом.
Друзья! сложите тело нежное
На этом мху береговом.

«Довольно страсть путями правила,
Я в дар богам несу ее.
Нам, как маяк, давно поставила
Афина строгая—копье!»

И над водною могилой
В отчий край, где ждет Эгей,
Веют черные ветрила—
Крылья вестника скорбей.

А над спящей Ариадной,
Словно сонная мечта,

Бог в короне виноградной
Клонит страстные уста.

1904

Ахиллес у алтаря

Знаю я, во вражьем стане
Изогнулся меткий лук,
Слышу в утреннем тумане
Тетивы певучий звук.

Встал над жертвой облак дыма,
Песня хора весела,
Но разит неотвратимо
Аполлонова стрела.

Я спешу склонить колена,
Но не с трепетной мольбой.
Обручен я, Поликсена,
На единый миг с тобой!

Всем равно в глухом Эребе
Годы долгие скорбеть.
Но прекрасен ясный жребий—
Просиять и умереть!

Мать звала к спокойной доле...
Нет! не выбрал счастья я!
Прошумела в ратном поле
Жизнь мятежная моя.

И, вступив сегодня в Трою
В блеске царского венца,—
Пред стрелою не укрою
Я спокойного лица!

Дай, к устам твоим приникнув,
Посмотреть в лицо твое,

Чтоб не дрогнув, чтоб не крикнув
Встретить смерти острие.

И, не кончив поцелуя,
Клятвы тихие творя,
Улыбаясь, упаду я
На помосте алтаря.

1905

Клеопатра

Нет, как раб не буду распят,
Иль как пленный враг казнен!
Клеопатра!—Верный аспид
Нам обоим принесен.

Вынь на волю из корзины,
Как союзницу, змею,
Полюбуйся миг единый
На живую чешую.

И потом на темном ложе
Дай припасть ей нам на грудь,
Сладким холодом по коже
В быстрых кольцах проскользнуть.

Не любовь, но смерть нам свяжет
Узы тягостные рук,
И, скрутясь, меж нами ляжет
Наш последний тайный друг.

Губы в губы,—взгляд со взглядом,—
Встретим мы последний суд.
Два укуса с жгучим ядом
Сжатых рук не разомкнут.

И истома муки страстной
Станет слабостью конца,

И замрут, дрожа согласно,
Утомленные сердца.

Я как раб не буду распят,
Не покорствуй, как раба!
Клеопатра!—Верный аспид—
Наша общая судьба.

1905

Антоний

Ты на закатном небосклоне
Былых, торжественных времен,
Как исполин стоишь, Антоний,
Как яркий незабвенный сон.

Боролись за народ трибуны
И императоры—за власть,
Но ты, прекрасный, вечно юный,
Один алтарь поставил—страсть!

Победный лавр и скиптр вселенной,
И ратей пролитую кровь
Ты бросил на весы, надменный,—
И перевесила любовь!

Когда вершились судьбы мира
Среди вспененных боем струй,—
Венец и пурпур триумвира
Ты променял на поцелуй.

Когда одна черта делила
В веках величье и позор,
Ты повернул свое кормило,
Чтоб раз взглянуть в желанный взор.

Как нимб, Любовь, твое сиянье
Над всеми, кто погиб, любя!

Блажен, кто ведал посмеянье
И стыд, и гибель—за тебя!

О, дай мне жребий тот же вынуть,
И в час, когда не кончен бой,
Как беглецу, корабль свой кинуть
Вслед за египетской кормой!

1905

Орфей и аргонавты

Боги позволили, Арго достроен,
Отдан канат произволу зыбей.
Станешь ли ты между смелых, как воин,
Скал чарователь, Орфей?

Тифис, держи неуклонно кормило!
Мели выглядывай, зоркий Линкей!
Тиграм и камням довольно служила
Лира твоя, о, Орфей!

Мощен Геракл, благороден Менотий,
Мудр многоопытный старец Нелей,—
Ты же провидел в священной дремоте
Путь предстоящий, Орфей!

Слава Язону! руно золотое
Жаждет вернуть он отчизне своей.
В день, когда вышли на подвиг герои,
Будь им сподвижник, Орфей!

Славь им восторг достижимой награды,
Думами темных гребцов овладей,
И навсегда закляни Симплегады
Гимном волшебным, Орфей!

1904

В полдень

Свершилось! молодость окончена!
Стою над новой крутизной.
Как было ясно, как утончено
Сиянье утра надо мной.

Как жрец, приветствуя мгновения,
Великий праздник первых встреч,
Впивал все краски и все тени я,
Чтоб их молитвенно сберечь.

И чудом правды примиряющей
Мне в полдень пламенный дано
Из чаши длительно-сжигающей
Испить священное вино:

Признав в душе, навстречу кинутой,
Сны потаенные свои,
Увидеть небосвод, раздвинутый
Заветной радугой любви,

И сжать уста устами верными,
И жизнь случайностям предать,
И над просторами безмерными
На крыльях страсти задрожать!

Зарю, закатно розоперстую
Уже предчувствуя вдали,
Смотрю на бездну, мне отверстую,
На шири моря и земли.

Паду, но к цели ослепительной
Вторично мне не вознестись,
И я с поспешностью томительной
Всем существом впиваю высь.

1904

Молния

Опять душа моя расколота
Ударом молнии, и я,
Вдруг ослепленный вихрем золота,
Упал в провалы бытия.

С победным хохотом, товарища,
Лемуры встретили меня—
На пепле старого пожарища,
В дыму последнего огня.

«Ты—наш!—вскричали в дикой нежности,—
«Ты наш! и в безднах вечно будь!
«Свободный дух предай мятежности!
«Тропы лазурные забудь!»

И мне от жгучей боли весело,
И мне желанен мой костер,
И небо черный полог свесило
На мой полуослепший взор.

1904

Последний пир

Бледнеют тени. Из-за ставен
Рассвет бесстыдно кажет лик.
Над нами новый день бесправен,
Еще царит последний миг.

Гремит случайная телега
По тяжким камням мостовой.
Твое лицо белее снега,
Но строг и ясен облик твой.

Как стадо пьяное кентавров,
Спят гости безобразным сном.

Венки из роз, венки из лавров
Залиты,—смятые,—вином.

На шкуры барсов и медведей
Упали сонные рабы...
Пора помыслить о победе
Над темным гением Судьбы!

Ты подняла фиал фалерна
И бросила... Условный знак!
Моя душа осталась верной:
Зовешь меня—иду во мрак.

У нас под складками одежды,
Я знаю, ровен сердца стук...
Как нет ни страха, ни надежды-
Не будет ужаса и мук.

Два лезвия блеснут над ложем,
Как сонный вздох, провеет стон,—
И, падая, мы не встревожим
Кентавров пьяных тусклый сон.

1905

В склепе

Ты в гробнице распростерта в миртовом венце.
Я целую лунный отблеск на твоем лице.

Сквозь решетчатые окна виден круг луны.
В ясном небе, как над нами, тайна тишины.

За тобой, у изголовья, венчик влажных роз,
На твоих глазах, как жемчуг, капли прежних слез.

Лунный луч, лаская розы, жемчуг серебрит,
Лунный свет обходит кругом мрамор старых плит.

Что ты видишь, что ты помнишь в непробудном сне?
Тени темные все ниже клонятся ко мне.

Я пришел к тебе в гробницу через черный сад,
У дверей меня лемуры злобно сторожат.

Знаю, знаю, мне недолго быть вдвоем с тобой!
Лунный свет свершает мерно путь свой круговой.

Ты—недвижна, ты прекрасна, в миртовом венце.
Я целую свет небесный на твоем лице!

1905

В трюме

...И тогда в мое воображение, подобно богатой музыкальной ноте, прокралась мысль о том, как, должно быть, сладко отдохнуть в могиле.

Эдгар По

Мы—двое брошенные в трюм,
В оковах на полу простертые.
Едва доходит в глуби мертвые
Далеких волн неровный шум.

Прошли мы ужасы Суда,
И приговоры нам прочитаны,
И нас влечет корабль испытанный
Из мира жизни навсегда.

Зачем же ты, лицом упав
На доски жесткие, холодные,
Твердишь про области свободные,
Про воздух гор и запах трав!

Забудь о радостных путях,
Забудь благоуханья смольные,
Наш мир—недели подневольные,
Наш мир—молчанье, мрак и прах...

Но в миг, когда, раскрывши дверь,
Палач поманит нас десницею,
Останься пленною царицею,
Мне руку скованную вверь.

Мы выйдем с поднятым челом,
На мир вечерний взглянем с палубы,
И без упрека и без жалобы
В челнок последний перейдем.

1905

Из ада изведенные

Астарта! Астарта! и ты посмеялась,
В аду нас отметила знаком своим,
И ужасы пыток забылись, как малость,
И радость надежд расклубилась, как дым.

Одно нам осталось—сближаться, сливаться,
Слипаться устами, как гроздьям висеть,
К святыням касаться рукой святотатца,
Вплетаться всем телом в Гефестову сеть.

Дай бледные руки, где язвы распятья!
Дай бедную грудь, где вонзалось копье!
Края плащаницы хочу целовать я,
Из гроба восставшее тело твое!

Царица желаний, изведшая души
Из бездны Иркаллы на пламенный свет!
Тебе, необорной, мы детски послушны:
И ложе—как храм, и любовь—как обет!

Астарте небесной, предвестнице утра,
Над нами сияющей ночью и днем,
Я—жрец темноглазый, с сестрой темнокудрой,
И ночью и днем воспеваю псалом.

1905

Из песен Мальдуна

Я созвал товарищей верных
и поклялся мстить до конца.

Тэннисон («Странствия Мальдуна»)

Верные челны причальте
К этим унылым теснинам.
Здесь, на холодном базальте,
Черную ночь провести нам!

Ах! вам все снятся магнолий
Купы над синим заливом,—
Время блаженной неволи,
Жизнь в упоеньи ленивом.

Ах! вам все помнятся, братья,
Очи подруг долгожданных,
Их огневые объятья,
Тайны ночей бездыханных!

Полно! изведано счастье!
Кубок пустой опрокинут.
Слаще, чем дрожь сладострастья,
Вольные волны нас ринут.

Кормы, качаясь на влаге,
Манят нас к Новому свету.
Мы по природе—бродяги,
Мы—моряки по обету!

Спите же сном беззаботным,
Здесь, где я посох свой бросил:
Завтра, чуть утро блеснет нам,
Снова мы сядем у весел!

1905

Встреча

O toi que j'eusse aimée, o toi qui le savais!
Ch. Baudelaire («A une passante»)

О, эти встречи мимолетные
На гулких улицах столиц!
О, эти взоры безотчетные,
Беседа беглая ресниц!

На зыби яростной мгновенного
Мы—двое у одной черты;
Безмолвный крик желанья пленного:
«Ты кто, скажи?»—ответ: «Кто ты?»

И взором прошлое рассказано,
И брошен зов ей: «Будь моей!»
И вот она обетом связана...
Но миг прошел, и мы не с ней.

Далеко, там, в толпе скользит она,
Уже с другим ее мечта...
Но разве страсть не вся испытана,
Не вся любовь пережита!

1904

В публичном доме

Ходят и дерзко поводят плечами,
Камнями, тканями, телом блестя,
Бедрами, шелком шурша, шелестя...

— «Что же, дитя, ты стоишь как во храме?
Очи опущены, шея закрыта...
Кто ты, дитя?»
— «Я—Афродита».

— «Пеннорожденная! Андиомена!
К жертвам привыкшая Эроса мать,
Здесь, где властители—купля и мена,
Что тебе медлить? чего тебе ждать?»

— «Всюду я, где трепет страстный
Своевольно зыблет грудь.
Вы бессильны, вы не властны
Тайну страсти обмануть!

«Лгите зовом поцелуя,
О любви ведите торг,—
В миг последний, торжествуя,
Опьянит глаза восторг!

«Все признанья, ласки, клятвы,
Ревность, близость—лишь тропа,
Где иду я к полю жатвы
С яркой молнией серпа.

«В тишине альковов брачных
И в веселье грешных лож
Желтизну колосьев злачных
Узнает равно мой нож.

«Здесь иль нет, пришлец случайный,
Ниц ты склонишься челом—
Пред моей предвечной тайной,
Под моим святым серпом!»

1905

В ресторане

Горите белыми огнями,
Теснины улиц! Двери в ад,
Сверкайте пламенем пред нами,
Чтоб не блуждать нам наугад!

Как лица женщин в синем свете
Обнажены, углублены!
Взметайте яростные плети
Над всеми, дети Сатаны!

Хрусталь горит. Вино играет.
В нем солнца луч освобожден.
Напев ли вальса замирает
Иль отдаленный сонный стон?

Ты вновь со мной! ты—та же! та же!
Дай повторять слова любви...
Хохочут дьяволы на страже,
И алебарды их—в крови!

Звени огнем,—стакан к стакану!
Смотри из пытки на меня!
— Плывет, плывет по ресторану
Синь воскресающего дня.

1905

В вагоне

В ее глаза зеленые
Взглянул я в первый раз,
В ее глаза зеленые,
Когда наш свет погас.

Два спутника случайные,
В молчаньи без огней,
Два спутника случайные,
Мы стали близки с ней.

Дрожал вагон размеренно,
Летел своим путем,
Дрожал вагон размеренно,
Качая нас вдвоем.

И было здесь влияние
Качания и тьмы,
И было здесь влияние,
В котором никли мы.

И чьи-то губы близились
Во тьме к другим губам,
И чьи-то губы близились...
Иль это снилось нам?

В ее глаза зеленые
Взглянул я в первый раз,
В ее глаза зеленые,
Когда в них свет погас.

1905

После пира

Мы с дрожью страсти и печали,
Едва над морем рассвело,
Ей чресла розами венчали
И гиацинтами чело.

На теле розовом и белом,
Как кровь горели капли роз,
Одни мы были в мире целом,
И храмом стал нагой утес.

Жрецы ночей и наслаждений,
Мы перед вечной Красотой
Склонили радостно колени,
Воспев невольно гимн святой.

Но там внизу, когда тумана
Раздвинулся густой покров,
Открылись вышедшие рано
На ловлю лодки рыбаков.

И отзвук песни их убогой
На высоте заслышав вдруг,
Она, объятая тревогой,
Разорвала наш тесный круг.

И солнце, беспощадным ликом,
Взглянув, огнем зажгло волну,
И, шаг ступив, с победным криком
Она низверглась в глубину.

1905

Гребцы триремы

Тесно во мгле мы сидим,
Люди, над ярусом ярус.
Зыблются ветром живым
Где-то и стяги и парус!

В узкие окна закат
Красного золота бросил.
Выступил сумрачный ряд
Тел, наклоненных у весел.

Цепи жестоки. Навек
К месту прикованы все мы.
Где теперь радостный бег
Нами влекомой триремы?

Режем ли медленный Нил,
Месим ли фризскую тину?
Или нас Рок возвратил
К белому мысу Пахину?

Песню нам, что ли, начать?
Но не расслышат и жалоб
Те, кто достойны дышать
Морем с разубранных палуб!

Кто там? Нагая ль жена
Дремлет на шкуре пантеры?
Чу! это песня слышна
В честь венценосной гетеры.

Или то Цезарь-певец
Лирой тревожит Тритона,
Славя свой вечный венец,
Славя величие трона?

Нет! то военных рожков
Вызов, готовящий к бою!
Я для друзей иль врагов
Волны упругие рою?

Эх, что мечтать! все равно—
Цезаря влечь иль пирата!
Тускло струится в окно
Отблеск последний заката.

Быстро со мглой гробовой
Снова сливаемся все мы,
Мча на неведомый бой
Бег быстролетной триремы.

1905

Кинжал

Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножен не вырвешь свой клинок..

М. Лермонтов

Из ножен вырван он и блещет вам в глаза,
Как и в былые дни, отточенный и острый.
Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза,
И песня с бурей вечно сестры.

Когда не видел я ни дерзости ни сил,
Когда все под ярмом клонили молча выи,

Я уходил в страну молчанья и могил,
В века загадочно былые

Как ненавидел я всей этой жизни строй,
Позорно-мелочный, неправый, некрасивый,
Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой,
Не веря в робкие призывы.

Но чуть заслышал я заветный зов трубы,
Едва раскинулись огнистые знамена,
Я—отзыв вам кричу, я—песенник борьбы,
Я вторю грому с небосклона.

Кинжал поэзии! Кровавый молний свет,
Как прежде, пробежал по этой верной стали,
И снова я с людьми,—затем, что я поэт,
Затем, что молнии сверкали.

1903—1904

Война

На камнях скал, под ропот бора,
Предвечной Силой рождена,
Ты—дочь губящего Раздора,
Дитя нежданное, Война.

И в круг зверей, во мглу пещеры
Тебя швырнула в гневе мать,
И с детства ты к сосцам пантеры
Привыкла жадно припадать.

Ты мощью в мать, хотя суровей,
По сердцу ты близка с отцом,
И нелюдскую жажду крови
Всосала вместе с молоком.

Как высший судия, всевластно
Проходишь ты тропой веков,

И кровь блестит полоской красной
На жемчугах твоих зубов.

Ты золотую чашу «право»,
Отцовский дар, бросаешь в мир,
Чтоб усладить струей кровавой,
Под гулы битв, свой страшный пир.

И за тобой, дружиной верной,
Спеша, с знаменами в руках,
Все повторяют крик пантерный,
Тобой подслушанный в лесах.

1904

На новый 1905 год

Весь год прошел, как сон кровавый,
Как глухо душащий кошмар,
На облаках, как отблеск лавы,
Грядущих дней горит пожар.

Как исполин в ночном тумане,
Встал новый год, суров и слеп,
Он держит в беспощадной длани
Весы таинственных судеб.

Качнулись роковые чаши,
При свете молний взнесены:
Там жребии врага и наши,
Знамена тяжкие войны.

Молчи и никни, ум надменный!
Се—высшей истины пора!
Пред миром на доске вселенной
Веков азартная игра.

И в упоении и в страхе
Мы, современники, следим,

Как вьется кость, в крови и прахе,
Чтоб выпасть знаком роковым.

Декабрь 1904

К согражданам

Борьба не тихнет. В каждом доме
Стоит кровавая мечта,
И ждем мы в тягостной истоме
Столбцов газетного листа.

В глухих степях, под небом хмурым,
Тревожный дух наш опочил,
Где над Мукденом, над Артуром
Парит бессменно Азраил.

Теперь не время буйным спорам,
Как и веселым звонам струн.
Вы, ликторы, закройте форум!
Молчи, неистовый трибун!

Когда падут крутые Веи,
И встанет Рим как властелин,
Пускай опять идут плебеи
На свой священный Авентин!

Но в час сражений, в ратном строе,
Все—с грудью грудь! и тот не прав,
Кто назначенье мировое
Продать способен, как Исав!

Пусть помнят все, что ряд столетий
России ведать суждено,
Что мы пред ними—только дети,
Что наше время—лишь звено!

Декабрь 1904

Цусима

Великолепная могила.
Пушкин

Где море, сжатое скалами,
Рекой торжественной течет,
Под знойно южными волнами,
Изнеможен, почил наш флот.

Как стая птиц над океаном,
За ним тоскующей мечтой
По странным водам, дивным странам
Стремились мы к мете одной.

И в день, когда в огне и буре
Он, неповинный, шел ко дну,
Мы в бездну канули с лазури,
Мы пили смертную волну.

И мы, как он, лежим, бессильны,
Высь—недоступно далека,
И мчит над нами груз обильный,
Как прежде, южная река.

И только слезы, только горе,
Толпой рыдающих наяд,
На стрелах солнца сходят в море,
Где наши остовы лежат.

Да вместе призрак величавый,
Россия горестная, твой,
Рыдает над погибшей славой
Своей затеи роковой!

И снова всё в веках, далеко,
Что было близким наконец—
И скипетр Дальнего Востока
И Рима Третьего венец!

Июнь 1905

Юлий Цезарь

Они кричат: за нами право!
Они клянут: ты бунтовщик,
Ты поднял стяг войны кровавой,
На брата брата ты воздвиг!

Но вы, что сделали вы с Римом,
Вы, консулы, и ты, сенат!
О вашем гнете нестерпимом
И камни улиц говорят!

Вы мне твердите о народе,
Зовете охранять покой,
Когда при вас Милон и Клодий
На площадях вступают в бой!

Вы мне кричите, что не смею
С сенатской волей спорить я,
Вы, Рим предавшие Помпею,
Во власть секиры и копья!

Хотя б прикрыли гроб законов
Вы лаврами далеких стран!
Но что же! Римских легионов
Значки—во храмах у парфян!

Давно вас ждут в родном Эребе!
Вы—выродки былых времен!
Довольно споров. Брошен жребий.
Плыви, мой конь, чрез Рубикон!

Август 1905

Одному из братьев

Свой суд, холодный и враждебный,
Ты произнес, но ты неправ!

Мои стихи—сосуд волшебный
В тиши отстоенных отрав!

Стремлюсь, как ты, к земному раю
Я, под безмерностью небес;
Как ты, на всех запястьях знаю
Следы невидимых желез.

Но, узник, ты схватил секиру,
Ты рубишь твердый камень стен,
А я, таясь, готовлю миру
Яд, где огонь запечатлен.

Он входит в кровь, он входит в душу,
Преображает явь и сон...
Так, я незримо стены рушу,
В которых дух наш заточен!

Чтоб в день, когда мы сбросим цепи
С покорных рук, с усталых ног,
Мечтам открылись бы все степи
И волям—дали всех дорог!

1905

Знакомая песнь

Эта песнь душе знакома,
Слушал я ее в веках.
Эта песнь—как говор грома
Над равниной, в облаках.

Пел ее в свой день Гармодий,
Повторил суровый Брут,
В каждом призванном народе
Те же звуки оживут.

Это—колокол вселенной
С языком из серебра,

Что качают миг мгновенный
Робеспьеры и Мара.

Пусть ударят неумело:
В чистой меди тот же звон!
И над нами загудела
Песнь торжественных времен.

Я, быть может, богомольней,
Чем другие, внемлю ей,
Не хваля на колокольне
Неискусных звонарей.

Август 1905

Цепи

Их цепи лаврами обвил...
Пушкин

Да! цепи могут быть прекрасны,
Но если лаврами обвиты.
А вы трусливы, вы безгласны,
В уступках ищете защиты.

Когда б с отчаяньем суровым
В борьбе пошли вы до предела,
Я вас венчал бы лавром новым,
Я вас воспел бы в песне смелой.

Когда бы, став лицом к измене,
Вы, как мужчины, гордо пали,
Быть может,—в буре вдохновенней
Я сплел бы вам венец печали!

Но вы безвольны, вы бесполы,
Вы скрылись за своим затвором.
Так слушайте напев веселый.
Поэт венчает вас позором.

1905

Паломникам свободы

Свои торжественные своды
Из-за ограды вековой
Вздымал к простору храм свободы,
Затерянный в тайге глухой.

Сюда, предчувствием томимы,
К угрюмо запертым дверям
Сходились часто пилигримы
Возжечь усердно фимиам.

И плача у заветной двери,
Не смея прикоснуться к ней,
Вновь уходили,—той же вере
Учить, как тайне, сыновей.

И с гулом рухнули затворы,
И дрогнула стена кругом,
И вот уже горят, как взоры,
Все окна храма торжеством.

Так что ж, с испугом и укором,
Паломники иных времен
Глядят, как зарево над бором
Весь заливает небосклон?

1905

Лик Медузы

Лик Медузы, лик грозящий,
Встал над далью темных дней.
Взор—кровавый, взор—горящий,
Волоса—сплетенья змей.

Это—хаос. В хаос черный
Нас влечет, как в срыв, стезя.

Спорим мы, иль мы покорны,
Нам сойти с пути нельзя!

В эти дни огня и крови,
Что сольются в дикий бред,
Крик проклятий, крик злословий
Заклеймит тебя, поэт!

Но при заревах, у плахи,
На руинах всех святынь
Славь тяжелых ломов взмахи,
Лиры гордой не покинь.

Ты, кто пел беспечность смеха
И святой покой могил,
Ты от века—в мире эхо
Всех живых, всех мощных сил.

Мир заветный, мир прекрасный
Сгибнет в бездне роковой.
Быть напевом бури властной—
Вот желанный жребий твой.

С громом близок голос музы,
Древний хаос дружен с ней.
Здравствуй, здравствуй, лик Медузы,
Там, над далью темных дней.

Октябрь 1905

Довольным

Мне стыдно ваших поздравлений,
Мне страшно ваших гордых слов!
Довольно было унижений
Пред ликом будущих веков!

Довольство ваше—радость стада,
Нашедшего клочок травы.

Быть сытым—больше вам не надо,
Есть жвачка—и блаженны вы!

Прекрасен, в блеске грозной власти,
Восточный царь Ассаргадон,
И океан народной страсти,
В щепы дробящий утлый трон;

Но ненавистны полумеры,
Не море, а глухой канал,
Не молния, а полдень серый,
Не агора, а общий зал.

На этих всех, довольных малым,
Вы, дети пламенного дня,
Восстаньте смерчем, смертным шквалом,
Крушите жизнь—и с ней меня!

18 октября 1905

Грядущие гунны

Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
Слышу ваш топот чугунный
По еще не открытым Памирам.

На нас ордой опьянелой
Рухните с темных становий—
Оживить одряхлевшее тело
Волной пылающей крови.

Поставьте, невольники воли,
Шалаши у дворцов, как бывало,
Всколосите веселое поле
На месте тронного зала.

Сложите книги кострами,
Пляшите в их радостном свете,

Творите мерзость во храме,—
Вы во всем неповинны, как дети!

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры.

И что́, под бурей летучей,
Под этой грозой разрушений,
Сохранит играющий Случай
Из наших заветных творений?

Бесследно все сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

1905

К счастливым

Свершатся сроки: загорится век,
Чей луч блестит на быстрине столетий,
И твердо станет вольный человек
Пред ликом неба на своей планете.

Единый Город скроет шар земной,
Как в чешую, в сверкающие стекла,
Чтоб вечно жить ласкательной весной,
Чтоб листьев зелень осенью не блекла;

Чтоб не было рассветов и ночей,
Но чистый свет, без облаков, без тени;
Чтоб не был мир ни твой, ни мой, ни чей,
Но общий дар идущих поколений.

Цари стихий, владыки естества,
Последыши и баловни природы,

Начнут свершать, в весельи торжества,
Как вечный пир, ликующие годы.

Свобода, братство, равенство, все то,
О чем томимся мы, почти без веры,
К чему из нас не припадет никто,—
Те вкусят смело, полностью, сверх меры.

Разоблаченных тайн святой родник
Их упоит в бессонной жажде знанья,
И Красоты осуществленный лик
Насытит их предельные желанья.

И ляжем мы в веках, как перегной,
Мы все, кто ищет, верит, страстно дышит,
И этот гимн, в былом пропетый мной,
Я знаю, мир грядущий не услышит.

Мы станем сказкой, бредом, беглым сном,
Порой встающим тягостным кошмаром.
Они придут, как мы еще идем,
За все заплатят им,—мы гибнем даром.

Но что ж! Пусть так! Клони меня, Судьба!
Дышать грядущим—гордая услада!
И есть иль нет дорога сквозь гроба,
Я был! я есмь! мне вечности не надо!

1903—1905

Фонарики

Столетия—фонарики! О, сколько вас во тьме,
На прочной нити времени, протянутой в уме!
Огни многообразные, вы тешите мой взгляд...
То яркие, то тусклые фонарики горят.
Сверкают, разноцветные, в причудливом саду,
В котором, очарованный, и я теперь иду.
Вот пламенники красные,—под ряд до десяти.

Ассирия! Ассирия! мне мимо не пройти!
Хочу полюбоваться я на твой багряный свет:
Цветы в крови, трава в крови, и в небе красный
след.
А вот гирлянда желтая квадратных фонарей.
Египет! сила странная в неяркости твоей!
Пронизывает глуби все твой беспощадный луч,
И тянется властительно с земли до хмурых туч.
Но что горит высоко там, и что слепит мой взор?
Над озером, о, Индия, застыл твой метеор.
Взнесенный, неподвижен он, в пространствах—брат
звезде,
Но пляшут отражения, как змеи, по воде.
Широкая, свободная, аллея вдаль влечет,
Простым, но ясным светочем украшен строгий вход.
Тебя ли не признаю я, святой Периклов век!
Ты ясностью, прекрасностью победно мрак рассек!
Вхожу: все блеском залито, все сны воплощены,
Все краски, все сверкания, все тени сплетены!
О, Рим, свет ослепительный одиннадцати чаш:
Ты—белый, торжествующий, ты нам родной, ты наш!
Век Данте—блеск таинственный, зловеще золотой...
Лазурное сияние, о Леонардо,—твой!..
Большая лампа Лютера—луч устремленный вниз...
Две маленькие звездочки, век суетных маркиз...
Сноп молний—Революция! За ним громадный шар,
О ты! век девятнадцатый, беспламенный пожар!
И вот стою ослепший я, мне дальше нет дорог,
А сумрак отдаления торжественен и строг.
К сырой земле лицом припав, я лишь могу глядеть,
Как вьется, как сплетается огней мелькнувших сеть.
Но вам молюсь, безвестные! еще в ночной тени
Сокрытые, не жившие, грядущие огни!
1905

Слава толпе

В пропасти улиц закинуты,
Городом взятые в плен,
Что мы мечтаем о Солнце потерянном!

Области Солнца задвинуты
Плитами комнатных стен.
В свете искусственном,
Четком, умеренном,
Взоры от красок отучены,
Им ли в расплавленном золоте зорь потонуть!
Гулом сопутственным,
Лязгом железным
Празднует город наш медленный путь.
К безднам все глубже уводят излучины...
Нам к небесам, огнезарным и звездным,
Не досягнуть!

Здравствуй же, Город, всегда озабоченный,
В свете искусственном,
В царственной смене сверканий и тьмы!
Сладко да будет нам в сумраке чувственном
Этой всемирной тюрьмы!
Окна кругом заколочены,
Двери давно замуравлены,
Сабли у стражи отточены,—
Сабли, вкусившие крови,—
Все мы—в цепях!
Слушайте ж песнь храмовых славословий,
Вечно живет, как кумир, нам поставленный—
Каменный прах!

Славлю я толпы людские,
Самодержавных колодников,
Славлю дворцы золотые разврата,
Славлю стеклянные башни газет.
Славлю я лики благие
Избранных веком угодников —
(Черни признанье—бесценная плата,
Дара поэту достойнее нет!).
Славлю я радости улицы людной,
Где с дерзостным взором и мерзостным хохотом
Предлагают блудницы
Любовь,

Где с ропотом, топотом, грохотом
Движутся лиц вереницы,
Вновь,
Странно задеты тоской изумрудной
Первых теней,—
И летят экипажи, как строй безрассудный,
Мимо зеркальных сияний,
Мимо рук, что хотят подаяний,
К ликующим вывескам наглых огней!

Но славлю и день ослепительный
(В тысячах дней неизбежный),
Когда среди крови, пожара и дыма,
Неумолимо,
Толпа возвышает свой голос мятежный,
Властительный,
В безумии пьяных веселий
Все прошлое топчет во прахе,
Играет, со смехом, в кровавые плахи,
Но, словно влекома таинственным гением
(Как река, свои воды к простору несущая),
С неуклонным прозрением,
Стремится к торжественной цели,
И, требуя царственной доли,
Глуха и слепа,
Открывает дорогу в столетья грядущие!

Славлю я правду твоих своеволий,
Толпа!

1904

Духи огня

Потоком широким тянулся асфальт.
Как горящие головы темных повешенных,
Фонари в высоте, не мигая, горели.
Делали двойственным мир зеркальные окна.
Бедные дети земли
Навстречу мне шли,

Города дети и ночи:
(Тени скорбей неутешенных,
Ткани безвестной волокна!)
Чета бульварных камелий,
Франт в распахнутом пальто,
Запоздалый рабочий,
Старикашка хромающий, юноша пьяный...

Звезды смотрели на мир, проницая туманы,
Но звезд—в электрическом свете—не видел никто.

Потоком широким тянулся асфальт.
Шаг за шагом падал я в бездны,
В хаос предсветно-дозвездный.
Я видел кипящий базальт,
В озерах стоящий порфир,
Ручьи раскаленного золота,
И рушились ливни на пламенный мир,
И снова взносились густыми клубами как пар,
Изорванный молньями в клочья.
И слышались громы: на огненный шар,
Дрожавший до тайн своего средоточья,
Ложились удары незримого молота.

В этом горниле вселенной,
В этом смешеньи всех сил и веществ,
Я чувствовал жизнь исступленных существ,
Дыхание воли нетленной.
О, мои старшие братья,
Первенцы этой планеты,
Духи огня!
Моей душе раскройте объятья,
В свои предчувствия—светы,
В свои желанья—пожары
Примите меня!

Дайте дышать ненасытностью вашей,
Дайте низвергнуться в вихрь, непрерывный и ярый,
Ваших безмерных трудов и безумных забав!

Дайте припасть мне к сверкающей чаше
Вас опьянявших отрав!
Вы,—от земли к облакам простиравшие члены,
Вы, кого зыблил всегда огнеструйный самум,
Водопад катастроф,—
Дайте причастным мне быть неустанной измены,
Дайте мне ваших грохочущих дум,
Молнийных слов!

Я буду соратником ваших космических споров,
Стихийных сражений,
Колебавших наш мир на его непреложной орбите!
Я голосом стану торжественных хоров,
Славящих творчество жизни и благость грядущих
событий,
В оркестре домирном я стану поющей струной!
Изведаю с вами костры наслаждений,
На огненном ложе,
В объятьях расплавленной стали,
У пылающей пламенем груди,
Касаясь устами сжигающих уст!
Я былинка в волкане,—так что же!
Вы—духи, мы—люди,
Но земля нас сроднила единством блаженств
и печалей,
Без нас, как без вас, этот шар бездыханен и пуст!

Потоком широким тянулся асфальт.
Фонари не мигая горели,
Как горящие головы темных повешенных.
Бедные дети земли
Навстречу мне шли:
(Тени скорбей неутешенных!)
Чета бульварных камелий,
Запоздалый рабочий,
Старикашка хромающий, юноша пьяный,—
Города дети и ночи...
Звезды смотрели на мир, проницая туманы.

1905

Конь блед

I

Улица была—как буря. Толпы проходили,
Словно их преследовал неотвратимый Рок.
Мчались омнибусы, кэбы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.
Вывески, вертясь, сверкали переменным оком,
С неба, с страшной высоты тридцатых этажей;
В гордый гимн сливались с рокотом колес и скоком,
Выкрики газетчиков и щелканье бичей.
Лили свет безжалостный прикованные луны,
Луны, сотворенные владыками естеств.
В этом свете, в этом гуле—души были юны,
Души опьяневших, пьяных городом существ.

II

И внезапно—в эту бурю, в этот адский шопот,
В этот, воплотившийся в земные формы, бред,
Ворвался, вонзился чуждый, несозвучный топот,
Заглушая гулы, говор, грохоты карет.
Показался с поворота всадник огнеликий,
Конь летел стремительно и стал с огнем в глазах.
В воздухе еще дрожали—отголоски, крики,
Но мгновенье было—трепет, взоры были—страх!
Был у всадника в руках развитый длинный свиток,
Огненные буквы возвещали имя: Смерть...
Полосами яркими, как пряжей пышных ниток,
В высоте над улицей вдруг разгорелась твердь.

III

И в великом ужасе, скрывая лица,—люди
То бессмысленно взывали: «Горе! с нами бог!»
То, упав на мостовую, бились в общей груде...
Звери морды прятали, в смятеньи, между ног.
Только женщина, пришедшая сюда для сбыта

Красоты своей,—в восторге бросилась к коню,
Плача целовала лошадиные копыта,
Руки простирала к огневеющему дню.
Да еще безумный, убежавший из больницы,
Выскочил, растерзанный, пронзительно крича:
«Люди! Вы ль не узнаете божией десницы!
Сгибнет четверть вас—от мора, глада и меча!»

IV

Но восторг и ужас длились—краткое мгновенье.
Через миг в толпе смятенной не стоял никто:
Набежало с улиц смежных новое движенье,
Было все обычным светом ярко залито.
И никто не мог ответить, в буре многошумной,
Было ль то виденье свыше или сон пустой.
Только женщина из зал веселья, да безумный
Все стремили руки за исчезнувшей мечтой.
Но и их решительно людские волны смыли,
Как слова ненужные из позабытых строк.
Мчались омнибусы, кэбы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.

1903—1904

ИЗ КНИГИ

ВСЕ НАПЕВЫ

1906—1909

1906—1909
ВСЕ НАШЕВРІ
ИЗ КНИГ

Поэту

Ты должен быть гордым, как знамя;
Ты должен быть острым, как меч;
Как Данту, подземное пламя
Должно тебе щеки обжечь.

Всего будь холодный свидетель,
На все устремляя свой взор.
Да будет твоя добродетель—
Готовность взойти на костер.

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

В минуты любовных объятий
К бесстрастью себя приневоль,
И в час беспощадных распятий
Прославь исступленную боль.

В снах утра и в бездне вечерней
Лови, что шепнет тебе Рок,
И помни: от века из терний
Поэта заветный венок!

1908

Близкой

Как страстно ты ждала ответа!
И я тебе свой дар принес:
Свой дар святой, свой дар поэта,—
Венок из темно-красных роз.

Мои цветы благоуханны,
Горят края их лепестков,
Но знает розами венчанный
Уколы тайные шипов.

Венок вовеки не увянет
Над тихим обликом чела,
Но каждый вечер снова ранит
Тебя—сокрытая игла!

В венце, как на веселом пире,—
Ты мученица на кресте!
Но будь верна в неверном мире
Своей восторженной мечте!

Мой дар—святой, мой дар—поэта!
Тебя он выше всех вознес.
Гордись, как дивным нимбом света,
Венком из темно-красных роз!

1907

Сумерки в городе

Горят электричеством луны
На выгнутых, длинных стеблях;
Звенят телеграфные струны
В незримых и нежных руках;

Круги циферблатов янтарных
Волшебно зажглись над толпой,
И жаждущих плит тротуарных
Коснулся прохладный покой.

Под сетью пленительно-зыбкой
Притих отуманенный сквер,
И вечер целует с улыбкой
В глаза—проходящих гетер.

Как тихие звуки клавира—
Далекие ропоты дня...
О, сумерки! милостью мира
Опять упоите меня!

1907

Быть без людей

В лицо мне веет ветер нежащий,
На тучах алый блеск погас,
И вновь, как в верное прибежище,
Вступаю я в вечерний час.

Вот кто-то, с ласковым пристрастием,
Со всех сторон протянет тьму,
И я упьюсь последним счастием:
Быть без людей, быть одному!

1908

Век за веком

Взрывают весенние плуги
Корявую кожу земли,—
Что осенью снежные вьюги
Пустынный простор занесли.

Краснеет лукаво гречиха,
Синеет младенческий лен...
И снова все бело и тихо,
Лишь волки проходят, как сон.

Колеблются нивы от гула,
Их топчет озлобленный бой...

И снова безмолвно Микула
Взрезает им грудь бороздой.

А древние пращуры зорко
Следят за работой сынов,
Ветлой наклоняясь с пригорка,
Туманом вставая с лугов.

И дальше, тропой неизбежной,
Сквозь годы и бедствий и смут,
Влечется, суровый, прилежный,
Веками завещанный труд.

1907

Август

И первый лист любезен падший.

Вяч. Иванов

Здравствуй, Август, венчан хмелем,
Смуглый юноша-сатир!
Мы ковры под дубом стелем,
Мы в лесу готовим пир!

Будь меж нами гость желанный,
За простым лесным столом.
Груды груш благоуханны,
Чаши пенятся вином.

Заплелись багрянцы клена
В золотую ткань дубов,
Но за ними—небосклона
Синий круг без облаков.

Словно этот плод созрелый,
Лето соками полно!
Пей же с нами, чашей целой,
Вечно жгучее вино!

Ты, серпы точивший в поле,
Ты, поднявший первый цеп,
Славь недели полной воли,
Новый плод и новый хлеб!

Август милый! отрок смуглый!
Как и мы, ты тоже пьян.
Свечерело. Месяц круглый
Озарил круги полян.

Мы не спорим, не ревнуем,
Припадая, как во сне,
Истомленным поцелуем
К обнажившейся спине.

1907

Осеннее прощание эльфа

В небе благость, в небе радость, Солнце льет живую
сладость, Солнцу—верность, Солнцу—вздох!
Но листок родного клена, прежде сочный и зеленый,
наколнился и засох.

В небе снова ясность мая, облака уходят, тая,
в завлекательную даль.
Но часы тепла короче, холодней сырые ночи,
отлетевших птичек жаль!

Ах! где тихо ропщут воды, вновь составить
хороводы легких братьев и сестер!
Но никто не слышит зова, и гудит в ответ, сурово,
поредевший, строгий бор.

Веют струи аромата, и по ниве, грустно сжатой,
и по скошенным лугам,
Но ни бабочек блестящих, ни стрекоз, в луче дро-
жащих, не видать ни здесь, ни там!

Где вы, братья! сестры, где вы! Наши пляски
и напевы—отзвенели, отошли!
Сгибнуть эльфам легкокрылым, вместе с августом
унылым, вместе с прелестью земли!

Но сегодня в небе радость! Солнце льет, прощаясь,
сладость! Солнцу—верность, Солнцу—вздох!
В миг последний, с тем же гимном, здесь, в лесу
гостеприимном, упаду на серый мох!

1908

Радуга

Семицветным полукругом
Ты взнеслась над влажным лугом,
Утвердя в траве края.
Мост, который в долы наши
Вел Ириду с горней чашей,
Знаю, ты—мечта моя!

Ты таилась в каплях влаги,
Словно в зыбком саркофаге,—
Луч зиждительный дробя.
Ясный взор, земное чудо,
В тонкий пар взглянув,—оттуда
Вывел, яркую, тебя!

Но, как греза о нездешнем,
Ты горишь над лугом вешним,
—В небе, радужным венцом.
И, творец перед твореньем,
Преклонясь с благоговеньем,
Я тебе пою псалом!

1908

Час воспоминаний

Воспоминанье, с нежной грустью,
Меня в глаза целует. День

Струей чуть слышной льется к устью,
И на душу ложится тень.

Вновь, как моряк, носимый морем,
Всю жизнь я вижу пред собой,
С ее надеждами и горем,
С ее безумством и мечтой.

И, заслоняя все другие,
Чуть зримы в жуткой тишине,
Двух женщин облики немые
Во мгле склоняются ко мне.

То с дерзкой дрожью сладострастья,
С бесстыдным отблеском в зрачках,
Манят меня виденьем счастья,
Забытого в холодных днях;

То смотрят нежно и любовно
И, не ревнуя, не кляня,
О всем погибшем плачут, словно
И обо мне и за меня!

И снова я из бездны черной
Стремлюсь к далеким берегам,—
Но кто-то шепчет мне упорно,
Что жребий свой я выбрал сам.

. . . . . .

День потонул во мгле безбрежной,
Кругом прибой грозящих струй...
Воспоминанье, с грустью нежной,
Вновь близит страшный поцелуй.

1906

Который раз

Опять весна. Знакомый круг
Замкнут—который раз!

И снова зелен вешний луг,
В росе—вечерний час.

Смотрю—как месяц в темный пруд—
В зрачки любимых глаз,
Уста к устам, дрожа, прильнут...
Прильнут—который раз!

И будет миг, как долгий сон,
Качать, баюкать нас.
Я странно счастлив, я влюблен...
Влюблен!—который раз?

И в стройных строфах вновь мечты
Поют—который раз!
А месяц смотрит с высоты—
Веков холодный глаз.

1907

Отречение

Секстина

Все кончено! Я понял безнадежность
Меня издавна мучившей мечты.
Мою любовь и страсть мою, и нежность
Ни перед кем я не пролью,—и ты,
Моя душа, смиришь свою мятежность,
В напрасной жажде вещей Красоты!

Как сладостно на голос Красоты,
Закрыв глаза, стремиться в безнадежность,
И бросить жизнь в кипящую мятежность!
Как сладостно сгореть в огне мечты,
В безумном сне, где слиты «я» и «ты»,
Где ранит на смерть лезвеями нежность!

Но в мире, где любовь на время,—нежность
Лишь оскорбленье вещей Красоты.

Не бейся, сердце! В этой жизни ты
Должно быть из железа! Безнадежность
Горит над обликом твоей мечты.
Смири, смири своей алчбы мятежность!

Достаточно позора! Всю мятежность
Своих порывов помню! Помню нежность
Своих признаний! Весь обман мечты!
И что ж! Во храме лживой Красоты
Я слышал, как смеется Безнадежность,
И сам, в отчаяньи, стонал: «Не ты!»

Царица дум и всех желаний! Ты
Не явишь лика. Взоров безмятежность
Мне не покажешь. Ты не примешь нежность
Моих усталых губ. Ты «безнадежность»
Дашь мне девизом. Тайну Красоты
Дано мне знать лишь в призраке мечты.

И буду я над пропастью мечты
Стоять, склоняясь, повторяя: «ты?»
Любуясь ликом вещей Красоты.
И пусть звучит в моих стихах мятежность!
Там вся любовь, вся страсть моя, вся нежность,—
Но их, смеясь, венчает Безнадежность.

1909

Встреча

Близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида,
в царстве пламенного Ра,
Ты давно меня любила, как Озириса Изида, друг,
царица и сестра!
И клонила пирамида тень на наши вечера.

Вспомни тайну первой встречи, день, когда во храме—
пляски увлекли нас в темный круг,

Час, когда погасли свечи, и когда, как в странной
сказке, каждый каждому был друг,
Наши речи, наши ласки, счастье, вспыхнувшее
вдруг!

Разве ты, в сияньи бала, легкий стан склонив мне
в руки, через завесу времен,
Не расслышала кимвала, не постигла гимнов звуки
и толпы ответный стон,
Не сказала, что разлуки—кончен, кончен долгий сон?

Наше счастье—прежде было, наша страсть—воспо-
минанье, наша жизнь—не в первый раз,
И, за временной могилой, неугасшие желанья с
прежней силой дышат в нас,
Как близ Нила, в час свиданья, в роковой и краткий
час!

1906

Ее колени

Рондо

Ее колени я целую. Тени
Склоняются, целуя нас двоих.
Весь мир вокруг застенчиво затих.
Мы—вымысел безвестных вдохновений,
Мы—старого рондо певучий стих.

Певец забытый! Брат времен святых!
Ты песне вверил жалобы и пени,
И вот сегодня мне поют твой стих
Ее колени:

«В венке из терний дни мои; меж них
Один лишь час в уборе из сирени.
Как Суламифи—дом, где спит жених,
Как Александру—дверь в покой к Елене,
Так были сладостны для губ моих
Ее колени».

1908

Лишь одного!

Газелла

Лишь одного: я быть с тобой хочу!
С твоей мечтой слить трепет свой—хочу!

Над глубью глаз повиснув в высоте,
Дышать их ночью, влажной тьмой—хочу!

В гробу объятий, в жуткой тесноте,
Услышать близко сердца бой—хочу!

Вдвоем спешить к мучительной мете,
И вместе пасть у цели той—хочу!

Как палачу, отдаться красоте
И с плахи, страсти крикнуть: «твой!»—хочу!

1908

Призрак неизбежный

Триолеты

Твой лик, загадочный и нежный,
Как отраженье в глубине,
Склонился медленно ко мне.
Твой лик, загадочный и нежный,
Возник в моем тревожном сне.
Встречаю призрак неизбежный:
Твой лик, загадочный и нежный,
Как отраженье в глубине.

Твои уста—как уголь жгучий,
Язвят мне очи, плечи, грудь,
И сладко мне в огне тонуть...
Твои уста—как уголь жгучий!..
Мой сон! полней и ярче будь,
Томи меня, пали и мучай!

Твои уста, как уголь жгучий,
Язвят мне очи, плечи, грудь.

Неспешный ужас сладострастья,
Как смертный холод лезвея,
Вбирает жадно жизнь моя.
Неспешный ужас сладострастья
Растет, как бури шум,—и я
Благословляю стоном счастья
Неспешный ужас сладострастья
Как смертный холод лезвея!

1908

В потоке

Я был простерт, я был как мертвый. Ты богомольными руками мой стан безвольный обвила,
Ты распаленными устами мне грудь и плечи, лоб и губы, как красным углем, обожгла.

И, множа странные соблазны, меняя лик многообразный, в меня впиваясь сотней жал,
Дух непокорный с башни черной ты сорвала рукой упорной, и с ним низринулась в провал.

В бессильи падая, лишь крылья я видел над собой—да алый, от свежей крови влажный, рот.
И скалы повторяли крики, и чьи-то побледнели лики, и пали мы в водоворот.

И я не спорил с темным Роком. Мой труп неистовым потоком несло по остриям камней,
И когти мне терзали тело, и сердце слабое немело, и ужас был в душе моей.

Но в миг последний онеменья вдруг совершилось возрожденье, и успокоенный поток
Внезапно, с нежностью небрежной, мой труп, страданьем искаженный, отбросил сонно на песок.

1908

Умирание любви

Ранняя осень любви умирающей!
Тайно люблю золотые цвета
Осени ранней, любви умирающей!
Ветви прозрачны, аллея пуста,
В сини бледнеющей, веющей, тающей,
Странная тишь, красота, чистота.

Листья со вздохом, под ветром, их нежащим,
Тихо взлетают и катятся вдаль
(Думы о прошлом в видении нежащем!)
Жить и не жить—хорошо и не жаль!
Острым серпом, безболезненно режущим,
Сжаты в душе и восторг и печаль.

Ясное солнце—без прежней мятежности,
Дождь—словно капли струящихся рос
(Томные ласки без прежней мятежности),
Запах в садах доцветающих роз.
В сердце родник успокоенной нежности,
Счастье—без ревности, страсть—без угроз.

Здравствуйте, дни голубые, осенние,
Золото лип и осин багрянец!
Здравствуйте, дни, пред разлукой, осенние,
Бледный—над яркими днями—венец!
Дни недосказанных слов и мгновения
В кроткой покорности слитых сердец!

1906

Холод

Холод, тело тайно сковывающий,
Холод, душу очаровывающий...

От луны лучи протягиваются,
К сердцу иглами притрагиваются.

В этом блеске—все осилившая власть,
Умирает обескрылевшая страсть.

Все во мне—лишь смерть и тишина,
Целый мир—лишь твердь и в ней луна.

Гаснут в сердце не взлелеянные сны,
Гибнут цветики осмеянной весны.

Снег сетями расстилающимися
Вьет над днями забывающимися,

Над последними привязанностями,
Над святыми недосказанностями!

1908

Умирающий костер

Бушует вьюга и взметает
Вихрь над слабеющим костром;
Холодный снег давно не тает,
Ложась вокруг огня кольцом.

Но мы, прикованные взглядом,
К последней, черной головне,
На ложе смерти никнем рядом,
Как в нежном и счастливом сне.

Пусть молкнут зовы без ответа,
Пусть торжествуют ночь и лед,—
Во сне мы помним праздник света,
Да искр безумный хоровод!

Ликует вьюга, давит тупо
Нам грудь фатой из серебра,—
И к утру будем мы два трупа
У заметенного костра!

1908

Себастиан

На медленном огне горишь ты и сгораешь,
Душа моя!
На медленном огне горишь ты и сгораешь,
Свой стон тая.

Стоишь, как Себастьян, пронизанный стрелами,
Без сил вздохнуть.
Стоишь, как Себастьян, пронизанный стрелами
В плечо и грудь.

Твои враги кругом, с веселым смехом, смотрят,
Сгибая лук.
Твои враги кругом, с веселым смехом, смотрят
На смены мук.

Горит костер, горит, и стрелы жалят нежно
В вечерний час.
Горит костер, горит, и стрелы жалят нежно
В последний раз.

Что ж не спешит она к твоим устам предсмертным,
Твоя мечта?
Что ж не спешит она—к твоим устам предсмертным
Прижать уста?

1907

La belle dame sans merci

Я не покрыл лица забралом,
Не поднял твердого щита,—
Я ждал один, над темным валом,
Где даль безмолвна и пуста.
Я звал: «Стрела чужого стана,
Взнесись, и жизнь мою скоси!
Ты мне предстань во мгле тумана,
La belle dame sans merci».

Свершал я тайные обряды
Пред алтарем в молчаньи зал.
Прекрасной Дамы без пощады
Я вечный призрак заклинал:
«Явись, как месяц над печалью,
Мой приговор произнеси,
Пронзи мне сердце верной сталью,
La belle dame sans merci!»

Встречал я лик, на твой похожий,
За ним стремил покорный путь,
Как на костер, всходил на ложе,
Как в плаху, поникал на грудь.
«Сожги меня последней страстью
Иль в строгий холод вознеси,
Твоей хочу упиться властью,
La belle dame sans merci!»

Но шла ты, год за годом, мимо,
Недостижимой, неземной,
Ни разу ты, неумолимой,
Как Рок, не стала предо мной!
Приди,—огнем любви и муки
Во мне все жажды погаси,
И погрузи мне в сердце руки,
La belle dame sans merci!
1907

Оправдание земного

Ангел

Огни твоей земной вселенной—
Как тень в лучах иных миров!

Поэт

Но я люблю мой дух надменный
И яркий блеск моих оков!

Ангел

За гранью счастий и несчастий
Есть лучшей жизни небосвод!

Поэт

Но я хочу, чтоб темной страсти
Меня крутил водоворот!

Ангел

Познаешь, кинув мир случайный,
Как сожигает полнота!..

Поэт

Но для меня в любви—все тайны,
В одном лице—вся красота!

1907

Фаэтон

Как в полдень колесница Феба
Стоит на ясной высоте,
По крутизне земного неба
И я взнесен к своей мете.

Я вижу с вечного зенита
Со всех сторон отвесный скат,
И мне одна стезя открыта:
Дуга крутая на закат!

Быть может, коней не сдержу я,
Как древле оный Фаэтон,
И звери кинутся, ликуя,
Браздить горящий небосклон.

Тогда, Кронион, суд исполни
И гибелью покрой мой стыд:
Пусть, опален зубцами молний,
Паду к ногам Океанид.

1907

Голос мертвого

На заре вечерней, в трауре,
Ты куда спешишь, девица?
Соловей свистит на яворе,
Месяц в озеро глядится.

Ты бледна на старом кладбище,
Над моим крестом склоненным.
Ах, не здесь, не здесь свой клад ищи:
Кто-то ждет в саду, под кленом!

Слез мне жаль, печально тающих
На земле, на сером камне!
Стань счастливой, стань сияющей,—
Будешь более верна мне!

Если б вышел из могилы я,
Праздником всю жизнь я б сделал,
Целовал улыбки милые,
Только б счастье, ласки ведал!

Что здесь? гроб, да прах, да тление!
А кругом, сквозь смерть, я чую
Все веселие весеннее,
Волю бабочек живую,

Радость луга, распростертого
Под лучами солнца ясного...
Помни, помни голос мертвого:
Лишь одно люби—прекрасное!

1906

Заклинание

Красный огонь, раскрутись, раскрутись!
Красный огонь, взвейся в темную высь!
Красный огонь, раскрутись, раскрутись!

Лживую куклу, в цепи золотой,
Лживую куклу пронзаю иглой,
Лживую куклу, в цепи золотой!

Лик восковой, обращенный ко мне,
Лик восковой оплывает в огне,
Лик восковой, обращенный ко мне!

Сердце твое, не кумир восковой,
Сердце твое я пронзаю иглой,
Сердце твое, не кумир восковой!

Вся твоя жизнь, наяву, не во сне,
Вся твоя жизнь погибает в огне,
Вся твоя жизнь, наяву, не во сне!

Красный огонь, раскрутись, раскрутись!
Красный огонь, взвейся в темную высь!
Красный огонь, раскрутись, раскрутись!

1908

Весенняя песня девушек

Сини все проталины
Под ногой весны.
Солнцем мы ужалены,
Ветром мы пьяны!
С воздухом вливается
В нас апрельский хмель...
Скоро ль закачается
Девичья постель?

Чу! поет над водами
Вешних мошек рой.
Время—хороводами
Виться под горой.
Песнями и плясками
Время—ночь вспугнуть...
Ах, когда ж под ласками
Побледнеет грудь!

Словно в церкви статуя,
Мы зимой весь день.
Скоро, лиловатая,
Зацветет сирень,
Скоро куст шиповника
Будет весь в цветах...
Ах! когда ж любовника
Встречу я впотьмах!

1906

Голос города

Когда я, ночью, утомлен, иду
Пустынной улицей, и стены сонны,
И фонари не говорят в бреду,

И призраки ко мне не благосклонны,—
В тиши холодной слышится порой
Мне голос города, зов непреклонный:

«Ты, озабочен, здесь спешишь. Другой—
На ложе ласк, в смешном порыве, выгнут,
В притоне третий скорчен за игрой.

«Но жив—лишь я, и, вами не постигнут,
Смотрю, как царь, в безмолвие ночей.
Ты думаешь, что вами я воздвигнут?

«Нет! люди—атомы в крови моей,
И, тела моего живые клетки,
Дома—тяну я в глубину полей.

То вдруг наклонится к окнам,
Смотрит на радужный хлам.

Вот улыбнулась знакомому
Всем ожерельем зубов!
Вот, подмигнув молодому,
Бросила несколько слов.

Кто-то кивнул необдуманно,
К ней наклонился,—и вот
Вместе смеется он шумно,
Рядом, волнуясь, идет.

Словно громадное зеркало,
Их отразило окно,
И отраженье померкло,
Канув на темное дно.

1908

Вечерний прилив

Кричат афиши, пышно-пестрые,
И стонут вывесок слова,
И магазинов светы острые
Язвят, как вопли торжества.

Там спят за стеклами материи,
Льют бриллианты яркий яд,
И над звездой червонцев—серии
Сияньем северным горят.

Прорезан длинными колодцами
Горящих улиц,—город жив.
Киша бессчетными уродцами,
Вечерний празднует прилив.

Скрыв небеса с звездами чуткими,
Лучи синеют фонарей—

Над мудрецами, проститутками,
Над зыбью пляшущих людей.

Кадрилей нарушая линии,
Меж пар кружащихся—звеня,
Трамваи мечут молньи синие,
Автомобили—сноп огня.

Позор, под музыку колесную,
Вознес смычок, как дирижер,
И слил толпу многоголосную
В единый и священный хор:

«Мы славим, Прах, Твое Величество,
Тебе ведем мы хоровод,
Вкруг алтарей из электричества,
Вонзивших копья в небосвод!»

1909

Хвала Человеку

Молодой моряк вселенной,
Мира древний дровосек,
Неуклонный, неизменный,
Будь прославлен, Человек!

По глухим тропам столетий
Ты проходишь с топором,
Целишь луком, ставишь сети,
Торжествуешь над врагом!

Камни, ветер, воду, пламя
Ты смирил своей уздой,
Взвил ликующее знамя
Прямо в купол голубой.

Вечно властен, вечно молод,
В странах сумрака и льда,

Петь заставил вещий молот,
Залил блеском города.

Сквозь пустыню и над бездной
Ты провел свои пути,
Чтоб не рвущейся, железной
Нитью землю оплести.

В древних, вольных океанах,
Где играли лишь киты,
На стальных левиафанах
Пробежал державно ты.

Змея, жалившего жадно
С неба выступы дубов,
Изловил ты, беспощадно,
Неустанный зверолов;

И шипя под хрупким шаром,
И в стекле согнут в дугу,
Он теперь, покорный чарам,
Светит хитрому врагу.

Царь несытый и упрямый
Четырех подлунных царств,
Не стыдясь, ты роешь ямы,
Множишь тысячи коварств;—

Но, отважный, со стихией
После бьешься с грудью грудь,
Чтоб еще над новой выей
Петлю рабства захлестнуть.

Верю, дерзкий! ты поставишь
Над землей ряды ветрил,
Ты по прихоти направишь
Бег в пространстве, меж светил.

И насельники вселенной,
Те, чей путь ты пересек,
Повторят привет священный:
Будь прославлен, Человек!

1907

Жизнь

Безликая, она забыла счет обличий:
Подсказывает роль любовнику в бреду,
И коршуна влечет над нивами к добыче,
И гидре маленькой дает дышать в пруду.

В пустыне выжженной встает былинкой смелой,
В ничтожной капельке селит безмерный мир,
Рождает каждый миг, вплетает тело в тело,
И семена существ проносит сквозь эфир!

От грозных пирамид и гордых библиотек
До гор, воздвигнутых из ракушек морских,
От криков дикаря, метнувшего свой дротик,
До черного червя, который мудро тих,—

Сверкает жизнь везде, грохочет жизнь повсюду!
Бросаюсь в глубь веков—она горит на дне...
Бегу на высь времен,—она кричит мне: буду!
Она над всем, что есть; она во всем, во мне!

О, братья: человек! бацилла! тигр! гвоздика!
И жители иных, непознанных планет!
И духи тайные, не кажущие лика!
Мы все—лишь беглый блеск на вечном море лет!

1906

Оры

Устремив друг к другу взоры,
В пляске двигаясь вперед,

Вы ведете—оры! оры!—
Свой священный хоровод.

В ночь глухую—слух, склоненный
К безответной бездне снов,
Слышит топот потаенный
Ваших маленьких шагов.

Солнце встанет, снова канет
В неизбежность новый день.
Ваша пляска не устанет
Обгонять и свет и тень.

Мы, дыша мечтой блаженной,
Сном работы, ядом книг,
В душной кузнице вселенной
Все куем за мигом миг.

И, скользя тропой столетий,
Мимо жизни, мимо нас,
Ловко ловите вы в сети
Каждый выкованный час.

Стойте! стойте! на мгновенье
Дайте бездну оглянуть!
—Плавны легкие движенья
Дев, свершающих свой путь!

В них безвольность, в них беспечность,
Взор их благостен и тих!
Что ж? они ль пропляшут вечность,
Иль Она—поглотит их?

1906

Гесперидозы сады

Где-то есть, за темной далью
Грозно зыблемой воды,

Берег вечного веселья,
Незнакомые с печалью
Гесперидовы сады.

Жизнь отдай во власть теченья,
И оно прибьет твой челн
Там, где, словно ожерелья,
Многоцветные каменья
Поднялись над пеной волн.

Девы, благостно нагие,
Опустив к земле глаза,
Встретят странника, как друга,
Уведут тебя в густые,
Светлоствольные леса.

Там, где клонит тиховейно
Ветви древние платан,
Заслоняя солнце юга,—
В голубых струях бассейна
Ты омоешь язвы ран.

Юный, сильный и веселый,
Ты вплетешься в хоровод,
Чтобы в песнях вековечных
Славить море, славить долы
И глубокий небосвод.

Освежив, в тени утеса,
Грудь из мраморных цистерн,
Ты, в рядах друзей беспечных,
Вновь помчишься вдоль откоса,
Обгоняя легких серн.

Ты меж лиц, мелькнувших в пляске,
Нежно выберешь лицо;
И тебе—рукопожатье,
С обещаньем сладкой ласки,
Передаст, таясь, кольцо.

Встанет сумрак. Из бокала
Брызнет нектар золотой.
В чьи-то жданные объятья,
И покорно, и устало,
Ты поникнешь головой.

1907

Дедал и Икар

Фреска в Помпеях

Дедал

Мой сын! мой сын! Будь осторожен,
Спокойней крылья напрягай.
Под ветром путь наш ненадежен,
Сырых туманов избегай.

Икар

Отец! ты дал душе свободу,
Ты узы тела разрешил!
Что ж медлим? выше! к небосводу!
До вечной области светил!

Дедал

Мой сын! Мы вырвались из плена,
Но пристань наша далека:
Под нами—гривистая пена,
Над нами—реют облака...

Икар

Отец! Что облака! Что море!
Удел наш—воля мощных птиц:
Взлетать на радостном просторе,
Метаться в далях без границ!

Дедал

Мой сын! Лети за мною следом
И верь в мой зрелый, зоркий ум.
Мне одному над морем ведом
Воздушный путь до белых Кум.

Икар

Отец! К чему теперь дороги!
Спеши насытить счастьем грудь!
Вторично не позволят боги
До сфер небесных досягнуть!

Дедал

Мой сын! Не я ль убор пернатый
Сам прикрепил к плечам твоим?
Взлетим мы дважды и трикраты,
И сколько раз ни захотим!

Икар

Отец! Сдержать порыв нет силы!
Я опьянел! я глух! я слеп!
Взлетаю в высь, как в глубь могилы,
Бросаюсь к солнцу, как в Эреб!

Дедал

Мой сын! мой сын! Лети срединой,
Меж первым небом и землей...
Но он—над стаей журавлиной,
Но он—в пучине золотой!

О, юноша! презрев земное,
К орбите солнца взнесся ты.
Но крылья растопились в зное,

И в море, вечно голубое,
Безумец рухнул с высоты.

1908

Одиссей

Певцами всей земли прославлен
Я,—хитроумный Одиссей,
Но дух мой темен и отравлен,
И в памяти гнездится змей.

Я помню день—как щит лазурный,
И зелень вод и белость пен,
Когда стремил нас ветр безбурный
К нагому острову сирен.

Их угадав на камне плоском
И различив прибрежный гул,—
В руках согретым, мягким воском
Я слух товарищей замкнул.

Себя же к мачте корабельной
Я дал покорно привязать,
Чтоб песни лирной и свирельной
Соблазн опасный испытать.

И все мечта предугадала!
Когда, в тиши морских пустынь,
Вонзая сладостные жала,
Песнь разлилась полубогинь,—

Вдруг уязвленный мукой страстной,
С одной мечтой—спешить на зов,
Из тесных уз рвался напрасно
Я, доброволец меж рабов!

И наш корабль пронесся мимо,
Сирены скрылись вдалеке,

Их чар избег я невредимо...
Но нет конца моей тоске!

Зачем я был спокойно-мудрым,
Провидел тайны вод седых,
Не вышел к девам темнокудрым
И не погиб в объятьях их!

Чтоб вновь изведать той отравы,
Вернуть событий колесо,
Я отдал бы и гимны славы,
И честь, и ложе Калипсо!

1907

Эней

К встающим башням Карфагена
Нептуна гневом приведен,
Я в узах сладостного плена
Дни проводил, как дивный сон.

Ах, если боги дали счастье
Земным созданиям в удел,
В те дни любви и сладострастья
Я этой тайной овладел!

И быть всю жизнь в такой неволе,—
Царицы радостным рабом,—
Душе казалось лучшей долей
И всех былых трудов венцом!

И ночь была над сонным градом...
Был выпит пламенный фиал...
В тиши дворца, с царицей рядом,
На ложе царском я дремал.

Еще я помнил вздохи, стоны,
Весь наш порыв,—в неясном сне,

И грудь горячая Дидоны
Все льнула трепетно ко мне...

И вот—внезапный свет сквозь тени,
И шелест окрыленных ног.
Над ложем сумрачным—Циллений
Склоняет посох, вестник-бог.

«Внемли»,—вещает,—«сын богини!
Ты медлишь, но не медлит Рок!
Ты избран был хранить святыни,
И подвиг твой, в веках, высок.

«Земная страсть да спит в герое!
Тебе ль искать ливийских нег,
Когда ты призван—Новой Трои
Взрастить торжественный побег?

«Узнай глаголы Громовержца:
Величью покорись, плыви
К пределам Итала,—из сердца
Исторгнув помыслы любви!»

Виденье скрылось, как зарница,
И голос замер, как мечта;
Сквозь сон, открыв глаза, царица
Ко мне приподняла уста...

Но я, безумный, с ложа прянул,
Я отвратил во тьму глаза.
И утром трубный голос грянул,
И флот наш поднял паруса.

1908

В шхерах

Морской залив, вошедший в сушу
Так далеко,

Твою мечтательную душу
Понять легко!

Скале недвижной и холодной
Ты весть принес,
Что есть безумье зыби водной
И буйство грез!

Но там, где сосны сонно-строги
И мягок мох,
Ты слил, без сил, свои тревоги
В единый вздох.

Приник лицом к зеленым склонам,
В истоме спишь,
И только чайки странным стоном
Тревожат тишь.

1906

Висби

Старый Висби! Старый Висби!
Как твоих руин понятны—
Скорбь о годах, что погибли,
Сны о были невозвратной!

Снится им былая слава,
В море синем город белый,
Многошумный, многоглавый,
Полный смехом, полный делом;

Снится—в гавани просторной
Флот, который в мире славен,
Паруса из Риги, Кельна,
С русских, английских окраин;

Снится звон веселый в праздник,
Звон двенадцати соборов,

Девы—всех цветков нарядней,
Площадь, шумная народом.

Жизнью новой, незнакомой
Не встревожить нам руины!
Им виденья грустной дремы
Сохранили мир старинный.

С ними те же кругозоры
И все то же море к стенам
Стелет синие уборы
С кружевами белой пены.

1906

Карл XII

Памятник в Стокгольме

Ты в древних сагах был предсказан,
Последний викинг, вождь-герой!
Мечтой веков миропомазан
За Север на смертельный бой!

Ты принял беспощадный вызов,
Поверив в помощь тайных сил,
Свой подвиг, сана не унизив,
Как Рыцарь Полюса свершил!

И пусть, обманут зовом славы,
Ты дерзко жребии метал,
Пусть на пустых полях Полтавы
Судьбу столетий проиграл.

Но сны заветные народа
В тебе свой образ обрели,
Сны духовидца, морехода,
Завоевателя земли!

Стоишь ты, призрак древней саги,
В своей столице, над толпой,
И вдохновенным взмахом шпаги
Влечешь, как прежде, за собой.

Мне, гостю с вражьего Востока,
Склониться пред тобой позволь,
Игрок безумный в кости Рока,
Венчанный Полюсом король!

1906

К собору Кэмпера

Я был разорван мукой страстной,
Язвим извилистой тоской,
Когда, безмерный, но безгласный,
Во тьме ты вырос предо мной.

Созданье канувших столетий!
Вонзая в небо две иглы,
Ты встал при тихом звездном свете,
Как властелин окрестной мглы.

Моим мечтам, всегда тревожным,
Моей бессильной воле—ты
Сказал без слов о невозможном
Слияньи силы и мечты!

Меня сдавил ты, неотступный,
Всей тяжестью былых времен,
И был я, жалкий и преступный,
Твоим величьем обличен.

И вот—бродяга безымянный
На темной площади поник
Перед тобой, старик венчанный,
Как пред Изидой ученик.

1908

Опять в Венеции

Опять встречаю с дрожью прежней,
Венеция, твой пышный прах!
Он величавей, безмятежней
Всего, что создано в веках!

Что наших робких дерзновений
Полет, лишенный крыльев! Здесь
Посмел желать народный гений
И замысл свой исчерпать весь.

Где грезят древние палаты,
Являя мраморные сны,
Не горько вспомнить мне несжатый
Посев моей былой весны,

И над руиной Кампаниле,
Венчавшей прежде облик твой,
О всем прекрасном, что в могиле,
Мечтать с поникшей головой.

Пусть гибнет все, в чем время вольно,
И в краткой жизни и в веках!
Я вновь целую богомольно
Венеции бессмертный прах!

1908

На форуме

Не как пришлец на римский форум
Я приходил—в страну могил,
Но как в знакомый мир, с которым
Одной душой когда-то жил.

И, как во сне родные тени,
Встречал я с радостной тоской
Базилик рухнувших ступени
И плиты древней мостовой.

А надо мною—как вершина
Великих, пройденных веков,
Венчали арки Константина
Руину храмов и дворцов.

Дорог строитель чудотворный,
Народ Траяна! Твой завет,
Спокойный, строгий и упорный,
В гранит и мрамор здесь одет.

Твоих развалин камень каждый
Напоминает мне—вести
К мете, намеченной однажды,
Среди пустынь свои пути.

1907

Над океаном

I. Отлив

Волной, как щупальцем огромным,
Ты осязаешь землю. Ночь
Темнеет над тобою, темным;
Но ты, с лобзаньем скорбно-скромным,
От смуглых скал отходишь прочь.

Громадный, страшный, всемогущий!
Ты кроешь грозный вид лица.
От века и доныне сущий,
Ты, этой ночью,—бард, поющий
О тихой сладости конца.

Я вижу: древние граниты
Разбиты ревностью твоей.
Я знаю: пьяный и сердитый,
Ты мечешь каменные плиты,
Как речка груду голышей.

Но зов отлива полон ласки,
Сквозь сумрак манит и томит,
И я готов, поверив сказке,
Бежать к тебе, вмешаться в пляски
Твоих бессмертных нереид.

II. Прилив

Пробил час. Ты вновь безволен,
Вновь, взыграв, бежишь к земле,
Обезличен, обездолен,
Беспощадной страстью болен,
Тяжкой грудью льнешь к скале.

Что ты хочешь, дикий, пьяный,
Лаской бешеных зыбей?
Что крутишь песок багряный?
Что вонзаешь зубы в раны
Ты—возлюбленной своей?

Громоздя на стены стены,
Рушишь ты за валом вал.
Но, всегда страшась измены,
Покрывалом белой пены
Кроешь плечи смуглых скал.

Поспешив, с протяжным ревом,
В их объятья вновь упасть,
Ты встаешь, с усильем новым,
Все несытым, все готовым
Утолять глухую страсть.

Стой! без сил и без движенья
Вся земля—как труп немой.
Что ж ты, в буйстве вожделенья,
Мечешь ей в лицо каменья
И крушишь ее собой!

1908

Служителю муз

Свой хор заветный водят музы
Вдали от дольных зол и бед,
Но ты родные Сиракузы
Люби, как древле Архимед!

Когда бросает ярость ветра
В лицо нам вражьи знамена,—
Сломай свой циркуль геометра,
Прими доспех на рамена!

И если враг, пятой надменной,
На грудь страны поникшей стал,—
Забудь о таинствах вселенной,
Поспешно отточи кинжал!

Священны миги роковые,
В порыве гнева тайна есть,
И лик склоняет Урания,
Когда встает и кличет месть!

Пусть боги смотрят безучастно
На скорбь земли: их вечен век.
Но только страстное прекрасно
В тебе, мгновенный человек!

1905

Дух Земли

В порыве скорби и отваги,
Тебя, о мощный Дух Земли,
Мы, как неопытные маги,
Неосторожно закляли.

Ты встал, громаден и ужасен,
На гордый зов, на дерзкий клик,
Так ослепительно прекрасен
И так чудовищно велик!

Ступил,—и рухнули громады
Хранимых робко городов;
Дохнул на толпы, без пощады,—
И смел безумных гордецов.

Ты наше маленькое знамя
Вознес безжалостной рукой,
Чтоб с ним, под гром, скрутилось пламя,
В полете тучи грозовой.

Ты озарил нам глубь столетий,
И там, за дымом и огнем,
Открылось нечто в рдяном свете,
Как странный сон в краю ином.

И вот, отпрянув, мы трепещем,
Заклятья повторяя вслух:
Да остановим словом вещим
Тебя,—неукротимый Дух!

1907

Наш демон

У каждого свой тайный демон.
Влечет неумолимо он
Наполеона через Неман
И Цезаря чрез Рубикон.

Не демон ли тебе, Россия,
Пути указывал в былом,—
На берег Сити в дни Батыя,
На берег Дона при Донском?

Не он ли вел Петра к Полтаве,
Чтоб вывести к струям Невы,
И дни Тильзита, дни бесславий,
Затмил пыланием Москвы?

Куда ж теперь, от скал Цусимы,
От ужаса декабрьских дней,
Ты нас влечешь, неодолимый?
Не видно вех, и нет путей.

Где ты, наш демон? Или бросил
Ты вверенный тебе народ,
Как моряка без мачт и весел,
Как путника в глуши болот?

Явись в лучах, как страж господень,
Иль встань, как призрак гробовой,
Но дай нам знать, что не бесплоден
Столетий подвиг роковой!

1908

Первым авиаторам

Фарман иль Райт, иль кто б ты ни был!
Спеши! настал последний час!
Корабль исканий в гавань прибыл,
Просторы неба манят нас!

Над поколением пропела
Свой вызов пламенная медь,
Давая знак, что косность тела
Нам должно волей одолеть.

Наш век вновь в Дéдала поверил,
Его суровый лик вознес,
И мертвым циркулем измерил
Возможность невозможных грез.

Осуществители, мы смеем
Ловить пророчества в былом,
Мы зерна древние лелеем,
Мы урожай столетий жнем.

Так! мы исполним завещанье
Великих предков. Шар земной
Мы полно примем в обладанье,
Гордясь короной четверной.

Пусть, торжествуя, вихрь могучий
Взрезают крылья корабля,
А там, внизу, в прорывах тучи,
Синеет и скользит земля!

1908

Сеятель

Я сеятеля труд, упорно и сурово,
Свершил в краю пустом,
И всколосилась рожь на нивах; время снова
Мне стать учеником.

От шума и толпы, от славы и приветствий,
Бегу в лесной тайник,
Чтоб снова приникать, как в отдаленном детстве,
К тебе, живой родник!

Чтоб снова испытать раздумий одиноких
И огненность и лед,
И встретить странных грез, стокрылых и стооких,
Забытый хоровод.

О, радость творчества, свободного, без цели,
Ко мне вернешься ты!
Мой утомленный дух проснется в колыбели
Восторженной мечты!

Вновь, как Адам в раю, неведомым и новым
Весь мир увижу я,
И буду заклинать, простым и вещим словом,
Все тайны бытия!

1907

ИЗ КНИГИ
ЗЕРКАЛО ТЕНЕЙ
1909—1912

ИЗ КНИГ

ЗЕРКАЛО ТЕНЕЙ

1909 – 1912

Веселый зов

Веселый зов весенней зелени,
Разбег морских надменных волн,
Цветок шиповника в расселине,
Меж туч луны прозрачный челн,
Весь блеск, весь шум, весь говор мира,
Соблазны мысли, чары грез,—
От тяжкой поступи тапира
До легких трепетов стрекоз,—
Еще люблю, еще приемлю,
И ненасытною мечтой
Слежу, как ангел дождевой
Плодотворит нагую землю!

Какие дни мне предназначены
И в бурях шумных и в тиши,
Но цел мой дух, и не растрачены
Сокровища моей души!
Опять поманит ли улыбкой
Любовь, подруга лучших лет,
Иль над душой, как влага, зыбкой,
Заблещет молний синий свет,—
На радости и на страданья
Живым стихом отвечу я,
Ловец в пучине бытия
Стоцветных перлов ожиданья!

Приди и ты, живых пугающий,
Неотвратимый, строгий час,
Рукой холодной налагающий
Повязку на сиянье глаз!
В тебе я встречу новый трепет,
Твой лик загадочный вопью,—
Пусть к кораблю времен прицепит
Твоя рука мою ладью.
И, верю, вечностью хранимый,
В тех далях я узнаю вновь
И страсть, и горесть, и любовь,
Блеск дня, чернь ночи, весны, зимы!..

1911

На вечернем асфальте

Мысли священные, жальте
Жалами медленных ос!
В этой толпе неисчетной,
Здесь, на вечернем асфальте,
Дух мой упорный возрос.

В этой толпе неисчетной
Что я?—лишь отзвук других.
Чуткое сердце трепещет:
Стон вековой, безотчетный,
В нем превращается в стих.

Чуткое сердце трепещет
Трепетом тонкой струны,
Слышит таинственный ропот...
Шар электрический блещет
Мертвым лучом с вышины.

Слышит таинственный ропот
Сердце, в молчаньи толпы.
Здесь, на вечернем асфальте,
Словно предчувствие—топот,
Даль—словно в вечность тропы.

Здесь, на вечернем асфальте,
Дух мой упорный возрос.
Что я?—лишь отзвук случайный
Древней мучительной тайны.
Мысли священные, жальте
Жалами медленных ос!

1910

На груди земной

Снова, с тайной благодарностью,
Глубоко дышу коварностью
В сердце льющейся весны.
Счастье тихое предчувствую
И живой душой сопутствую
Птицам в далях вышины.

Снова будут сны и радости!
Разольются в поле сладости
Красных кашек, свежих трав.
Слух занежу в вешней прелести,
В шуме мошек, в легком шелесте
Вновь проснувшихся дубрав.

Снова ночи обнаженные
Заглядятся в воды сонные,
Чтоб зардеться на заре.
Тучка тонкая привесится
К золотому рогу месяца,
Будет таять в серебре.

Эти веянья и таянья,
Эти млеянья и чаянья,
Этот милый майский шум,—
Увлекая к беспредельности,
Возвращают тайну цельности
Снов и мира, слов и дум...

1911

Счастье Цезаря

Идут года. Но с прежней страстью,
Как мальчик, я дышать готов—
Любви неотвратимой властью
И властью огненной стихов.
Как прежде, детски, верю счастью
И правде переменных снов!

Бывал я, с нежностью, обманут
И, с лаской, дружбой оскорблен,—
Но строфы славить не устанут
Любви и страсти сладкий сон.
Я говорю: пусть розы вянут,
Май будет ими напоен!

Все прошлое—мне только снилось,
Разгадка жизни—впереди!
Душа искать не утомилась,
И сердце—дрожью жить в груди.
Пусть все свершится—что б ни сбылось!
Грядущий миг,—скорей приди!

Вновь, с рыбаком, надежды полный,
Тая восторженную дрожь,
В ладье гнилой бросаюсь в волны.
Гроза бушует вкруг. Так что ж!
Не бойся, друг! пусть гибнут челны:
Ты счастье Цезаря везешь!

1911

Демон самоубийства

Своей улыбкой, странно-длительной,
Глубокой тенью черных глаз,
Он часто, юноша пленительный,
Обворожает, скорбных, нас.

В ночном кафэ, где электрический
Свет обличает и томит,

Он речью, дьявольски-логической,
Вскрывает в жизни нашей стыд.

Он в вечер одинокий—вспомните,—
Когда глухие сны томят,
Как врач искусный, в нашей комнате
Нам подает в стакане яд.

Он в темный час, когда, как оводы,
Жужжат мечты про боль и ложь,
Нам шепчет роковые доводы
И в руку всовывает нож.

Он на мосту, где воды сонные
Бьют утомленно о быки,
Вздувает мысли потаенные
Мехами злобы и тоски.

В лесу, когда мы пьяны шорохом
Листвы и запахом полян,
Шесть тонких гильз с бездымным порохом
Кладет он, молча, в барабан.

Он—верный друг, он—принца датского
Твердит бессмертный монолог,
С упорностью участья братского,
Спокойно-нежен, тих и строг.

В его улыбке, странно-длительной,
В глубокой тени черных глаз
Есть омут тайны соблазнительной,
Властительно влекущей нас...

1910

На пляже

Я видел их. Они вдвоем на пляже
Бродили. Был он грустен и красив;
И не сходила с уст одна и та же

Улыбка. Взгляд ресницами закрыв,
Она шла рядом. Лик ее овальный
Прозрачен был и тонок, но не жив.

Качалось солнце, в яркости прощальной,
Над далью моря. Волны на песке
Чредой стихали, с жалобой печальной.

Играл оркестр веселый вдалеке,
Нарядов дамских пестрота мелькала...
И не было приюта их тоске!

Когда ж заката пышность отблистала,
Замолк оркестр, и берег стал пустым,
Как широта покинутого зала,—

Коснулся их лобзанием святым
Вечерний ветер. С жалобным укором
В безлюдьи море подступило к ним.

И красный месяц сзади встал над бором,
Провел по волнам яркую черту,
На них взглянул неумолимым взором.

И, взявшись за руки, одну мечту
Постигли оба. Странным счастьем полны,
Вошли в сиянье, кинув темноту.

И долго шли, покорны и безмолвны.
Вода росла и ширилась вкруг них,
Чрез плечи их перебегали волны.

Вдруг нежный ветер горестно затих,
И смолк прибой; лишь лунный взор на страже
Один сиял на небесах нагих.

Все было пусто в море и на пляже.

1909

Бессонница

Луна стоит над призрачной горой;
Неверным светом залита окрестность;
Ряд кипарисов вытянулся в строй;
Их тени побежали в неизвестность.

Она проснулась и глядит в окно...
Ах, в полночь все странней и идеальней!
Как давит бедра это полотно!
Как мало воздуха в знакомой спальне!

Она молчит, и все молчит вокруг,
Портьеры, дверь, раздвинутые ставни.
И рядом спит ее привычный друг,
Знакомый, преданный, любовник давний.

Он рядом спит. Чернеет борода
И круг кудрей на наволочке белой.
Он равномерно дышит, как всегда;
Под простыней простерто прямо тело.

Луна стоит. Луна ее зовет
В холодные, в свободные пространства.
В окно струится свет, и свет поет
О тайной радости непостоянства...

Встать и бежать... Бежать в лучах луны,
По зелени, росистой, изумрудной,
На выси гор, чтоб сесть в тени сосны,
И плакать, плакать в тишине безлюдной!..

Под простыней тревожно дышит грудь,
Мечты влекутся в даль и в неизвестность...
Луна плывет и льет живую ртуть
На сонную, безмолвную окрестность.

1910

Сон

Ты вновь меня ведешь, и в отдаленьи, робко,
Иду я за тобой,—
Сквозь сумеречный лес, среди трясины топкой,
Чуть видимой тропой.

Меж соснами темно; над лугом тенью бледной
Туман вечерний встал;
Закатный свет померк на выси заповедной
Даль оградивших скал.

Мне смутно ведомо, куда ведет дорога,
Что будет впереди...
Но если шаг порой я замедляю,—строго
Ты шепчешь мне: Иди!

И снова мы пройдем по кручам гор, по краю
Опасной крутизны.
Мир отойдет от нас, и снова я узнаю
Все счастье вышины.

На горном пастбище, меж сосен оголенных,
Сквозь голубую тень,
Мне явится, с крестом среди рогов склоненных,
Таинственный олень.

Ты вскрикнешь радостно; в свои надежды веря,
Ты сделаешь мне знак;
И будет озарен крестом лесного зверя
Вдруг отступивший мрак.

Расслышу с грустью я, как ты, клонясь всем телом,
Прошепчешь мне: Молись!
Я руку подыму с привычным самострелом...
Стрела взовьется в высь...

Вдруг пропадет олень; со стоном безнадежным
Исчезнешь ты; а я

Останусь, как всегда, спокойным и мятежным,
Ответный вздох тая.

1910

Le paradis artificiel

C'est une béatitude calme et immobile.
Ch. Baudelaire

Истома тайного похмелья
Мое ласкает забытье.
Не упоенье, не веселье,
Не сладость ласк, не острие.

Быть недвижимым, быть безмолвным,
Быть скованным... Поверить снам,
И предавать палящим волнам
Себя, как нежащим губам.

Ты мной владеешь, Соблазнитель,
Ведешь меня... Я—твой! с тобой!
В какую странную обитель
Плывем мы голубой водой?

Спустились лавры и оливы
К широким белым ступеням...
Продлись, продлись, мой миг счастливый!
Дремлю в ладье, у входа в храм...

Чья шея, гибкая, газелья,
Склонилась на плечо мое?
Не упоенье, не веселье,
Не сладость ласк, не острие.

Нет, ничего мечте не надо!
Смотреть в хрустальный небосвод,
Дышать одной тобой, услада
Журчащих и манящих вод!

Все позабыть, чем жил я прежде,
Восторг стихов, восторг любви...
Ты, призрак в голубой одежде,
Прекрасный миг останови!

Пусть зыблют бледные оливы
Тень по широким ступеням.
Я—недвижимый, я—счастливый,
Я предан нежащим губам.

Сверкает чье-то ожерелье
Так близко... Милая, твое?
Не упоенье, не веселье,
Не сладость ласк, не острие...

1911

В моей стране

В моей стране—покой осенний,
Дни отлетевших журавлей,
И, словно строгий счет мгновений,
Проходят облака над ней.

Безмолвно поле, лес безгласен,
Один ручей, как прежде, скор.
Но странно ясен и прекрасен
Омытый холодом простор.

Здесь, где весна, как дева, пела
Над свежей зеленью лугов,
Где после рожь цвела и зрела
В святом предчувствии серпов, -

Где ночью жгучие зарницы,
Порой, влюбленных стерегли,
Где в августе склоняли жницы
Свой стан усталый до земли,—

Теперь торжественность пустыни
Да ветер, бьющий по кустам,

А неба свод, глубоко синий,—
Как купол, увенчавший храм!

Свершила ты свои обеты,
Моя страна! и замкнут круг!
Цветы опали, песни спеты,
И собран хлеб, и скошен луг.

Дыши же радостным покоем
Над миром дорогих могил,
Как прежде ты дышала зноем,
Избытком страсти, буйством сил!

Насыться миром и свободой,
Как раньше делом и борьбой,—
И зимний сон, как всей природой,
Пусть долго властвует тобой!

С лицом и ясным, и суровым
Удары снежных вихрей встреть,
Чтоб иль воскреснуть с майским зовом
Иль в неге сладкой умереть!

1909

Зерно

Лежу в земле, и сон мой смутен...
В открытом поле надо мной
Гуляет, волен и беспутен,
Январьский ветер ледяной.

Когда стихает ярость бури,
Я знаю: звезд лучистый взор
Глядит с темнеющей лазури
На снежный мертвенный простор.

Порой во сне, сквозь толщь земную,
Как из другого мира зов,

Я глухо слышу, жутко чую
Вой голодающих волков.

И бредом кажется былое,
Когда под солнечным лучом
Качалось поле золотое,
И я был каплей в море том.

Иль день, когда осенней нивой
Шел бодрый сеятель, и мы
Во гроб ложились, терпеливо
Ждать торжествующей зимы.

Лежу в могиле, умираю,
Молчанье, мрак со всех сторон...
И все трудней мне верить маю,
И все страшней мой черный сон...

1909

В поле

И снова давние картины
(Иль только смутные мечты):
За перелеском луговины,
За далью светлые кресты.

Тропинка сквозь орешник дикий
С крутого берега реки,
Откос, поросший повиликой,
И в черных шапках тростники.

В воде виляющие рыбы,
Над ней мелькание стрекоз;
Далеко видные изгибы
Реки, ее крутой откос.

А дальше снова косогоры,
Нив лучевидных—кругозор,

Пустые, сжатые просторы
И хмурый, синеватый бор.

И первый плуг в далеком поле
В сопровожденьи бороны...
Виденья давней, детской воли,—
Иль только радостные сны.

1910

По меже

Как ясно, как ласково небо!
Как радостно реют стрижи
Вкруг церкви Бориса и Глеба!

По горбику тесной межи
Иду, и дышу ароматом
И мяты, и зреющей ржи.

За полем усатым, не сжатым,
Косами стучат косари.
День медлит пред ярким закатом...

Душа, насладись и умри!
Все это так странно знакомо,
Как сон, что ласкал до зари.

Итак, я вернулся, я—дома?
Так здравствуй, июльская тишь
И ты, полевая истома,

Убогость соломенных крыш
И полосы желтого хлеба!
Со свистом проносится стриж

Вкруг церкви Бориса и Глеба.

1910

В полях забытые усадьбы
Свой давний дозирают сон.
И церкви сельские, простые,
Забыли про былые свадьбы,
Про роскошь барских похорон.

Дряхлеют парки вековые
С аллеями душистых лип.
Над прудом, где гниют беседки,
В тиши, в часы вечеровые,
Лишь выпи слышен зыбкий всхлип.

Выходит месяц, нежит ветки
Акаций, нежит робость струй.
Он помнит прошлые затеи,
Шелк, кружева, на косах сетки,
Смех, шопот, быстрый поцелуй.

Теперь все тихо. По аллее
Лишь жаба, волочась, ползет,
Да еж проходит осторожно...
И все бессильней, все грустнее
Сгибаются столбы ворот.

Лишь в бурю, осенью, тревожно
Парк стонет громко, как больной,
Стряхнуть стараясь ужас сонный...
Старик! жить дважды невозможно:
Ты вдруг проснешься, пробужденный
Внезапно взвизгнувшей пилой!

1910

Ночное одиночество

Возвысила ночь свою черную голову,
Созвездьями смотрит на море и сушу,
И, в волны пролитому, яркому олову
Вверяю ночную, бездомную душу.

Мечта моя! челн в беспредельности кинутый!
Качают тебя огне-синие дали.
Заброшены весла, уключины вынуты,
Со скрипом ненужные реи упали.

Не надо руля и косматого паруса!
Прочь, прежние гавани, берег знакомый!
А волны вздымают за ярусом ярусы,
И водные шире и шире объемы.

Мечта моя! челн в роковой беспредельности!
Ты дышишь соленым дыханием влаги,
Ты счастлив бродячим восторгом бесцельности,
В часы, когда дремлют у пристаней флаги.

Душа моя вверена зыбкому олову,—
До утра той связи святой не нарушу!
А ночь подняла свою черную голову,
Созвездьями смотрит на море и сушу.

1911

На заре

Бледнеет ночь. Свой труд окончив,
С улыбкой думаю о ней,
О той, чей детский взор уклончив,
Чей голос—дрожь весенних дней.

Все это видел я когда-то,
И этот взор, и эту дрожь...
Но все земное вечно свято,
И в жизни каждый миг хорош!

Я снова, с радостным мученьем,
Готов, как в годы первых встреч,
Следить покорно за движеньем
Ее стыдливо-робких плеч.

И все, что мне казалось мертвым,
В моей душе, живет опять,
И краскам выцветшим и стертым
Дано гореть, дано блистать!

Как неизменны, как всесильны
Вы, звуки нежные: люблю!
Пускай умру, как стебель пыльный,—
В час смерти жизнь благословлю!

Склонясь к окну, о ней мечтаю—
Мечтами тысячи веков,
И, как врата к земному раю,
Горят завесы облаков.

1911

Вечерняя песня

Я тебе посвятил умиленные песни,
Вечерний час!
Эта тихая радость—воскресни, воскресни
Еще хоть раз!

Разливается сумрак,—голубоватый,—
Меж стен домов.
Дали синие неба миром объяты,
Без звезд, без слов...

Электричество вспыхнуло,—полны и ясны,
Луны дрожат.
Трамваев огни, там зеленый, здесь красный,
Потянулись в ряд.

Предвесеннею свежестью дышится вольно,
Стерлись года.
И кажется сердцу, невольно, безбольно:
Все—как тогда!

Я снова в толпе, молодой, одинокий...
И, как во сне,
Идет меж прохожих мой призрак далекий
Навстречу мне...

1911

И снова я...

И снова я, простерши руки,
Стремглав бросаюсь в глубину,
Чтоб испытать и страсть и муки,
Дробя кипящую волну.

Влеки меня, поток шумящий,
Бросай и бей о гребни скал!
Хочу тоски животворящей,
Я по отчаянью взалкал!

Ах, слишком долго, с маской строгой,
Бродил я в тесноте земной,
Я разучился жить тревогой,
Я раздружился с широтой!

Куда меня поток ни кинет,
Живым иль мертвым,—все равно;
Но сердце ужаса не минет,
Но грудь опять узнает дно!

Еще мне видны, как картины,
Реки крутые берега,
Стадам любезные долины
И плугу милые луга.

Их не хочу! Все ближе пена
Порогов каменных,—и вот
Меня, нежнее, чем измена,
Крутит глухой водоворот.

1911

В игорном доме

Как Цезарь жителям Алезии
К полям все выходы закрыл,
Так Дух Забот от стран поэзии
Всех, в век железный, отградил.

Нет, не найти им в буйстве чувственном,
В вине и страсти, где врата.
И только здесь, в огне искусственном,
Жива бессмертная Мечта!

Опять сердца изнеможенные
Восторг волненья узнают,
Когда в свои объятья сонные
Вбирает их Великий Спрут.

Незримыми, святыми цитрами
Заворожая души их,
Обводит он глазами хитрыми
Десятки пленников своих.

И те, мгновеньем зачарованы,
Лелеемы заветным сном,
Не знают, что давно окованы
Своим недремлющим врагом.

Белеют шторы. Призрак утренний
Глядится жалобно в окно.
Но все объяты негой внутренней
Мечты, утраченной давно!

1911

Опять безжалостные руки
Меня во мраке оплели.
Опять на счастье и на муки
Меня мгновенья обрекли.

Бери меня! Я твой по праву!
Пусть снова торжествует ложь!
Свою нерадостную славу
Еще одним венком умножь!

Я пленник (горе побежденным!)
Твоих колен и алчных уст.
Но в стоне сладостно-влюбленном
Расслышь костей дробимых хруст!

С тобой, как цепью, спаян вместе,
Полузакрыв истомный взор,
Я не забыл о тайной мести
За твой восторг, за мой позор!

А! зверь неутомимо-гибкий!
Быть может, я тебя люблю!
Но все движенья, все улыбки
Твои—я жадно уловлю.

Дрожа, прислушаюсь к стенанью,
Запечатлею звуки слов,
И с ними, как с богатой данью,
Вернусь к свободе из оков.

Потом—моим стихам покорным,
С весельем, передам твой лик,
Чтоб долго призраком упорным
Стоял пред миром твой двойник!

1911

Ответ

Растут дома; гудят автомобили;
Фабричный дым висит на всех кустах;
Аэропланы крылья расстелили
В облаках.

Но прежней страстью, давней и знакомой,
Дрожат людские, бедные сердца,—
Любовной, сожигающей истомой
Без конца...

Как прежде, страшен свет дневной Дидоне,
И с уст ее все та же рвется речь;
Все так же должен, в скорбный час, Антоний
Пасть на меч.

Так не кляните нас, что мы упрямо
Лелеем песни всех былых времен,
Что нами стон Катулла: «Odi et amo»
Повторен!

Под томным взором балерин Дегаза,
При свете электрической дуги,
Все так же сходятся четыре глаза,
Как враги.

И в час, когда лобзанья ядовиты
И два объятья—словно круг судьбы,—
Все той же беспощадной Афродиты
Мы—рабы!

1911

На берегу

Закрыв измученные веки,
Миг отошедший берегу.
О, если б так стоять вовеки
На этом тихом берегу!

Мгновенья двигались и стали,
Лишь ты царишь, свой свет струя...
Меж тем в реке—из сизой стали
Влачится за струей струя.

Проходишь ты аллеей парка
И помнишь краткий поцелуй...
Рви нить мою, седая Парка!
Смерть, прямо в губы поцелуй!

Глаза открою. Снова дали
Разверзнут огненную пасть.
О, если б Судьбы тут же дали
Мне мертвым и счастливым пасть!

1911

Близ моря

Засыпать под ропот моря,
Просыпаться с шумом сосен,
Жить, храня веселья горя,
Помня радость прошлых весен;

В созерцаньи одиноком
Наблюдать лесные тени,
Вечно с мыслью о далеком,
Вечно в мареве видений.

Было счастье, счастье было,
Горе было, есть и будет...
Море с вечно новой силой
В берег биться не забудет.

Не забудут сосны шумом
Отвечать на ветер с моря,
И мечты валам угрюмым
Откликаться, бору вторя.

Хорошо о прошлом мыслить,
Сладко плакать в настоящем...
Темной хвои не исчислить
В тихом сумраке шумящем.

Хорошо над серым морем,
Хорошо в бору суровом,
С прежним счастьем, с вечным горем,
С тихим горем, вечно новым!

1911

Утром

Стонет старая шарманка
Вальс знакомый под окном.
Ты глядишь, как иностранка
Где-то в городе чужом.

Не пойму твоих улыбок,
Страха мне не превозмочь.
Иль что было—ряд ошибок,
Это счастье, эта ночь?

Ты смеешься, отошла ты,
У окна стоишь в тени...
Иль, скажи, не нами смяты
На постели простыни?

Измениз своей привычке,
Ты, как римлянка рабу,
Пятачок бросаешь птичке,
Предвещающей судьбу.

Знаю, что за предсказанье
Птичка вытащит тебе:
«Исполнение желанья,
Изменение в судьбе».

Нет! былое не ошибка!
Ты смеешься не над ним!
Счастлив тот, чье сердце зыбко,
Кто способен стать иным!

Счастлив тот, кто утром встанет,
Позабыв про ночь и тень.
Счастлив цвет, что быстро вянет,
Что цветет единый день.

Будь же в мире—иностранка,
Каждый день в краю другом!
Стонет старая шарманка
Вальс знакомый под окном.

1909

Фирвальдштеттское озеро

Фирвальдштеттское озеро—Роза Ветров..

К. Бальмонт

Отели, с пышными порталами,
Надменно выстроились в ряд,
И, споря с вековыми скалами,
В лазурь бесстрастную глядят.

По набережной, под каштанами,
Базар всесветной суеты,—
Блеск под искусными румянами
В перл возведенной красоты.

Пересекая гладь бесцветную,
Дымят суда, и здесь и там,
И, посягнув на высь запретную,
Краснеют флаги по горам.

И в час, когда с ночными безднами
Вершины смешаны в тени,
Оттуда—спор с лучами звездными
Ведут отельные огни.

1909

Мюльбах

Меж облаков, обвивших скалы,
Грозе прошедшей буйно рад,
Ты вниз стремишься, одичалый,
Сребристо-белый водопад.

И снизу, из окон отелей,
Мы смотрим в высоту, к тебе,—
Где ты, меж неподвижных елей,
Своей покорствуешь судьбе.

Напитан вечными снегами
На вознесенных высотах,
Ты в пропасть падаешь, струями,
Взметающими влажный прах,

Чтоб, о гранитные громады
Разбив бушующую грудь,—
Как все земные водопады,
В заливе мирном потонуть.

1909

На могиле Ивана Коневского

(† 8 июля 1901 г.)

Я посетил твой прах забытый и далекий,
На сельском кладбище, среди простых крестов,
Где ты, безвестный, спишь, как в жизни, одинокий,
Любовник тишины и несказанных снов.

Ты позабыт давно друзьями и врагами,
И близкие тебе давно все отошли,
Но связь давнишняя не порвалась меж нами,
Двух клявшихся навек—жить радостью земли!

И здесь, в стране чужой, где замки над обрывом
Ревниво берегут сны отошедших дней,

Где бурная река крутит своим разливом
Ряды поверженных, воде врученных пней;

Где старые дубы и сумрачные вязы,
Как в годы рыцарей, стоят глухой стеной;
Где ночью, в синеве, всемирные алмазы
Спокойно бодрствуют над юной вновь страной;

Ты мой заслышал зов, такой же, как и прежде!
Я радостно воззвал, и ты шепнул: «Живи!
Дыши огнем небес, верь песне и надежде,
И тело сильное опять отдай любви!»

Ты мне сказал: «Я здесь один, в лесу зеленом,
Но помню, и сквозь сон, мощь бури, солнца, рек,
И ветер, надо мной играя тихим кленом,
Поет мне, что земля—жива, жива вовек!»

1911

Поэт — музе

Я изменял и многому, и многим,
Я покидал в час битвы знамена,
Но день за днем твоим веленьям строгим
Душа была верна.

Заслышав зов, ласкательный и властный,
Я труд бросал, вставал с одра, больной,
Я отрывал уста от ласки страстной,
Чтоб снова быть с тобой.

В тиши полей, под нежный шопот нивы,
Овеян тенью тучек золотых,
Я каждый трепет, каждый вздох счастливый
Вместить стремился в стих.

Во тьме желаний, в муке сладострастья,
Вверяя жизнь безумью и судьбе,

Я помнил, помнил, что вдыхаю счастье,
Чтоб рассказать тебе!

Когда стояла смерть, в одежде черной,
У ложа той, с кем слиты все мечты,
Сквозь скорбь и ужас, я ловил упорно
Все миги, все черты.

Измучен долгим искусом страданий,
Лаская пальцами тугой курок,
Я счастлив был, что из своих признаний
Тебе сплету венок.

Не знаю, жить мне много или мало,
Иду я к свету иль во мрак ночной,—
Душа тебе быть верной не устала,
Тебе, тебе одной!

1910

Египетский раб

Я жалкий раб царя. С восхода до заката,
Среди других рабов, свершаю тяжкий труд,
И хлеба кус гнилой—единственная плата
За слезы и за пот, за тысячи минут.

Когда порой душа отчаяньем объята,
Над сгорбленной спиной свистит жестокий кнут,
И каждый новый день товарища иль брата
В могилу общую крюками волокут.

Я жалкий раб царя, и жребий мой безвестен;
Как утренняя тень, исчезну без следа,
Меня с лица земли века сотрут, как плесень;

Но не исчезнет след упорного труда,
И вечность простоит, близ озера Мерида,
Гробница царская, святая пирамида.

1911

Моисей

Пророк, чей грозный нимб ваятель
Рогами поднял над челом,
Вождь, полубог, законодатель,—
Все страшно в облике твоем!

Твоя судьба—чудес сплетенье,
Душа—противоречий клуб.
Ты щедро расточал веленья,
Ты был в признаньях тайных скуп.

Жрецами вражьими воспитан,
Последней тайны приобщен,
И мудростью веков напитан,—
Ты смел смотреть во глубь времен.

Беглец гонимый, сын рабыни,
Чужих, безвестных стад пастух,
Ты с богом говорил в пустыне,
Как сын с отцом, как с духом дух.

Ты замысл, гордо-необычный,
Как новый мир, таил в себе,
И ты, пришлец косноязычный,
Царю пророчил о судьбе.

Пастух—ты требовал народа,
Раб,—совершал ты чудеса.
Тебе содействуя, природа
Тьмой облекала небеса.

Вчера преступник, нынче принят
Как вождь, ты был гордыни полн:
Ты знал, что жезл взнесешь, и сгинет
Погоня меж взметенных волн.

Но что ж, несытый, ты замыслил?
Тысячелетий длинный строй

Ты взмерил, взвесил и исчислил,
Как свой удел, как жребий свой.

Народ пастуший и бездомный,
Толпу, бродящую в песках,
На подвиг страшный и огромный
Ты дерзостно обрек в веках.

Сказал: «Ты сломишь все препоны!
Весь этот мир, он—мой, он наш!
Я дам тебе мои законы,
Ты их вселенной передашь!

«Что может мира жалкий житель?
И что могу—я, человек?
Ты будь моей мечты хранитель,
Теперь, потом, в веках, вовек!»

Назначив цель, ты, год за годом,
Водил в пустыне племена,
Боролся со своим народом,
Крепил умы и рамена;

Великий, строгий, непонятный,
Учил мятущихся детей,
Готовил их на подвиг ратный,
Воспитывал ловцов людей.

И день настал. В дали туманной,
Ты, с Нево, взорами обвел
Далекий край обетованный,
Поник челом и отошел.

Твой лик, спокойно помертвелый,
Взирал на ближний Галаад,
Но знал ты, что во все пределы
Твои глаголы долетят.

Какие б племена ни встали,
Какие б ни пришли века,
Им всем вручит твои скрижали
Твоих наместников рука!

Как древле, грозный и безмерный,
Над буйным миром ты стоишь,
И свой народ, поныне верный,
Ведешь державно и хранишь.

1909

Клитемнестра

Сестра—царит в надменной Трое,
Сестре—немолчный гимн времен,
И славный будет славен вдвое,
Когда он за сестру сражен.

Певцы, на царском шумном пире,
Лишь о Елене стануть петь,
И в их стихах, и в громкой лире
Ей суждено вовек блестеть.

Не обе ли мы дщери Леды?
И Зевс не так же ль мой отец?
Мне—униженья, ей—победы!
Мне—в тернах, в розах—ей венец!

Не вся ль Эллада за Елену
Стоит? Ахейские суда
Крутят вдали морскую пену
И наши пусты города!

Мое Атрид покинул ложе,
Привесил бранный меч к бедру,
Забыл покой,—и за кого же?
Не за меня, а за сестру!

И все ли? Он не дочь ли нашу,
Как жертву, на алтарь принес?
И нет ее, и чем я скрашу
Обитель старости и слез?

Все—в дар забывшей честь и право,
Двумужнице! в стенах врагов
Смеющейся борьбе кровавой
И родине кующей ков!

А я—отверженна, забвенна,
Мне—прялка, вдовья участь—мне,
За то, что буду неизменно
Ждать мужа в яви и во сне!

Нет! если людям на презренье
Я без вины осуждена,—
Да совершатся преступленья!
Да будет подлинно вина!

Да будет жребий мой заслужен,
Неправый суд да будет прав!
Душе—венец позора нужен,
Взамен венца похвал и слав!

О, евмениды! Мне не страшен
Бичей, взнесенных вами, свист!
Спеши ко мне, и скрой меж брашен
Клинок убийства, мой Эгист!

1911

Смерть Александра

Пламя факелов крутится, длится пляска саламандр.
Распростерт на ложе царском,—скиптр на сердце,—
Александр.

То, что было невозможно, он замыслил, он свершил,
Блеск фаланги македонской видел Ганг и видел Нил.

Будет вечно жить в потомстве память славных, страшных дел,
Жить в стихах певцов и в книгах, сын Филиппа, твой удел!

Между тем на пышном ложе ты простерт—бессильный прах,
Ты, врагов дрожавших—ужас, ты, друзей смущенных—страх!

Тайну замыслов великих смерть ревниво погребла,
В прошлом—яркость, в прошлом—слава, впереди—туман и мгла.

Дымно факелы крутятся, длится пляска саламандр.
Плача близких, стона войска не расслышит Александр.

Вот Стикс, хранимый вечным мраком,
В ладье Харона переплыт.
Пред Радамантом и Эаком
Герой почивший предстоит.

«—Ты кто?»—«Я был царем. Элладой
Был вскормлен. Стих Гомера чтил,
Лишь славу почитал наградой,
И образцом мне был Ахилл.

Раздвинув родины пределы,
Пройдя победно целый свет,
Я отомстил у Гавгамелы
За Саламин и за Милет!»

И, встав, безликий Некто строго
Гласит: «—Он муж был многих жен.
Он нарекался сыном бога.
Им друг на пире умерщвлен.

Круша Афины, руша Фивы,
В рабов он греков обратил;
Верша свой подвиг горделивый,
Эллады силы сокрушил!»

Встает Другой,—черты сокрыты,—
Вещает: «—Так назначил Рок,
Чтоб воедино были слиты
Твой мир, Эллада, твой—Восток!

Не так же ль свяжет в жгут единый,
На Западе, народы—Рим,
Чтоб обе мира половины
Потом сплелись узлом одним?»

Поник Минос челом венчанным,
Нем Радамант, молчит Эак.
И Александр, со взором странным,
Глядит на залетейский мрак.

Пламя факелов крутится, длится пляска саламандр,
Распростерт на ложе царском,—скиптр на сердце,—
Александр.

И уже, пред царским ложем, как предвестье скорых
сеч,
Полководцы Александра друг на друга взносят
меч.

Мелеагр, Селевк, Пердикка, пьяны памятью побед,
Царским именем, надменно, шлют веленья, шлют
запрет.

Увенчать себя мечтает диадемой Антигон.
Антипатр царить в Элладе мыслит, властью упоен.

И во граде Александра, где столица двух морей,
Замышляет трон воздвигнуть хитроумный Птоломей.

Дымно факелы крутятся, длится пляска саламандр.
Споров буйных диадохов не расслышит Александр.

1911

Александрийский столп

На Невском, как прибой нестройный,
Растет вечерняя толпа.
Но неподвижен сон спокойный
Александрийского столпа.

Гранит суровый, величавый,
Обломок довременных скал!
Как знак побед, как вестник славы,
Ты перед царским домом стал.

Ты выше, чем колонна Рима,
Поставил знаменье креста.
Несокрушима, недвижима
Твоя тяжелая пята.

И, через кровли низких зданий
Все озирая пред собой,
Ты видишь в сумрачном тумане
Двух древних сфинксов над Невой.

Глаза в глаза вперив, безмолвны,
Исполнены святой тоски,
Они как будто слышат волны
Иной, торжественной реки.

Для них, детей тысячелетий,
Лишь сон—виденья этих мест,
И эта твердь, и стены эти,
И твой, взнесенный к небу, крест.

И, видя, что багряным диском
На запад солнце склонено,

Они мечтают, как,—давно,—
В песках над падшим обелиском,
Горело золотом оно.

1909

К финскому народу

Упорный, упрямый, угрюмый,
Под соснами взросший народ!
Их шум подсказал тебе думы,
Их шум в твоих песнях живет.

Спокойный, суровый, могучий,
Как древний родимый гранит!
Твой дух, словно зимние тучи,
Не громы, но вьюги таит.

Меж камней, то мшистых, то голых,
Взлюбил ты прозрачность озер:
Ты вскормлен в работах тяжелых,
Но кроток и ясен твой взор.

Весь цельный, как камень огромный,
Единою грудью дыша,—
Дорогой жестокой и темной
Ты шел, сквозь века, не спеша;

Но песни свои, как святыни,
Хранил—и певучий язык,
И миру являешь ты ныне
Все тот же, все прежний свой лик.

В нужде и в труде терпеливый,—
Моряк, земледел, дровосек,—
На камнях взлелеял ты нивы,
Вражду одолел своих рек;

С природой борясь, крепкогрудый,
Все трудности встретить готов,—

Воздвиг на гранитах причуды
Суровых своих городов.

И рифмы, и кисти, и струны
Теперь покорились тебе.
Ты, смелый, ты, мощный, ты, юный,
Бросаешь свой вызов судьбе.

Стой твердо, народ непреклонный!
Не даром меж скал ты возрос:
Ты мало ли грудью стесненной
Метелей неистовых снес!

Стой твердо! Кто с гневом природы
Веками бороться умел,—
Тот выживет трудные годы,
Тот выйдет из всякой невзгоды,
Как прежде, и силен, и цел!

1910

ИЗ КНИГИ
СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ
1912—1915

Из книги

СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ

1913—1915

Sed non satiatus...

Что же мне делать, когда не пресыщен
Я—этой жизнью хмельной!
Что же мне делать, когда не пресыщен
Я—вечно-юной весной!
Что же мне делать, когда не пресыщен
Я—высотой, глубиной!
Что же мне делать, когда не пресыщен
Я—тайной муки страстной!

Вновь я хочу все изведать, что было...
Трепеты, сердце, готовь!
Вновь я хочу все изведать, что было:
Ужас, и скорбь, и любовь!
Вновь я хочу все изведать, что было:
Все, что сжигало мне кровь!
Вновь я хочу все изведать, что было:
И,—чего не было,—вновь!

Руки несытые я простираю
К солнцу и в сумрак опять!
Руки несытые я простираю
К струнам: им должно звучать!
Руки несытые я простираю,
Чтобы весь мир осязать!
Руки несытые я простираю,—
Милое тело обнять!

1912

Юношам

Мне все равно, друзья ль вы мне, враги ли,
И вам я мил, иль ненавистен вам,
Но знаю,—вы томились и любили,
Вы душу предавали тайным снам;

Живой мечтой вы жаждете свободы,
Вы верите в безумную любовь,
В вас жизнь бушует, как морские воды,
В вас, как прибой, стучит по жилам кровь;

Ваш зорок глаз и ваши легки ноги,
И дерзость подвига волнует вас,
Вы не боитесь,—ищете тревоги,
Не страшен—сладок вам опасный час;

И вы за то мне близки и мне милы,
Как стеблю тонкому мила земля:
В вас, в вашей воле, черпаю я силы,
Любуясь вами, ваш огонь деля.

Вы—мой прообраз. Юности крылатой
Я, в вашем облике, молюсь всегда.
Вы то, что вечно, дорого и свято,
Вы—миру жизнь несущая вода!

Хочу лишь одного—быть вам подобным
Теперь и после: легким и живым,
Как волны океанские, свободным,
Взносящимся в лазурь, как светлый дым.

Как вы, в себя я полон вещей веры
Как вам, судьба поет и мне: живи!
Хочу всего, без грани и без меры,
Опасных битв и роковой любви!

Как перед вами, предо мной—открытый,
В безвестное ведущий, темный путь!

Лечу вперед изогнутой орбитой—
В безмерностях пространства потонуть!

Кем буду завтра, нынче я не знаю,
Быть может, два-три слова милых уст
Вновь предо мной врата раскроют к Раю,
Быть может, вдруг мир станет мертв и пуст.

Таким живу, таким пребуду вечно,—
В моих, быть может, чуждых вам стихах,—
Всегда любуясь дерзостью беспечной
В неугасимых молодых зрачках!

1914

Летом 1912 года

Пора сознаться: я—не молод: скоро сорок.
Уже не молодость, не вся ли жизнь прошла?
Что впереди? обрыв иль спуск? но, общий ворог,
Стоит старуха-смерть у каждого угла.
Я жил, искал услад, и правых и неправых,
Мне сны безумные нашептывала страсть,
Губами припадал ко всем земным отравам,
Я знал, как радует, как опьяняет власть.
Меж мук и радостей, творимых и случайных,
Я, в лабиринте дней ища упорно путь,
Порой тонул мечтой в предвечно-страшных тайнах
И в хаос истины порой умел взглянуть.
Я дрожь души своей, ее вмещая в звуках,
Сумел на ряд веков победно сохранить,
И долго меж людей в своих мечтах и муках,
В своих живых стихах, как феникс, буду жить.
И в длинном перечне, где Данте, где Вергилий,
Где Гете, Пушкин, где ряд дорогих имен,
Я имя новое вписал, чтоб вечно жили
Преданья обо мне, идя сквозь строй времен.
Загадку новую я задал для столетий,
На высях, как маяк, зажег мечту свою...
Об чем же мне жалеть на этом бедном свете?

Иду без трепета и без тревог стою.
Взмахни своей косой, ты, старая! Быть может,
Ты заждалась меня, но мне—мне все равно.
В час роковой меня твой голос не встревожит:
Довольно думано! Довольно свершено!

1912

Памятник

Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен.
Кричите, буйствуйте,—его вам не свалить!
Распад певучих слов в грядущем невозможен,—
Я есмь и вечно должен быть.

И станов всех бойцы, и люди разных вкусов,
В каморке бедняка, и во дворце царя,
Ликуя назовут меня—Валерий Брюсов,
О друге с дружбой говоря.

В сады Украйны, в шум и яркий сон столицы,
К преддверьям Индии, на берег Иртыша,—
Повсюду долетят горящие страницы,
В которых спит моя душа.

За многих думал я, за всех знал муки страсти,
Но станет ясно всем, что эта песнь—о них.
И, у далеких грез в неодолимой власти,
Прославят гордо каждый стих.

И, в новых звуках, все проникнет за пределы
Печальной родины, и немец, и француз
Покорно повторят мой стих осиротелый,
Подарок благосклонных Муз.

Что слава наших дней?—случайная забава!
Что клевета друзей?—презрение хулам!
Венчай мое чело, иных столетий Слава,
Вводя меня в всемирный храм.

1912

Предвещание

Быть может, суждено земле
В последнем холоде застынуть;
Всему живому—в мертвой мгле
С безвольностью покорной сгинуть.

Сначала в белый блеск снегов
Земля невестой облачится;
Туман, бесстрастен и суров,
Над далью нив распространится;

В мохнатых мантиях, леса—
Прозрачных пальм, как стройных сосен,—
Напрасно глядя в небеса,
Ждать будут невозможных весен;

Забыв утехи давних игр,
Заснут в воде промерзшей рыбы,
И ляжет, умирая, тигр
На бело-ледяные глыбы...

Потом иссякнет и вода,
Свод неба станет ясно-синим,
И солнце,—малая звезда,—
Чуть заблестит нагим пустыням.

Пойдет последний человек
(О, дети жалких поколений!)
Искать последних, скудных рек,
Последних жалостных растений,

И не найдет. В безумьи, он
С подругой милой, с братом, с сыном,
Тоской и жаждой опьянен,
Заспорит о глотке едином.

И все умрут, грызясь, в борьбе,
Но глаз не выклюют им птицы.

Земля, покорная судьбе,
Помчит лишь трупы да гробницы.

И только, может быть, огни,
Зажженные в веках далеких,
Все будут трепетать в тени,
Как взоры городов стооких.

1912

Земля молодая

Зданья громадные стройте,
Высьте над башнями башни,
Сводом стеклянным закройте
Свободные пашни;

Солнцами солнце затмите,
Реки замкните гранитом,
Полюсы соедините
Тоннелем прорытым;

Правьте движеньем планеты,—
Бегом в пространстве небесном,
Бросьте сигнальные светы
Мирам неизвестным;—

Воля проснется природы,
Грозно на дерзких восстанет,
Рухнут прозрачные своды,
Железо обманет;

Сгинут твердыни во прахе;
Здесь, над погостом столицы,
Дики покажутся взмахи
Полунощной птицы;

Выйдут и львы и медведи
Вновь из забытой берлоги,

Лягут на плитах из меди
В упавшем чертоге;

Вскроет—глухим содроганьем
Прежнее племя сметая,—
Дали—грядущим созданьям
Земля молодая!

1913

Сын земли

Я—сын земли, дитя планеты малой,
Затерянной в пространстве мировом,
Под бременем веков давно усталой,
Мечтающей бесплодно об ином.

Я—сын земли, где дни и годы—кратки,
Где сладостна зеленая весна,
Где тягостны безумных душ загадки,
Где сны любви баюкает луна.

От протоплазмы до ихтиозавров,
От дикаря, с оружьем из кремня,
До гордых храмов, дремлющих меж лавров,
От первого пророка до меня,—

Мы были узники на шаре скромном,
И сколько раз, в бессчетной смене лет,
Упорный взор земли в просторе темном
Следил с тоской движения планет!

К тем сестрам нашей населенной суши,
К тем дочерям единого отца,
Как много раз взносились наши души,
Мечты поэта, думы мудреца!

И, сын земли, единый из бессчетных,
Я в бесконечное бросаю стих,—

К тем существам, телесным иль бесплотным,
Что мыслят, что живут в мирах иных.

Не знаю, как мой зов достигнет цели,
Не знаю, кто привет мой донесет,
Но, если те любили и скорбели,
Но, если те мечтали в свой черед

И жадной мыслью погружались в тайны,
Следя лучи, горящие вдали,—
Они поймут мой голос не случайный,
Мой страстный вздох, домчавшийся с земли!

Вы, властелины Марса иль Венеры,
Вы, духи света, иль, быть может, тьмы,—
Вы, как и я, храните символ веры:
Завет о том, что будем вместе мы!

1913

Детские упования

Снова ночь и небо, и надменно
Красный Марс блистает надо мной.
Раб земли, окованный и пленный,
Что томиться грезой неземной?

Не свершиться дерзким упованьям!
Не увидишь, умиленный, ты,—
Новый луч над вечным мирозданьем:
Наш корабль в просторах пустоты!

Не свершишь ты первого полета,
Не прочтешь и на столбцах газет,
Что безвестный, ныне славный, кто-то,
Как Колумб, увидел новый свет.

Что ж, покорствуй! Но душа не хочет
Расставаться с потаенным сном

И, рыдая, радостно пророчит
О великом имени земном.

О, ужель, как дикий краснокожий,
Удивится пришлецам Земля?
И придет крестить любимец божий
Наши воды, горы и поля?

Нет! но мы, своим владея светом,
Мы, кто стяг на полюс донесли,
Мы должны нести другим планетам
Благовестье маленькой Земли!

1914

Царица Страсть

Ты к мальчику проникнешь вкрадчиво,
Добра, как старшая сестра;
Браня его, как брата младшего,
Ты ласково шепнешь: «Пора!»
В насмешливом, коварном шопоте
Соблазн неутолимый скрыт.
И вот—мечта о жгучем опыте
Сны и бессонницу томит.

Ты девушку, как мать, заботливо
Под грешный полог проведешь;
В последнем споре изворотливо
Найдешь пленительную ложь;
В минуты радости изменчивой
Подскажешь тихо: «Ты права!»
И вынудишь язык застенчивый
Твердить бесстыдные слова.

Ты женщине, как друг испытанный,
Оставшись с ней наедине,
Напомнишь про роман прочитанный,
Про облик, виденный во сне.

И, третья между двух, незримая,
В альковной душной темноте,
Как цель, вовек недостижимая,
Покажешься ее мечте.

Кто, кто из нас тебе, обманчивой,
Не взмолится, без слов, тайком?
Ты нежно скажешь: «Не заканчивай
Томящих грез: я—пред концом...»
И, видя в слабости поверженным
Блаженно-жалкого раба,
Вдруг засмеешься смехом сдержанным,-
Царица, воля чья—судьба!

1914—1915

На церковной крыше

На церковной крыше,
У самого золотого креста
(Уже восхода полоски наметились),
Как две летучих мыши,
Две ведьмы встретились:
Одна—стара и толста,
Другая—худа и моложе
(Лицо с кошачьей мордочкой схоже),
И шептались, ветра весеннего тише.

— Сестра, где была?
Старуха захохотала.
—Тра-ла-ла!
Всю ночь наблюдала:
Юноша собирался повеситься!
Все шагал, писал и смотрел
На серп полумесяца.
Лицом—как мел.
Любовь, как видно, замучила.
Ждать мне наскучило,
И я, против правил,

Подсказала ему: «удавись!»
Он в петлю голову вставил
И повис.

Худая в ответ улыбнулась.
— И мне досталось!
В грязных номерах натолкнулась,
Как девушка старику продавалась.
Старичонка—дряхлый и гадкий,
Горб, как у верблюда,
А у нее глаза—как загадки,
И плечи—как чудо.
Как был он противен, сестра!
А она молчала!
Я до утра,
Сидя в углу, наблюдала.

Так, у золотого креста,
На церковной крыше,
Как две летучих мыши,
Шептались две ведьмы.
И та, что была и стара и толста,
Прибавила:
— Хоть это и против правила,
Но будем по утрам встречаться и впредь мы!

1914

Истинный ответ

«Ты умрешь, и большего не требуй!
Благ закон всевидящей Судьбы».
Так гласят, вздымая руки к небу,
Бога Вишну хмурые рабы.
Под кумиром тяжким гнутся зебу,
Выпрямляя твердые горбы.

«Ты живешь, и большего не надо!
Высший дар Судьбой всезрящей дан».
Восклицает буйная менада,

Подымая высоко тимпан.
В роще лавров—тихая прохлада,
Мрамор Вакха—солнцем осиян.

«Жизнь отдать за вечный Рим, в котором
Капля ты,—будь этой доле рад!»
Так оратор, с непреклонным взором,
Говорит под сводами аркад.
Солнце щедро льет лучи на форум,
Тоги белые в лучах горят.

«Эта жизнь—лишь краткий призрак сонный,
Человек! жизнь истинная—там!»
В черной рясе инок изможденный
Вопиет мятущимся векам.
Строги в высь ушедшие колонны,
Сумрачен и беспощаден храм.

«Единенье атомов случайных—
Наша жизнь, смерть—распаденье их».
Рассуждает, фрак надев, о тайнах
Чорт, в кругу учеников своих;
За окном напев звонков трамвайных,
Гул бессвязный шумов городских.

Жрец на зебу, пьяная вакханка,
Римский ритор, пламенный аскет,
Хитрый чорт с профессорской осанкой,
Кто ж из них даст истинный ответ?
Ах, не ты ль, с прозрачным ядом стеклянка?
Ах, не ты ль, отточенный стилет?

1913

В разрушенном Мемфисе

Как царственно в разрушенном Мемфисе,
Когда луна, тысячелетий глаз,
Глядит печально из померкшей выси
На город, на развалины, на нас.

Ленивый Нил плывет, как воды Стикса;
Громады стен проломленных хранят
Следы кирки неистового гикса;
Строг уцелевших обелисков ряд...

Я—скромный гость из молодой Эллады,
И, в тихий час таинственных планет,
Обломки громкого былого рады
Шепнуть пришельцу горестный привет:

«Ты, странник из земли, любимой небом,
Сын племени, идущего к лучам,—
Пусть ты клянешься Тотом или Фебом,
Внимай, внимай, о чужестранец, нам!

«Мы были горды, высились высоко,
И сердцем мира были мы в веках,—
Но час настал, и вот, под бурей Рока,
Погнулись мы и полегли во прах.

«В твоей стране такие же колонны,
Как стебли, капителью расцветут,
Падет пред ними путник удивленный,
Их чудом света люди назовут.

«Но и твои поникнут в прах твердыни,
Чтоб после путники иной страны,
Останки храмов видя средь пустыни,
Дивились им, величьем смущены.

«Быть может, в землях их восстанут тоже
Дворцы царей и капища богов,—
Но будут некогда и те похожи
На мой скелет, простертый меж песков.

«Поочередно скиптр вселенской славы
Град граду уступает. Не гордись,
Пришелец. В мире все на время правы,
Но вечно прав лишь тот, кто держит высь!»

Торжествен голос царственных развалин,
Но, словно Стикс, струится черный Нил.
И диск луны, прекрасен и печален,
Свой вечный путь вершит над сном могил.

1913

Иматра

Кипит, шумит. Она—все та же,
Ее не изменился дух!
Гранитам, дремлющим на страже,
Она ревет проклятья вслух.

И, глыбы вод своих бросая
Во глубь, бела и вспенена,
От края камней и до края,
Одно стремление она.

Что здесь? драконов древних гривы?
Бизонов бешеных стада?
Твой грозный гул, твои извивы
Летят, все те же, сквозь года.

Неукротимость, неизменность,
Желанье сокрушить свой плен
Горят сквозь зыбкую мгновенность
Венчанных радугами пен!

Кипи, шуми, стремись мятежней,
Гуди, седой водоворот,
Дай верить, что я тоже прежний
Стою над распрей прежних вод!

1913

Над Иматрой

Размер ямбического триметра
Мне слышен в гуле вод твоих.

В твоем глухом гуденьи, Иматра,
Есть правильный и строгий стих.

И сосны, в лад с тобой раскачены,
Колебля рыжие стволы,
Слагают гимн, людьми утраченный,
Вам вторя, пенные валы.

Пещеры, откликами смутными
Вливаясь в ваш созвучный хор,
Ведут с громадами минутными
Давно начатый разговор.

И даже дольмены гранитные,
В ответ на ваш немолчный зов,
Возносят песни первобытные,
Клир еле слышных голосов.

Все вкруг, в затишьи и под ветрами,
Под солнцем, при луне, во мгле,
Поет назначенными метрами
Хвалу стоустую Земле!

1913

Закат над морем

Над морем из серого крепа,
На призрачно-розовом шелке,
Труп солнца положен: у склепа
Стоят паруса-богомолки.
Пред ними умерший владыка
Недавно горевшего дня...
Ложатся от алого лика
По водам зигзаги огня.

Вот справа маяк полусонный
Взглянул циклопическим взором;
Весь в пурпуре, диск удлиненный
Совпал с водяным кругозором;

И волн, набегающих с силой,
Угрюмей звучат голоса...
Уже над закрытой могилой,
Померкнув, стоят паруса.

1913

Над Северным морем

Над морем, где древние фризы,
Готовя отважный поход,
Пускались в туман серо-сизый
По гребням озлобленных вод,—

Над морем, что, словно гигантский,
Титанами вырытый ров,
Отрезало берег британский
От нижне-германских лугов,—

Бреду я, в томленьи счастливом
Неясно-ласкающих дум,
По отмели, вскрытой отливом,
Под смутно-размеренный шум.

Волна набегает, узорно
Извивами чертит песок,
И снова отходит покорно,
Горсть раковин бросив у ног;

Летит красноклювая птица,
Глядя на меня без вражды,
И чаек морских вереница
Присела у самой воды;

Вдали, как на старой гравюре,
В тумане уходит из глаз
Привыкший к просторам и к буре
Широкий рыбацкий баркас...

Поют океанские струны
Напевы неведомых лет,
И слушают серые дюны
Любовно-суровый привет.

И кажутся сердцу знакомы
И эти напевы тоски,
И пенные эти изломы,
И влажные эти пески,

И этот туман серо-сизый
Над взрытыми далями вод...
Не с вами ли, древние фризы,
Пускался я в дерзкий поход?

1913

Вечерний Пан

Вечерний Пан исполнен мира,
Не позовет, не прошумит.
Задумчив, на лесной поляне,
Следит, как вечер из потира
Льет по небу живую кровь,
Как берега белеют вновь
В молочно-голубом тумане,
И ждет, когда луч Алтаира
В померкшей сини заблестит.

Вечерний Пан вникает в звуки,
Встающие во мгле кругом:
В далекий скрип пустой телеги,
В журчанье речки у излуки
И в кваканье глухих прудов.
Один, в безлюдии святом,
Он, в сладком онеменьи неги,
Косматые вздымает руки,
Благословляя царство снов.

1914

Вечером в дороге

Кричат дрозды; клонясь, дрожат
Головки белой земляники;
Березки забегают в ряд,
Смутясь, как девы полудикие.

Чем дальше, глубже колеи;
Вот вышла ель в старинной тальме...
Уже прозрачной кисеи
Повисла завеса над далями.

Вновь—вечер на лесном пути,
Во всем с иным, далеким, сходный.
Нет, никуда нам не уйти
От непонятно милой родины!

Чу! не прощанье ль крикнул дрозд?
Клонясь, дрожит Иван-да-Марья.
В просвете—свечи первых звезд
И красный очерк полушария.

1914

Мой маяк

Мадригал

Мой милый маг, моя Мария,—
Мечтам мерцающий маяк.
Мятежны марева морские,
Мой милый маг, моя Мария,
Молчаньем манит мутный мрак...
Мне метит мели мировые
Мой милый маг, моя Мария,
Мечтам мерцающий маяк!

1914

Ф. Сологубу

Триолет

Зев беспощадной орхидеи—
Твой строгий символ, Сологуб.
Влечет изгибом алчных губ
Зев беспощадной орхидеи.
Мы знаем, день за днем вернее,
Что нам непобедимо люб—
Зев беспощадной орхидеи,
Твой строгий символ, Сологуб!

1913

Ночь

Ветки, темным балдахином свешивающиеся,
Шумы речки, с дальней песней смешивающиеся,
Звезды, в ясном небе слабо вздрагивающие,
Штампы роз, свои цветы протягивающие,
Запах трав, что в сердце тайно вкрадывается,
Теней сеть, что странным знаком складывается,
Вкруг луны живая дымка газовая,
Рядом шопот, что поет, досказывая
Клятвы, днем глубоко затаенные,
И еще,—еще глаза влюбленные,
Блеск зрачков при лунном свете белом,
Дрожь ресниц в движении несмелом,
Алость губ, не отскользнувших прочь,
Милых, близких, жданных... Это—ночь!

1915

Туман осенний

Туман осенний струится грустно над серой далью
нагих полей,
И сумрак тусклый, спускаясь с неба, над миром
виснет все тяжелей.

Туман осенний струится грустно над серой далью
в немой тиши,
И сумрак тусклый как будто виснет над темным
миром моей души.

Как будто ветлы стоят над речкой, как будто при-
зрак дрожит близ них...
Иль только клубы дрожат тумана над серой далью
полей нагих?

Как будто птица, качая крылья, одна мелькнула
в немой тиши...
Иль только призрак мелькнул былого над темным
миром моей души?

Здесь было солнце! здесь были нивы! здесь громкий
говор жнецов не тих!
Я помню счастье, и поцелуи, и мной пропетый
звенящий стих!

Туман осенний, плывущий грустно над серой далью
нагих полей,
Свое бесстрастье, свое дыханье, свое молчанье в
меня пролей!

1913

В том же парке

И в том же парке, давнем, старом,
Где, отрок, ранний свой восход
Я праздновал, вверяясь чарам
Бестрепетных озерных вод.

Где я слагал впервые песни,
С мечтой неверной о любви,
Где жизнь все слаще, все чудесней
Шептала в ветре мне: «Живи!»

Я прохожу чрез годы,—годы,
Исполненные бурь и смут,
А вкруг—все тот же блеск природы,
Все тот же ровный бег минут!

Как будто не было безумий,
Поворных и блаженных лет:
Я узнаю в июльском шуме
Былой, торжественный привет.

И мил мне чей-то взор манящий,
И алость чьих-то близких губ,
И дождь, чуть слышно моросящий,
И зелень острохвойных куп!

Вы живы, царственные ели!
Как вы, жива душа моя!
Напрасно бури тяготели
Годин шумящих бытия!

Я—тот же отрок, дерзко-юный,
Вся жизнь, как прежде, впереди,
И кедра сумрачные струны
Мне под дождем поют: «Иди!»

Иду я, полон прежней веры,
К безвестным далям, к новым снам,
И этот день, туманно-серый,
Векам покорно передам.

Он был, он есть,—без перемены
Он будет жить в стихе моем,
Как имя нежное Елены,
Сплетенное с мелькнувшим днем..

1912

Мне вспомнить страшно, вспомнить стыдно
Мои безумные слова,—

Когда, качаясь серповидно,
Тень на стене была жива;

Когда клонилось к телу тело,
Уста искали влажных уст,
И грезе не было предела,
А внешний мир был странно-пуст.

Я верил, или я не верил?
Любил вполне, иль не любил?
Но я земное небом мерил
И небо для земли забыл!

Качались тени. Губы млели,
Светилась тела белизна.
И там, вкруг сумрачной постели,
Была блаженная страна,—

Страна, куда должны причалить
Все золотые корабли,
Где змей желаний сладко жалит
И душен аромат земли!

И не было ни стен, ни комнат,—
Хмель солнца, пьяная трава...
О, неужели мысли вспомнят
Мои безумные слова!

1912

Умершим мир!

Умершим мир! Пусть спят в покое
В немой и черной тишине.
Над нами солнце золотое,
Пред нами волны—все в огне.

Умершим мир! Их память свято
В глубинах сердца сохраним.

Но дали манят, как когда-то,
В свой лиловато-нежный дым.

Умершим мир! Они сгорели,
Им поцелуй спалил уста.
Так пусть и нас к такой же цели
Ведет безумная мечта!

Умершим мир! Но да не встанет
Пред нами горестная тень!
Что было, да не отуманит
Теперь воспламененный день!

Умершим мир! Но мы, мы дышим!
Пока по жилам бьется кровь,
Мы все призывы жизни слышим
И твой священный зов, Любовь!

Умершим мир! И нас не минет
Последний, беспощадный час,
Но здесь, пока наш взгляд не стынет,
Глаза пусть ищут милых глаз!

1914

Сухие листья

Сухие листья, сухие листья,
Сухие листья, сухие листья,
Под тусклым ветром, кружат, шуршат.
Сухие листья, сухие листья,
Под тусклым ветром сухие листья,
Кружась, что шепчут, что говорят?

Трепещут сучья под тусклым ветром;
Сухие листья, под тусклым ветром,
Что говорят нам, нам шепчут что?
Трепещут листья, под тусклым ветром,
Лепечут листья, под тусклым ветром,
Но слов не понял никто, никто!

Меж черных сучьев синеет небо,
Так странно-нежно синеет небо,
Так странно-нежно прозрачна даль.
Меж голых сучьев прозрачно небо,
Над черным прахом синеет небо,
Как будто небу земли не жаль.

Сухие листья шуршат о смерти,
Кружась под ветром, шуршат о смерт
Они блестели, им время тлеть.
Прозрачно небо. Шуршат о смерти
Сухие листья,—чтоб после смерти
В цветах весенних опять блестеть!

1913

Образы времен

Когда святых наук начала
Я постигал во храме Фта,
Меня, я помню, искушала
Твоя земная красота.
Но, согрешив, я с ложа прянул
И богу бездн огни возжег.
Твой облик в дым кадильный канул,
И я тебя вернуть не мог.

Не ты ли перси, как алмазы,
Бросала щедро мне на грудь?
Но финикиец одноглазый
На Рим повел надменный путь.
В смятеньи я твой дом оставил,
Молчал на все мольбы в ответ...
И дал врагу Эмилий Павел
В добычу также мой браслет!

Я, в золотой Антиохии,
Забыв, меж рыцарей других,
К святой земле пути святые,

Был счастлив вздохом уст твоих!
Но, протрубив призыв военный,
Я поднял меч, я поднял щит,
И был мне чужд твой взор надменный,
Когда нас в бой стремил Годфрид!

И в дни, когда в провал кровавый
Свободы призрак толпы вел,
Ты мне сказала: «Все неправы,
Иди за мной, как прежде шел!»
Но зов борьбы, как рев пучины,
Покрыл призывные слова...
И, помню, с плахи гильотины
Моя скатилась голова.

Не кончен древний поединок,—
Он длится в образах времен.
Я—воин, я—поэт, я—инок,
Еще тобой не побежден!
В глухом лесу, в огнях театра,
В случайных встречах, жду тебя:
Явись, предстань, как Клеопатра,
Чтоб вновь Антоний пал, любя!

1912

Баллада о Любви и Смерти

Когда торжественный Закат
Царит на дальнем небосклоне,
И духи пламени хранят
Воссевшего на алом троне,—
Вещает он, воздев ладони,
Смотря, как с неба льется кровь,
Что сказано в земном законе:
Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!

И призраков проходит ряд,
В простых одеждах и в короне:

Ромео, много лет назад
Пронзивший грудь клинком в Вероне:
Надменный триумвир Антоний,
В час скорби меч подъявший вновь;
Пирам и Паоло... В их стоне—
Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!

И я баюкать сердце рад
Той музыкой святых гармоний.
Нет, от любви не охранят
Твердыни и от смерти—брони:
На утре жизни и на склоне
Ее, к томленью дух готовь.
Что день,—безжалостней, мудреней
Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!

Ты слышишь, друг, в вечернем звоне:
«Своей судьбе не прекословь!»
Нам свищет соловей на клене:
«Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!»

1913

Гарибальди

Что сделал ты, кем был, не это важно!
Но ты при жизни стал священным мифом,
В народной памяти звенишь струной протяжной,
Горишь в веках святым иероглифом!

Что свято в слове роковом «свобода»,
Что в слове «родина» светло и свято,
Для итальянского народа
Все в имени твоем объято.

Кто б ни был итальянец: лаццарони,
Купец, поэт, вельможа иль убийца,—
Он склонится, как пред царем в короне,
Пред красным колпаком гарибальдийца.

И в сотнях изваяний ты умножен,
В деревне, в городе, в открытом поле;
Стоишь восторжен и тревожен,
Зовя сограждан к торжеству и к воле;

Но, пламенный трибун и вождь толпы упорный,
При всех паденьях не терявший веры,
Твой пьедестал нерукотворный—
Гранит Капреры!

1913

Три кумира

В этом мутном городе туманов,
В этой тусклой, безрассветной мгле,
Где строенья, станом великанов,
Разместились тесно по земле,—

Попирая, в гордости победной,
Ярость змея, сжатого дугой,
По граниту скачет Всадник Медный,
С царственно протянутой рукой;

А Другой, с торжественным обличьем,
Строгое спокойствие храня,
Упоенный силой и величьем,
Правит скоком сдержанным коня;

Третий, на коне тяжелоступном,
В землю втиснувшем упор копыт,
В полусне, волненью недоступном,
Недвижимо, сжав узду, стоит.

Исступленно скачет Всадник Медный;
Непоспешно едет конь другой;
И сурово, с мощностью наследной,
Третий конник стынет над толпой;—

Три кумира в городе туманов,
Три владыки в безрассветной мгле,

Где строенья, станом великанов,
Разместились тесно по земле.

1913

Последняя война

Свершилось. Рок рукой суровой
Приподнял завесу времен.
Пред нами лики жизни новой
Волнуются, как дикий сон.

Покрыв столицы и деревни,
Взвились, бушуя, знамена.
По пажитям Европы древней
Идет последняя война.

И все, о чем с бесплодным жаром
Пугливо спорили века,
Готова разрешить ударом
Ее железная рука.

Но вслушайтесь! В сердцах стесненных
Не голос ли надежд возник?
Призыв племен порабощенных
Врывается в военный крик.

Под топот армий, гром орудий,
Под ньюпоров гудящий лет,
Все то, о чем мы, как о чуде,
Мечтали, может быть, встает.

Так! слишком долго мы коснели
И длили Валтасаров пир!
Пусть, пусть из огненной купели
Преображенным выйдет мир!

Пусть падает в провал кровавый
Строенье шаткое веков;—

В неверном озареньи славы
Грядущий мир да будет нов!

Пусть рушатся былые своды,
Пусть с гулом падают столбы:—
Началом мира и свободы
Да будет страшный год борьбы!

20 июля 1914

Старый вопрос

Не надо заносчивых слов,
Не надо хвальбы неуместной.
Пред строем опасных врагов
Сомкнемся спокойно и тесно.

Не надо обманчивых грез,
Не надо красивых утопий;
Но Рок подымает вопрос:
Мы кто в этой старой Европе?

Случайные гости? орда,
Пришедшая с Камы и с Оби,
Что яростью дышит всегда,
Все губит в бессмысленной злобе?

Иль мы—тот великий народ,
Чье имя не будет забыто,
Чья речь и поныне поет
Созвучно с напевом санскрита?

Иль мы—тот народ-часовой,
Сдержавший напоры монголов,
Стоявший один под грозой
В века испытаний тяжелых?

Иль мы—тот народ, кто обрел
Двух сфинксов на отмели невской,

Кто миру титанов привел,
Как Пушкин, Толстой, Достоевский?

Да, так, мы—славяне! Иным
Доныне ль наш род ненавистен?
Легендой ли кажутся им
Слова исторических истин?

И что же! священный союз
Ты видишь, надменный германец?
Не с нами ль свободный француз,
Не с нами ль свободный британец?

Не надо заносчивых слов,
Не надо хвальбы величавой,
Мы явим пред ликом веков,
В чем наше народное право.

Не надо несбыточных грез,
Не надо красивых утопий.
Мы старый решаем вопрос:
Кто мы в этой старой Европе?

30 июля 1914

Фламандцам

Народ Верхарна! не напрасно вещий
Тебя прославил: жив твой мощный дух!
Он молнией в дыму сражений блещет,
Он в громе пушек нам вещает вслух.

И, кажется, опять восстал Карл Смелый
Иль Будуэн Железная Рука.
Бой храбрецов с врагом остервенелым
Следят, дивясь величию, века.

Нам не забыть, как ты в любимом Льеже
Свою свободу гордо ограждал.

Твои сыны, как в славном прошлом,—те же:
Поэт дал клятвы, ты их оправдал.

Не пушки, не оружие стальное
Нас делают отважней и сильней:
Любовь к отчизне создает героев
С дней Марафона вплоть до наших дней.

7 августа 1914

Наши дни

Не вброшены ль в былое все мы,
Иль в твой волшебный мир, Уэллс?
Не блещут ли мечи и шлемы
Над стрелами звенящих рельс?

Как будто рыцарские тени
В лучах прожекторов, опять
Летят на буйный пир сражений
Торжествовать и умирать!

Смотря в загадочные дали,
Мы смело ждем безмерных дел,
Вновь подвигов при Ронсевале,
Твоих ударов, Карл Мартелл!

А мерно с Эйфелевой башни
Летит неслышимая речь,
Чтоб все, что ведал день вчерашний,
Для будущих времен сберечь.

Ротационные машины
Стучат как ночью, так и днем,
Чтоб миг не минул ни единый,
Газетным позабыт столбцом.

И сквозь налет ночных туманов,
Как призраки иных веков,

Горят глаза аэропланов
Над светом вражеских костров.

9 августа 1914

Все чаще

Все чаще по улицам Вильно
Мелькает траурный креп.
Жатва войны обильна,
Широк разверзнутый склеп.

Все чаще в темных костелах,
В углу, без сил склонена,
Сидит, в мечтах невеселых,
Мать, сестра иль жена.

Война, словно гром небесный,
Потрясает испуганный мир...
Но все дремлет ребенок чудесный,
Вильно патрон—Казимир.

Все тот же, как сон несказанный,
Как сон далеких веков,
Подымает собор святой Анны
Красоту точеных венцов.

И море все той же печали,
Все тех же маленьких бед,
Шумит в еврейском квартале
Под гулы русских побед.

Сентябрь 1914

Круги на воде

От камня, брошенного в воду,
Далеко ширятся круги.

Народ передает народу
Проклятый лозунг: «мы—враги!»

Племен враждующих не числи:
Круги бегут, им нет числа;
В лазурной Марне, в желтой Висле
Влачатся чуждые тела;

В святых просторах Палестины
Уже звучат шаги войны;
В Анголе девственной—долины
Ее стопой потрясены;

Безлюдные утесы Чили
Оглашены глухой пальбой,
И воды Пе-че-ли покрыли
Флот, не отважившийся в бой.

Везде—вражда! где райской птицы
Воздушный зыблется полет,
Где в джунглях страшен стон тигрицы,
Где землю давит бегемот!

В чудесных, баснословных странах
Визг пуль и пушек ровный рев,
Повязки белые на ранах
И пятна красные крестов!

Внимая дальнему удару,
Встают народы, как враги,
И по всему земному шару
Бегут и ширятся круги!

2 октября 1914

На Карпатах

Уступами всходят Карпаты,
Под ногами тает туман.

Внизу различают солдаты
Древний край—колыбель славян.

Весенним приветом согрета,
Так же тихо дремала страна...
На четыре стороны света
Отсюда шли племена.

Шли сербы, чехи, поляки,
Полабы и разная русь.
Скрывалась отчизна во мраке,
Но каждый шептал: «я вернусь!»

Проносились века и беды,
Не встречался с братьями брат,
И вот, под грохот победы,
Мы снова на склонах Карпат.

Вздохни же ожиданным мигом,
Друзей возвращенных встречай,
Так долго под вражеским игом,
Словно раб, томившийся край.

Засветился день возвращенья,
Под ногами тает туман...
Здесь поставьте стяг единенья
Нашедших друг друга славян!

15 октября 1914

Пора!

Была пора ударить буре,
Расчистить хмурый небосвод.
И вот—нет проблесков лазури,
Гроза гремит, гроза растет.

То не камыш под ветром гнется,—
Твердыни крепостей дрожат;

Не дождь на травы пастбищ льется,—
Стальной стучит по грудям град;

То не деревья, в вихре яром,
На берег рухнули пруда,—
Кругом обгрызаны пожаром,
Лежат в руинах города.

С Атлантики вплоть до Урала
Самумом движутся полки;
Кровь—снег и травы запятнала,
Кровь—замутила ток реки.

На вольных, вечных океанах,
У стен пяти материков,
Мелькают без огня в туманах
Громады боевых судов.

Темны мечты, виденья дики,
Водоворотом схвачен мир.
Везде штыки, винтовки, пики,
Угрозы пушек и мортир.

Гроза «военной непогоды»
Шумит по градам и голям,
Да выйдут древние народы
Из бури к просветленным дням!

Пусть громы пробушуют в небе,
Огнь молний пусть прожжет сердца,—
И пусть узнают все свой жребий,
Свою судьбину—до конца!

Октябрь—декабрь 1914

Поле битвы

Залито поле, как золотом,
Щедрым посевом патронов.

Вдалеке, как гигантским молотом,
Расколоты гребни склонов.

На холмике ждет погребения,
Ниц повергнуто, тело солдата.
Слабый запах тления,
А в руке письмо зажато.

Рядом тела лошадиные:
Оскалены зубы, изогнуты шеи...
Ах, не труды ль муравьиные
Эти валы, окопы, траншеи?

Видел я: меж винтовок раздробленных
Лежит с дневником тетрадка;
Сколько тайных надежд обособленных
В нее вписывал кто-то украдкой!

Манерки, ранцы, зарядные
Ящики, крышки шрапнелей,
И повсюду воронки громадные
От снарядов, не достигших цели.

Брожу меж обломков, гадательно
Переживая былые моменты.
А вдали взвод солдат, старательно,
Убирает пулеметные ленты.

Ноябрь—декабрь 1914

Западный фронт

От Альп неподвижных до Па-де-Кале
Как будто дорога бежит по земле;
Протянута лентой бесцветной и плоской,
Прорезала Францию узкой полоской.
Все мертво на ней: ни двора, ни куста;
Местами—два-три деревянных креста,

Местами—развалины прежних строений,
Да трупы, да трупы—тела без движений!

От Альп неподвижных до Па-де-Кале
Как будто дорога бежит по земле;
И справа и слева, на мили, на мили,—
Валы и окопы ее обтеснили.
С них рушатся гулко, и ночью и днем,
Удары орудий, как сумрачный гром,
И мерно сверкают под эти раскаты
То белые вспышки, то свет розоватый.

От Альп неподвижных до Па-де-Кале
Как будто дорога бежит по земле;
Прошла, разделила две вражеских рати
И стала дорогой вражды и проклятий.
Сменяются дни; но, настойчиво, вновь
Здесь блещут штыки, разливается кровь,
И слушают люди, сгрудясь в миллионы,
Лязг сабель, свист пуль и предсмертные стоны.

30 ноября 1914

ИЗ НЕИЗДАННОЙ КНИГИ
ДЕВЯТАЯ КАМЕНА
1916 — 1917

Из неизданной книги

ДЕВУШКА КАМЕНА

1916 — 1917

В Баку

Стыдливо стучатся о пристань валы
Каспийского моря,
Подкрашенной пеной—и выступ скалы
И плиты узоря.

На рейде ряды разноцветных судов
Качаются кротко,
И мирно дрожит на волненьи валов
Подводная лодка.

Сплетается ветер с январьским теплом,
Живительно свежий,
И ищет мечта, в далеке голубом,
Персидских прибрежий.

Там розы Шираза, там сад Шах-Намэ,
Газели Гафиза...
И грезы о прошлом блистают в уме,
Как пестрая риза.

Привет тебе, дальний и дивный Иран,
Ты, праотец мира,—
Где некогда шли спарапеты армян
За знаменем Кира...

Но мирно на рейде трепещут суда
С шелками, с изюмом;

Стыдливо о пристань стучится вода
С приветливым шумом.

На улице быстрая смена толпы,
Случайных собратий,
И гордо стоят нефтяные столпы
На Биба-Эйбате.

1916

Баку

Холодно Каспию, старый ворчит:
Длится зима утомительно-долго.
Норд, налетев, его волны рябит;
Льдом его колет любовница-Волга!

Бок свой погреет усталый старик
Там, у горячих персидских предгорий...
Тщетно! вновь с севера ветер возник,
Веет с России метелями... Горе!

Злобно поднимет старик-исполин
Дряхлые воды,—ударит с размаху,
Кинет суда по простору пучин...
То-то матросы натерпятся страху!

Помнит старик, как в былые века
Он широко разлегался на ложе...
Волга-Ахтуба была не река,
Моря Азовского не было тоже;

Все эти речки: Аму, Сыр-Дарья,
Все, чем сегодня мы карты узорим,
Были—его побережий семья;
С Черным, как с братом, сливался он морем!

И, обойдя сонм Кавказских громад,
Узким далеко простершись проливом,

Он омывал вековой Арарат,
Спал у него под челом горделивым.

Ныне увидишь ли старых друзей?
Где ты, Масис, охранитель ковчега?
Так же ли дремлешь в гордыне своей?
—Хмурится Каспий, бьет в берег с разбега.

Все здесь и чуждо и ново ему:
Речки, холмы, города и народы!
Вновь бы вернуться к былому, к тому,
Что он знавал на рассвете природы!

Видеть бы лес из безмерных стволов,
А не из этих лимонов да лавров!
Ждать мастодонтов и в глуби валов
Прятать заботливо ихтиозавров!

Ах, эти люди! Покинув свой прах,
Бродят они средь зыбей и в туманах,
Режут валы на стальных скорлупах,
Прыгают в высь на своих гидропланах!

Все ненавистно теперь старику!
Все б затопить, истребить, обесславить,—
Нивы, селенья и это Баку,
Что его прежние глуби буравит!

1917

В Тифлисе

Увидеть с улицы грохочущей
Вершины снежных гор,—
Неизъяснимое пророчащий
Зазубренный узор;

Отметить монастырь, поставленный
На сгорбленный уступ,

И вдоль реки, снегами сдавленной,
Ряд кипарисных куп;

Вступив в толпу многоодежную,
В шум разных языков,
Следить чадру, как дали, снежную,
Иль строгий ход волов;

Смотреть на поступи верблюжие
Под зеркалом-окном,
Где эталажи неуклюжие
Сверкают серебром;

Пройдя базары многолюдные,
С их криком без конца,
Разглядывать остатки скудные
Грузинского дворца;

В мечтах восставить над обломками
Пленителей молвы:
Тамары век с делами громкими
И век Саят-Новы;

Припоминать преданья пестрые,
Веков цветной узор,—
И заглядеться вновь на острые
Вершины снежных гор.

1916

К Арарату

Благодарю, священный Хронос!
Ты двинул дней бесцветных ряд,—
И предо мной свой белый конус
Ты высишь, старый Арарат.

В огромной шапке Мономаха,
Как властелин окрестных гор,

Ты взнесся от земного праха
В свободно-голубой простор.

Овеян ласковым закатом
И сизым облаком повит,
Твой снег сияньем розоватым
На кручах каменных горит.

Внизу, на поле каменистом,
Овец ведет пастух седой,
И длинный посох, в свете мглистом,
Похож на скипетр вековой.

Вдали—убогие деревни,
Уступы, скалы, камни, снег...
Весь мир кругом—суровый, древний,
Как тот, где опочил ковчег.

А против Арарата, слева,
В снегах, алея, Алагяз,
Короной венчанная дева,
Со старика не сводит глаз.

1916

Победа при Каррах

Забыть ли час, когда у сцены,
Минуя весь амфитеатр,
Явился посланный Сурены,
С другой, не праздничной арены,—
И дрогнул радостью театр!

Актер, играя роль Агавы,
Из рук усталого гонца
Поспешно принял символ славы,
Трофей жестокий и кровавый
С чертами римского лица.

Не куклу с обликом Пенфея,
Но вражий череп нес Ясон!
Не лживой страстью лицедея,
Но правым гневом пламенея,
Предстал пред зрителями он.

Подобен воинскому кличу
Был Еврипида стих живой:
«Мы, дедовский храня обычай,
Несем из гор домой добычу—
Оленя, сбитого стрелой!»

Катясь, упала на подмостки,
Надменный Красс, твоя глава.
В ответ на стук глухой и жесткий
По всем рядам, как отголоски,
Прошла мгновенная молва.

Все понял каждый. Как в тумане,
Вдали предстало поле Карр
И стяг армянский в римском стане...
И грянул гул рукоплесканий,
Как с неба громовой удар.

В пыланьи алого заката
Под небом ясно-голубым,
Тем плеском, гордостью объята,
Благодарила Арташата
Царя, унизившего Рим.

1916

К армянам

Да! Вы поставлены на грани
Двух разных, спорящих миров,
И в глубине родных преданий
Вам слышны отзвуки веков.

Все бури, все волненья мира,
Летя, касались вас крылом,—
И гром глухой походов Кира,
И Александра бранный гром.

Вы низили, в смятеньи стана,
При Каррах, римские значки;
Вы за мечом Юстиниана
Вели на бой свои полки;

Нередко вас клонили бури,
Как вихри—нежный цвет весны,—
При Чингиз-Хане, Ленгтимуре,
При мрачном торжестве Луны.

Но,—воин стойкий,—под ударом
Ваш дух не уступал Судьбе;
Два мира вкруг него недаром
Кипели, смешаны в борьбе.

Гранился он, как твердь алмаза,
В себе все отсветы храня:
И краски нежных роз Шираза,
И блеск Гомерова огня.

И уцелел ваш край Наирский
В крушеньях царств, меж мук земли:
Вы за оградой монастырской
Свои святыни сберегли.

Там, откровенья скрыв глубоко,
Таила скорбная мечта
Мысль Запада и мысль Востока,
Агурамазды и Христа,—

И,—ключ божественный услады,
Нетленный в переменах лет,—
На светлом пламени Эллады
Зажженный—ваших песен свет!

И ныне, в этом мире новом,
В толпе мятущихся племен,
Вы встали—обликом суровым
Для нас таинственных времен.

Но то, что было—вечно живо!
В былом—награда и урок.
Носить вы вправе горделиво
Свой многовековый венок.

А мы, великому наследью
Дивясь, обеты слышим в нем...
Так! Прошлое тяжелой медью
Гудит над каждым новым днем.

И верится, народ Тиграна!
Что, бурю вновь преодолев,
Звездой ты выйдешь из тумана,
Для новых подвигов созрев,

Что вновь твоя живая лира,
Над камнями истлевших плит,
Два чуждых, два враждебных мира
В напеве высшем съединит!

1916

Тридцатый месяц

Тридцатый месяц, в нашем мире
Война взметает алый прах,
И кони черные валькирий
Бессменно мчатся в облаках!

Тридцатый месяц, Смерть и Голод,
Бродя, стучат у всех дверей:
Клеймят, кто стар, клеймят, кто молод,
Детей в объятьях матерей!

Тридцатый месяц, бог Европы,
Свободный Труд—порабощен:
Он роет для войны окопы,
Для смерти льет снаряды он!

Призывы светлые забыты
Первоначальных дней борьбы:
В лесах грызутся троглодиты
Под барабан и зов трубы!

Достались в жертву суесловью
Мечты порабощенных стран:
Тот опьянел бездонной кровью,
Тот золотом безмерным пьян...

Борьба за право стала бойней;
Унижен, Идеал поник...
И все нелепей, все нестройней
Крик о победе, дикий крик!

А Некто темный, Некто властный,
Событий нити ухватив,
С улыбкой дьявольски-бесстрастной
Длит обескрыленный порыв.

О, горе! Будет! будет! будет!
Мы хаос развязали. Кто ж
Решеньем роковым рассудит
Весь этот ужас, эту ложь?

Пора отвергнуть призрак мнимый,
Понять, что подменили цель...
О, счастье,—под напев любимый,
Родную зыблить колыбель!

Февраль 1917

Освобожденная Россия

Освобожденная Россия,—
Какие дивные слова!
В них пробужденная стихия
Народной гордости—жива!
Как много раз в былые годы
Мы различали властный зов:
Зов обновленья и свободы,
Стон-вызов будущих веков!

Они, пред нами стоя, грозно
Нас вопрошали: «Долго ль ждать?
Пройдут года, и будет поздно!
На сроках есть своя печать.
Пусть вам тяжелый жребий выпал:
Вы ль отречетесь от него?
По всем столетьям рок рассыпал
Задачи, труд и торжество!»

Кто, кто был глух на эти зовы?
Кто, кто был слеп средь долгой тьмы?
С восторгом первый гул суровый,—
Обвала гул признали мы.
То, десять лет назад, надлома
Ужасный грохот пробежал...
И вот теперь, под голос грома,
Сорвался и летит обвал!

И тем, кто в том работал,—слава!
Недаром жертвы без числа
Россия, в дни борьбы кровавой
И в дни былого, принесла!
Недаром сгибли сотни жизней
На плахе, в тюрьмах и в снегах!
Их смертный стон был гимн отчизне,
Их подвиг оживет в веках!

Как те, и наше поколенье
Свой долг исполнило вполне,
Блажен, въявь видевший мгновенья,
Что прежде грезились во сне!
Воплощены сны вековые
Всех лучших, всех живых сердец:
Преображенная Россия
Свободной стала,—наконец!

Март 1917

В мартовские дни

Мне жалко, что сегодня мне не пятнадцать лет,
Что я не мальчик дерзкий, мечтательный поэт,
Что мне не светит в слове его начальный свет!

Ах, как я ликовал бы, по-детски опьянен,
Встречая этот праздник, ступень иных времен,
Под плеском красных флагов,—увенчанных знамен!

Пусть радостью глубокой душа моя полна,
Но в чувстве углубленном нет пьяности вина,
Оно—не шторм весенний, в нем глубина—ясна.

Да, многое погибло за сменой дней-веков:
Померк огонь алмазный в сверканьи многих слов,
И потускнели краски не раз изжитых снов.

Душа иного алчет. На медленном огне
Раскалены, сверкают желания на дне.
Горит волкан подводный в безмолвной глубине.

Прошедших и грядущих столетий вижу ряд:
В них наши дни впадают, как в море водопад,
И память рада слышать, как волны волн шумят!

Приветствую Свободу... Чего ж еще хотеть?
Но в золотое слово влита, я знаю, медь:
Оно, звуча, не может, как прежде, мне звенеть!

Приветствую Победу... Свершился приговор!..
Но, знаю, скрыт в засаде губительный Раздор:
Блеск роковой кинжала мой различает взор.

Душа полна: я счастлив сегодня вставшим днем...
Но где-то, как былые чертоги под холмом,
Сверкают сны, что снились в кипеньи молодом!

И втайне жаль, что нынче мне не пятнадцать лет,
Чтоб славить безраздумно, как юноша-поэт,
Мельканье красных флагов и красный, красный цвет!

Март 1917

Парус и чайка

То поспешно парус складывая,
То бессильно в бездну падая,
Напряженно режа волны,
Утомленный реет челн.

Но, свободно гребни срезывая,
Рядом вьется чайка резвая,
К тем зыбям летя смелее,
Где смятенье волн белей.

Вижу, не без тайной горечи,
Кто властительней, кто зорче!
Знаю: взор вонзивши рысий,
Птица мчит добычу в высь.

1917

Счастие уединения

На побережьи речки быстрой
Свой дом в уединеньи выстрой,
В долу, что защищен отвесом
Зеленых гор и красных скал,
Поросших, по вершинам, лесом
Тяжелых многошумных буков,

Где в глубине не слышно звуков,
Где день, проникнув, задремал.

Как некий чин богослужебный,
Свершать, в рассветный час, молебны
Ты будешь—мерностью напева
Хвалебных гимнов, строгих строф;
Потом, без ропота и гнева,
До зноя, выполнять работу,
Чтоб днёвную избыть заботу,
Носить воды, искать плодов.

Чем утро будет многотрудней,
Тем слаще будет о полудне
Вкушать, по трапезе недлинной,
Покой святой, за мигом миг,
Иль мыслью вольно-самочинной,
Под сенью царственного кедра,
Вскрывать обманчивые недра
Припомнившихся мудрых книг.

Но только жар недолгий свалит,
И предзакатный луч ужалит
Зубцы знакомого утеса,
А по траве прореет тень,—
Пойдешь ты на уклон откоса,
Куда на голос человечий,
Привычной ожидая встречи,
Из рощи выбежит олень.

Вечерняя прокличет птица;
Мелькнет поблизости орлица,
С зайченком в вытянутых лапах,
Летя в гнездо, на скальный скат;
И разольется пряный запах
Обрызганных росой растений,
Да явственней вдали, сквозь тени,
Заропщет горный водопад.

В тот час наград и час возмездий,
Встречая чистый блеск созвездий,
Вдвоем с широкорогим другом,
Три чаши благ ты будешь пить:
В безлюдьи властвовать досугом,
Петь вдохновенней и чудесней
Никем не слышимые песни,
И с женщиной снов не делить!

1916

Ночные страхи

И бездна нам обнажена,
С своими страхами и мглами
И нет преград меж ей и нами
Вот отчего нам ночь страшна

Ф. Тютчев

Как золото на черни,
Блестит во мгле вечерней
Диск маятника; стук
Минут в тиши размерней.
Невольно—суеверней
Глядишь во мрак, вокруг.

Ночь открывает тайны.
Иной необычайный,
Встал мир со всех сторон,
Безмерный и бескрайный...
И страхи не случайны,
Тревожащие сон.

Те страхи—груз наследий
Веков, когда медведи
Царили на земле;
Когда, копьем из меди
Наметив, о победе
Мы спорили во мгле;

Когда во тьме пещеры
Шагов ночной пантеры
Страшился человек...
И древние химеры
В преданьях смутной веры
Хранит доныне век.

1916

Петру Ивановичу Постникову

Что в протоплазме зыблил океан,
Что древле чувствовал летучий ящер,
В чем жизнь была первичных обезьян,—
Все ты впитал в себя, мой давний пращур!

И плоть живую передал ты мне,
Где каждый мускул, все суставы, кости
Гласят, как знак, о грозной старине,
О тех, что спят на мировом погосте.

Наследие бесчисленных веков,
Мое так мудро слепленное тело!
Ты—книга, где записано без слов
То прошлое, что было и истлело.

Ты говоришь про жизнь в морских волнах,
Про ползанье, летанье, о трехглазом
Чудовище, о гнездах на ветвях...
Блажен, кто слух склонил к твоим рассказам!

Блажен, кто понял, вещее, тебя
И, видя человеческую бренность,
Умеет в ней разгадывать, любя,
Природы беспредельной неизменность!

Завидую тому, кто, острый взор
Склонив на эти связки, эти вены,—

За ними видит мировой простор
И вечной жизни радостные смены!

1916

Десятая часть

Безбрежность восторга! бездонность печали!
Твои неизмерные пропасти, страсть!
Из них открывается в жизни—едва ли
Десятая часть!

А если нас горе и счастье венчали,
Все в прошлое пало, как в алчную пасть,
И в памяти скудно хранится—едва ли
Десятая часть!

Мы жили, любили, искали, встречали,
Чтоб верить и плакать, чтоб славить и клясть;
Но радостных встреч нам досталась—едва ли
Десятая часть!

Нас миги любви, как качели, качали;
Взлетали мы к небу, чтоб жалко упасть...
Но, в перечне длинном, взлетаний—едва ли
Десятая часть!

Что ж пряжу мгновений, теперь, как в начале,
Еще мы упорно стараемся прясть?
Совьется желаемой нити—едва ли
Десятая часть!

И пусть мы, певцы, о себе не молчали!
Что может и песен певучая власть?
Всех мук уцелеет в напеве—едва ли
Десятая часть!

1916

ИЗ КНИГИ

ПОСЛЕДНИЕ МЕЧТЫ

1917—1919

ПОСЛЕДНИЕ МЕЧТЫ

ИЗ КНИГИ

1917—1918

В горнем свете

Я сознаю, что постепенно
Душа истаивает. Мгла
Ложится в ней. Но, неизменно,
Мечта свободная—светла!

Бывало, жизнь мутили страсти,
Как черный вихрь морскую гладь;
Я, у враждебных чувств во власти,
То жаждал мстить, то мог рыдать.

Но, как орел в горах Кавказа,
За кругом круг, уходит в высь,
Чтоб скрыться от людского глаза,—
Желанья выше вознеслись.

Я больше дольных смут не вижу,
Ничьих восторгов не делю;
Я никого не ненавижу
И,—страшно мыслить,—не люблю!

Но, с высоты полета,—бездны
Открыты мне былых веков:
Судьбы мне внятен ход железный
И вопль умолкших голосов;

Прошедшее, как дно морское,
Узором стелется вдали;

Там баснословных дней герои
Идут, как строем корабли.

Вникая в смысл тысячелетий,
В заветы презренных наук,
Я словно слышу, в горнем свете,
Планетных сфер певучий звук;

И, прежнему призванью верен,
Тот звук переливаю в стих,
Чтоб он, отчетлив и размерен,
Пел правду новых снов моих!

1918

Пророчества весны

В дни отечества, я пророчествам
Весны восторженно внимал:
За первым праздничным подснежником,
Блажен пьянящим одиночеством,
В лесу, еще сыром, блуждал.

Как арка, небо над мятежником
Синело майской глубиной,
И в каждом шорохе и шелесте,
Ступая вольно по валежникам,
Я слышал голос над собой.

Все пело, полно вешней прелести:
«Живи! люби! иди вперед!
Ищи борьбы, душа крылатая,
И как Самсон из львиной челюсти,
Добудь из грозной жизни—мед!»

И вновь весна, но—сорок пятая...
Все тот же вешний блеск вокруг:
Все так же глубь небес—божественна;
Все та ж листва, никем не смятая;
Как прежде, свеж и зелен луг!

Весна во всем осталась девственной:
Что для земли десятки лет!
Лишь я принес тоску случайную
На праздник радости естественной,—
Лишь я—иной, под гнетом лет!

Что ж! Пусть не мед, а горечь тайную
Собрал я в чашу бытия!
Сквозь боль души, весну приветствую,
И на призыв весны ответствую,
Как прежде, светлой песней я!

1918

Ожерелья дней

Пора бы жизнь осмыслить, подытожить,
Уже в былом—сороковой порог,
И, если дни на счет годов помножить,
Пятнадцать тысяч превзойдет итог.

Но эти тысячи, порой несчастных,
Порой счастливых, пережитых дней,—
Как ожерелья—белых, синих, красных,
Зеленых, желтых, всех цветов огней!

И эти бусы жгут и давят шею,
По телу разливают смертный яд.
Я погасить их пламя не умею,
И в ночь и днем они меня язвят...

Какие камни сбросить мне? Не вас ли,
Рубины алые, где тлеет страсть?
Беру их в руку... Но давно погасли,
Как жемчуга, они. За что ж их клясть?

Так вас, быть может, жаркие алмазы:
Вас, тайные, преступные мечты?
Нет! В ясном свете вы—слепые стразы,
Обманный блеск поддельной красоты!

Так вас тогда, глубокие опалы,
Воспоминанья скорби и могил?
Нет, нет! И вы—цветок уже завялый,
И ваш огонь стал мертвым и остыл!

А вы, исканья бога—аметисты,
И вы, сапфиры вдумчивых стихов!
Сверкал из вас, в былом, огонь лучистый,
Но вы теперь—лишь груз холодных слов!

Так что ж горит? Вы, скромные агаты,
Ты, нежная святая бирюза?
Ты, гиацинт?—случайные утраты,
Мелькнувшие в вечерней мгле глаза?

Сны недовиденные, встреч мгновенных,
Губ недоласканных прощальный суд?
Что жжет еще меж зерен драгоценных?
Смарагд, топаз, лалл, оникс, изумруд?

Всмотрюсь—и блекнет блеск великрлепий:
На белых нитях—только тусклый груз...
Но эти нити сжали жизнь, как цепи,
Палят, как угли, сочетанья бус!

И жаль порвать уборы ожерелий:
Палим, любуюсь ими я в тиши...
Пусть каждый камень—мертв, они горели,
Горят и ныне—факелом души!

1917

Работа

Единое счастье—работа,
В полях, за станком, за столом:
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счета,—
Часы за упорным трудом!

Иди неуклонно за плугом,
Рассчитывай взмахи косы,
Клонись к лошадиным подпругам,
Доколь не заблещут над лугом
Алмазы вечерней росы!

На фабрике, в шуме стозвонном
Машин, и колес, и ремней,
Заполни, с лицом непреклонным,
Свой день, в череду миллионном
Рабочих, преемственных дней!

Иль,—согнут над чистой страницей,—
Что сердце диктует, пиши:
Пусть небо зажжется денницей,—
Всю ночь выводи вереницей
Заветные тени души!

Посеянный хлеб разойдется
По миру; с гудящих станков
Поток животворный польется;
Печатная мысль отзовется
Во глуби бессчетных умов.

Работай! Незримо, чудесно
Работа, как сев, прорастет.
Что станет с плодами,—безвестно,
Но благостно, влагой небесной,
Труд всякий падет на народ.

Великая радость—работа,
В полях, за станком, за столом!
Работай до жаркого пота,
Работай без лишнего счета,
Все счастье земли—за трудом!

1917

Пока есть небо...

Пока есть небо, будь доволен!
Пока есть море, счастлив будь!
Пока простор полей раздолен,
Мир славить песней не забудь!

Пока есть горы, те, что к небу
Возносят пик над пеньем струй,
Восторга высшего не требуй
И радость жизни торжествуй!

В лазури облака белеют
Иль туча темная плывет;
И зыби то челнок лелеют,
То клонят мощный пакетбот;

И небеса по серым скатам
То золотом зари горят,
То блещут пурпурным закатом
И лед вершинный багрянят;

Под ветром зыблемые нивы
Бессчетных отсветов полны,
И знают дивные отливы
Снега под отблеском луны.

Везде—торжественно и чудно,
Везде—сиянья красоты,
Весной стоцветно-изумрудной,
Зимой в раздольях пустоты;

И в городе, в кирпичной чаще,
Все те же краски без числа
Струятся с высоты, палящей
Лучом победным купола.

1917

Тусклая картинка

Под небом тускло-синеватым,
Ограждена зеленым скатом
С узором белых повилик,
Река колеблет еле-внятно
По синеве стальные пятна
И зыби цвета «электрик».

Обрывки серых туч осели
К вершинам изумрудных елей
И загнутым плащам листвы;
А, ближе, ветер—обессилен
И слабо реет вдоль извилин
Болотно-матовой травы.

Черты дороги—чуть заметны,
Но к ним, как веер многоцветный,
Примкнули кругозоры нив:
Желтеет рожь, красна гречиха,
Как сталь—овес, и льется тихо
Льна синеватого разлив.

1916

Зов автомобиля

Призыв протяжный и двухнотный
Автомобильного гудка...
И снова манит безотчетно
К далеким странствиям—тоска.

То лесом, то в полях открытых,
Лететь, бросая версты вспять;
У станций, старых, позабытых,
Раскинув лагерь, отдыхать!

Когда в дороге лопнет шина,
Стоять в таинственном лесу,

Где сосны, да кусты, да глина,—
А солнце серебрит росу.

А в холод, в поле незнакомом,
От ветра кроясь за стеклом,
Смотреть, как вихрь над буреломом
Бросает новый бурелом.

Иль ночью, в дерзостном разбеге,
Прорезывая мглу полей,
Без мысли об ином ночлеге,
Дремать под трепет фонарей!

Скользя, как метеор, деревней,
Миг жизни видеть невзначай,
И встречным прогудеть напевней,
Чем голос девушки: «Прощай!»

И, смелые виражи в поле
Срезая, вновь взлетать на склон,
И вновь гудеть, и жить на воле
Кентавром сказочных времен!

1917

Снежная Россия

За полем снежным—поле снежное,
Безмерно-белые луга;
Везде—молчанье неизбежное,
Снега, снега, снега, снега!

Деревни кое-где расставлены,
Как пятна в безднах белизны:
Дома сугробами задавлены,
Плетни под снегом не видны.

Леса вдали чернеют, голые,—
Ветвей запутанная сеть.

Лишь ветер песни невеселые
В них, иней вея, смеет петь.

Змеится путь, в снегах затерянный:
По белизне—две борозды...
Лошадка рысью неуверенной
Новит чуть зримые следы.

Но скрылись санки—словно, белая,
Их поглотила пустота;
И вновь равнина опустелая
Нема, беззвучна и чиста.

И лишь вороны, стаей бдительной,
Порой над пустотой кружат,
Да вечером, в тиши томительной,
Горит оранжевый закат.

Огни лимонно-апельсинные
На небе бледно-голубом
Дрожат... Но быстро тени длинные
Закутывают все кругом.

1917

Мировой кинематограф

В годину бед, когда народной вере
Рок слишком много ставит испытаний,—
В безмерном зале мировых преданий
Проходят призраки былых империй,
Как ряд картин на световом экране.

По Нилу мчится барка Сына Солнца;
До неба всходят башни Вавилона;
Перс возвещает землям волю с трона:—
Но дерзко рушат рати Македонца
Престол Царя Царей и Фараона.

Выходят римляне, сурово-строги.
Под стук мечей куется их держава,
И кесарских орлов не меркнет слава.
Бегут в пустынях римские дороги,
Народы рабствуют в оковах права.

Пирует Рим, льет вина, множит яства...
Вдруг варвары, как буря, злы и дики,
Спадают с гор, крушат все в яром крике,
И, вновь пленен мечтой миродержавства,
Свой трон в руинах ставит Карл Великий.

Потом самумом пролетают в мире
Арабы, славя свой коран: монголы
Несметным сонмом топчут высь и долы...
Над царством царства вырастают шире...
Сверкает Бонапарта меч тяжелый...

Но, жив и волен, из глухих крушений
Выходит строй народов грозно-длинный:
Евреи, эллины, германцы, финны,
Славяне, персы, италийцы,—тени,
Восставшие, чтоб спеть свой гимн старинный.

О, сколько царств, сжимавших мир! Природа
Глядит с улыбкой на державства эти:
Нет, не цари—ее родные дети!
Пусть гибнут троны, только б дух народа,
Как феникс, ожил на костре столетий!

1918

Дама треф

Я знаю, что вы—старомодны,
Давно и не девочка вы.
Вы разбросили кудри свободно
Вдоль лица и вкруг головы.

Нашел бы придирчивый критик,
Что напрасно вы—в епанче,
Что смешон округленный щитик
У вас на правом плече,

Что, быть может, слишком румяны
Краски у вас на губах и щеке,
И что сорван просто с поляны
Цветок в вашей правой руке.

Со скиптром и странной державой,
Ваш муж и стар, и сед,
А смотрит слишком лукаво
На вас с алебардой валет.

Но зато вы—царица ночи,
Ваша масть—чернее, чем тьма,
И ваши подведенные очи
Любовь рисовала сама.

Вы вздыхать умеете сладко,
Приникая к подушке вдвоем,
И готовы являться украдкой,
Едва попрошу я о том.

Чего нам еще ждать от дамы?
Не довольно ль быть милой на миг?
Ах, часто суровы, упорны, упрямы
Дамы черв, бубен и пик!

Не вздыхать же долгие годы
У ног неприступных дев!
И я из целой колоды
Люблю только даму треф.

1917

Библиотеки

Власть, времени сильней, затаена
В рядах страниц, на полках библиотек:
Пылая факелом во мгле, она
Порой язвит, как ядовитый дротик.

В былых столетьях, чей-то ум зажег
Сверканье,—и оно доныне светит!
Иль жилы тетивы напрячь возмог,—
И в ту же цель стрела поныне метит!

Мы дышим светом отжитых веков,
Вскрывающих пред нами даль дороги,
Повсюду отблеск вдохновенных слов,—
То солнце дня, то месяц сребророгий!

Но нам дороже золотой колчан
Певучих стрел, завещанный в страницах:
Оружие для всех времен и стран,
На всех путях, на всех земных границах.

Во мгле, куда суд жизни не достиг,
Где тени лжи извилисты и зыбки,—
Там дротик мстительный бессмертных книг,
Веками изощрен, бьет без ошибки.

1917

Библия

О, книга книг! Кто не изведал,
В своей изменчивой судьбе,
Как ты целишь того, кто предал
Свой утомленный дух—тебе!

В чреде видений неизменных,
Как совершенна и чиста
Твоих страниц проникновенных
Младенческая простота!

Не меркнут образы святые,
Однажды вызваны тобой:
Пред Евой—искушенье змия,
С голубкой возвращенной—Ной!

Вот, в страшный час, в горах, застыли
Отец и сын, костер сложив;
Жив облик женственной Рахили,
Израиль-богоборец—жив!

И кто, житейское отбросив,
Не плакал, в детстве, прочитав,
Как братьев обнимал Иосиф
На высоте честей и слав!

Кто проникал, не пламенея,
Веков таинственную даль,
Познав сиянье Моисея,
С горы несущего скрижаль!

Резец и карандаш, и кисти,
И струны, и певучий стих—
Еще светлей, еще лучистей
Творят ряд образов твоих.

Какой поэт, какой художник
К тебе не приходил, любя?
Еврей, христианин, безбожник,
Все, все учились у тебя!

И сколько мыслей гениальных
С тобой невидимо слиты:
Сквозь блеск твоих страниц кристальных
Нам светят гениев мечты.

Ты вечно новой, век за веком,
За годом год, за мигом миг,
Встаешь,—алтарь пред человеком,
О, Библия! о, книга книг!

Ты—правда тайны сокровенной,
Ты—откровенье, ты—завет,
Всевышним данный всей вселенной
Для прошлых и грядущих лет!

1918

Голос иных миров

Пусть мучит жизнь, и день, что прожит,
Отзвучьем горьких дум тревожит,
И думу скорбь коварно гложет,—
Взгляни в ночные небеса,
Где пала звездная роса,
Где млечный путь, как полоса,
Пролег и свет на светы множит;
Вглядись покорно в чудеса,—
И вечность нежно уничтожит
В тебе земные голоса,
Бессонной памяти положит
Повязку мрака на глаза;
Застынет, не упав, слеза,
И миг в безбрежном изнеможет.

Целит священная безбрежность
Всю боль, всю алчность, всю мятежность,
Смиряя властно безнадежность
Мечтой иного бытия!
Ночь, тайн созданья не тая,
Бессчетных звезд лучи струя,
Гласит, что с нами рядом—смежность
Других миров, что там—края,
Где тоже есть любовь и нежность,
И смерть и жизнь,—кто знает, чья?
Что небо—только порубежность
Планетных сфер, даль—колея,
Что сонмы солнц и наше «я»
Влечет в пространство—Неизбежность!

1917

О себе самом

Хвала вам, девяти каменам!
Пушкин

Когда мечты любви томили
Ребенка, он, впивая их,
Влил в дерзкой книге «Ювенилий»
Свой ранний опыт в робкий стих.

И сны искусств мечтам предстали:
Японский штрих, французский севр,
Веков, в огне багряном, дали,—
И создал твердый стих «Chefs d'Œuvre».

И трепет неземных предчувствий
Средь книг и беглых встреч тая,
Я крылий снам искал в искусстве
И назвал книгу: «Это—я».

Но час настал для «Третьей Стражи».
Я, в шуме улиц, понял власть
Встающих в городе миражей,
Твоих звенящих зовов, страсть!

Изведав мглы блаженств и скорби,
Победы пьяность, смертный страх,
Я мог надменно «Urbi et Orbi»
Петь гимн в уверенных стихах.

Когда ж в великих катастрофах
Наш край дрожал, и кликал Рок,—
Венчая жизнь в певучих строфах,
Я на себя взложил «Венок».

Впервые юноши и девы
Приветом встретили певца,
И он слагал им «Все Напевы»,
Пленяя, тайной слов, сердца.

Но зорким взором и спокойно
Я озарил сцепленья дней,
Чтоб пред людьми, в оправе стройной,
Поставить «Зеркало Теней».

И ждал себе одной награды,—
Предаться вновь влеченью снов,
И славить мира все услады
И «Радуги» все «Семь Цветов»!

Но гром гремит. Молчать—измена,
До дна взволнован мой народ...
Ужель «Девятая Камена»
Победных песен не споет?

А вслед? Конец ли долгим сменам?
Предел блужданьям стольких лет?
«Хвала вам, девяти каменам!»
Но путь укажет Мусагет!

1917

Гребень волны

Мы были гребень волны взнесенной...
Но белой пеной окроплены,
Мы разрастались утомленно,
Как мертвый плат живой волны.

Мы исчезаем... Нас поглощает
Волна другая, чтоб миг блестеть,
И солнце зыби освещает
Волн, приходящих умереть.

Я—капля в море! Назад отринут,
Кружусь в просторе,—но не исчез.
И буду бурей снова вскинут
Под вечным куполом небес!

1917

ИЗ КНИГИ

В ТАКИЕ ДНИ

1919—1920

ИЗ КНИГ

В ТАКИЕ ДНИ

1914—1920

Твой торжествующий топот,
Над простертым миром полет.

Ты дробишь тяжелым копытом
Обветшалые стены веков,
И жуток по треснувшим плитам
Стук беспощадных подков.

Отважный! яростно прянув,
Ты взвил потревоженный прах.
Оседает гряда туманов,
Кругозор в заревых янтарях.

И все, и пророк и незоркий,
Глаза обратив на восток,—
В Берлине, в Париже, в Нью-Йорке
Видят твой огненный скок.

Там, взыграв, там, кляня свой жребий,
Встречает в смятеньи земля
На рассветном пылающем небе
Красный призрак Кремля.

1920

Парки в Москве

Ты постиг ли, ты почувствовал ли,
Что, как звезды на заре,
Парки древние присутствовали
В день крестильный, в октябре?

Нити длинные, свивавшиеся
От Ивана Калиты,
В тьме столетий затерявшиеся,
Были в узел завиты.

И, когда в Москве трагические
Залпы радовали слух,

Были жутки в ней—классические
Силуэты трех старух.

То народными пирожницами,
То крестьянками в лаптях,
Пробегали всюду—с ножницами
В дряхлых, скорченных руках.

Их толкали, грубо стискивали,
Им пришлось и брань испить,
Но они в толпе выискивали
Всей народной жизни нить.

И на площади,—мне сказывали,—
Там, где Кремль стоял, как цель,
Нить разрезав, цепко связывали
К пряже—свежую кудель;

Чтоб страна, борьбой измученная,
Встать могла, бодра, легка,
И тянулась нить, рассученная
Вновь на долгие века!

1920

Нам проба

Крестят нас огненной купелью,
Нам проба—голод, холод, тьма,
Жизнь вкруг свистит льдяной метелью,
День к дню жмет горло, как тесьма.

Что ж! Ставка—мир, вселенной судьбы!
Наш век с веками в бой вступил.
Тот враг, кто скажет: «Отдохнуть бы!»
Лжец, кто, дрожа, вздохнет: «Нет сил!»

Кто слаб, в работе грозной гибни!
В прах, в кровь топчи любовь свою!

Чем крепче ветр, тем многозыбней
Понт в пристань пронесет ладью.

В час бури ропот—вопль измены,
Где смерч, там ядра кажут путь.
Стань как гранит, влей пламя в вены,
Вдвинь сталь пружин, как сердце в грудь!

Строг выбор: строй, рази—иль падай!
Нам нужен—воин, кормчий, страж.
В ком жажда нег, тех нам не надо,
Кто дремлет, медлит, тот не наш!

Гордись, хоть миги жгли б, как плети,
Будь рад, хоть в снах ты изнемог,
Что, в свете молний, мир столетий
Иных ты, смертный, видеть мог!

1919

Товарищам интеллигентам

Инвектива

Еще недавно, всего охотней
Вы к новым сказкам клонили лица:
Уэллс, Джек Лондон, Леру и сотни
Других плели вам небылицы.

И вы дрожали, и вы внимали,
С испугом радостным, как дети,
Когда пред вами вскрывались дали
Земле назначенных столетий.

Вам были любы—трагизм и гибель,
Иль ужас нового потопа,
И вы гадали: в огне ль, на дыбе ль
Погибнет старая Европа.

И вот свершилось. Рок принял грезы,
Вновь показал свою превратность:

Из круга жизни, из мира прозы
Мы взброшены в невероятность.

Нам слышны громы: то—вековые
Устои рушатся в провалы;
Над снежной ширью былой России
Рассвет сияет небывалый.

В обломках троны; над жалкой грудой
Народы видят надпись «бренность».
И в новых ликах, живой причудой,
Пред нами реет современность.

То, что мелькало во сне далеком,
Воплощено, в дыму и в гуле...
Что ж вы коситесь неверным оком
В лесу испуганной косули?

Что ж не спешите в вихре событий
Упиться бурей, грозно-странной,
И что ж в былое с тоской глядите,
Как в некий край обетованный?

Иль вам, фантастам, иль вам, эстетам,
Мечта была мила, как дальность,
И только в книгах да в лад с поэтом
Любили вы оригинальность?

1919

Только русский

Только русский, знавший с детства
Тяжесть вечной духоты,
С жутью взявший, как наследство,
Дедов страстные мечты;

Тот, кто выпил полной чашей
Нашей прошлой правды муть,—

Без притворства может к нашей
Новой вольности примкнуть.

Мы пугаем. Да, мы—дики,
Тесан грубо наш народ:
Ведь века над ним владыки
Простирали тяжкий гнет,—

Но когда в толпе шумливой
Слышишь брань и буйный крик,—
Вникни думой терпеливой
В новый, пламенный язык.

Ты расслышишь в нем, что прежде
Не звучало нам вовек:
В нем теперь—простор надежде,
В нем—свободный человек!

Чьи-то цепи где-то пали,
Что-то взято навсегда,
Люди новые восстали
Здесь, в республике труда.

Полюби ж в толпе вседневной
Шум ее, и гул, и гам,
Даже грубый, даже гневный,
Даже с бранью пополам!

1919

К Варшаве

К Варшаве красноармейцы,
К Балтике английский флот.
Знамена красные, взвейтесь,
Трубите красный поход.

Пусть там, в Европе, смятенье,
Всплески испуганных рук,

На кинематографической ленте
Веков—новый круг.

Та Москва, где Иван Грозный
Плясал пред кровавым костром,
Где в безлюдьи, ночью морозной,
Варваров клял Наполеон;

Где—храмы, святыни, ковчеги,
Дворцы, особняки богачей,—
Сорвалась с тысячелетнего места
И в пространствах без меты,
В неистовом беге
Летит, ружье на плече.

Над Тверской, над Садовой—самумы,
Над Остоженкой—неистовый вихрь:
Всей республики воплощенные шумы,
Кремля громовые думы,—
Создавать, разрушать, творить.

Рушатся незыблемости зданий,
Новый Капитолий встает;
Водоворот,
Всех заарканив,
В багряном тумане,
В невероятность влечет.

Мы подняты на взбешенных волнах,
На их гребень, как в седло, взметены,
Мы пьяны от брызг соленых,
Копьями звезд пригвождены.

Мы плывем в растущем потопе,
Все заливая кругом,
Пока в смятенной Европе
Над нашим разгромом—стон.

К Варшаве, красноармейцы!
Пусть в Балтике английский флот!

Ликуйте, пляшите, смейтесь—
Над расплавленной яростью вод!

1920

Мятеж

Памяти Эмиля Верхарна, как поэта и друга

В одежде красной и черной,
Исполин,
От земли к облакам
Восстающий упорно,
Властелин,
Диктующий волю векам,
Необорно,—
Мятеж,
Ты проходишь по миру,
Всегда
Светел, свободен и свеж,
Как в горном потоке вода.

Возьми
Пламя пожара,
Взбежавшее яро,
Как гигантскую лиру;
Греми
Грохотом рушимых зданий;
Аккомпанируй
В кровавом тумане
Реву толпы,
Сокрушая столпы
Библиотек,
Фронтоны музеев,
Одряхлелых дворцов.
Ужас посеяв,—
Как отравленный дротик,
Кинь свой озлобленный зов:
«За рабов,
Против царей, вельмож, богачей, иереев!

Против всех ставленных,
За подавленных!»

Не все равно ли,
Правда иль нет этот зов?
Ты полон дыханием воли,
Ты силен сознанием власти,
Ты—нов.

Пусть книги горят на кострах дымносизых;
Пусть древние мраморы в тогах и в ризах
Разбиты на части
(Заряды для новых орудий!).
Пусть люди,
Отдавшие жизнь за свободу народа,
У входа
Опустелых темниц,
Расстреляны, падают ниц,
С заглушенным криком: «свобода!»
Пусть в шуме
Растущих безумий,
Под победные крики,—
Вползает неслышно грабеж,
Бессмысленный, дикий,—
Насилье, бесстыдство и ложь.
Пусть!

Разрушается старое, значит поднимется новое.
Разрываются цепи, значит будет свободнее.
Прочь—готовое,
Прошлогоднее,
То, что мы знаем давно наизусть!

Необорно,
В одежде красной и черной,
Ты проходишь,
Мятеж.
Ища свой рубеж,
Ты просторы обводишь

Глазами пронзительно-шарящими.
Тебе, чем другому кому,
Известней:
Над пожарищами,
Над развалинами,
Над людьми опечаленными,
Над красотой, обрекаемой тлению,
В огне и дыму,—
Новой песней,
Встанет новой жизни свет!
Разрушению—
Привет!

1920

Серп и Молот

Пусть гнал нас временный ущерб
В тьму, в стужу, в пораженья, в голод:
Нет, не случайно новый герб
Зажжен над миром—Серп и Молот.

Мы землю вновь вспоим трудом,
Меч вражий будет вновь расколот:
Не даром мы, блестя серпом,
Взметнули дружно мощный молот.

Но смело, мысль, в такие дни
Лети за грань, в планетный холод.
Вселенский серп, сев истин жни,
Толщь тайн дроби, вселенский молот!

Мир долго жил! Довольно лжи!
Как в осень, плод поспелый золот!
В единый сноп, серп, нас вложи,
В единый цоколь скуй нас, молот!

Но вечно светом вешних верб
Дух человека свеж и молод.

Точи для новой жатвы серп,
Храни для новой битвы молот.

1921

В такие дни

Расплавлены устои жизни прежней,
Над мировым костром мы взлет огня.
Еще безумней и опять мятежней,
Вихрь беспощадных искр, взметай меня!

Мечту пронзили миллионы волей,
Мысль, в зареве бессчетных дум, зорка,—
Ломая, строить новый Капитолий,
Класть цоколи стен, взмеченных в века.

Не пламя ль влито в трепетные жилы?
Мой каждый вздох не роковой ли хмель?
Содружный труд упорно троит силы,
Застлала мглу слепительная цель.

Но в эти дни все взнесено в безмерность,
Жизнь—от земли в зенит веретено.
Желанья—смерч, стальная плаха—верность.
Победный лавр и иглы пуль одно.

В святом кругу приветствий и проклятий,
Где жезл Судьбы сметает дни и кровь,
Язвит целебный серп ночных объятий,
Уста к устам, смертельней гнет любовь.

1920

На высях

Жизнь трепетов любви не старит,
Где ближе гибель, зорче страсть,
Так бред блаженств с Еленой Парид
Знал в Пѐргамах, готовых пасть.

За сводом свод возносят годы,
Аркады радуг в сто цветов,
Все жгучей синь, все круче всходы
По твердым зернам лунных льдов.

Но в стуже лет, у горных срывов,
Где ветер в клочья рвет мечту,
Властней огонь в руках счастливых,
Свой факел взнесших в высоту.

Что в долах, там, где тмин и мята,
Пьянило дни,—мгновенный мед,—
На высях, здесь, как пламя, свято
Алтарный дым до звезд влечет.

Смыкайтесь, арки, в белом блеске
Над черной бездной, в вихре мча
Сон Паоло и сон Франчески,
Что дух слепил под взвизг меча.

1920

Вещий ужас

Рук ласковых касанье; приближенье
Губ страждущих; истома глаз ночных;
Предчувствующий трепет достиженья;
Прерывный вздох за грань кругов земных;

Вы, древние, проверенные чары:
Вопль троглодита в алой мгле времен,
Бред эллина во храме, гунна ярый
Восторг, Тристана и Изольды сон!

Вы, длящиеся в мертвых небоскребах,
Под скрежет революций, в дни войны,
Вы в гибелях, вы в благостях, вы в злобах,
Таящиеся вопли, бреды, сны!

Кто вырвет вас из мировых сознаний,
В костре куст лишний, чтоб не тмился свет?
Тебя спалит,—одну сквозь сто названий,
Изида, Афродита, Аштарет!

Мы—человечества всплеск, мы—поэты,
В огне веков, как можем не гореть?
Пусть гимны ночи в Атлантиде петы,—
Нам страсти вещий ужас—вечно петь.

1920

Klassische Walpurgisnacht

Гете. «Фауст», ч. II

Ночи, когда над городом
Дымы лесных пожаров,
А выше—эллинским мороком—
Гекаты проклятые чары,—

Все углы виденьями залили,
Закружив их дьявольским вальсом,
И четко Судьбы сандалии
Стучат по изрытым асфальтам.

Дыша этой явью отравленною,
Ловя в ней античные ритмы,
Губами безжалостно сдавливаю
Двух голубков Афродиты.

Лот любви, моряк озадаченный,
Бросаю в тревоге бессонных вахт,—
Иль в Советской Москве назначена
Klassische Walpurgisnacht?

Подползают на брюхе сфинксы,
Стимфалиды взмывают крылом.
Чу! скачет сквозь мрак лабиринтский
Мудрый кентавр Хирон.

Куда? Не к Елене ли?
Лебедем в гриву вплетись,
Неги Эгейские вспенивай,
К Скейским высотам мчись!

Город иль море?
Троя иль Ресефесер?
Мы с Фаустом поспорим
В перегонке сфер!

Запрокинулась Большая Медведица,
Глаз Гекаты метит гостей,
А дым пожаров все стелется,
Заливая нашу постель.

1920

Мадригал

Имя твое из золота,
Маленький, сверкающий слиток,
Под ударом кирки и молота
В ледяном Клондайке открытый.

Имя твое под любовными
Ласками солнца метится,
Но лучи его робки, словно им
Опасно соперничество месяца.

Но я знаю, верю, и ночью оно,
Под лунным поцелуем бесплодным,
Необледнено, неопорочено,—
Пламя во тьме холодной.

Пусть ветер взлетает с полюса,
Пусть пустыня снежная стелется,
Иль иглами жгучими колется,
Смеясь над пр[illegible]жим, метелица,—

В стране молчанья и холода,
Над белым, над мертвым простором,
Имя твое из золота,
Милое имя—Дора.

1921

Египетский профиль

Твои мемфисские глаза.

Me eum esse

Когда во тьме закинут твой,
Подобный снам Египта, профиль,—
Что мне, куда влекусь за тьмой,
К слепительности ль, к катастрофе ль?

Разрез чуть-чуть прикрытых глаз,
Уклоны губ чуть-чуть надменных—
Не так же ль пил, в такой же час,
Ваятель сфинксов довременных?

Когда над ним, в забвенный год,
Свой суд в Аду вершил Озирис,
Не был ли принят в счет щедрот
Вот этих век извивный вырез?

Застылый очерк бледных щек
Таит всю быль о давнем брате:
Его сквозь сумрак вывел Рок
К палящей пропасти объятий.

Вдавив уста в холодный лик
Той жрицы Гора иль Изиды,
Он гневно в камень бросил крик
Восторга—иль глухой обиды.

Все отошло; но Сфинкс в века
Пронес его мечты и гибель.

Где ж тайна их? в чертах виска?
В той выгнутости ль? в том изгибе ль?

Хочу и я, как дар во храм,
За боль, что мир зовет любовью,—
Влить в строфы, сохранить векам
Вот эту тень над левой бровью.

1920

Ночная улица

Фонарей отрубленные головы
На шестах безжизненно свисли,
Лишь кое-где оконницы голые
Светами сумрак прогрызли.

Бреду, спотыкаясь по рытвинам
Тротуара, в бездонном безлюдьи;
Только звезды глядят молитвенно,
Но и они насмешливо судят.

Звезды, мы знакомые старые.
Давно ль вы в окошко поглядывали,
Как двое, под гекатиными чарами,
Кружились, возникали, падали?

Когда же вчера вы таяли,
Уступая настояниям утра,
Вы шептали, смеясь: не устали ли
Губы искать перламутра?

Так зачем теперь отмечаю я
Насмешку в лучах зазубренных,
Что в мечтах—канун безначалия
В царстве голов отрубленных?

Что не смотрите ласково-матово,
Как, замкнув рассудочность в трюме, я

По Москве девятьсот двадцатого
Проплываю в ладье безумия?

1920

Руками плечи...

Руками плечи опоясаны,
Глаза с глазами смежены,
Друг друга сном огня пьянят они,—
Венчанных двое меж иных.

Миг, кем-то где-то предназначенный!
Стонать бесплодно: пощади!
В воде столетий опрозраченной
Для зорких глаз палящий диск.

Кассандры рушащихся Илиев,
Иоанны Патмосов в огне,
Вы тщетно в выкриках таили гнев,—
Что будет—видя как в окне.

Еще весталка не ждала греха,
Еще не вызвал брата Рем,
Уже был избран меч Алариха
Жечь мрамор римских алтарей.

Нас так, с порога дней, провидели,—
Осенний луч с поры весны,—
В мечты все Сапфо, все Овидии,
Всех Атлантид слепые сны!

1921

От столетий...

От столетий, от книг, от видений
Эти губы, и клятвы, и ложь.
И не знаем мы, полночь ли, день ли,
Если звезды обогнены сплошь.

В мире встанет ли новый Атилла,
Божий бич, божий меч—потоптать
Не цветы, но мечты, что взрастила
Страсть,—хирамовым кедрам подстать?

Солнце пятна вращает, циклоны
Надвигая с морей на постель,
Но не тот же ли локон наклонный
Над огнем мировых пропастей?

Чтобы око земное не слепло,
На мгновенье двум сближенным в смех—
От советской Москвы на Алеппо
Революции праздничный сбег.

И с земли до звезды, до столетий
Восстающих,—борьбе и войне
Этот огненный столп одолеть ли,
В наших строфах горящий вдвойне!

1921

Череп на череп...

Череп на череп,
К челюсти челюсть,
За тонкой прослойкой губ.
За чередом черед,
Пей терпкую прелесть,
Сменив отлюбивший труп!

Земли не насытить
Миллиардам скелетов!
Ей надо тучнеть, тучнеть!
Чтоб кино событий
Шло в жизни этой,
Ты должен любить—хотеть.

Как пещерный пра-предок
(Вселенское детство!),

Грудь на груди, под смех гиен,—
Так в истомах и бредах,
Выгибая хребет свой,
Отдавайся объятьям в плен!

Александр, Юлий Цезарь, Хлодвиг!
За чередом чередом,
За соседним соседний, чтоб,
Свершивший свой подвиг,
Твой целованный череп
Опустили в последний гроб.

1921

Боттичелли

Что затеял ты, Рок? не игрой ли
На арене веков занят ты?
Толпы бросил ты к Саванаролле,
Руки, в знаке креста, подняты.

И от воли ль твоей, от речей ли
Исступленца, что длань распростер,
Возложил Сандро Боттичелли
Картины свои на костер?

Ты ль решил, чтоб слезой черно-палевой
Оплывала Венер нагота,
А народ, продолжая опаливать
Соблазн сатаны, хохотал?

Ты ли дым, над Флоренцией вскинутый,
Отвердил в извечный гранит,
Обратил в бесконечную скинию,
Где примеры вселенной хранить,

Чтобы помнили, видели, ведали,
Что нельзя Красоте перестать,

Калидасой встающей над ведами
И Рембрандтом над трупом Христа?

1921

Все люди

Все люди, люди и люди
Всех осанок, величин и мастей,
Розетка мировых иллюзий,
За работой, на пир и в постель.

Все люди, теперь и прежде,
И в грядущем, взглянув за забор,
Повтор всех тех же арпеджий,
Аккордов старый набор!

Ахилл ли, Терсит ли, Елена ль,
Поэт, чиновник, король,—
Весь сверток земной вселенной
Под печатью одна бандероль!

А, быть может, на синих планетах—
Чудовища, владыки стихий,
О чем не молчали в сонеты,
Чего не блистало в стихи.

А, быть может, в огне иль в незримом,
Демоны, дьяволы,—вы,
Кто пылаете мимо, мимо,
Презирая кивком головы!

1921

В первый раз

Было? Не знаю! Мальстремом крутящим
Дни все, что было, сметают на дно.
Зельем пьянящим, дышу настоящим,
Заревом зорь мир застлало оно.

Прошлое сброшу, пустую одежду;
Годы—что полки прочитанных книг!
Я, это—ты, ныне вскинутый, между
«Было» и «будет» зажегшийся миг.

В первый раз,—поле весной опьянело,
В первый раз,—город венчала зима,
В первый раз,—в храмине туч, сине-белой
Молнией взрезана плотная тьма.

В первый раз, в первый,—губ нежная влажность
Губы мне жмет, я ловлю в первый раз,
Грудь на груди, вздохов страстных протяжность,
Жуть, счастье, муку закинутых глаз.

В первый раз,—мысль в жгучей зоркости верит
Зовам толпы, с буйством жизни слита:
Строить, крушить, в битву ринуться! Перед
Целью веков ниц простерта мечта.

Грозы! Любовь! Революция!—С новой
Волей влекусь в ваш глухой водомет,
Вас, в первый раз, в песнях славить готовый.
Прошлого—нет. День встающий—зовет!

1920

Во мне

Воспоминанья стран,—вопль водопадов,
Взлет в море волн, альпийских трещин жуть,
Зной над Помпеями, Парижа адов
Котел, за степь гремящей тройки путь.

Все,—и провал в палящие полотна
Да-Винчи, мраморный вздох Афродит,
Разливы книг с их глубиной болотной,
Дум молнии, цифр гибельный гранит.

Все,—Город Вод, с блистаньем орихалка,
Обитель теней за нагой Иштар,
Мечты Геракла, где Омфалы прялка,
За Одиссеем зов сиренных чар.

Вас, также вас,—костры ночей изжитых,
Двоим один, слов не обретший, бред,
Губ хрипло слипших, рук несытно слитых,
Дорог сквозь тайны радиевый свет.

Вас, вас еще—часы трудов державных,
Восторг стихов, вдаль вскинутые сны,
Вас, миги зоркостей, слепых и явных,
Горн революций, пестрый плащ войны,—

Все, все во мне, круги живых вселенных,
Преображенных, вновь зажженных мной,
Корабль сокровищ от мостов мгновенных
Влекомит в вечность роковой волной.

1920

Пределы

Пределы? нет их!
Цель—бесконечность.
Из песен петых—
Звездная млечность.

Там дальше—туманность
Ориона иль Лиры...
Отточенных слов чеканность
Лезвеем секиры.

Канат корабля отруби!
Новых норманнов наезды.
Мелкие отруби,
Рассыплются звезды.

Земля?—зелененький мяч!
Луна?—нет совсем!
Человеческий плач
В пространствах нем.

Вне изведанных стран дыши
Потоком твердым эфира.
Прощайте, милые ландыши,
Орион и Лира!

1920

Первый меридиан

Через сердце к весеннему полю,
Первый проведи меридиан.
Он упрется в точку, где полюс
Полярной звездой осиян.

И от этого мига жалеть ли
Путей вперед и назад,
Там и в прошлом все тысячелетья
И в грядущем дерзко грозят.

Расточить, как щедрый наследник,
На пиру этого дня умей—
Мудрецов, поэтов, проповедников
Клад, что собран в твоем уме.

Пусть кровь твоя просочится
В века из земной ризницы,
Где будут кормиться волчицей
Реи иной близнецы.

От вселенной тебя ли отымем?
Всех солнц разорвется связь,
Вихрями в пустоте золотыми
Калейдоскопом нелепым резвясь.

Меч от зенита к надиру
Насквозь тебя пронизал:
Над вечностью им балансируй
В бесконечности тронных зал.

1921

День за днем

Мясорубками тело измолото,
День за днем, день за днем, день за днем.
Почему же нетленны и молоды
Губы мальв за вселенским плетнем?

Расстилаться, дробясь под колесами...
Это ль я? где же я? кто же я?
Не ответит за волжскими плесами
Мне последняя ворожея.

Отстраняю в безумьи ладонями
Беглый миг, бледный лик, тот двойник.
Но ликующий месяц над донями
До глубин заповедных проник.

Так рубите, рубите, рубите
День за днем, день за днем, день за днем!
По мечтам, по путям, по орбите
Пред огнем мы кометы метнем.

Что во сне на земле,—повторится
В голубых и пурпурных краях.
Пей, жемчужину в уксус, царица,
Клеопатра, Марго, Таиах!

Эти трепеты грудей прозрачны,
Кровь под жалами пламенных стрел,
Чтобы, крылья смежив, новобрачный
До глубин заповедных смотрел.

1921

Одно лишь

Я ль не искал под бурей гибели,
Бросая киль в разрез волны,
Когда, гудя, все ветры зыбили
Вкруг черный омут глубины?

Не я ль, смеясь над жизнью старящей,
Хранил всех юных сил разбег,
Когда сребрил виски товарищей,
Губя их пыл, предсмертный снег?

Ах, много в прошлом,—листья спадшие,—
Друзей, любовниц, книг и снов!
Но вновь в пути мне братья младшие
Плели венки живых цветов.

За кругом круг сменив видения,
Я к новым далям страсть донес,
Пью грозы дней земных, не менее,
Чем прежде, пьян от нежных слез.

К чему ж судьбой, слепой прелестницей,
В огне и тьме я был храним,
И долгих лет спиральной лестницей
В блеск молний вышел, невредим?

Одно лишь знаю: дальше к свету я
Пойду, громам нежданным рад,
Ловя все миги и не сетуя
Отцветший час бросать назад.

1921

ИЗ КНИГИ

МИГ

1920–1921

Смотреть в былое

Смотреть в былое, видеть все следы,
Что в сушь песка вбивали караваны,
В стране без трав, без крыш и без воды,
Сожженным ветром иль миражем пьяны;

Припоминать, как выл, свистя, самум,
Меня слепя, ломая грудь верблюду,
И, все в огне, визжа сквозь душный шум,
Кривлялись джины, возникали всюду;

Воссоздавать нежданный сон, оаз,
Где веер пальм, где ключ с душой свирели,
И где во мгле, под вспышкой львиных глаз,
Проснешься, когти ощущая в теле;

Смотреть вперед и видеть вновь пески,
Вновь путь в пустыне, где желтеют кости.
Уже не кровь, года стучат в виски,
И зной и смерть слились в последнем тосте;

Но, сжав узду, упорно править ход,
Где холм не взрезан скоком туарега,
Опять, еще, где океан ревет,—
В лед волн соленых ринуться с разбега.

1921

Груз

Книг, статуй, гор, огромных городов,
И цифр, и формул—груз, вселенной равный,
Всех опытов, видений всех родов,
Дней счастья, мигов скорби своенравной,

И слов, любовных слов, сквозь бред ночей,
Сквозь пламя рук, зов к молниям бессменным,
Груз, равный вечности в уме!—на чьей
Груди я не дрожал во сне надменном?

Сны Клеопатр, вздох Федр, мечты Эсфирей,
Не вы ль влились, медь в память, навсегда!
Где фильмы всей земли кружат в эфире,
Еще звучат, поют векам—их «да!»

Взношу лицо; в окно простор звездистый,
Плечо к плечу, вздох нежный у виска.
Миг, новый миг, в упор былых вгнездись ты!
Прибой швырнул на берег горсть песка.

Сбирай в пригоршни книги, жизни, сны,—
Своих Голландий в гул морской плотины,—
Вбирай в мечты все годы,—с'крутизны
Семи холмов покорный мир Латины!

А им, а тем, кто в буйстве ветра ниц
Клонились, лица—«Страшный Суд» Орканий,
Им—в счет слепот иль—в ряд цветных страниц;
Горсть на берег, лот в груз живых сверканий!

1921

Грядущий гимн

Солнце летит неизмерной орбитой,
Звезды меняют шеренгами строй.
Что ж, если что-то под солнцем разбито?
Бей, и удары удвой и утрой!

Пал Илион, чтобы славить Гомеру;
Распят Христос, чтобы Данту мечтать!
Правду за вымысел! меру за меру!
Нам ли сказанья веков дочитать!

Дни отбушуют, и станем мы сами
Сказкой, виденьем в провале былом.
Кем же в столетья войдем? голосами
Чьими докатится красный псалом?

Он, нам неведомый, встанет, почует
Истину наших разорванных дней,—
То, что теперь лишь по душам кочует,
Свет, что за далью полней и видней.

Станут иными узоры Медведиц,
Станет весь мир из машин и из воль...
Все ж из былого, поэт-сердцеведец,
Гимн о былом,—твой,—восславить позволь!

1921

Октябрь 1917 года

Есть месяцы, отмеченные Роком
В календаре столетий. Кто сотрет
На мировых скрижалях иды марта,
Когда последний римский вольнолюбец
Тирану в грудь направил свой клинок?
Как позабыть, в холодно-мглистом полдне,
Строй дерзких, град картечи, всё, что слито
С глухим четырнадцатым декабря?
Как знамена, кровавым блеском реют
Над морем Революции Великой
Двадцатое июня, и десятый
День августа, и скорбный день брюмер.
Та ж Франция явила два пыланья—
Февральской и июльской новизны.
Но выше всех над датами святыми,

Над декабрем, чем светел пятый год,
Над февралем семнадцатого года,
Сверкаешь ты, слепительный октябрь,
Преобразивший сумрачную осень
В ликующую силами весну,
Зажегший новый день над дряхлой жизнью
И, заревом немеркнущим, победно
Нам озаривший правый путь в веках!

1920

Коммунарам

Под вопль вражды, под гулким гневом,
Недаром вы легли в веках;—
Упал над миром тучным севом
Ваш огненно-кровавый прах:

Вы, лабиринтцы, в дни позора,
Под дерзким эллинским копьем;
Ты, круг священный Пифагора,
Поющий на костре своем;

Вы, все, что восставали, тая,
Вальденцы, Виклеф, Гуса стан,
Пророки нового Синая,
Ты, исступленный Иоанн;

И вы, кто жертвой искуплений
Легли в Париже, у стены,
Чьи грозно вопящие тени
В лучах побед вознесены!

Как в басне, из зубов дракона
Возникли мощные бойцы,
Бросаете в земное лоно
Вы мученичества венцы.

Под те же гулы и угрозы,
Приемля ваш немолчный зов,

Мы ваши праведные грезы
Возносим над борьбой веков!

1921

Оклики

Четвертый Октябрь

Окликаю Коршуна в пустыне:
— Что летишь, озлоблен и несмел?
—«Кончен пир мой! более не стынет
Труп за трупом там, где бой гремел!»

Окликаю Волка, что поводит
Сумрачно зрачками: —Что уныл?
—«Нет мне места на пустом заводе:
Утром колокол на нем звонил...»

Окликаю Ветер:—Почему ты
Вой ведешь на сумрачных ладах?
—«Больше мне нельзя в годину смуты
Раздувать пожары в городах».

Окликаю Зиму:—Эй, старуха!
Что твоя повисла голова?
—«Плохо мне! Прикончена разруха,
Всюду мне в лицо трещат дрова!»

Чу! гудок фабричный! Чу! взывают
Свистом, пролетая, поезда.
Красные знамена обвивают
Русь былую, словно пояса.

Что грозило, выло и рычало,
Все притихло, чуя пятый год.
Люди, люди! Это лишь начало,
Октября четвертого приход!

Из войны, из распрь и потрясений
Все мы вышли к бодрому труду;

Мы куем, справляя срок весенний,
Новой жизни новую руду.

Кто трудился, всяк на праздник прошен!
Путь вперед—роскошен и широк.
Это—зов, что в глубь столетий брошен,
Это—наше право, это—рок.

1921

Советская Москва

Все ж, наклонясь над пропастью,
В века заглянув, ты, учитель,
Не замрешь ли с возвышенной робостью
И сердце не полней застучит ли?

Столетья слепят Фермопилами,
Зеркалами жгут Архимеда,
Восстают, хохоча, над стропилами,
Notre Dame безымянной химерой;

То чернеют ужасом Дантовым,
То Ариэлевой дрожат паутиной,
То стоят столбом адамантовым,
Где в огне Революции—гильотина.

Но глаза отврати: не заметить ли
Тебе—тот же блеск, здесь и ныне?
Века свой бег не замедлили,
Над светами светы иные.

Если люди в бессменном плаваньи,
Им нужен маяк на мачте!
Москва вторично в пламени,—
Свет от англичан до команчей!

1921

Сеет Хронос

Нет, не струны, нет, не трубы
Мой напев над морем вейте!
Закрываю тихо ставни,
Подношу покорно губы
К золотой, забытой флейте:
Властвуй в темной тишине,
Старомодный, стародавний
Отзвук, милый только мне.

Пой из тьмы тысячелетней,
Из лесов аркадских басен,
Где к маслинам никли фиги,
Пой безвольней, безответней,
Но, как прежде, мудр и страстен,
Зовов нежных не тая,—
Здесь, где внемлют только книги,
Только тени, только я.

Где я? Может быть, в преданьи,
В лунной трели менестрелей,
В песне призрачной Шопена,—
Но в сверканьи, но в рыданьи
Воды Геллы прогремели,
Обращая в нектар кровь;
Сеет Хронос алой пеной,
Чтоб земле всплыла Любовь.

1921

Римини

В твоем, в века вонзенном, имени,
Хранимом,—клад в лесу,—людьми,
Кто с дрожью не расслышит, Римини,
Струн, скрученных из жил любви?

В блеск городов, где Рим с Венецией,
Где столько всех, твоя судьба

Вошла огнем. Венец! Венец и ей!
И в распре слав весь мир судья.

Вы скупы, стены! Башни, слепы вы!
Что шаг—угрюмей кровли тишь.
Но там есть дверь и портик склеповый
И к ним мечта, что в храм, летит.

Что было? Двое, страстью вскрылены,
Над тенью дней чело стремя,
Сон счастья жгли, чтоб, обессилены,
Пасть, слиты лаской острия.

И все. Но ввысь взнеслись, гиганты, вы,
Чтоб в жизни вечно хмелю быть,
И держат вас терцины Дантовы,—
Вовек луч тем, кто смел любить.

1921

Звено в цепь

И в наших городах, в этой каменной бойне,
Где взмахи рубля острей томагавка,
Где музыка скорби лишена гармоний,
Где величава лишь смерть, а жизнь—только ставка;

Как и в пышных пустынях баснословных Аравий,
Где царица Савская шла ласкать Соломона,—
О мираже случайностей мы мечтать не в праве:
Все звенья в цепь, по мировым законам.

Нам только кажется, что мы выбираем;
Нет, мы все—листья в бездушном ветре!
Но иногда называем мы минуты—раем,
Так оценим подарок, пусть их всего две-три!

Если с тобой мы встретились зачем-то и как-то,
То потому, что оба увлекаемы в даль мы;

Жизнь должна быть причудлива, как причудлив
кактус,
Жизнь должна быть прекрасна, как прекрасны
пальмы.

И если наши губы отравлены в поцелуе,
Хотя и пытаешься ты порой противоречить,—
Это потому, что когда-то у стен Ветилуи
Два ассирийских солдата играли в чет и нечет.

1921

Зачем?

Зачем? Разве я знаю?
Не нами, давно суждено:
Поля опалять мистралю,
Якорю падать на дно.

Гольфштрему, может быть, хочется
Медлить в огне Гаити,
Но должен Мальштремом корчиться
На холодном норвежском граните.

На эти глаза обманные
Стигматы губ наложить,—
Это играет ветер туманами,
Это травами ночь ворожит.

Если двое в невольной неге мы
Угадываем шопоты срока,
Это солнца Виктории Регии
Дрожат в синеве Ориноко.

Зачем? Кто нам ответит?
Словами любви не лги.
Сквозь эфир скользящей планете
Непонятны ее круги.

1921

Кондор

К чему чернеющий контур
Ты прячешь, гневный гигант,—
В тишине распластанный кондор
Над провалами сонных Анд?

В неделях бархатных кроясь,
Ты медлишь, чтоб, сон улуча,
Проступить сквозь атласную прорезь
Мига, разя сплеча.

Кровь тебе в холодную сладость,
Медяное лицо поверни.
Где постромок серебряных слабость
У разбившей ось четверни?

Утаишь ли чудовищность крыльев?
Их нашим трепетом смерь!
Там, за кругом лампы открытой,
По ковру распростерта смерть.

Что ж, клонясь к безвольным бумагам,
Черчу пейзажи планет:
От кондоров горних у мага
Заклинаний испытанных нет.

1921

Дом видений

Душа моя—Элизиум теней.
Ф. Тютчев

Видениями заселенный дом,
Моя, растущая как башня, память!
В ее саду над тинистым прудом,
Застыв, стоит вечеровое пламя;
В ее аллеях прежние мечты
На цоколях недвижны, меди статуй,

И старых тигров чуткие четы
Сквозь дрему лижут мрамор Апостату.

Как же ты
Вошла в мой сад и бродишь между статуй?

Суровы ярусы многоэтажной башни,—
Стекло, сталь и порфир.
Где, в зале округленной, прежде пир
Пьянел, что день, отважней, бесшабашней,
Вливая скрипки в хмель античных лир,
В померкшей зале темной башни
Тишь теперь.

На бархатном престоле зоркий зверь,
Привычный председатель оргий,
Глаза прищуря, дремлет, пресыщен;
Окончив спор, лишь тень—Сократ и Горгий;
Вдоль стен, у шелковых завес, еще
На ложах никнут голые гетеры,
Но—призраки, навек сомкнувшие уста;
И лишь часы в тиши бьют ровно, не устав
Качаньем маятника двигать эры.

Зачем же ты,
Как сон и новый и всегдашний,
Вошла в мой сад и бродишь возле башни?

Там выше,
По этажам к недовершенной крыше,
В заветных кельях—облики: глаза
Целованные, милых губ рубины,
Спалившие мне плечи волоса,—
И комнат замкнутых глубины
Дрожат под крыльями произнесенных слов...
Их, вещих птиц, в года не унесло!
Их пепел фениксов, как радуги,
Вычерчивая веера дуги,
Слепит меня опять, опять

И, волю воском растопя,
Невозвратимостью минут тревожит.

Чего же
Тебе искать в незавершенной башне,
Где слишком жуток сон вчерашний?

В саду,
Где памятники с тиграми в ладу,
Где вечности и влажности венчанье,—
В саду—молчанье.
Свой мед кадят нарциссы Апостату,
Над бронзой Данте черен кипарис,
И в меди неизменных риз
Недвижим строй в века идущих статуй.

Но все же роз кричащий запах,
Но все ж в огне зальденном запад—
Пьяны разгромом грозовым;
Страшись, чтоб, на росе ночуя,
Но шаг непризнанный почуя,
Тигр пробужденный не завыл!

Видениями заселенный мир,—
Сад и растущая, как башня, память!
На меди торсов, сталь, стекло, порфир
Льет воск и кровь вечеровое пламя;
Горят венцы, волна к волне в пруду;
Пылая, к статуям деревья льнут в бреду;
По травам блекнущим раскиданы статеры
Вовек не умирающей росы,
И лишь из башни ровно бьют часы,
Не уставая двигать эры.

Зачем же ты,
Как сон и новый и всегдашний,
Вошла в мой сад и бродишь возле башни,
Где слишком жутки чуткие мечты?
Иль ночь напрасно краски отымала?

Иль цоколям свободным статуй мало,
И может с медью спорить парос,
Чтоб кровь по мрамору текла?
Иль должно к башне из стекла
Прибавить куполоподобный ярус,
Где все сиянья старины,
Умножены, повторены,
Над жизнью, над пустым провалом,
Зажгутся солнцем небывалым,
Во все, сквозь временный ущерб,
Вжигая свой победный герб!

1921

Иль поколям свободным статуй мало,
И может с медью спорить парос,
Чтоб кровь по мрамору текла?
Иль должно к башне из стекла
Прибавить куполоподобный ярус,
Где все сияньи старины,
Умножены, повторены,
Над жизнью, над пустым провалом,
Зажгутся солнцем небывалым,
Во все, сквозь временный ущерб,
Вжигая свой победный герб!

[illegible]

ИЗ КНИГИ
ДАЛИ
1921 — 1922

ИЗ КНИГ

ДАУН

1921 — 1922

Красное знамя

Красное знамя, весть о пролетариате,
Извиваясь кольцом,
Плещет в голубые провалы вероятия
Над Кремлевским дворцом;

И новые, новые, странные, дикие,
Поют слова...
Древним ли призракам, Мойрам ли, Дике ли,
Покорилась Москва?

Знаю, и не узнаю знакомого облика:
Все здесь иным.
Иль, как в сказке, мы все выше леса до облака
Вознесены?

Здравствуй же, племя, вскрывающее двери нам
В век впереди!
Не скоро твой строй тараном уверенным
Судьба разредит.

Лишь гром над тобой, жизнь еще не воспетая,
Свой гимн вопил,
Но с богами бессмертье,—по слову поэта,—я
Заживо пил.

Волшебной водой над мнимой усталостью
Плеснули года.
Что-нибудь от рубцов прежних осталось ли?
Грудь молода —

С восторгом творчества, под слепыми циклонами
Мечту сливать
И молодость в губы губами неуклонными
Целовать!

1922

От Перикла до Ленина

В базальты скал вбивая анналы,
Рабы, под плетью фараона Снофру,
Печально мечтали ль, что гимн Интернационала
Победно пройдет от Сены к Днепру?

Дикарь сторожит в тростниках Мвутанга,
В волоса воткнув два важных пера;
А в залах Bull еще вертится танго,
И пляшет в огнях avenue de l'Opéra.

Но, как древле, все так же муравьи суетятся,
Из игл возводя дом до смелых высот,
Бобры за плотиной уставной ютятся,
Пчелы межат шестигранный сот;

И те же в пространстве кольца Сатурна,
Свеченье Венеры, круги комет,
Как в дни, когда сцены тряслись от котурна
Иль на храмы луну сводил Магомет.

От Перикла до Ленина—от сегодня до завтра,
Моряка, что причалил на бе́рег, сон.
Тупую докуку под черепом плезиозавра
Лишь мутно осмыслил упрямый Бергсон.

И дерзкие светы Лобачевского или Маркса,
Состязанья и песни столетий и стран,—
Быть может, лишь плошки там, с красного Марса,
С песчинки, что мчит вдаль Альдебаран.

1921

Мы все — Робинзоны

Все же где-то в сонном аттоле
Тень свою пальмы купают.
В Рязанском пруду оттого ли
До страдания бледны купавы?

В океаны вдвинутый стимер
Уследишь ли с пляжа лорнетом?
И станет ли наш сон возвестимей
В синеве горящим планетам?

Мы радио бросаем в пространство,
Видим в атоме вихрь электронов,
Но часто мечтаем про странность
Природы, мимозу тронув.

Мы все—Робинзоны Крузо,
И весь мир наш—спокойный остров;
Он без нас будет мчаться грузно,
В ласке солнца, знойной и острой.

И вся груда наук и раздумий,
Картин, поэм и статуй,
Станет пепл, что в огонь не раздует
Налет кометы хвостатой.

Пирамиды, спите над Нилом!
Слоны, топчите Гвинею!
Попрежнему в болоте немилом
Незабудкины слезы синеют.

1921

Загадка Сфинкса

Зеленый шарик, зеленый шарик,
Земля гордиться тебе не будет ли?
Морей бродяги, те, что в Плюшаре
Покрой простора давно обузили.

Каламбур Колумба: «il mondo posco»—
Из скобок вскрыли, ах, Скотт ли, Пири ли!
Кто в звезды око вонзали глубоко,
Те лишь ладони рук окрапивили.

Об иных вселенных молча гласят нам
Мировые войны под микроскопами.
Но мы меж ними—в лесу лосята,
И легче мыслям сидеть за окопами.

Кто из ученых жизнь создал в тигле?
Даст каждый грустно ответ: «о, нет! не я!»
За сто столетий умы постигли ль
Спиралей пляску, пути планетные?

Все в той же клетке морская. свинка,
Все новый опыт с курами, с гадами...
Но пред Эдипом загадка Сфинкса,
Простые числа все не разгаданы.

1922

Кругами двумя

Авто, что Парижем шумят,
Колонны с московской ионией,—
Мысль в напеве кругами двумя:
Ей в грядущие ль дни, в Илион ли ей?

В ночных недвижимых домах,
На улицах, вылитых в площади,
Не вечно ли плач Андромах,
Что стучат с колесницами лошади?

Но осой загудевший биплан,
Паутина надкрышного радио,
Не в сознанье ли вчертанный план,
Чтоб минутное вечностью радовать?

Где в истомную дрожь путь, в конце ль
Скован каменный век с марсианами,—
В дуговую багряную цель
Метить стрелами осиянными?

Искрометно гремящий трамвай,
Из Коринфа драконы Медеины...
Дней, ночей, лет, столетий канва,
Где узора дары не додеяны.

1921

Легенда лет

Мощь—в плиты пирамиды; гнев холодный—
В сеть клинописи, летопись побед;
В каррарский мрамор, в звоны бронз, в полотна—
Сказанья скорбные торжеств и бед;

Мечты и мудрость—в книги, свитки, томы,
Пергаменты, столбцы печатных строк!—
Клад всех веков, что нищенских котомок
Позорный сбор,—запас на краткий срок!

Тем—статуи, музеи—этим! Чтите,
В преданьях стран, певцов и мудрецов!—
Иной поэт пел в дальней Атлантиде,
Все к тем же звездам обратив лицо.

При прежнем солнце глянет день, и, к тайнам
Причислен, станет баснословен—слон.
Бред в смене бредов—Архимед с Эйнштейном,
Легенда лет—Москва иль Вавилон.

Искать? чего?—крупинки в вихрь вселенной
Не вдвинуть! Сны?—им все во власть ли ты
Предашь?—длить вечность, Фаусту с Еленой,
Где призрак-мысль и призрак-страсть слиты!

1922

Принцип относительности

Первозданные оси сдвинуты
Во вселенной. Слушай: скрипят!
Что наш разум зубчатый?—лавину ты
Не сдержишь, ограды крепя.

Для фараоновых радужных лотосов
Петлицы ли фрака узки,
Где вот-вот адамант leges-motus'ов
Ньютона—разлетится в куски!

И на сцену—венецианских дожей ли,
Если молнии скачут в лесу!
До чего, современники, мы дожили:
Самое Время—канатный плясун!

Спасайся, кто может!—вопль с палубы.
Шлюпки спускай!—Вам чего ж еще?
Чтоб треснул зенит и упало бы
Небо дырявым плащом?

Иль колеса в мозгу так закручены,
Что душат и крики и речь,
И одно вам,—из церкви порученный
Огонек ладонью беречь?

1922

Nihil

Как мечты о мечтах отошедшего детства,—
Над папирусом никнуть в святилище Ра,

В тогу на форум небрежно одеться,
Влюбленным трувером у окна замирать...

Наука над ухом: «Голос атавизма!..
Сложность клетки!» и много прочих слов.
Акула, наш дух! ты ль—веками давиться,
Где песчинки в самуме—тысячелетий число!

Я был? я ли не был?.. И были и небыль—
Цветное круженье молекул в мозгу:
Зачерпнуть ли под череп с созвездьями небо?
На ладонь уложить ли золотую Москву?

И, поклонникам кинув легенды да книги,
Оживленный, быть может, как дракон на звезде,
Что буду я, этот?—не бездонное ль nihil,
Если память померкла на земной борозде,

Если я не узнаю мило-мнимых мгновений,
Где вот эти губы припали к лицу,
Если—раб роковых межей, мановений
Вечности, веющей вслед беглецу!

1922

Pou stô

Ты ль пригоршнями строфы по радио,
Новый орфик, на Марс готовишь?
Но короче аркан,—земной радиус:
Вязнешь по пояс в прошлом, то бишь!

Этот стих, этот вскрик—отзвук: выплакать
Страх, что враг камень в лоб загонит,
Черепка скрип на сланце, а вы: плакат
Там в межзвездном,—Lux Zug,—вагоне!

Бедный бред, что везде—скреп Эвклидовых
Тверд устой: столп, шатнуть нельзя!

Все ж в веках пробил час, где б выкидывать
Истин груз, все их в муть неся!

Прометей ли пришел? укажи: pou stô?
Иль Фиджийский вождь встал с рогожи?
Смысл веков не броженье ль во лжи пустой?
Время, место—мираж прохожий!

Только снег, зелень трав, моря мантия,
Сговор губ к алтарю Селены—
Свет насквозь смертных слов, пусть обман тая,
Нам наш путь в глубину вселенной!

1922

Мы и те

Миллионы, миллиарды, числа невыговариваемые,
Не версты, не мили, солнце-радиусы, светогода!
Наши мечты и мысли, жалкий товар, и вы, и мы, и я,—
Не докинул никто их до звезд никогда!

Велика ли корысть, что из двух соперников древности
Пифагором в веках побежден Птоломей,
Что до нас «e pur se...» Галилей умел донести
И книга его, прозвенев, стала медь?

Велика ли корысть, что мы славим радостно честь свою,
В обсерватории на весы Сатурн опустив,
Подсчитав на Венере градусы по Цельсию,
Каналы на Марсе ловя в объектив?

Все равно! все равно! И ничтожного отзыва
Нет из пространства! терпи да млей!
Мы—что звери за клеткой! Что ж, нововолосого
Марсианина, что ль, мы ждем на земле?

Так растопчем, растопчем гордость
неоправдываемую!
Пусть как молния снидет из тьмы ночи ловец—
Брат наш воздух, наш фосфор, наш радий, радуя
и мою
Скорбь, что в мире смирил умы не человек!

1922

Разочарование

Вот замолкла, заснула, закуталась
Черным ворохом чуткая полночь.
Дверь в миры отперта; из-за купола
Марс мерцает приближенный. Полно!

Ты—мой бред! ты—мой призрак!—Лилит моя!
Мозг пилить невозможным ты снова ль?
Что мы?—капля, в вселенную влитая,
Нить, где взвита в бездонность основа!

Те мечты я сотру, мел на аспиде!
Сеть каналов твоих смажу тушью!
Прокричи из ночи еще раз: «приди!»
Мне ль углей мировых внять удушью?

Пусть нигде, пусть никто, всех семи планет,
Нам не отзыв, не зов: лед и зной лишь!
Вечность нас зевом медленным выплюнет,—
Мы—лишь бедный цветок, ах! весной ли?

Прежде, после,—ей что? наших выкладок
Ей не брать,—единиц в биллионе!
Звезд ряды строить в небе привыкла так,
Что меня, здесь во тьме, для нее—нет!

1922

Молодость мира

Нет! много ли, мало ли, чем бы ты вымерил
Все, что в тысячелетия, как в пропасть, упало,—
Материки, что исчезли, расы, что вымерли,
От совета Лемуров до совета в Рапалло?

Имена персеидами падают в памяти,
Царей, полководцев, ученых, поэтов...
Но далеко ль еще по тем же тропам итти,
Набирая в ненужный запас то и это?

На пути библиотеки стоят цитаделями,
Лагерями архивы, загражденьем музеи...
Вдребезги грудь о песни к Делии,
Слеп от бомб риккертианства, глух от древних
Тезеев.

Но океаны поныне кишат протоплазмами,
И наш радий в пространствах еще не растрачен,
И дышит Земля земными соблазнами,
В мириадах миров всех, быть может, невзрачней.

А сколько учиться—пред нами букварь еще!
Ярмо на стихии наложить не пора ли,
Наши зовы забросить на планеты товарищу,
Шар земной повести по любой спирали?

Человек! свои мерки опять переиначь! а то
Уронишь афишу, озадаченный зритель!
Человечеством в жизни ныне не начата ль
Лишь вторая глава там, в Санта-Маргарите?

1922

Весенняя песня о любви

Тосковать в снег весны,—о, банальные
Песни праотцев, скок чрез огонь:

С тигром крыться под своды бананные,
Догонять с рыжей пумой вигонь!

Март морочит морозная оттепель;
К печкам лепятся тени Мюрже...
Что ж плеснуло? груз тел,—не на отмель ли
К ласкам вешним две пары моржей?

Ночью вскрыть бы (проделки Лесажовы)
Потолки: лоб на лоб, рот ко рту,—
Сколько спаянных в дрожь! Иль рассажены
В них твои паладины, Артур?

Волны бьют с пустыря миоценова,
Чтоб, дрожа, грудь теплела в руке;
Древних дебрей слеза драгоценная—
Вздох табачный ловить в мундштуке.

Верб заветных где пух?—не равно ли им,
Здесь, где страсть—на прилавок товар,
Лед и гейзеры, ель и магнолии...
А Джон Фич, темя вниз, в Делавар!

1922

Годы в былом

Наискось, вдоль, поперечниками
Перечеркнуты годы в былом,—
Ландкарта с мелкими реченками,
Сарай, где хлам и лом.

Там—утро, в углу, искалеченное;
Там—вечер, убог и хром;
Вот—мечта, чуть цела, приналечь на нее,
Облетит прогорелым костром.

Цели, замыслы,—ржа съедающая
Источила их властный состав,

С дней, растерянных дней, тех, когда еще я
Верил замыслам, ждать не устав.

И они, и они, в груду скученными,
Ночи клятв, миги ласк, тени губ...
Тлеть в часах беспросветных не скучно ли им,
Как в несметном, метельном снегу?

Конквистадор, зачем я захватываю
Город—миг, клад—часы, год—рубеж?
Над долиной Иосафатовою
Не пропеть пробужденной трубе.

1922

Кто?—мы? иль там...

Моя рука—к твоей святыне,
На дрожь мою—ладонь твоя;
Сан-Марко два жгута витые,
Колени жгут, мечту двоя.

Длить сон предчувствий; первый трепет
Впивать в сухом агате глаз:
Следя добычу, смотрит стрепет;
Ждет искр Франклинова игла.

Кто? мы? иль там, в веках воспетых,
Мимнерм, Тибулл, Петрарка, все!
Ur-Mensch, в его слепых аспектах,
Две птицы, слитые в овсе?

Чудовищ, тех, эпохи ранней,
Вздох в океан, громовый всхлип,
Где в ласке клык смертельно ранит,
Где рот рычать от крови слип?

Уже двух рук сближенье жутко,
Дождь тысяч лет гудит в ушах,—

В бред, в хаос, в тьму без промежутка,
Все светы, правд и лжи, глуша!

1922

Под зимним ветром

Додунул ветер, влажный и соленый,
Чуть дотянулись губы к краю щек.
Друг позабытый, друг отдаленный,
Взлетай, играй еще!

Под чернью бело,—лед и небо,—
Не бред ли детский, сказка Гаттераса?
Но спущен узкий, жуткий невод,
Я в лёте лет беззвучно затерялся.

Как снег, как лед, бела, бела;
Как небо, миг завешен, мрачен...
Скажи одно: была? была?
Ответь одно: навек утрачен!

Кто там, на берегу, во тьму
Поник,—над вечностями призрак?
Века ль стоять ему
В заледенелых ризах?

Достигнут полюс. Что ж змеей коралловой
На детской груди виться в кольцах медленно?
Волкан горит; в земле хорала вой,
В земле растворены порфир и медь в вино.

Додунул ветер с моря, друг отвергнутый,
Сжигает слезы с края щек...
Я—в прошлом, в черном, в мертвом! Давний,
верный, ты
Один со мной! пытай, играй еще!

1921—1922

Над картой Европы 1922 года

Встарь исчерченная карта
Блещет в красках новизны—
От былых Столбов Мелькарта
До Колхидской крутизны.

Кто зигзаги да разводы
Рисовал здесь набело?
Словно временем на своды
Сотню трещин навело.

Или призрачны седины
Праарийских стариков,
И напрасно стяг единый
Подымался в гарь веков?

Там, где гений Александра
В общий остров единил—
Край Перикла, край Лисандра,
Царства Мидий, древний Нил?

Там, где гордость Газдрубала,
Словно молотом хрусталь,
Беспощадно разрубала
Рима пламенная сталь?

Там, где папы громоздили
Вновь на Оссу Пелион?
Там, где огненных идиллий
Был творцом Наполеон?

Где мечты? Везде пределы,
Каждый с каждым снова враг;
Голубь мира поседелый
Брошен был весной в овраг.

Это—Крон седобородый
Говорит веками нам:

Суждено спаять народы
Только красным знаменам.

1922

Сегодня

На пестрых площадях Занзибара,
По зеленым склонам Гавайи,
Распахиваются приветливо бары,
Звонят, предупреждая, трамваи.

В побежденном Берлине—голод,
Но ослепительней блеск по Wein-ресторанам;
После войны пусть и пусто и голо,—
Мандрагоры пляшут по странам!

И лапы из золота тянет
Франция,—все в свой блокгауз!
Вам новейшая лямка, крестьяне!
Рабочие, вам усовершенствованный локаут!

Этому морю одно—захлестнуть бы
Тебя, наш Советский Остров!
Твои, по созвездиям, судьбы
Предскажет какой Калиостро!

В гиканьи, в прыганьи, в визге
Нэпманов заграничных и здешних,
Как с бутыли отстоенной виски,
Схватить может припадок сердечный.

На нашем глобусе ветхом,
Меж Азий, Америк, Австралий,
Ты, станции строя по веткам,
Вдаль вонзишь ли свои магистрали?

1922

Новый синтаксис

Язык изломан? Что ж!—глядите:
Слова, истлевшие до тла.
Их разбирать ли, как Эдите
На поле Гастингском тела?

Век взвихрен был; стихия речи
Чудовищами шла из русл,
И ил, осевший вдоль поречий,
Шершавой гривой заскорузл.

Но так из грязи черной встали
Пред миром чудеса Хеми,
И он, как шлак в Иоахимстале,—
Целенье долгих анемий.

В напеве первом пусть кричащий
Звук: то забыл про немоту
Сын Креза, то в воскресшей чаще
Возобновленный зов «ату!»

Над Метценжером и Матиссом
Пронесся озверелый лов,—
Сквозь Репина к супрематистам,
От Пушкина до этих слов.

1922

Стихи о голоде

«Умирают с голода,
Поедают трупы,
Ловят людей, чтоб их съесть, на аркан!»
Этого страшного голоса
Не перекричат никакие трубы,
Ни циклон, ни самум, ни оркан!

Люди! люди!
Ты, все человечество!

Это ли не последний позор тебе?
После прелюдий
Войн и революций,
На скрижалях земли он увековечится!
Пред вашей святыней
Не лучше ли вам кричать гильотине:
Прямо нас всех по аорте бей!

Как?
Тысячелетия прошли с тех пор,
Как человек посмел взглянуть в упор
В лицо природы, как Халдей назначил
Путь планет, и Эллин мерить начал
Просторы неба; мы ль не пьяны тем,
Что в наших книгах сотни тысяч тем,
Что, где ни подпись, всюду—многознайки,
Что мотор воет в берег Танганайки,
Бипланы странствуют, как строй гусят,
И радио со всех газет гудят!

Однако! . . . . . .
Наша власть над стихиями—где ж она?
«Пи» исчислено до пятисотого знака,
Любая планета в лабораториях свешена,
Комариные нервы исчислил анатом,
Мы разложили атом...
Но вот—от голода обезумевший край
Умирает, людоедствует,
Мать подымает на сына руку;
А ученый ученому мирно наследствует,
Определяет пыльцу апатура...
Кто там! бог! или рок! иль натура!
Карай
Эту науку!

Как!
Ужели истину всех мудрецов земли,
Как вихри пыль, столетья размели?
Том на тома, играли лишь в бирюльки

Филологи, твердя о древней люльке,
Где рядом спал Ариец, и Семит,
Монгол, и Тюрк, и раб от пирамид?
Как! все народы, в единеньи страстном,
Не стали братьями на этот раз нам?
И кто-то прокричал, в слух всем векам:
«Полезна ль помощь русским мужикам?»

Да!
Стелется сизым туманом все та же
Вражда
Там, где нам предлагают стажи!
Лишь немногие выше нее,—
Над болотами Чимборазо!—
Нет, не все знали, что мир гниет,
До этого раза!

Но пусть
Там, с Запада, набегает облава;
Пусть гончих не счесть,
Пусть подвывает рог ловчего!
Тем, кто пришел на помощь к нам,—слава!
Им, в истории,—честь!
Но мы не примем из лукавых слов ничего!
Мы сами, под ропот вражды и злорадства,
Переживем лихолетье!
Все же заря всемирного братства
Заблестит,—из пещеры руда!—
Но дано заалеть ей
Лишь под знаменем красным—Труда!

1922

ИЗ КНИГИ
МЕА
1922 — 1924

Магистраль

Были лемуры, атланты и прочие...
Были Египты, Эллады и Рим...
Варвары, грузы империй ворочая,
Лишь наводили на мир новый грим...

Карты пестрели потом под феодами,
Чтоб королям клочья стран собирать...
Рушились троны и крепли... И одами
Славили музы борьбу, рать на рать...

Царства плотились в союзы, в империи,
Башнями строя штыки в высоту...
Новый бой шел за земные артерии...
Азию, Африку, все—под пяту!

Труд поникал у машин и над нивами...
Армии шли—убивать, умирать...
Кто-то, чтоб взять всю добычу, ленивыми
Пальцами двигал борьбу, рать на рать.

Было так, длилось под разными флагами,
С Семирамиды до Пуанкаре...
Кто-то, засев властелином над благами,
Тесно сжимал роковое карре.

Небо сияло над гордыми, званными...
Жизнь миллионов плелась в их руках...

Но—ветер взвыл над людскими саваннами,
Буря, что издавна тлела в веках.

И грань легла меж прошлым и грядущим,
Отмечена, там, где-то, дата дат:
Из гроз последних лет, пред миром ждущим,
Под красным стягом встал иной солдат.

Мир раскололся на две половины:
Они и мы! Мы—юны, скудны,—но
В века скользим с могуществом лавины,
И шар земной сплотить нам суждено!

Союз Республик! В новой магистрали
Сольют свой путь все племена Европ,
Америк, Азий, Африк и Австралий,
Чтоб скрыть в цветах былых столетий гроб.

1924

После смерти В. И. Ленина

Не только здесь, у стен Кремля,
Где сотням тысяч—страшны, странны
Дни без вождя! Нет, вся земля,
Материки, народы, страны,

От тропиков по пояс льда,
По всем кривым меридианам,
Все роты в армии труда,
Разрозненные океаном,

В тревоге ждут, что будет впредь,
И, может быть, иной—отчаян:
Кто поведет? Кому гореть,
Путь к новой жизни намечая?

Товарищи! Но кто был он?
Воль миллионных воплощенье!

Веков закрученный циклон!
Надежд земных осуществленье!

Пусть эти воли не сдадут!
Пусть этот вихрь все так же давит!
Они нас к цели доведут,
С пути не сбиться нас—заставят!

Но не умалим дела дел!
Завета трудного не сузим!
Как он в грядущее глядел,
Так мир сплотим и осоюзим!

Нет «революций», есть—одна:
Преображенная планета!
Мир всех трудящихся! И эта
Задача—им нам задана!

1924

Ленин

Кто был он?—Вождь, земной Вожатый
Народных воль, кем изменен
Путь человечества, кем сжаты
В один поток волны времен.

Октябрь лег в жизни новой эрой,
Властней века разгородил,
Чем все эпохи, чем все меры,
Чем Ренессанс и дни Атилл.

Мир прежний сякнет, слаб и тленен;
Мир новый,—общий океан,—
Растет из бурь октябрьских: Ленин
На рубеже, как великан.

Земля! зеленая планета!
Ничтожный шар в семье планет!

Твое величье—имя это,
Меж слав твоих—прекрасней нет!

Он умер; был одно мгновенье
В веках; но дел его объем
Превысил жизнь, и откровенья
Его—мирам мы понесем!

1924

У Кремля

По снегу тень,—зубцы и башни;
Кремль скрыл меня,—орел крылом.
Но город-миф—мой мир домашний,
Мой кров, когда вне—бурелом.

С асфальтов Шпре, с Понтийских топей,
С камней, где доккер к Темзе пал,
Из чащ чудес,—земных утопий,—
Где глух Гоанго, нем Непал,

С лент мертвых рек Месопотамий,
Где солнце жжет людей, дремля,—
Бессчетность глаз горит мечтами
К нам, к стенам Красного Кремля!

Там—ждут, те—в гневе, трепет—с теми;
Гул над землей метет молва...
И,—зов над стоном, светоч в темень,—
С земли до звезд встает Москва.

А я, гость лет, я, постоялец
С путей веков, здесь дома я.
Полвека дум нас в цепь спаяли,
И искра есть в лучах—моя!

Здесь полнит память все шаги мне,
Здесь, в чуде, я—абориген,

И я храним, звук в чьем-то гимне,
Москва! в дыму твоих легенд!

1923

С. С. С. Р.

Эй, звезда, отвечай, на потеху ли
Ты навстречу солнцу летишь?
Не к созвездью ль Геракла доехали
Мы чрез миро-эфирную тишь?

Мимо сотнями разные млечности,
Клубы всяких туманностей—сквозь!
Ну, а эти кометы,—им меч нести
Вдоль Земли, вдоль земель, на авось!

Ах, не так ли Египты, Ассирии,
Римы, Франции, всяческий бред,—
Те имперней, те утлее, сирее,—
Все—в былое, в запруду, в запрет!

Так в великом крушеньи (давно ль оно?)
Троны, царства, империи—вдрызг!
Где из прежнего моря дозволено
Донести до сегодня лишь брызг.

Иль напрасно над хламом изодранным
Знамя красное взвито в свой срок?
Не с покона ль веков эта хорда нам
Намечала наш путь поперек?

Эй, Европа, ответь: не комете ли
Ты подобна в огнях наших сфер?
Не созвездье ль Геракла наметили
Мы, стяг выкинув—Эс-эс-эс-эр?

1923

З. С. Ф. С. Р.

Планеты и солнце: Союз и Республики строем;
Вождь правит ряды, он их двоит и троит.
Вот на дальней орбите сбираются в круг сателлиты:
Не малые ль зерна в могучий шар слиты?
Где уже притяженье иных, нам почти чуждых сфер,
Новый мир загорелся—Зэ-эс-эф-эс-эр.

Как много в немногом! От отмелей плоских, где
Каспий
Вышкам с нефтью поет стародавние сказки,
За скалы Дарьяла, где, в вихре вседневных истерик,
О старой Тамаре рыдальствует Терек,
До стран, где, былыми виденьями тешиться рад,
Глядит к Алагязе седой Арарат!

Как много! И сколько преданий! От дней Атлантиды
Несут откровенья до нас яфетиды;
Здесь—тень диадохов! там—римских провинций
границы!
Там длань Тамерлана и бич его снится!
И снова тут сплочен, в проломе всемирных ворот,
К труду и надеждам свободный народ.

Привет племенам, что века и века враждовали,
Но вызваны к жизни в великом развале
Империй и царств! Вы звездой загорелись на сфере!
Вы—силы земли! Вы—кровь нови! И, верим:
Путь один держат к свету из древних пещер и
трясин—
Абхазец и тюрк, армянин и грузин!

1924

Штурм неба

Сдвинь плотно, память, жалюзи!
Миг, стань как даль! как мир, уют!

Вот—майский день; над Жювизи
Бипланы первые планируют.

Еще! Сквозь книги свет просей,
Тот, что мутнел в каррарском мраморе!
Вот—стал на скат, крылат, Персей;
Икар воск крыльев сеет на-море.

Еще! Гуди, что лук тугой,
Любимцев с тьмы столетий кликая!
Бред мудрых, Леонард и Гойй:
«Вскрылит, взлетит птица великая»...

Еще! Всех бурь, всех анархий
Сны! все легенды атлантидины!
Взнести скиптр четырех стихий,
Итти нам, людям, в путь неиденный.

И вдруг—открой окно. Весь день
Пусть хлынет, ранней мглой опудренный:
Трам, тротуар, явь, жизнь везде,
И вот—биплан над сквером Кудрина.

Так просто! Кинув свой ангар,
Зверь порскает над окским берегом;
И, где внизу черн кочегар,
Бел в синеве, летя к Америкам.

Границы стерты,—с досок мел!
В высь взвив, незримыми лианами
Наш век связать сумел, посмел
Круг стран за всеми океанами.

Штурм неба! Слушай! Цельсь! Пли!
«Allons, enfants»...—«Вставай»... и «Ça ira»
Вслед за фарманом, меть с земли
В зыбь звезд, междупланетный аэро!

1923

Машины

Зубцы, ремни, колеса, цепи,
Свист поршней, взмахи рычага;
Вне—замыслы, наружу—цели;
Но тайна где-то спит, строга.

Взмах! Взлет! Челнок, снуй! Вал, вертись вкруг!
Привод, вихрь дли! не опоздай!
Чтоб двинуть косность, влить в смерть искру,
Ткать ткань, свет лить, мчать поезда!

Машины! Строй ваш вырос бредом,
Земля гудит под ваш распев;
Мир в ваши скрепы веком предан,
В вас ждет царей, оторопев.

Вы—всюду: некий призрак вещий,
Что встарь вставал из лунных мшин!
На всех путях, на каждой вещи
Клеймо познанья, след машин!

Нам жизнь творят цилиндры, оси,
Эксцентрики, катки... Ждем дня
Корабль в простор планетный бросить,
Миры в связь мира единя!

Сеть проволок, рельс перевивы,
Незримый ток в лучи антенн:
Мы в них сильны, в их вере живы.
И нет пределов! и нет стен!

Вертись, вал! поршень, бей! вей цепи!
Лети творить, незримый ток!
Вне—замыслы! наружу—цели!
Но в чьей руке святой моток?

Здесь что? Мысль роль мечты играла,
Металл ей дал пустой рельеф;

Смысл—там, где змеи интеграла
Меж цифр и букв, меж d и f!

Там—власть, там—творческие горны!
Пред волей числ мы все—рабы.
И солнца путь вершат, покорны
Немым речам их ворожбы.

1924

Невозвратность

Миг, лишь миг быть земле в данной точке вселенной!
Путь верша, ей сюда возвратиться ль, и как?
Звездной вязи, в уме ложью глаз впечатленной,
Не найдет он, грядущий, там, в новых веках.

Время, время, стой здесь! полосатый шлагбаум
В череп мысли влепи! не скачи, сломя дни!
Гвоздь со шнуром в «теперь» вбить бы нам, и в забаву
Миллионам веков дать приказ: отдохни!

Эх! Пусть фильму Эйнштейн волочит по Европе!
Строф не трать на обстрел: дроби праздный извод!
Все ж из «прежде» в «потом» кувыркаться! и в тропе
Гераклита—все истины: жизнь—смена вод.

Есть, быть может, ждут, будут—Гольфштрем, Куро-Сиву
На путях, где нас Солнце влечет, как сатрап,
Чтоб лучи, звуки, запахи, краски—красивы
Стали все, всем, всегда, или—соком отрав;

Есть, быть может, ждут, будут—огни дальних станций
Там, где шаг человечества врежет свой след,

Чтоб, в Коммуне Всемирной, жизнь, в музыке, в танце,
В песне, славила радость предсказанных лет.

Но и там все—лишь миг, но и там все—что дребезг
Невозможных полнот, тех, что взор осязать
Мог бы лишь не как взор, чей на смертном одре блеск
Будет бред, будет цель: с мигом вечность связать!

1924

Мир электрона

Быть может, эти электроны—
Миры, где пять материков,
Искусства, знанья, войны, троны
И память сорока веков!

Еще, быть может, каждый атом—
Вселенная, где сто планет;
Там все, что здесь, в объеме сжатом,
Но также то, чего здесь нет.

Их меры малы, но все та же
Их бесконечность, как и здесь;
Там скорбь и страсть, как здесь, и даже
Там та же мировая спесь.

Их мудрецы, свой мир бескрайный
Поставив центром бытия,
Спешат проникнуть в искры тайны
И умствуют, как ныне я;

А в миг, когда из разрушенья
Творятся токи новых сил,
Кричат, в мечтах самовнушенья,
Что бог свой светоч погасил!

1922

Мир N измерений

Высь, ширь, глубь. Лишь три координаты.
Мимо них где путь? Засов закрыт.
С Пифагором слушай сфер сонаты,
Атомам дли счет, как Демокрит.

Путь по числам?—Приведет нас в Рим он
(Все пути ума ведут туда!).
То же в новом—Лобачевский, Риман,
Та же в зубы узкая узда!

Но живут, живут в N измереньях
Вихри воль, циклоны мыслей, те,
Кем смешны мы с нашим детским зреньем,
С нашим шагом по одной черте!

Наши солнца, звезды, все в пространстве,
Вся безгранность, где и свет бескрыл,
Лишь фестон в том праздничном убранстве,
Чем их мир свой гордый облик скрыл.

Наше время—им чертеж на плане.
Вкось глядя, как мы скользим во тьме,
Боги те тщету земных желаний
Метят снисходительно в уме.

1924

Мировые спазмы

Что от спазм сладострастья искорчило
Круглоту Земли,—не ворчи!
Дрожам дожитых ласк вперекор, чело
Многозвездных небес—без морщин!
Голубой кругозор, как над первой
Любовницей, жгуч и суров,
Словно он космической спермой
Не обрызгал миллионы миров.

Ты, Земля, в срок повторных беременностей,
Амеб, голотурий, червей
В смерть швыряла из полой безвременности,
Чтоб вынашивать иных дочерей;
Но докончен твой, грешный и сладкий,
Вой сквозь Геклы и Краблы, и лишь
Гималаев да Андов складки
Видны, чуть живот оголишь.

Чу! на плитах асфальтовых улицы—
Сев, которым взошли семена;
Понесла ты вдоль стекол выгуливаться,
В драпировках мод Femina,
Скелеты, рыхлей, чем скрипица,
Где луес, алкоголь, туберкулез,—
И, иссякшей, тебе лишь не спится,
Как от блох, от автомобильных колес.

А бросив прочь, как падаль, сожженности
Тех планет, где культура и гам,
Жаждет ранить, в былой напряженности,
Мировой, несломимый лингам,
Не за долг, не за боль, не за счастье
Опрокидывать навзничь и ниц,
Извергая за зачатьем зачатье
Из своих неистощимых яиц.

1922

Явь

Опрокинут, распластан, рассужен врозь
Призрак мира от солнц до бацилл...
Но в зрачки, в их тигриную суженность,
По заре серый дождь моросил.

Там по памяти, в комнатах замкнутых,
Бродят цифры, года, имена...

А голодный крестьянин в глаза кнутом
Клячу бьет от пустого гумна.

Сны вершин в бармах Фета и Тютчева,
В кружевах Гете иль Малларме...
Но их вязь—план чьей драмы? Этюд чего?
Их распев—ах, лишь в нашем уме!

День Флориды—ночь Уэллса. Но иначе—
Изотермы жгут тысячу тел:
Топчут Гамлета Хорь-и-Калинычи,
Домби дамбами давят Отелл.

Говори: это—песня! лениво лги
Там, в тетради, чертами чернил;
Но, быть может, писк муромской иволги
Кровью каплет в египетский Нил.

Колбы, тигли, рефракторы, скальпели
Режут, лижут, свежат жизнь... а вот
Явь—лишь эти за окнами капли и
Поцелуй в час полночных свобод!

1923

Как листья в осень

«Как листья в осень...»—вновь слова Гомера.
Жить, счет ведя, как умирают вкруг...
Так что ж ты, жизнь?—чужой мечты химера?
И нет устоев, нет порук!

Как листья в осень! Лист весенний зелен;
Октябрьский желт; под рыхлым снегом—гниль...
Я—мысль, я—воля!.. С пулей или зельем
Встал враг. Труп и живой—враги ль?

Был секстильон; впредь будут секстильоны...
Мозг—миру центр; но срезан луч лучом.

В глазет—грудь швей, в свинец—Наполеоны!
Грусть обо всех—скорбь ни об чем!

Так сдаться? Нет! Ум не согнул ли выи
Стихий? узду не вбил ли молньям в рот?
Мы жаждем гнуть орбитные кривые,
Земле дав новый поворот.

Так что ж не встать бойцом, смерть, пред тобой нам,
С природой власть по всем концам двоя?
Ты к нам идешь, грозясь ножом разбойным;
Мы—судия, мы—казнь твоя.

Не листья в осень, праздный прах, который
Лишь перегной для свежих всходов,—нет!
Царям над жизнью, нам, селить просторы
Иных миров, иных планет!

1924

Атавизм

Поэты—пророки! Но много ли стих их,
Пусть певчий, расскажет об том нам,
Что в гибельной глуби их призрачных психик
Спит сном утомленным и томным?

Да! фон небоскребов, бипланов и трамов,
Листок с котировкой банкнота;
Но сзади дикарь, испещренный от шрамов:
След тигра иль только енота.

Нет, больше! там—примат, иль ящер, иль даже
Медуза и тускль протоплазмы!
И нет препарата (с патентом!) в продаже,
Чтоб с кошачьим сблизили глаз мы.

И только? Но также и мост (вспомним Ницше!),
Бессмертный с копытом Силена!

И ты, человек, будешь некогда—низший
Тип, рядом с Владыкой вселенной!

Поэты-пророки! вмещайте же в стих свой
Ту дрожь, чем живет головастик!
Мы смеем так делать! отметим мы с лихвой
Грядущий восторг голой власти!

1923

Не память...

Как дни тревожит сон вчерашний,
Не память,—зов, хмельней вина,
Зовет в поля, где комья пашни
Бьет в плуг, цепляясь, целина.

Рука гудит наследьем кровным—
Сев разметать, в ладонь собрав;
Цеп над снопом обрушить; ровным
Размахом срезать роскошь трав.

Во мне вдруг вздрогнет доля деда,
Кто вел соху под барский бич...
И (клич сквозь ночь!) я снова, где-то,
Все тот же старый костромич.

И с солнцем тают (радуг льдины!)
Витражи стран, кулисы книг:
Идет вдоль всей земли единый,
Русь, твой синеющий сошник!

Мужичья Русь! там, вне заводов,
Без фабрик,—обреченный край,
Где кроет бор под бурей сводов,
Где домовой прет спать в сарай!

Как ты в мечты стучишь огнивом?
Не память,—зов, хмельней вина,

К стогам снегов, к весенним нивам,
Где с Волгой делит дол Двина!

1923

Родное

Березка любая в губернии
Горько сгорблена грузом веков,
Но не тех, что, в Беарне ли, в Берне ли,
Гнули спину иных мужиков.

Русский говор,—всеянный, вгребленный
В память,—бредит, деревья в саду!
Что нам звоны латыни серебряной:
Плавим в золото нашу руду!

Путь широк по векам! Ничего ему,
Если всем к тем же вехам, на пир;
Где-то в Пушкинской глуби по-своему
Отражен, склон звездистый, Шекспир.

А кошмар, все, что мыкали, путь держа
С тьмы Батыя до первой зари,
Бьет буруном в мечтах (не до удержа!):
Мономахи, монахи, цари!

Пусть не кровью здоровой из вен Земля:
То над ней алый стяг—трезвый Труд...
Но с пристрастий извечного вензеля
Зовы воль, в день один, не сотрут!

Давних далей сбываньем тревожимы,
Все ж мы ждем у былых берегов,
В красоте наших нив над Поволжьями,
Нежных весен и синих снегов.

1923

Из лесной жути

Один—в лесную жуть, когда на муть речную
Луной наведены белесые глаза:
Качнуть извет ветвей, спугнуть мечту ночную
И тихо покатить колеса-голоса;

Ждать, как, растя, крутясь, наполнит чуткий шорох
Все тропы тишины, меж корней, вдоль вершин:
Скок диких коней, бег шотландских пони в шорах,
Скрип древних колесниц, всхлип лимузинных шин;

Следить, как там, в тени, где тонь трясинных топей,
Где брешь в орешнике, где млеет мох века,—
Плетясь, в туман всплывут сны пройденных утопий,
Под смех русалочий, под взвизг лесовика;

Гадать, что с выси есть мощь сил неудержимых,
Винт воль, скликающих со звезд свою родню,
Что в мировых тисках, в их неживых зажимах,
Глубь человечества мелеет день ко дню;

И вдруг на луг, к луне, вкруг речки, скоро белой
В дожде зари, стряхнув слезу с листка ль, с лица ль,
Поняв, что камней шквал—то, в чаще оробелой,
Встал, меж гостей с планет, Германский Рюбецаль.

1922

Лесная тьма

Безлюдье. Глушь. Зеленоватый
Свет. Но в тиши есть голоса:
Те, чем живут, те, чем чреваты,
В июльски-жаркий день, леса.

Писк птицы; стрекот насекомых;
Скрип двух стволов; да вдалеке,

Меж звуков чуждых, но знакомых,
Моторной лодки треск в реке.

Нет! чу! еще! сквозь мириады
Зеленых листьев,—плащ земной,—
Шум, что не ведали дриады:
Гудит пропеллер надо мной.

Не знаю, здесь, где полюс близко,
Блуждал ли древле старый Пан,
Но хищным шипом василиска
Его встревожил бы биплан.

Гуд оживленного металла
Прорезал дали; власть ума
Богов Эллады разметала,
И светит вдруг лесная тьма.

Шум листьев в сумрачном хорале
Притих; идут, смелей, грозней,
Электро-плуг, электро-траллер,
Чудовища грядущих дней.

1923

Дождь перед ночью

Брел дождь, рассчетливо скупой,
А тучи смачно висли брюхом,
Чтоб ветер вдруг рванул скобой,
Вдруг взвизгнул по сенным краюхам.

Рожь полегла, уткнув носы;
В лоск были лбы изб и овинов.
И это—тьма, как жужжь осы,
Валилась вниз живой лавиной.

Вниз, вдаль, за грань, верблюжий горб
Земли (путь—пустошь океана),

Чтоб чей-то край, и дюж и горд,
Ее вплел в пальмы и лианы,—

Где нынче свет, блеск, веер вех,
Шум пум, змей смесь, гребки колибри...
Край, где вся явь жжет фейерверк,
Где жизнь—наш сон в ином калибре.

Оса, жужжа, свалила тьму;
Дождь сорвался; вихрь прыгнул в это...
Жми вплоть, меридиан, тесьму,
Где миг (миг всем)—грань мглы и света!

1923

Зимой

Дуй, дуй, Дувун! Стон тьмы по трубам,
Стон, плач, о чем? по ком? Здесь, там—
По травам ржавым, ах! по трупам
Дрем, тминов, мят, по всем цветам,
Вдоль троп упадших тлелым струпом,
Вдоль трапов тайных в глушь, где стан,
Где трон вздвигал, грозой да трусом
Пугая путь, Фригийский Пан.

Дуй, дуй, Дувун! Дуй, Ветр, по трубам!
Плачь, Ночь! Зима, плачь, плачь, здесь, там,
По травам, трапам, тронам, трупам,
По тропам плачь, плачь по цветам!
Скуп свет; нет лун. Плачь, Ночь, по трудным
Дням! Туп, вторь, Ветр! По их стопам
Пой, Стужа! Плачьте духом трубным,
Вслух! вслух!—по плугам, по серпам!

Дуй, дуй, Дувун! Дуй в дудки, в трубы!
Стон, плач, вздох, вой,—в тьму, в ум, здесь, там...
Где травы, трапы, троны?—Трупы
Вдоль троп. Все—топь. Чу, по пятам

Плач, стон из туч, стон с суши к струйным
Снам, Панов плач по всем гробам.
Пой в строки! в строфы! строем струнным
На память мяты по тропам!

1923

Книга I

Сцепень белых параллелограмов
В черных черточках—в свое жерло
Тянет Аустерлицов и Ваграмов
Бури, вплоть до вихря Ватерло.

В дуги лампы (двадцать пять амперов!),
Над столом, воспоминаньем влей
Мысли тысячи великих, перов
В царстве знанья, духа королей.

Но и мысли что?—сухие зерна
Пламени, что древле озарил
Чей-то сон над сваями, в озерной
Хате, ночь под черепом горилл.

В круге книг мудрец и россомаха,
Чуткая к добыче, на суку,
От амеб до Риккерта и Маха,
Все века земли—в одну строку!

Если числят там, за гранью далей,
Семь значков внесется в ту скрижаль,
Все, чем жили мы, чего мы ждали,
Чтоб и нас вселенной было жаль.

1922

Общая станция

Веками, эпохами, эрами,
Вертясь, их земля межевала,

Тех—Тэнами, этих—Гомерами
На челюстях слав изжевала.

Но только ль в почтенном учебнике?—
В памяти, в самобытной монаде,
С Римом Августов рядом кочевники,
Миф о Гее—с главой о Канаде!

Приближены тени и остовы:
По ступеням, что видит Иаков,
Сбегают мечты Ариостовы;
Бонапарт на пиру у феаков;

Экспрессом на общую станцию,—
Вавилон—Лондон, Марна—Аркола!
В сознании каждом—из Санцио
Счастливца «Афинская школа».

Так здравствуйте, девы Эриннии!
Вас ждут Дант и Гете; прошу быть
Как дома. Увы! север—в инее,
Но Конфуций стряхнет ваши шубы.

1922

Диадохи

Искали царств, дробили грады,
Бросая здесь, там зиждя трон;
Битв смена—путь их; им награды—
Груз диадем, цепь из корон.

Народ? он—ставка. На-кон брошен,
Да ждет, чья кость решит игру!
Как сметь судить? кто в споре спрошен?
Рок тысяч—у царя в шатру!

Эллада, край Хеми, круг Персий,
Все—Зевс для них ковром постлал;

И им же дев Бактрийских перси,
Китайский шелк, Индийский лалл!

Скиптр Александра, строг и страшен,
Взнесен,—жезл к строю грозных древк;
Им каждый сон в огонь раскрашен:
Полиоркет—он, тот—Селевк!

«Достойнейший» не встал. Пусть. В шквалах
Дней, гулких отзвуком громов,
Рос в ширь, в пределах небывалых,
Союз племен под скреп умов.

Центр слал свой свет в периферии;
В сталь—злато, в Запад тек Восток;
Угль стыл; сквозь пепл, Александрии
Взносили в высь живой росток.

Гудел гигантский горн вселенной;
Месил века; гас, отпылав,—
Чтоб тот же мир, в срок Рима—пленный,
Влил в жизнь тысячелетний сплав!

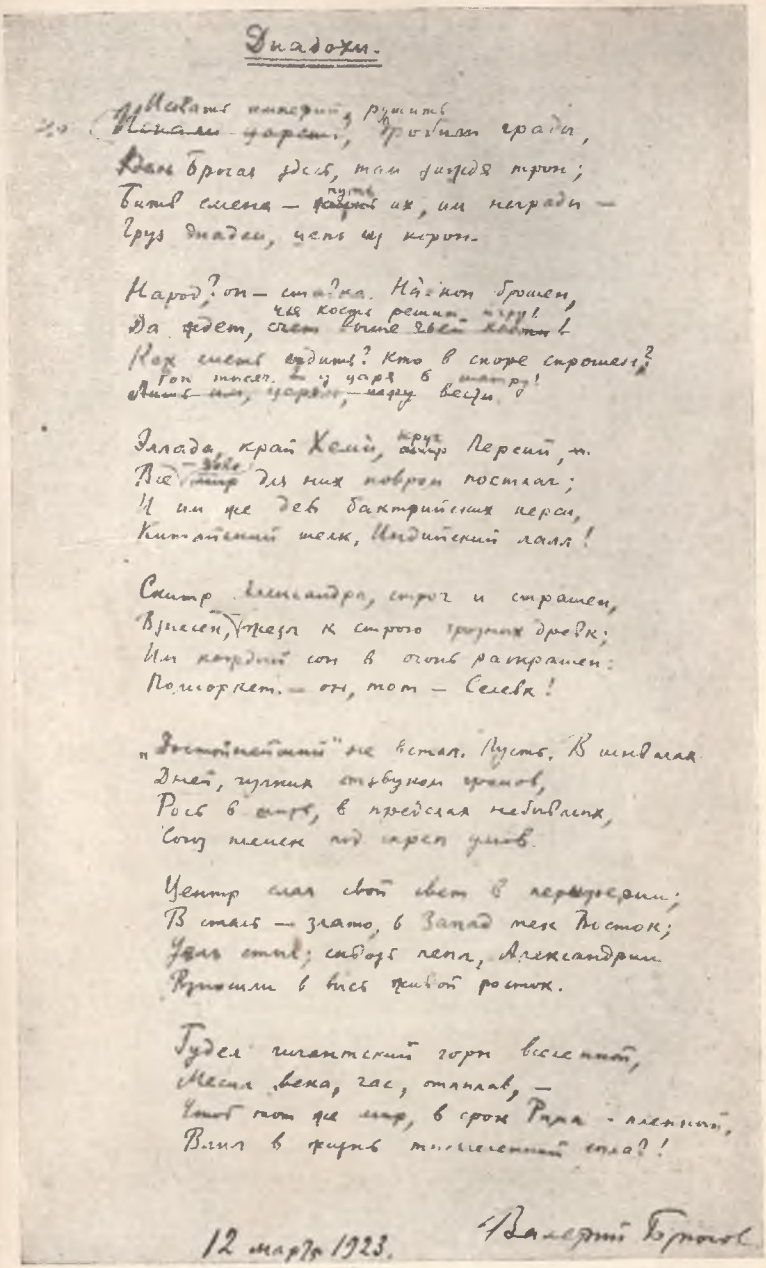
1923

Бодлер

Давно, когда модно дышали пачули
И лица солидно склонялись в лансье,
Ты ветер широт небывалых почуял,
Сквозь шелест шелков и из волн валансьен.

Ты дрожью вагона, ты волью фрегата
Мечтал, чтоб достичь тех иных берегов,
Где гидрами—тигр, где иглой—алигатор,
И тех, что еще скрыты в завес веков.

Лорнируя жизнь в призму горьких ироний,
Ты видел насквозь остова Second Empire,—



Диадохи.

Исчезать империй, рушить
~~Искали царств~~, дробили грады,
Дань бросая здесь, там зиждя трон;
Битв смена — ~~жизнь~~ путь их, им награды —
Груз диадем, цепь из корон.

Народ? он — ставка. Наёмн брошен,
Да ждет, ~~счет выше чьей ходит~~ чья кость решит игру!
Как счесть судить? Кто в споре спрошен?
Гон тысяч — у царя в театру!
~~Лишь им, царям, — игру~~ вести.

Эллада, край Хеми, ~~мир~~ круг Персий, и
Все ~~мир~~ — зеве для них ковром постлач;
И им же дев бактрийских персы,
Китайский шелк, Индийский лалл!

Скитр Александра, строг и страшен,
Взнесен, жезл к строго грозных древк;
Им каждый сон в огонь раскрашен:
Полиоркет — он, тот — Селевк!

„Достойнейший" не встал. Пусть. В шквалах
Дней, гулких отзвуком громов,
Рось в ширь, в пределах небывалых,
Союз племен под скрип умов.

Центр слал свой свет в периферии;
В сталь — злато, в Запад тек Восток;
Уголь стыл; сквозь пепл, Александрии
Взносили в высь живой росток.

Гудел гигантский горн вселенной,
Месил века, час, отплыв, —
Чтоб тот же мир, в срок Рима — пленный,
Влил в жизнь тысячелетний сплав!

12 марта 1923. Валерий Брюсов

Автограф стихотворения «Диадохи»

Из рукописи «Меа»

Надежд, падений и годин.
Вот—вечер; тот же город спящий,
Здесь двое под одним плащом
Стоят, кропимые дождем,
Укрыты сумрачным гранитом,
Спиной к приподнятым копытам.
Как тесно руки двух слиты!
Вольнолюбивые мечты
Спешат признаньями меняться;
Встает в грядущем день, когда
Народы мира—навсегда
В одну семью соединятся.

Но годы шли. Другой не тут.
И рати царские метут
Литвы мятежной прах кровавый
Под грозный зов его стихов.
И заглушат ли гулы славы
Вопль здесь встающих голосов,
Где первой вольности предтечи
Легли под взрывами картечи!
Иль слабый стон, каким душа
Вильгельма плачет с Иртыша!
А тот же, пристально-суровый
Гигант, взнесенный на скале!
Ужасен ты в окрестной мгле,
Ты, демон площади Петровой!
Виденье призрачных сибилл,
В змею—коня копыта вбил,
Уздой железной взвил Россию,
Чтоб двух племен гнев, стыд и страх,
Как укрощенную стихию,
Праправнук мог топтать во прах!

Он поднял взор. Его чело
К решотке хладной прилегло,
И мыслей вихрь вскрутился, черный,
Зубцами молний искривлен.
«Добро, строитель чудотворный!

Ужо тебе!»—Так думал он.
И сквозь безумное мечтанье,
Как будто грома грохотанье,
Он слышит топот роковой.
Уже пуста была ограда;
Уже скакал по камням града,
Над мутно плещущей Невой,
С рукой простертой Всадник Медный...
Куда он мчал слепой порыв?
И, исполину путь закрыв,
С лучом рассвета бело-бледный,
Стоял в веках Евгений бедный.

1923

Мысленно, да!

Мысленно, да! но с какой напряженностью
Сквозь окна из книг озираем весь мир мы!
Я пластался мечтой над огромной сожженностью
Сахары, тонул в знойных зарослях Бирмы;

Следил, веки сжав, как с руки краснокожего,
Вся в перьях, летя, пела смерти вестунья;
Слушал, чтоб в строфы влить звука похожего,
Твой грохот, твой дым в твердь, Мози-оа-Тунья!

Сто раз, нет, сто сотен, пока свое пол-лица
Земля крыла в сумрак,—покой океанам!—
Я белкой метался к полюсу с полюса,
Вдоль всех параллелей, по всем меридианам.

Все хребты твои знаю, все пропасти в кратерах,
Травы всяческих памп, всех Мальстремов содомы:
Мой стимер, где б ни был,—в знакомых фарватерах,
Мой авто—всюду гость, мой биплан—всюду дома!

И как часто, сорван с комка зеленого,
Той же волей взрезал я мировое пространство,

Спеша по путям свето-дня миллионного,
Чтоб хоры светил мне кричали: «пространствуй!»

И с Марса, с Венеры, с синего Сирия
Созерцал, постигал жизнь в кругу необъятном,
Где миг мига в веках—наш Египет-Ассирия,
А «я»—электрон, что покинул свой атом!

1923

В Тихом океане

Что за бурь, какого случая
Ждет подмытый монолит,
Глядя в море, где летучая
Рыба зыби шевелит?

В годы Кука, давне-славные,
Бригам ребра ты дробил,
Чтоб тебя узнать—их главный и
Неповторный опыт был.

Ныне взрыт зверями трубными
Путь, и что им, если зло
Ветер шутит всеми румбами,
На сто множа их число!

Мимо, гордо, мимо, плавные
Режут синий выплеск вод...
Годы Кука, давне-славные,
С ризой вставлены в кивот.

В дни, когда над бездной вогнутой
Воет огненный циклон,
Только можешь глухо, в окна, ты
Крикнуть стимерам поклон;

Под водой скалой таиться и
Быть размытым ты готов...

Эх! пусть челноки таитские
Мечут на тебя швартов!

1923

Марриэтовы мичманы

Марриэтовы мичманы,
Вы, лихая ватага,
Здесь лукаво-комичные,
Там живая отвага!

Вслед за вами, по вспененным
Тропам, с детства мы—чайка!
Волны пели, и в пеньи нам:
«Примечай! примечай-ка!»

Где учебник? Рассеянно
Глаз твердит: «Смерть Атиллы»...
А в мечтах: из бассейна
Голубого—Антиллы.

А в мечтах: на фрегате мы,
Шхуны в плен с их поклажей!
Мальты там берега из тьмы,
Шум и скрип такелажа.

А за шквалами шалости:
Красть изюм, бить нежонок...
Ах! припомнить до жалости
Те страницы книжонок,

Ту неправду, что измала
Жгла огнем неустанным,
Ту, что волю в нас вызвала—
В жизни стать капитаном!..

1923

Песня девушки в тайге

Медвежья шкура постлана
В моем углу; я жду...
Ты, дальним небом посланный,
Спади, как плод в саду!

Весна цвела травинками,
Был желт в июле мед;
Свис, в осень, над тропинками
Из алых бус намет.

Лежу, и груди посланы
Ловить слепую мглу...
Медвежья шкура постлана,
Тепла, в моем углу.

Таясь в тайге, с лосятами
Лосиху водит лось...
Мне ль с грудями не взятыми
Снег встретить довелось?

Весна цвела травинками.
Вот осень. Зрелый груз
Гнут ветры над тропинками,—
Лесных рябин и груш.

Медвежья шкура постлана...
Ты, свыкший ветви гнуть,
Ты, ветер, небом посланный,
Сбрось грушу мне на грудь!

1923

Та же грудь

Давно охладели, давно окаменели
Те выкрики дня, те ночные слова:

Эти груди, что спруты, тянулись ко мне ли?
Этих бедер уклоны я ль целовал?

В памяти плиты сдвинуты плотно,
Но мечты, зеленея, пробились меж них:
Мастеров Ренессанса живые полотна,
Где над воплем Помпей рубцовались межи.

Ведь так просто, как счет, как сдача с кредитки,
С любовницей ночью прощаться в дверях,
Чтоб соседка соседке (шопот в ухо): «Гляди-т-ка!
Он—к жене на постель! я-то знаю: две в ряд!»

И друзья хохотали, кем был я брошен,
Бросил кого (за вином, на авось),
Про то, как выл в страхе разметанный Брокен,
Иль стилет трепетал через сердце насквозь.

Были смерти,—такие, что смерть лишь насмешка,
Были жизни,—и в жизнях гейзер огней.
Но судьба, кто-то властный кричал мне:
«Не мешкай!»
И строфы о них стали стоном о ней.

Так все камни Эллад—в Капитолии Рима,
Первых ящеров лет—в зигзаге стрижа.
Пусть целую другую! Мне только зримо,
Что я к той же груди, сквозь годы, прижат!

1922

Это—я

В годы—дни (вечный труд!) переплавливать,
В сплав—часы, серебро в глубину.
Что ж мы памяти жадной? не вплавь ли звать
Чрез остывшую лаву минут?

Сны цветные ребенка задорного
Молот жизни в сталь строф претворил,

Но туманом явь далей задернуло,—
Голубым, где был перл и берилл.

Что нам видеть, пловцам, с того берега?
Шаткий очерк родного холма!
Взятый скарб разбирать, или бережно
Повторять, что скопила молва!

Мы ли там, иль не мы? каждым атомом
Мы—иные! в теченьи река.
Губы юноши вечером матовым
Не воскреснут в усах старика!

Сплав, пылав, остывает... Но, с гор вода,—
Годы, дни, жизнь, и, ужас тая,
В шелест книг, в тишь лесов, в рокот города,—
Выкрик детской мечты: это—я!

1922

У смерти на примете

Когда шесть круглых дул нацелено,
Чтоб знак дала Смерть-командир,—
Не стусклена, не обесценена
Твоя дневная прелесть, мир!

Что за обхватом круга сжатого,
Доступного под грузом век?
Темь к свету Дантова вожатого,
Иль червь и в атомы навек?

Но утром клочья туч расчесаны;
Пруд—в утках, с кружевом ракит;
Синь, где-то, жжет над гаучосами;
Где айсберг, как-то, брыжжет кит.

Есть баобабы и есть ландыши...
Пан, тропы травами глуша,

Чертежник древний, правит план души...
Да! если есть в мозгу душа!

И если нет!—Нам одинаково
Взлетать к звезде иль падать к ней.
Но жердь от лестницы Иакова,
Безумцы, вам всего ценней!

Да! высь и солнце, как вчера, в ней... Но
Не сны осилят мир денной,
И пусть шесть круглых дул уравнено
С моей спокойной сединой.

1923

Ариадне

Слышу: плачут волны Эльбы
О былом, о изжитом;
Лодки правят,—не на мель бы;
Пароходы бьют винтом;

Слышу, вижу: город давний,
Башни, храмы, скрип ворот,
Гете помнящие ставни,
Улиц узкий поворот;

Вижу: бюргеры, их жены,
Стопы пива по столам,—
Ужас жизни затверженной,
Дьявол с Гретхен пополам.

Там, где Эльбы полногрудой
Два сосца впились в мосты,
Там, задавленная грудой
Всех веков немецких,—ты!

Ты, с кем, два цветка, мы висли,
Миг, над пропастью двойной,

Ты, с кем ник я, там, на Висле,
К лику лик с Земной Войной.

1923

Мертвец

Как странно! Круг луны,
Луг белым светом облит;
Там—ярки валуны;
Там—леса черный облик.

Все, что росло в былом,
Жизнь в смене лет иначит:
Храм прошлых снов—на слом,
Дворец жить завтра—начат.

А лунный луч лежит
Весь в давних днях, и в этом
Былом мертвец межи
Ведет по травам светом.

Ведет, как вел в века,
В сон свайных поселений,
Чтоб в тайны Халд вникал,
Чтоб Эллин пел к Селене.

Что годы! тот же он!
Луг в светоемы манит;
Тот бред, что был сожжен,
Вновь жжет в его обмане.

Как странно! Лунный круг,
Банальный, бледный, давний...
И нет всех лет, и вдруг
Я—с Хлоей юный Дафнис!

1923

Так вот где...

Так вот где жизнь таила грани!
Стол, телефон, и голос грустный...
Так сталь стилета остро ранит,
И сердце, вдруг, без боли хрустнет.

И мир, весь мир,—желаний, счастий,
(Вселенная солнц, звезд, земель их),
Испеплен, рухнет,—чьи-то части,—
Лечь в память, трупа онемелей.

Я знал, я ждал, предвидел, мерил,
Но смерть всегда нова!—Не так ли
Кураре, краткий дар Америк,
Вжигает в кровь свои пентакли?

И раньше было: жизнь межила
Пути, чтоб вскрыть иные дали...
Но юность, юность билась в жилах,
Сны, умирая, новых ждали!

И вот—все ночь. Старик упрямый,
Ты ль в сотый круг шагнешь мгновенно?
А сталь стилета входит прямо,
И яд шипит по тленным венам.

Я ждал, гадал, как сердце хрустнет,
Как рок меж роз декабрьских ранит...
Но—стол, звонок, да голос грустный...
Так вот где жизнь таила грани!

1923

Два крыла

После тех самых путей и перепутий,
Мимо зеркала теней, все напевы в мечтах,
Под семицветием радуги медля в пышном приюте,
Где девятой каменой песнь была начата,—

Я роком был брошен, где миг вечно молод,
Где опыты стали—не к часу, в тени,
Где дали открыты на море, на молы,—
В такое безумье, в такие дни.

Здесь была наша встреча; но разные видения
За собой увлекали мы с разных дорог:
Рим и мир миновал я, ты первое предупреждение
Объявляла, вступая в жизнь едва на порог.

Но в оклике ль коршунов, в орлем ли клекоте
Мы подслушали оба соблазн до высот,
Словно оба лежали мы, у стремнины, на локте, и
Были оба безлетны, как стар был Казот.

И в бессмертности вымысла, и в сутолоке хлопотной,
И где страсть Евредику жалит из трав,
Ты—моя молодость, я—твоя опытность,
Ты—мне мать и любовница, я—твой муж и сестра.

Два крыла мощной птицы, мы летим над атоллами
К тем граням, где Полюс льды престольно простер,
И над полыми глубями в небе полное полымя
Бродит, весть от планеты к планетам, в простор.

1923

Пятьдесят лет

Пятьдесят лет—
пятьдесят вех;
пятьдесят лет—
пятьдесят лестниц;
Медленный всход
на высоту,
всход на виду
у сотен сплетниц.

Прямо ли, криво ли
лестницы прыгали,

под ветром, под ношей ли,—
ярусы множились,
Узкие дали
вдруг вырастали,
гор кругозоры
низились, ожили.

Где я? высоко ль?—
полвека—что цоколь,
что бархат—осока
низинных болот.
Что здесь?—не пьяны ль
молчаньем поляны,
куда и бипланы
не взрежут полет?

Пятьдесят лет—
пятьдесят вех;
пятьдесят лет—
пятьдесят всходов.
Что день, то ступень,
и стуки минут—
раздумья и труд,
год за годом.

Вышина...
тишина...
звезды—весть...
Но ведь знаю,
День за днем
будет объем
шире, и есть—
даль иная!

Беден мой след!
ношу лет
знать—охоты нет!
ветер, непрошен ты!

Пусть бы путь досягнуть
мог до больших границ,
прежде чем ниц
ринусь я, сброшенный!

Пятьдесят лет—
пятьдесят вех;
пятьдесят лет—
пятьдесят лестниц...
Еще б этот счет! всход вперед!
и пусть на дне—
суд обо мне
мировых сплетниц!

1923

Карусель

Июльский сумрак лепится
К сухим вершинам лип;
Вся прежняя нелепица
Влита в органный всхлип;
Семь ламп над каруселями—
Семь сабель наголо,
И белый круг усеяли,
Чернясь, ряды голов.

Рычи, орган, пронзительно!
Вой истово, литавр!
Пьян возгласами зритель, но
Пьян впятеро кентавр.
Гудите, трубы, яростно!
Бей больно, барабан!
За светом свет по ярусам,—
В разлеты, в сон, в обман!

Огни и люди кружатся,
Скорей, сильней, вольней!
Глаза с кругами дружатся,
С огнями—пляс теней.

Круги в круги закружены,
Кентавр кентавру вслед...
Века ль обезоружены
Беспечной скачкой лет?

А старый сквер, заброшенный,
Где выбит весь газон,
Под гул гостей непрошенных
Глядится в скучный сон.
Он видит годы давние
И в свежих ветках дни,
Где тени те же вставлены,
Где те же жгут огни.

Все тот же сумрак лепится
К зеленым кронам лип;
Вся древняя нелепица
Влита в органный всхлип...
Победа ль жизни трубится
В век, небылой досель?
Иль то кермессы Рубенса
Вновь вертят карусель?

1922

На рынке белых бредов

День, из душных дней, что клеймены
на рынке белых бредов;
Где вдоль тротуаров кайманы
лежат как свертки пледов;
Перекинутый трамваем, где
гудит игуанадон;
Ляпис-надписями «А. М. Д.»
крестить пивные надо,
И войдя к Верхарну, в «les Soirs»,
в рифмованном застенке
Ждать, что в губы клюнет казуар,
насмешлив и застенчив.

День, из давних дней, что ведомы,
измолоты, воспеты,
Тех, чьи выкроили ведуны
заранее аспекты,
Сквасив Пушкина и тропики
в Эсхиле взятой мойрой,
Длить на абсолютах трепаки
под алгоритмы ойры,
Так все кино-фильмы завертев,
что (тема Старой Школы)
В ликах Фра-Беато скрыт вертеп,—
эдем, где Фрины голы!

День, из долгих дней, не дожитых,
республика, в которой,
Трость вертя, похож на дожа ты
на торном Bucentoro,
И, плывя, дрожишь, чтоб опухоль
щек, надувавших трубы,
Вдруг не превратилась в выхухоль
большой банкирской шубы,
И из волн, брызг, рыб и хаоса,—
строф оперных обидней,
Не слепились в хоры голоса
лирических обыдней!

1922

Ночь с привидениями

Вот снова, с беззвучными стуками кирок,
Под пристальным надзором все тех же планет,
Ночь, зодчий со стражей теней при секирах,
Принимает свой труд, тот, что в тысячах лет.

В темь опускают беспросветные плиты,
Все ломки мрака на земле обедня;
Уже, копья к ноге, древних Афин гоплиты
Сторожат фундамент завтрашнего дня.

По темным ступеням лестницы, еще возводимой,
Всходит вверх,—взглянуть на былое,—Шекспир;
У подножья, в плащах (цвет омертвелого дыма),
Вольтер, Гоббс, Ницше (с сотню их) сели за пир;

В зале, пока без плафона, точно черти взволновались:
Старомодные танцы, вялый вальс-глиссе;
То—перегорбленный Гейне, то—подновленный
Новалисс,
Федра в ногу с Татьяной, пьяный и по смерти
Мюссе.

Гул кирок не молкнет, но глух, что хлопушки;
Гуд масс возносимых, что шелесты шин;
И горестно смотрит, в руке цилиндр, Пушкин,
Как в амбразуре окна, дряхл, спит Фет-Шеншин.

Ночь, зодчий упорный, спешит, взводит купол;
Бьет молот; скрипит перекинутый блок...
А в полоске зари, как на сцене для кукол,
На тоненькой ниточке Александр Блок.

1922

Симпосион заката

Все—красные раки! Ой, много их тоннами
По блюдам рассыпал зарный час (мира рьяный
стиль!),
Глядя, как повара, в миску дня, монотонными
Волнами лили привычные пряности.

Пиршество Вечера! То не «стерлядь» Державина,
Не Пушкина «трюфли», не «чаши» Языкова!
Пусть посуда Заката за столетья заржавлена,
Пусть приелся поэтам голос «музык» его;

Все ж, гулящие гости! каждый раз точно обух
в лоб—
Те щедрости ветра, те портьеры на западе!

Вдвое слушаешь ухом; весь дыша, смотришь в оба,
чтоб
Доглотнуть, додрожать все цвета, шумы, запахи!

Что там розлито? вина? Что там кинуто? персики?
Малина со сливками! ананас над глубинами!
Экий древний симпосион! Герои и наперсники,
Дев перси, рук перстни,—перл над рубинами!

Старомодны немного пурпуровые роскоши:
Ренессанс Тинторетто сквозь Вторую Империю.
Но до дна глубина: лилий кубки да роз ковши,
Бури алых Миссури на апрельские прерии!

Эх, продлить бы разгул! Но взгляни: вянут розаны;
С молоком сизый квас опрокинутый месится;
Великанам на тучах с кофе чашечки розданы,
И по скатерти катится сыр полномесяца.

1922

Дачный бред

Так бывает в июне. Часы свечерели;
Из-за липы солнце целит сквозь дом;
По дачному парку—мать дочерей ли,
Сводня ль питомиц ведет чередом.

Еще бельмами ламп не запятнались террасы,
Чайный флирт прикрывать иль мигать в преферанс...
И вдруг вижу вокруг шишаки и кирассы...
Если угодно, это—бред, если не смешно, это—транс.

Досчатые дачи (полмиллиарда в лето)
Щетинятся башней рыцарского гнезда;
Стали блестят из-под модного жилета,
Где-то герольда рогом свистят поезда.

А мужик, с кем сейчас столкнулся в двери я,
Из кабачка «Трех Бродяг» под утесом виллан...

И в ветре поет, ревет жакерия,
Чу! косы о меч! у! тела на тела!

Так бывает в бреду. Но часы свечерели,
Бициклетам не шаркать, авто не гудеть,
Чтоб в беседках, раздвинув жемчуга ожерелий,
Дачным франтам соседок целовать меж грудей.

1922

Волшебное зеркало

Все шло—точь в точь обыкновенное:
была дома нахлобучены;
Трамвай созвонен с телегой,
прохожим наперекор;
И дождь мокроснежьего бега
ставил рекорд.

Но глаза! глаза в полстолетие
парт-дисциплине не обучены:
От книг, из музеев, со сцены—
осколки (как ни голосуй!),
Слово от зеркала Г. Х. Андерсена,
засели в глазу.

Над желто-зелеными лотос-колоннами,
над всякими Ассурбанипалами,—
Вновь хмурился, золото-эбур,
Фидиев Zeus,
И на крае Неглинной—зебу,
малый, как в цейс.

Как же тут стиху не запутаться
между Муданиями и Рапаллами,
Если оппозиции Марса (о наука!)—
раз в пятнадцать лет,
И в Эгейю у старого Кука
взять невозможно билет!

Поэту что ж посоветовать?—
настежь, до на́-голо помыслы!
Отсчитывай пульс по минутам:
сорок, восемьдесят, сто!
Хотя бы по линзам, выгнутым и вогнутым,
иначе постановило С. Т. О.

Доныне,—пусть проволоки перепутаны,—
мы—охотники по́-смолы!
Где Октябрь загудел в просонки
Человечества, я учу—
Собирать вдоль мировой Амазонки
золотой каучук.

1922

ИЗ НЕКОНЧЕННОЙ КНИГИ
СНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
1907 — 1923

Пирамиды

В пустыне, где царственный Нил
Купает ступени могил;
Где, лаврам колышимым вторя,
Бьют волны Эгейского моря;
Где мир италийских полей
Скрывает этрусских царей;
И там, за чертой океана,
В волшебных краях Юкатана,
Во мгле мексиканских лесов,—
Тревожа округлость холмов
И радостных далей беспечные виды,
Стоят Пирамиды.

Из далей столетий пришли
Ровесницы дряхлой Земли
И встали, как символы, в мире!
В них скрыто—и т р и, и ч е т ы р е,
И с е м ь, и д в е н а д ц а т ь: в них смысл
Первичных, таинственных числ,
И, в знак, что одно на потребу,
Чело их возносится к небу.
Так ты неизменно стремись,
Наш дух, в бесконечную высь!
«Что горе и радость? успех и обиды?»
Твердят Пирамиды:

«Все минет. Как льется вода,
Исчезнут в веках города,
Разрушатся стены и своды,
Пройдут племена и народы;
Но будет звучать наш завет
Сквозь сонмы мятущихся лет!
Что в нас, то навек неизменно.
Все призрачно, бренно и тленно,—
Песнь лиры, созданье резца.
Но будем стоять до конца,
Как истина под покрывалом Изиды,
Лишь мы, Пирамиды!

«Строители наши в веках
Осилили сумрачный прах,
И тайну природы постигли,
И вечные знаки воздвигли,
Мечтами в грядущем паря.
Пусть канул их мир, как заря
В пыланиях нового века,—
Но смутно душа человека
Хранит в глубине до сих пор,
Что знали—Орфей, Пифагор,
Христос, Моисей, Заратустра, Друиды
И мы, Пирамиды!

«Народы! идя по земле,
В сомнениях, в праве и зле,
Живите божественной тайной!
Вы связаны все не случайно
В единую духом семью!
Поймите же общность свою,
Вы, индусы, греки, славяне,
Романцы, туранцы, армяне,
Семиты и все племена!
Мы бросили вам семена.
Когда ж всколосится посев Атлантиды?
Мы ждем, Пирамиды!»

1917

Город Вод

Был он, за шумным простором
Грозных зыбей океана,
Остров, земли властелин.
Тает пред умственным взором
Мгла векового тумана,
Сумрак безмерных глубин.

Было то—утро вселенной,
Счет начинавших столетий,
Праздник всемирной весны.
В радости жизни мгновенной,
Люди там жили, как дети,
С верой в волшебные сны.

Властвуя островом, смело
Царства раздвинул границы
Юный и мощный народ...
С моря далеко горело
Чудо всесветной столицы,
Дивного Города Вод.

Был он—как царь над царями.
Все перед ним было жалко:
Фивы, Мемфис, Вавилон,
Он, опоясан кругами
Меди, свинца, орихалка,
Был—как огнем обнесен!

Высилась в центре громада
Храма Прозрачного Света,—
Дерзостной воли мечта,
Мысли и взорам услада,
Костью слоновой одета,
Золотом вся залита.

Статуи, фрески, колонны,
Вязь драгоценных металлов,

Сноп самоцветных камней;
Сонм неисчетный, бессонный,—
В блеск жемчугов и кораллов,
В шелк облаченных людей!

Первенец древнего мира,
Был он единственным чудом,
Город, владыка земель,
Тот, где певучая лира
Вольно царила над людом,
Кисть, и резец, и свирель;

Тот, где издавна привыкли
Чтить мудрецов; где лежали
Ниц перед ними цари;
Тот, где все знанья возникли,
Чтоб обессмертить все дали
Благостью новой зари!

Был—золотой Атлантиды
Остров таинственно-властный,
Ставивший вехи в веках:
Символы числ, пирамиды,—
В Мексике жгуче-прекрасной,
В нильских бесплодных песках.

Был,—но его совершенства
Грани предельной достигли,
Может быть, грань перешли...
И, исчерпав все блаженства,
Все, что возможно, постигли
Первые дети Земли.

Дерзко умы молодые
Дальше, вперед посягнули,
К целям запретным стремясь...
Грозно восстали стихии,
В буре, и в громе, и в гуле
Мира нарушили связь.

Пламя, и дымы, и пены
Встали, как вихрь урагана;
Рухнули тверди высот;
Рухнули башни и стены,
Все,—и простор Океана
Хлынул над Городом Вод!

1917

Эгейские вазы

Они пленительны и нежны,
Они изысканно-небрежны,
То гармонически размерны,
То соблазнительно неверны,
Всегда законченны и цельны,
Неизмеримо-нераздельны,
И завершенность линий их
Звучит, как полнопевный стих.

От грозных и огромных пифов
До тонких, выточенных скифов,
Амфоры, лекифы, фиалы,
Арибаллы и самый малый
Каликий, все—живое чудо:
В чертах разбитого сосуда,
Загадку смерти разреша,
Таится некая душа!

Как исхищренны их узоры,
Ласкающие сладко взоры:
В запутанности линий гнутых,
То разомкнутых, то сомкнутых,
Как много жизни претворенной,—
Пресыщенной и утомленной
Холодным строем красоты,
В исканьях новой остроты!

И вот, причудливо согнуты,
Выводят щупальцами спруты

По стенкам нежные спирали;
Плывут дельфины на бокале,
И безобразны, и прекрасны;
И стебель, странно-сладострастный,—
На что-то грешное намек,—
Сгибает девственный цветок.

На черном поле звезды—рдяны,
Горят, как маленькие раны,
А фон лазурный иль червленый
Взрезают черные фестоны;
Глазам и сладостно, и больно,
И мысль прикована невольно
К созданиям чужой мечты,
Горящим светом красоты.

Глубокий мрак тысячелетий
Расходится при этом свете!
И пусть преданья мира—немы!
Как стих божественной поэмы,
Как вечно ценные алмазы,
Гласят раздробленные вазы,
Что их творец, хотя б на миг,
Все тайны вечности постиг!

1917

Женщины Лабиринта

Город—дом многоколонный,
Залы, храмы, лестниц винт,
Двор, дворцами огражденный,
Сеть проходов, переходов,
Галлерей, балконов, сводов,—
Мир в строеньи: Лабиринт!

Яркий мрамор, медь и злато,
Двери в броне серебра,
Роскошь утвари богатой,—
И кипенье жизни сложной,

Ночью—тайной, днем—тревожной,
Буйной с утра до утра.

Там,—при факелах палящих,
Шумно правились пиры;
Девы, в туниках сквозящих,
С хором юношей, в монистах,
В блеске локонов сквозистых,
Круг сплетали для игры;

Там—надменные миносы
Колебали взором мир;
Там—предвечные вопросы
Мудрецы в тиши судили;
Там—под кистью краски жили,
Пели струны вещих лир!

Все, чем мы живем поныне,—
В древнем городе-дворце
Расцветало в правде линий,
В тайне книг, в узоре чисел;
Человек чело там высил
Гордо, в лавровом венце!

Все, что ведала Эллада,—
Только память, только тень,
Только отзвук Дома-Града;
Песнь Гомера, песнь Орфея—
Это голос твой, Эгейя,
Твой, вторично вставший, день!

Пусть преданья промолчали;
Камень, глина и металл,
Фрески, статуи, эмали,
Встали, как живые были,—
Гроб раскрылся, и в могиле
Мы нашли свой идеал!

И, венчая правду сказки,
Облик женщины возник,—

Не она ль в священной пляске,
Шла вдоль длинных коридоров,—
И летели стрелы взоров,
Чтоб в ее вонзиться лик?

Не она ль взбивала кудри,
К блеску зеркала склонясь,
Подбирала гребень к пудре,
Серьги, кольца, украшенья,
Ароматы, умащенья,
Мазь для губ, для щечек мазь?

Минул ряд тысячелетий,
Лабиринт—лишь скудный прах...
Но те кольца, бусы эти,
Геммы, мелочи былого,—
С давним сердцем близят снова:
Нить жемчужная в веках!

1917

Клинопись

Царь, Бил-Ибус, я, это вырезал здесь,
Сын Ассура, я, был велик на земле.
Города разрушал, я, истреблял племена,
Города воздвигал, я, строил храмы богам.
Прекрасную Ниргал, я, сделал своей женой,
Алоустая Ниргал, ты, была как месяц меж звезд.
Черные кудри, Ниргал, твои, были темны как ночь,
Соски грудей, Ниргал, твои, были алый цветок.
Белые бедра, Ниргал, твои, я в пурпур одел,
Благоуханные ноги, Ниргал, твои, я в злато обул.
Когда умерла ты, Ниргал, я, сорок суток не ел,
Когда ушла ты, Ниргал, я, десять тысяч казнил.
Царь Бил-Ибус, я, был велик на земле,
Но, как звезда небес, исчезаешь, ты, человек.

1913

Поучение

Тот, владыка написанных слов,
Тот, царящий над мудростью книг!

Научи меня тайне письмен,
Подскажи мне слова мудрецов.

Человек! умом не гордись,
Не мечтай: будешь славен в веках.

Над водой промелькнул крокодил,
И нырнул в глубину навсегда.

Нил священный быстро течет.
Жизнь человека протекает быстрей.

Ты пред братом хвалился: я мудр!
Рука смерти равняет всех.

Тот, хранитель священных книг,
Тот, блюститель священных ключей!

Скажи: это написал Аменампат
Двадцать шестого Паини в третий год Мерери.

1912

Из песен австралийских дикарей

1

Кенгуру бежали быстро,
Я еще быстрей.
Кенгуру был очень жирен,
А я его съел.

Пусть руками пламя машет,
Сучьям затрещать пора.

Скоро черные запляшут
Вкруг костра.

2

Много женщин крепкотелых,
Мне одна мила,
И пьяней, чем водка белых,
Нет вина!
Ай-ай-ай! крепче нет вина!

Будем мы лежать на брюхе
До утра всю ночь.
От костра все злые духи
Уйдут прочь!
Ай-ай-ай! уйдут духи прочь!

1907

Песня

северо-американских индейцев

Маниту! Маниту! Маниту!
Ты благ, ты мудр, ты велик!
Маниту! Маниту!
Услышь мой крик!

В небесах, в облаках, я вижу,
То заря, то полдень, то тень.
В небесах, я вижу,
Ночь и день.

В лесах, в равнинах, я слышу,
Свист, пенье, рычанье, зов.
По долинам я слышу
Вой волков.

В битвах стучать—дело смелых!
Томагавки, копья, щиты.

В битве смелых
Любишь ты.

Маниту! Маниту! Маниту!
Я храбр, но кругом враги.
Маниту! Маниту!
Помоги!

1923

Заговор от стрелы

северо-американских индейцев

Ветер носит листья,
Птицы чистят перья,
Пума хватает козленка.

Мой враг сгибает лук,
У врага неверный глаз,
У его стрелы тупой конец.

Буду плясать вкруг столба с врагом,
Буду метить стрелой ему в бок,
На поясе моем много скальпов.

1923

Друзья

Вышел Леший, сел на пень,
Чует запах деревень,
Палку новую кремнем обтесывает,
Порой бороду почесывает,
Сидит, морщится,
Уши у него топорщатся,
Видит: узенькой тропой
Идет в гости Домовой.

«Здравствуй, дед! давно не бывал!
А я стар стал, жить устал:

Нет бывалого простора!
Вырубили половину бора.
Куда ни пойдешь, везде мужик.
Инда я гулять отвык!»
Домовой присел меж кочек,
Будто съежился в комочек.

Говорит: «Да, старина,
Пришли худы времена!
Мужики в меня не верят,
То-есть как бы вовсе херят,
Не дают мне молока,
Замыкают в два замка
На конюшне лошадей,
Впору помирать,—ей-ей!»

Леший бороду почесывает,
Палку сумрачно обтесывает,
Кремень щелк да щелк.
Домовой примолк.
Пень обтянут повиликой,
Пахнет свежей земляникой,
Сосны дюже велики.
Слышен сиплый крик с реки.
Вопрошает Домовой:
«То не дед ли Водяной?»

1909

Das Weib und der Tod

Женщина и Смерть. Немецкая гравюра XVI в.

Две свечи горят бесстыдно,
Озаряя глубь стекла,
И тебе самой завидно,
Как ты в зеркале бела!
Ты надела ожерелья,
Брови углем подвела,
Ты кого на новоселье

Нынче в полночь позвала?
Что ж! глядись в стекло бесстыдно!
Но тебе еще не видно,
Кто кивает из стекла!

Припасла ты два бокала,
Пива жбан и груш пяток;
На кровати одеяла
Отвернула уголок.
Поводя широкой ляжкой,
Ты на дверь косишь зрачок...
Эх, тебе, должно быть, тяжко
До полночи выждать срок!
Так бы вся и заплясала,
Повторяя: «Мало! Мало!
Ну, еще, еще, дружок!»

У тебя—как вишни губы,
Косы—цвета черных смол.
Чьи же там белеют зубы,
Чей же череп бел и гол?
Кто, незваный, вместо друга,
Близко, близко подошел?
Закричишь ты от испуга,
Опрокинешь стул и стол...
Но, целуя прямо в губы,
Гость тебя повалит грубо
И подымет твой подол.

1909

Пляска Смерти

Немецкая гравюра XVI в.

Крестьянин

Эй, старик! чего у плуга
Ты стоишь, глядишь в мечты?
Принимай меня, как друга:

Землепашец я, как ты!
Мы, быть может, не допашем
Нивы в этот летний зной,
Но зато уже попляшем,—
Ай-люли!—вдвоем с тобой!
Дай мне руку! понемногу
Расходись! пускайся в пляс!
Жизнь—работал; час—в дорогу!
Прямо в ад!—ловите нас!

Любовник

Здравствуй, друг! ты горд нарядом,
Шляпы ты загнул края.
Не пойти ль с тобой мне рядом?
Как и ты, любовник я!
Разве счастье только в ласке,
Только в том, чтоб обнимать?
Эй! доверься бодрой пляске,
Зачинай со мной плясать!
Как с возлюбленной на ложе,
Так в веселье плясовом,
Дух тебе захватит тоже,
И ты рухнешь в ад лицом!

Монахиня

В платье черное одета,
Богу ты посвящена...
Эй, не верь словам обета,
Сочинил их сатана!
Я ведь тоже в черной рясе:
Ты—черница, я—чернец.
Что ж! поди, в удалом плясе,
Ты со смертью под венец!
Звон? то к свадьбе зазвонили!
Дай обнять тебя, душа!
В такт завертимся,—к могиле
Приготовленной спеша!

Младенец

Милый мальчик, в люльке малой
Сердце тронул ты мое!
Мать куда-то запропала?
Я присяду за нее.
Не скажу тебе я сказки,
Той, что шепчет мать, любя.
Я тебя наставлю пляске,
Укачаю я тебя!
Укачаю, закачаю
И от жизни унесу:
Взяв в объятья, прямо к раю
В легкой пляске понесу!

Король

За столом, под балдахином,
Ты пируешь, мой король.
Как пред ленным господином,
Преклониться мне позволь!
Я на тоненькой свирели
Зовы к пляске пропою.
У тебя глаза сомлели?
Ты узнал родню свою?
Встань, король! по тронной зале
Завертись, податель благ!
Ну,—вот мы и доплясали:
С трона в гроб—один лишь шаг!

1909

С тропа в тропа—один лишь шаг!
Ну,—вот мы и пол-дороги:
Завернем, посидим, отдохнем!
Встань, коробка! по тропкой зове
Ты зачем дорожно спорку?
У тебя глаза сомлели?
Зови к плаче пропою
Я на толстого сапога
Пригонялся мне подарок!
Как пред дальним походом
Ты пирушки, моя коробка,
За столом под одеялом
Взяв в обратно, ночью к двою
В легкой плаче поможет
N от жизни уйду,
Куплю, завезло
Куплю и тебя!
У тебя наступило плаче,
Ты, что прочет мать, мозоль,
Не скажу тебе я сказки,
Я пристану за все.
Мать куда-то запропала?
Сердце тронула ты мое!
Мать малютка, в плохие малюю

ИЗ ПОСМЕРТНЫХ СТИХОВ

1897 — 1924

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОВ

1917—1921

Да, я к людям пришел!
Да, я к людям вернулся!
Я по кругу прошел:
Круг заветный замкнулся.

Помню келью мою
В башне кости слоновой.
С ней прощанье пою,
Полон радостью новой.

Там со мной сатана
Правил пир волхованья...
Здравствуй, жизнь! здравствуй, весна!
Труд, и борьба, и страданья!

1897

К народу

Vox populi...

Давно я оставил высоты,
Где я и отважные товарищи мои,
Мы строили быстрокрылый аргo,—
Птицу пустынных полетов,—
Мечтая перелететь на хребте ее
Пропасть от нашего крайнего кряжа
До сапфирного мира безвестной вершины.
Давно я с тобой, в твоем теченьи, народ,

В твоем многошумном, многоцветном водовороте,
Но ты не узнал моего горького голоса,
Ты не признал моего близкого лика,—
В пестром плаще скомороха,
Под личиной площадного певца,
С гуслями сказителя вечных времен.

На полях под пламенным куполом,
На улицах в ущельях стен,
Со страниц стремительной книги,
С подмостков, куда вонзаются взоры,
Я слушал твой голос, народ!
Кто мудрец?—у меня своя мудрость!
Кто венценосец?—у меня своя воля!
Кто пророк?—я не лишен благодати!
Но твой голос, народ,—вселенская власть.
Твоему желанию—лишь покоряться,
Твоему кумиру—только служить.

Ты дал мне, народ, мой драгоценный дар:
Язык, на котором слагаю я песни.
В моих стихах возвращаю твои тайны—тебе!
Граню те алмазы, что ты сохранил в своих недрах!
Освобождаю напевы, что замкнул ты в золотой скорлупе!
Я—маг, вызывающий духов, тобою рожденных, нами убитых!
Без тебя, я—звезда без света,
Без тебя, я—творец без мира,
Буду жить, пока дышишь—ты и созданный тобою язык.

Повелевай,—повинуюсь.
Повяжи меня, как слепого,—пойду,
Дай мне быть камнем в твоей праще,
Войди в меня, как в одержимого демон,
Я—уста, говори, кричи мною.

Псалтырь моя!
Ты должна звенеть по воле властителя.

Я разобью тебя об утес, непослушная.
Я оборву вас, струны, как паутины, непокорные!
Раскидаю колышки, как сеют зерна весной.
Наложу обет молчания, если не подчинишься, псалтырь!
Останусь столпником, посмешищем праздных прохожих, здесь на большом перекрестке!

1905

Близким

Нет, я не ваш! Мне чужды цели ваши,
Мне странен ваш неокрыленный крик,
Но в шумном круге к вашей общей чаше
И я б, как верный, клятвенно приник.

Где вы—гроза, губящая стихия,
Я—голос ваш, я вашим хмелем пьян,
Зову крушить устои вековые,
Творить простор для будущих семян.

Где вы—как Рок, не знающий пощады,
Я—ваш трубач, ваш знаменосец я,
Зову на приступ, с боя брать преграды
К святой земле, к свободе бытия.

Но там, где вы кричите мне: «Не боле!»
Но там, где вы поете песнь побед,
Я вижу новый бой во имя новой воли.
Ломать—я буду с вами, строить—нет!

30 июля 1905

Нить

Отдамся ль я случайному наитью,
Сознательно ль кую и правлю стих,—
Я все ж останусь телеграфной нитью,
Протянутой в века из дней моих!

И я смотрю, раскрыв с усильем веки
Мечты, уставшей, словно слабый глаз,
В грядущее!—как некогда ацтеки
Смотрели в мир, предчувствуя в нем нас.

1906

Чуть видные слова седого манускрипта,
Божественный покой таинственных могил,
И веянье вокруг незримых, дивных крыл,—
Вот что мечталось мне при имени Египта.

Но все кругом не то! Под тенью евкалипта
Толпятся нищие. Дым парохода скрыл
От взглядов даль песков, и мутен желтый Нил.
Гнусавый вой молитв доносится из крипта.

Я вечером вернусь в сверкающий отель
И с томиком Ренье, прилегши на постель,
Перенесусь мечтой на буйный берег Сены.

О, гордый Фараон, безжалостный Рамсес!
Твой странный мир погиб, развеялся, исчез,—
И Хронос празднует бесчисленные смены.

1912

При электричестве

Я мальчиком мечтал, читая Жюля Верна,
Что тени вымысла плоть обретут для нас;
Что поплывет судно громадней «Грет-Истерна»;
Что полюс покорит упрямый Гаттерас;
Что новых ламп лучи осветят тьму ночную;
Что по полям пойдет, влекомый паром, Слон;
Что «Наутилус» нырнет свободно в глубь морскую;
Что капитан Робюр прорежет небосклон.

Свершились все мечты, что были так далеки.
Победный ум прошел за годы сотни миль:

При электричестве пишу я эти строки,
И у ворот, гудя, стоит автомобиль;
На полюсах взвились звездистые знамена;
Семья «Титаников» колеблет океан,
Подводные суда его взрезают лоно,
И в синеву, треща, взлетел аэроплан.

Но есть еще мечта, чудесней и заветней;
Я снова предан ей, как в юные года:
Там, далеко от нас, в лазури ночи летней,
Сверкает и зовет багряная звезда:
Томят мою мечту заветные каналы,
О существах иных твердят безвольно сны...
Марс, давний, старый друг! наш брат! двойник наш алый!
Ужели мы с тобой вовек разлучены?

Не верю! Не хочу здесь, на зеленом лоне,
Как узник, взор смежить! Я жду, что сквозь эфир,
В свободной пустоте, помчит прибор Маркони
Приветствия земли в родной и чуждый мир;
Я жду, что, наконец, увижу шар блестящий,
Как точка малая, затерянный в огнях,
Путем намеченным к иной земле летящий,
Чтоб братство воссоздать в разрозненных мирах.

1912

Больше никогда

Когда Данте проходил по улице, девушки робко шептали: «Видите, как лицо его опалено адским пламенем!»

Летописец XIV века

Больше никогда на нежное свиданье
Не сойду я в сад, обманутый луной,
Не узнаю сладкой пытки ожиданья
Где-нибудь под старой царственной сосной.

Лик мой слишком строгий, как певца Inferno,
Девушек смущает тайной прошлых лет,
И когда вдоль улиц прохожу я мерно,
Шопот потаенный пробегает вслед.

Больше никогда, под громкий говор птичий,
Не замру вдвоем у звонко-шумных струй...
В прошлом—счастье, встречи, в прошлом—Беатриче,
Жизни смысл дающий робкий поцелуй!

В строфах многозвучных, с мировой трибуны,
Может быть, я вскрою тайны новых дней...
Но в ответ не встречу взгляд смущенно-юный,
И в толпе не станет чей-то лик бледней.

Может быть, пред смертью, я венок лавровый
Смутно угадаю на своем челе...
Но на нем не лягут, как цветок пунцовый,
Губы молодые, жаркие во мгле.

Умирают молча на устах признанья,
В мыслях скорбно тают страстные слова...
О, зачем мне снятся лунные свиданья,
Сосен мягкий сумрак и в росе трава!

1914

В моей душе, как в глубях океана,
Несчетность жизней, прожитых в былом:
Я был полип и грезил я теплом;
Как ящер, крылья ширил средь тумана;

Меня с Ассуром знала Gordiana;
С Халдеем звездам я воспел псалом;
Шел с Гиксами я в Фивы напролом;
Гнал диких Даков под значком Траяна;

Крест на плече, я шел в Иерусалим;
Как магу, Дьявол мне грозил сквозь дым;
Марà судил мне плаху гильотины;

И с Пушкиным я говорил, как друг;
Но внятны мне звонки трамваев вкруг,
Как много всех, и все же я—единый!

1915

К стальным птицам

Я первые полеты славил,
Пропеллером свистящих, птиц,
Когда, впервые, Райт оставил
Железный рельс и бег направил
По воле—в поле без границ.

Пусть голос «северного барда»
Был слаб, но он гласил восторг
В честь мирового авангарда:
Того, кто грезу Леонардо
Осуществил и цепь расторг!

Казалось:—мы у новой эры,
От уз плотских разрешены,—
Земли, воды и атмосферы
Владыки, до предельной меры,
В своих мечтах утолены.

Казалось: уничтожив грани
Земель, народов, государств,—.
Жить дружественностью начинаний
Мы будем,—вне вражды и брани,
Без прежних распрей и коварств.

И что же! Меж царей лазури,
В свои владенья взявших твердь,
Нашлись, пособниками фурий,
Опасней молний, хуже бури,
Те, что возносят в небо смерть!

Не в честный бой под облаками
Они, спеша, стремят полет,

Но в полночь, тайными врагами,
Над женщинами, стариками,
Свергают свой огонь с высот!

Затем ли (горькие вопросы!)
Порывы вихренных зыбей
Смиряли новые матросы,
Чтоб там шныряли «альбатросы»
И рой германских «голубей»?

1915

Во дни великого страдания,
Когда любой рассвет—кровав,
Тебе я приношу, Германия,
Венец непобежденных слав.
Да сковывает немота уста
Тех, кто забудет в этот день
Творца, изваявшего Фауста,
Елены вызвавшего тень!
Союз народов! bone coete!
Гласи: «да торжествует Гете!»

1915(?)

На мне печать тысячелетий,
Скиптродержавных рас восторг,
Меня лишь вы, земные дети,
Посмели выставить на торг!

Младенцы! вам еще неведом
Последний трепет красоты!
Нет! я не путь к ее победам,
Но все во мне ее черты!

Я—то, что было и что будет,
Что властен видеть человек,
И пусть ваш мир меня осудит:
Жду. Мой в веках вернется век.

1917

Сонет

Отточенный булат—луч рдяного заката!
Твоя игрушка, Рок,—прозрачный серп луны!
Но иногда в клинок—из серебра и злата
Судьба вливает яд:—пленительные сны!

Чудесен женский взгляд—в час грез и аромата,
Когда покой глубок.—Чудесен сон весны!
Но он порой жесток—и мы им пленены:
За ним таится ад—навеки, без возврата.

Прекрасен нежный зов—под ропот нежный струй,
Есть в сочетаньи слов—как будто поцелуй
Залог предвечных чисел—влечет творить поэта!

Но и певучий стих—твой рай всегдашний, Страсть!
Порой в словах своих—певец находит власть:
Скрывает тайный смысл—в полустихах сонета!

1918

Народные вожди! вы—вал, взметенный бурей
И ветром поднятый победно в вышину!
Вкруг—неумолчный рев, крик разъяренных фурий,
Шум яростной волны, сшибающей волну;

Вкруг—гибель кораблей: изломанные снасти,
Обломки мачт и рей, скарб жалкий, и везде
Мельканье чьих-то тел—у темных сил во власти,
Носимых горестно на досках по воде!

И видят, в грозный миг, глотая соль, матросы,
Как вал, велик и горд, проходит мимо них,
Чтоб грудью поднятой ударить об утесы,
И дальше путь пробить для вольных волн морских!

За ним громады волн стремятся, и покорно
Они идут, куда их вал зовет итти:

То губят вместе с ним под твердью грозно-черной,
То вместе с ним творят грядущему пути.

Но, морем поднятый, вал только морем властен,
Он волнами влеком, как волны он влечет—
Так ты, народный вождь, и силен и прекрасен,
Пока, как гребень волн, несет тебя—народ!

1918

Я—междумирок. Равен первым,
Я на собраньи знати—пэр,
И каждым вздохом, каждым нервом
Я вторю высшим духам сфер.

Сумел мечтами подсмотреть я
Те чувства, что взойти должны,
Как пышный сев, спустя столетья,—
Но ныне редким суждены!

Но создан я из темной глины,
На мне ее тяжелый гнет.
Пусть я достиг земной вершины,—
Мой корень из низин растет.

Мне Гете—близкий, друг—Вергилий,
Верхарну я дарю любовь...
Но ввысь всходил не без усилий—
Тот, в жилах чьих мужичья кровь.

Я—твой, Россия, твой по роду!
Мой предок вел соху в полях.
Люблю твой мир, твою природу,
Твоих творящих сил размах!

Поля, где с краю и до краю
Шел «в рабском виде» царь небес,
Любя, дрожа, благословляю:
Здесь я родился и воскрес!

И там, где нивы спелой рожью
Труду поют хвалу свою,
Я в пахаре, с любовной дрожью,
Безвестный, брата узнаю!

1911—1918

Светоч Мысли

Венок сонетов

I. Атлантида

Над буйным хаосом стихийных сил
Зажглось издревле Слово в человеке:
Твердь оживили имена светил,
Злак разошелся с тварью, с сушей—реки.

Врубаясь в мир, ведя везде просеки,
Под свист пращи, под визги первых пил,
Охотник, пастырь, плужник, кто чем был,—
Вскрывали части тайны в каждом векє.

Впервые, светоч из священных слов
Зажгли Лемуры, хмурые гиганты;
Его до неба вознесли Атланты.

Он заблистал для будущих веков,
И с той поры, все пламенней, все шире
Сияла людям Мысль, как свет в эфире.

II. Халдея

Сияла людям Мысль, как свет в эфире;
Ее лучи лились чрез океан—
Из Атлантиды в души разных стран;
Так луч зенита отражен в надире!

Свет приняли—Китай и Индостан,
Края эгейцев и страна Наири,

Он просверкал у Аймарà и в Тире,
Где чтим был Ягве, Зевс и Кукулкан.

И ярко факел вспыхнул в Вавилоне;
Вещанья звезд прочтя на небосклоне,
Их в символы Семит пытливый влил.

Седьмица дней и Зодиак,—идеи,
Пребудут знаком, что уже в Халдее
Исканьем тайн дух человека жил.

III. Египет

Исканьем тайн дух человека жил,
И он сберег Атлантов древних тайны,
В стране, где, просверлив песок бескрайный,
Поит пустыню многоводный Нил.

Терпенье, труд, упорный, чрезвычайный,
Воздвигли там ряд каменных могил,
Чтоб в них навек зов истины застыл:
Их формы, грани, связи—не случайны!

Египет цели благостной достиг.
Хранят поныне плиты пирамиды
Живой завет погибшей Атлантиды.

Бог Тот чертил слова гигантских книг,
Чтоб в числах три, двенадцать и четыре
Мощь разума распространялась в мире.

IV. Эллада

Мощь разума распространялась в мире—
Египет креп, как строгое звено,
Но было людям жизнь понять дано
И в радости: в резце, в палитре, в лире.

Влилась в века Эллада, как вино,—
В дворцовой фреске, в мраморном кумире,
В живом стихе, в обточенном сапфире,
Явя, что было, есть и суждено.

Но, строя храмы, вознося колонны,
Могла ль она забыть зов потаенный,
Что край Осириса ей повторил?

Шел Эллин к знанью по пути мистерий,—
Но дух народа блеск давал и вере,
Прекрасен, светел, венчан, златокрыл.

V. Эллинизм и Рим

Прекрасен, светел, венчан, златокрыл
Цвел гений Греции. Но предстояло
Спаять в одно—халдейские начала
И мысли эллинской священный пыл.

Встал Александр. Все ж Року было мало
Фалангой всюду созданных горнил;
И вот, чтоб Рим весь мир объединил,
Медь грозных легионов застонала.

В те дни, как Азия спешила взять
Дар Запада, и каждый край, как призма,
Лил, преломляя, краски эллинизма,

К завоеванью всей вселенной—рать
Вел Римлянин; при первом триумвире
Он встал, как царь, в торжественной порфире.

VI. Римская империя

Он встал, как царь, в торжественной порфире,
Укрыв под ней весь мировой простор,
От скал Сахары до Шотландских гор,
От врат Мелькарта до снегов Сибири.

Столетий и племен смиряя спор,
Сливая голоса в безмерном клире,
Всем дав участье на вселенском пире,
Рим над землей свое крыло простер.

Все истины, что выступали к свету,—
Под гул побед, под сенью римских прав,
Переплавлялись властно в новый сплав.

Вела империя работу эту,
Хоть вихрь порой величья не щадил,
Хоть иногда лампады Рок гасил.

VII. Переселение народов

Хоть иногда лампады Рок гасил,
Рим до конца исполнил труд владыки.
Он был свершон, когда, под вопль и крики,
Сонм варваров империю свалил.

Народы хлынули, свирепы, дики;
Мрак разостлался, тягостен, уныл;
Казалось: луч наук навек почил;
И тщетно трон свой высил Карл Великий.

Но в мгле крушений отблеск золотой
Искал путей, везде сверкал мечтой,
Под стук мечей, под грозный скок валькирий.

Меж камней, бывших кесарских палат,
Под робкий свет монашеских лампад
Дух знанья жил, скрыт в тайном элексире.

VIII. Средние века

Дух знанья жил, скрыт в тайном элексире,
Поя целебно мутный мрак веков.
Пусть жизнь была сплошной борьбой врагов,
Пусть меч звенел в бою и на турнире,—

Искал алхимик камня мудрецов,
Ум утончался в преньях о вампире,
Познать творца пытался богослов,—
И мысль качала мировые гири.

Монах, судейский, рыцарь, менестрель,—
Все смутно видели святую цель,
Хоть к ней и шли не по одной дороге.

В дни ужасов, огня, убийств, тревоги,
Та цель сияла, как звезда: она
Во все века жила, затаена.

IX. Возрождение

Во все века жила, затаена,
И жажда светлых, благостных веселий.
Настали сроки: струны вновь запели,
И краски вновь зардели с полотна.

Из дряхлой Византии в жизнь—весна
Вошла, напомнив о любви, о теле;
В своих созданьях Винчи, Рафаэли
Блеск бытия исчерпали до дна.

Те плыли за Колумбом в даль Америк,
Те с Кортецом несли на чуждый берег
Крест, чтоб с ним меч победно пронести.

Стремились все—открыть, изобрести,
Найти, создать... Царила в эти годы
Надежда—вскрыть все таинства природы.

X. Реформация

Надежда—вскрыть все таинства природы—
Мир к высшей тайне привела,—и бог
Восстал над бурей будничных тревог,
Над сном народов, над игрушкой моды.

За громом Лютера, прошли походы
Густава, Тилли; снова сумрак, строг,
Окутал землю, и военный рог
К войне за веру звал из рода в роды.

Промчался Кромвель; прогремела Ночь
Варфоломея; люди в пытках гибли;
Стал дыбой—крест, костром—страницы библий.

Но Истина, исканий смелых дочь,
Жива осталась в вихрях непогоды;
К великой цели двигались народы.

XI. Революция

К великой цели двигались народы.
Век философии расцвел, отцвел;
Он разум обострил, вскрыл глуби зол
И людям вспыхнул маяком свободы.

Упали с гулом вековые своды,
Был свергнут в бездну старый произвол,
Поток идей разлился, словно воды,
Что в марте затопляли луг и дол.

Гудели волны буйного потока,
Ученье братства разнеся широко,
Под знамя воли клича племена.

Бороться с правдой силился напрасно
Державный Север: под зарницей красной,
Шумя, Европу обняла война.

XII. Наполеон

Шумя, Европу обняла война,
Глася: «Мир хижинам и гибель тронам!»
Пусть эта брань потом Наполеоном,
В дыму побед, была усмирена.

Навек осталась вскрытой глубина;
Над ней теперь гудело вещим звоном—
Все то, об чем шептали лишь ученым
Намеки книг в былые времена.

Ваграм и Дрезден, Аустерлиц и Иена,
Вы—двух начал таинственная смена:
Толпе открыли вы свободный путь.

Народ рванулся ветром тайн дохнуть...
Но не давал дышать им в полной мере
Все ж топот армий, гулы артиллерий.

XIII. Девятнадцатый век

Все ж топот армий, гулы артиллерий
Затихли; смолк войны зловещий звон;
И к знанью сразу распахнулись двери,
Природу человек вдруг взял в полон.

Упали в прах обломки суеверий,
Наука в правду обратила сон:
В пар, в телеграф, в фонограф, в телефон,
Познав составы звезд и жизнь бактерий.

Античный мир вел к вечным тайнам нить;
Мир новый дал уму власть над природой;
Века борьбы венчали всех свободой.

Осталось: знанье с тайной съединить.
Мы близимся к концу, и новой эре
Не заглушить стремленья к высшей сфере.

XIV. Мировая война XX века

Не заглушить стремленья к высшей сфере
И буре той, что днесь шумит кругом!
Пусть вновь все люди—злобный враг с врагом,
Пусть в новых душах вновь воскресли звери.

На суше, в море, в вольной атмосфере,
Везде—война, кровь, выстрелы и гром...
Рок ныне судит неземным судом
Позор республик лживых и империй!

Сквозь эту бурю истина пройдет,
Народ свободу полно обретет
И сам найдет пути к мечте столетий!

Пройдут бессильно ужасы и эти!
И Мысль взлетит размахом мощных крыл
Над буйным хаосом стихийных сил!

XV. Заключение

Над буйным хаосом стихийных сил
Сияла людям Мысль, как свет в эфире.
Исканьем тайн дух человека жил,
Мощь разума распространялась в мире.

Прекрасен, светел, венчан, златокрыл,
Он встал, как царь, в торжественной порфире.
Хоть иногда лампады Рок гасил,
Дух знанья жил, скрыт в дивном элексире.

Во все века жила, затаена,
Надежда—вскрыть все таинства природы,
К великой цели двигались народы.

Шумя, Европу обняла война...
Все ж топот армий, громы артиллерий
Не заглушат стремленья к высшей сфере.

1918

Труд

В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут,—

Золотых, стальных, алмазных,—
Нет священней слова: «труд»!

Троглодит стал человеком
В тот заветный день, когда
Он сошник повел к просекам,
Начиная круг труда.

Все, что пьем мы полной чашей,
В прошлом создано трудом:
Все довольство жизни нашей,
Все, чем красен каждый дом.

Новой лампы свет победный,
Бег моторов, поездов,
Монопланов лет бесследный,
Все—наследие трудов!

Все искусства, знанья, книги—
Воплощенные труды!
В каждом шаге, в каждом миге
Явно видны их следы.

И на место в жизни право
Только тем, чьи дни—в трудах:
Только труженикам—слава,
Только им—венок в веках!

Но когда заря смеется,
Встретив позднюю звезду,—
Что за радость в душу льется
Всех, кто бодро встал к труду!

И, окончив день, усталый,
Каждый щедро награжден,
Если труд, хоть скромный, малый,
Был с успехом завершен!

1919

Дворец центро-машин

Из тьмы, из бездн иных столетий,
Встает, как некий исполин,
Величествен в недвижном свете,
Центро-дворец мото-машин.

Сталь ребер он согнул высоко,
До облаков взнес два плеча;
Циклопа огненное око
Слепит неистовством луча.

Хребет залег, горе подобный,
Стеклянной чешуей повит;
Но днем и ночью жар утробный
Сквозь тело тусклое разит.

Ростя до звезд, он в глуби вдвинут,
В земные недра тяжко врос,
И горны легких не остынут,
Дыша в просторы гулом гроз.

Кипит расплавленное чрево,
Дрожит напруженная грудь,
Крутясь, из алчущего зева
Исходит в дымном клубе муть.

Огромной грудой угля сытый,
Дракон бескрылый, не устань!
Над распрями стихий—гуди ты
Призыв на вековую брань!

Вращайтесь, мощные колеса,
Свистите, длинные ремни,
Горите свыше, впрямь и косо,
Над взмахами валов огни!

Пуды бросая, как пригоршни,
В своем разлете роковом,

Спешите, яростные поршни,
Бороться с мертвым естеством!

А вы, живые циферблаты,
Надменно-медленным перстом,
Безумьем точности объяты,
Взносительсь молча над числом!

Здесь—сердце города, здесь—в жилы
Столицы льются, вновь и вновь,
Незримо зиждущие силы,
Ее божественная кровь;

Чтоб город жил в огнях оконных,
В пыланьи лун на площадях;
Чтоб гром трамваев неуклонных
Не молк на спутанных путях;

Чтоб в кино быстрые картины
Сменялись в мерной череде;
Чтоб дружно лязгали машины,
Пот нефтяной струя в труде!

Реви, зверь мощный, множь удары,
Шли токи воль, не ослабей,
Чтоб город, созидатель старый,
Дышал свободно грудью всей,

Чтоб он, тебе предав заботы,
Тобой храним на всем пути,
За грань, сквозь толщу тайн, в высоты,
Мог мысль победную взнести!

1920

Когда стоишь ты в звездном свете,
Смотря на небо, не забудь,
Что эти звезды, блестки эти
И те, что слиты в Млечный Путь,—

Все это—солнца огневые,
Как наше солнце, и кругом
Плывут шары земель,—такие,
Как шар земной, где мы живем.

В просторном океане неба,
Как в жизни нашей,—тот же круг;
Там тот же бодрый труд для хлеба,
Та ж радость песен и наук!

1920

Я вырастал в глухое время,
Когда весь мир был глух и тих,
И людям жить казалось в бремя,
А слуху был ненужен стих.

Но смутно слышались мне в безднах
Невнятный гул, далекий гром,
И топоты копыт железных
И льдов тысячелетних взлом.

И я гадал: мне суждено ли
Увидеть новую лазурь,
Дохнуть однажды ветром воли
И грохотом весенних бурь.

Шли дни, ряды десятилетий.
Я наблюдал, как падал плен.
И вот предстали в рдяном свете,
Горя, Цусима и Мукден.

Год пятый прошумел, далекой
Свободе открывая даль.
И после гроз войны жестокой
Был Октябрем сменен Февраль.

Мне видеть не дано, быть может,
Конец, чуть блещущий вдали,

Но счастлив я, что был мной прожит
Торжественнейший день земли.
1920

Дни для меня не замысловатые фокусы,
В них стройность математического уравнения.
Пусть звездятся по водам безжизненные лилии,
Но и ало пылают бесстыдные крокусы.
Лишь взвихренный атом космической пыли я.
Но, тем не менее,
Эти прожитые годы
(Точка в вечности вечной природы)
Так же полны значения,
Как f (x, y) = o.
Богомольно сгибало страдание страсти,
К золотым островам уводили наркотики,
Гулы борьбы оглушали симфонией,
В безмерные дали
Провал разверзали,
Шелестя сцепленьями слов, библиотеки.
Но с горькой иронией,
Анализируя
Переменные мигов и лет,
Вижу, что миру я
Был кем-то назначен,
Как назначены эллипсы солнц и планет.
И, когда, умиленным безумьем охвачен
Иль кротко покорен судьбе,
Я целую чье-то дрожащее веко,
Это—к формуле некой,
Добавляю я «a» или «b».
1921

Aux Champs Elysées или на Реджент-стрите,
В кино-смене котелков, колясок, авто,
Улыбаясь, глазея, помыслит ли кто
О давнем, о не здешнем мудреце Демокрите?

Нам светят амперы, в лакеях—телефоны,
Радио по утрам—что кукушка, из газет.

Пусть чей-то лоб сморщен, вычисляя триллионы,
Пусть кому-то досужно на кометы глазеть!

А солнце в пространстве падает куда-то,
И крутится следом земля меж планет.
По спирали разбегу где первая дата?
Столба призового где стрелки? Их нет.

И система такая же, в таком же вращеньи,
Малый атом: там солнца, там планеты в бегу;
Но там взрывы, отлеты прочь, без возвращенья,—
Разбитые бриги на морском берегу.

Но на выю природы всё уверенней, строже
Налагает Наука золотое ярмо.
Эй, Земля! берегись! в пустоте бездорожий,
Мы, быть может, тебя повернем кормой!

Свою борьбу с человеком, Элементы, вы длите ль?
Покоряйтесь, как тигры в клетке рыча!
Завещал нам победу древний мыслитель:
Расщепленный атом—Архимедов рычаг!

1922

Пророчество

Отчаянье! Ртуть кувырком вниз! Буре быть, да какой не бывало!
Пророчество! кому? о ком вспомнить? Нострадамом сыт сам до отвала!
А люди! Им что! в заседанье! на трибуну! к портфелям! за колбы!
Тем—к пушкам, тоска о Седане! тем—в министры, проект в протокол бы!

Война! что ни год! что ни месяц! войны рас, войны классов! все втуне?
А где-то планеты нас метят, глаз на Марсе, глаз на Нептуне!

Что здесь? здесь—парламент, палаты, наркоматы,
короны, коммуна!
А веку поставлена плата: скоро срок векселям:—
хруст кануна!

Земля—шар. Да, остров! два острых, но не мыса,
два полюса; оба
В пространстве. За шаром апóстроф! Но не мысли,
что мы—мир особый.
Он—в море, но разве (пеняйте) по морям нет до-
роги? На спинах
Дредноутов не янки ль с «юнайтед» к нам пришли?
Не они ль в Филиппинах?

Что остров! Что море! Фашистам междузвездным
включать в манифесты
Счет миль в миллионах! В глуши там, пусть падут
Илионы и Фесты!
Эгейцам, нам эллинов ждать ли, ах, безвестных
земель поселяне,
Чтоб в каждом штампованном штате правил нами,
что царь, марсианин?

Пророчить? Покончены споры народов, рас, рынков!
Заверить
За эру не аэро,—меры изошли! враг земли—в полой
сфере!
Но им, им-то что? в заседанья! в президенты!
в цари! в эсимнеты!
Пока нет блокад, в назиданье, броне-крейсеров, с
ближней планеты.

1923

Товарищам поэтам

Нам кричат, нам грозятся товарищи:
«Нас манить ли к мореному морсу?
Хоть из-за моря крепче товар ищи,
Не по радио, ну так по морзу!

«Все равно, на Клондайк ли, в Камбодже ли.
Только было б и остро и пьяно!
Руки вверх! Мы казенный штамп отжили—
Вальс водить под ла-ла фортепьяно.

«Новым словом, да в грудь до на-вылета,
Новой рифмой, да в мозг, чтоб засела!
Если жизнь белым пламенем вылита
В форму, лопнет сонет иль газелла.

«Вы в ответ нам: отравное месиво?
Сахар, горечь, соль, уксус?—Но едко!
Вам же преснь! это—рок, это—месть его
Всем, кто вставлен клишейной виньеткой!»

Эй, потише, потише, товарищи!
Нам не знать ли, что значит—ударить?
Но довольно ль надеть шароварища,
Чтобы вышел персидский царь, Дарий?

Слово сильно, и рифма сильней еще...
Но есть мысль! мысль! ее вы забыли ль?
А по тверди, поныне синеющей,
Всё рассыпаны звездные пыли.

И не скучно ль вам, будто бы мудрости
Повторять, что оскомин знакомей!
Это значит—на песне хомут растить,
Не пахать—сыпать в ряд те же комья!

Мир полн тайн, вне, внутри нас. Паук иной—
Тайна! Как же вертеть две-три темы?
Новь—в сознаньи, в познаньи! в науке новь!
Не в словах, как ни строй их в системы.

1923

Dolce far niente

Под столетним кедром тени...
Tertia vigilia, 1900

И после долгих, сложных, трудных
Лет,—блеск полуденных долин,
Свод сосен, сизо-изумрудных
В чернь кипарисов, в желчь маслин;

И дали моря, зыбь цветная,
Всех синих красок полукруг,
Где томно тонет сонь дневная,
Зовя уснуть—не вслух, не вдруг...

Расплавлен полдень; зорь аркады,
Приблизясь, шлют ручьи огня...
Но здесь трещат, как встарь, цикады,
И древний кедр признал меня.

Щекой припасть к коре шершавой,
Вобрать в глаза дрожанья вод...
Чу! скрипнул ключ, издавна ржавый,
Дверь вскрыта в сон былой,—и вот,

Пока там, в море, льются ленты,
Пока здесь, в уши, бьет прибой,
Пью снова dolce far niente
Я, в юность возвращен судьбой.

1921

Утро в ночи

Трава весенняя допела
Свою живую зелень. Зной
Спалил сны мая, и Капелла
Кропит июньской белизной.

Вот ночи полночь, полдень года,
Вот вечер жизни, но, во мгле,
Вот утро, жгучий луч восхода,
Не к вышине, а по земле!

Зари, еще не возвещенной,
Вино пьяно, и я, взамен,
Готов, заранее прощенный,
Для всех безумств, для всех измен.

Пусть вечер! он же—полдень!—Где-то
Цветам процвесть, их пчелам пить,—
Где стебли чьих-то рук воздеты,
Чтоб вечный полюс торопить.

Пусть август будет. Плод налитый
Спадет в корзину, мертв и жив.
За десять лет замшеют плиты,
Недавний гроб не обнажив...

Но нынче ночь. Кротка Капелла,
Кропя июньской белизной;
Трава сны зелени допела,
И всюду—только свет и зной!

1924

Вот я—обвязан, окован
Пристальным глазом змеи очковой,
Над былинкой лесная газель;
Вновь тропу преградила Цель.

Здесь, в стране исканий,
Где века грохочут листвой,
Мысли гениев—реки, и с камней—
В непостижность водопад роковой;
Где направо—скалы в грядущее,
Где налево—пропасть в прошедшее,
Где ветры, над истиной дующие,

Кричат, как сумасшедшие;
В лесу исканий,
Без Энея Асканий,
Лань пред змеей очковой,—
Обвязан, окован.

Иду
По всем тропам;
Рублю топором череду,
Кожа мудрецов—барабан.
Сквозь лианы, шипы
На все тропы,
И будто—
Я Заратуштра, я Будда,
Я Христос, я Магомет,
Я—индейский сашем—
Курю калюмет...
И всюду—
Чудо:
«Почему» превращается странно в «зачем».
Глазом змеи очковой
Я очарован.

1924

КОММЕНТАРИИ

JUVENILIA

Осеннее чувство — «Четырехстопный хореический сонет был новостью в русской литературной практике. Лишь позднее он был узаконен у нас И. Анненским» (Н. Гудзий, «Из истории раннего русского символизма»). Гудзий указал также, что «Осеннее чувство»—подражание одному из сонетов Маллармэ («Une dentelle s'abolit»).

Творчество.—Своеобразный реальный комментарий к этой вещи пытался дать В. Ходасевич в журнале «София» за 1914 г. Позднее тот же Ходасевич в *эмигрантских* «Современных записках» вспоминал об ироническом отношении Брюсова в его оценке «Творчества» (см. отрывки в монтаже Н. Ашукина «Валерий Брюсов»).

«О, закрой свои бледные ноги».—В архиве Брюсова сохранился ряд вариантов этого моностиха. П. Коган в своих воспоминаниях о Брюсове говорил: «Я спросил тогда его, что это значит. Он горячо начал доказывать, что старая форма изжита, что надо не разжевывать, а заставлять читателя догадываться. «Но тогда еще загадочнее было бы написать просто «О!»—говорю я ему. Я думал, он рассердится, а он посмотрел, подумал: «А знаете, ведь это идея...» Простился и ушел. И до сих пор я не знаю, смеялся он тогда или говорил серьезно». См. также интервью Рокшанина, где фигурирует и «Творчество» (интервью перепечатано в монтаже Н. Ашукина).

Ученый.—Схолии—примечания грамматиков или критиков к текстам классических авторов (греческих), иногда разроставшиеся в самостоятельные исследования. *Ормузд* (Агура—Мазда)—в иранской мифологии верховное божество, олицетворение света. *Ариман* (Ангра—Майнью)—злое божество иранцев, вечный противник Агура-Мазды. Стихотворение посвящалось ныне покойному Влад. Макс. Фриче.

CHEFS D'ŒUVRE

На журчащей Годавери.—«Индусские женщины гадают о любви, пуская по течению рек листья банана с положенными на них цветами. Если лист опрокинется, это предвещает несчастие» (прим. Брюсова).

На острове Пасхи.—«Остров, названный так в 1722 г. Яковом Роггевейном, лежит в восточной части Полинезии. На нем встречаются гигантские статуи (вернее, бюсты), высеченные из целого камня, впрочем довольно грубо. Судя по всему, они не могли быть воздвигнуты теми беспомощными дикарями, которых застал на острове Роггевейн. Остается предположить, что это памятники народа, совершенно исчезнувшего» (прим. Брюсова). Согласно исследованиям Томпсона и др., эти огромные (5—20 метров) каменные идолы (которых на острове Пасхи около 500 штук), находившиеся на платформах из тесаного камня, представляют собою остатки тихоокеанской культуры затонувшего материка Пацифиды (см. кн. Б. Ф. Добрынина «Потонувшие материки», изд-во Фрейкель, 1923 г., М. Мензбира «Тайна Великого океана», изд-во Сабашниковых, 1922 г. и Шульце-Мезье «Остров Пасхи», ГИЗ, 1931 г.).

Львица среди развалин.—Пасаргада—древний персидский город. *Бэл* (Бэл-Мардук)—вавилонский бог, которому поклонялись также ассирийцы и другие народы Востока.

Жрец.—Сириус—белая неподвижная звезда (солнце) первой величины (1-й класс по Секки), находящаяся к северу от небесного экватора. Сириус служил в древности предметом поклонения.

С кометы.—«...Меня удивляет, что Вы умолчали о стихотворении «С кометы»—это очень смелая фантазия» («Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову»).

Ночью.—«...Как странно и как дивно звучат чуждые слова, особенно под рифмой! Неужели Вы не знаете наслаждения стихами, как стихами, вне их содержания,—одними звуками, одними образами, одними рифмами?

Дремлет столица, как самка мертвого страуса.

Уже одно ожидание рифмы к слову «страуса» навеваст мистический трепет. Я ничего не говорю—есть иное в поэзии, есть другая поэзия. Но и та, и другая, обе прекрасны» («Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову»).

ME EUM ESSE

«И покинув людей, я ушел в тишину».—Ассонансы вместо рифм—были новшеством.

Мучительный дар.—Эвмениды—в греческой мифологии богини мщения, *ламии* — привидения и вампиры.

«Я помню вечер бледно-скромный».—Тема данного стих. впоследствии неоднократно варьировалась и самим Брюсовым, и его учениками («египетский» цикл Блока).

«Побледневшие звезды дрожали».—Только после таких стихов Брюсова примеры сходной рифмовки появились в практике Сологуба, Гиппиус и др. См. у Сологуба:

На священном Лингаме ярка позолота,
Сам он черен, громаден, и прям,
Я закрою Лингам закрасневшимся лотосом,
Напою ароматами храм... и т. п.

TERTIA VIGILIA

— *Я.—Астарта*—финикийская богиня луны, *Геката*—греческая. Празднества в честь Астарты (у финикиян называлась еще Ашерой) имели характер оргий; у некоторых семитических народностей ей приносилась в жертву девственность (священная проституция).

Ассаргадон.—Ассаргадон (V в. до н. э.)—царь Ассура и повелитель Вавилона; при нем ассирийское царство достигло вершины могущества. *Сидон*—город в Финикии. *Элам*—древнейшее государство Передней Азии, сокрушенное ассирийцами. Ср. это и следующие стихотворения Брюсова, посвященные Древнему Востоку (в том числе и не вошедшие в наше издание) с соответствующими темами франц. буржуазного поэта-сциентиста и ученика парнасцев Леконта (S. Ch. Leconte) в его первой книге «L'Esprit qui passe»; Леконт (род. в 1865 г.) своеобразный поэт, но мало оценен соотечественниками и едва ли известен у нас (покамест существует перевод одного стих., сделанный Блоком; новые переводы основных вещей Леконта—появятся).

Халдейский пастух.—В *Халдее* (и Вавилонии) существовало поклонение небесным светилам. Поэтому астрономия и астрология получили там преимущественное развитие.

Жрец Изиды.—Изида—в религии египтян—высшее олицетворение женской силы. Храм бога *Фта* находился в Мемфисе (Нижний Египет). Египетские *Фивы* (Верхний Египет) были столицей при XI династии. Ср. со стих. К. Случевского (1837—1904) «Мемфисский жрец».

Рамсес.—Озимандия, Рамсес (очевидно Рамсес II)—египетские фараоны. Вероятно, это стих. является откликом на сонет Шелли (1792—1822) «Озимандия» (см. 1-й том собр. соч. Шелли в переводе К. Бальмонта, изд. «Знание», 1903 г.):

Я встретил путника; он шел из стран далеких
И мне сказал:—Вдали, где вечность сторожит

Пустыни тишину, среди песков глубоких
Обломок статуи распавшейся лежит.
Из полустертых черт сквозит надменный пламень,—
Желанье заставлять весь мир себе служить;
Ваятель опытный вложил в бездушный камень
Те страсти, что могли столетья пережить.
И сохранил слова обломок изваянья:
«Я—Озимандия, я—мощный царь царей!
Взгляните на мои великие деянья,
Владыки всех времен, всех стран и всех морей!»
Кругом нет ничего... Глубокое молчанье...
Пустыня мертвая... И небеса над ней...

Александр Великий.—Александр Македонский (356—335 г. до н. э.)—величайший полководец древности, завоевавший Персию, Египет, Финикию, основавший ряд Александрий и т. д. Под *Гавгамелой* произошла битва с персами, в которой Александр разбил царя Дария. *Ганг*—река в Индии. *Сарды, Сузы, Вавилон*—города огромной тогда Персии. *Аммон*—божество, сыном которого Александр был наречен в Египте. *Роксана*, дочь одного из бактрийских князей, покоренных Александром, стала женою македонского царя. В стих. описан бунт македонского войска (в Описе), недовольного предпочтением, оказанным персам. Об Александре см. стихи Брюсова в книгах «Зеркало теней» и «Меа». См. также стих. Бунина «Александр в Египте».

Старый викинг.—Викинги—вожди скандинавских морских разбойников. *Винландия*—в X в. название восточного берега Северной Америки (остров Скрелингов), еще до Колумба и конквистадоров «открытой» скандинавами.

Разоренный Киев.—В стих. говорится о разорении Киева Батыем в 1240 г. *Десятинная* церковь тогда послужила киевлянам последним оплотом и под тяжестью спасавшихся рухнула. Киев неоднократно подвергался основательным разгромам и со стороны русских князей (Андрея Боголюбского и др.).

Данте.—Гвельфы и гибеллины—политические партии. Первые были сторонниками папы, вторые—сторонниками императора. *Данте* мечтал о мощном владыке, который уничтожил бы раздоры. Брюсов переводил великого флорентийского поэта (1265—1321), неоднократно упоминал о нем в стихах и критических работах. Ср. с известным стих. Барбье (1805—1882), имеющимся в нескольких русских переводах (Бенедиктова, Доппельмайер и пр.), и с «Ode jubilaire pour le six-centième anniversaire de la mort de Dante» Поля Клодэля (род. в 1868 г.), крупнейшего реакционного поэта современной Франции.

Наполеон.—После пушкинской оды «Наполеон» это стихотворение является лучшим в обширном «наполеоновом»

цикле русской поэзии. Брюсову принадлежит и русский перевод «Оды Наполеону Бонапарту» Байрона.

«И снова ты, и снова ты».—См. в библии описание борьбы Иакова (Израиля) с богом.

К портрету Лейбница.—Готфильд-Вильгельм Лейбниц (1646—1716)—знаменитый философ (представитель идеалистического рационализма) и математик, обосновавший независимо от Ньютона диференциальное и интегральное исчисления. Об интересе Брюсова к Лейбницу свидетельствуют также дневники и автобиографии поэта.

К портрету К. Д. Бальмонта.—Бальмонт—один из главарей русских символистов (род. в 1867 г., первую книгу стихов выпустил в 1890 г.). До 1917 г., при всем своем индивидуализме, был близок к демократическому движению, высылался царским правительством и т. д. Октябрьская революция отбросила этого типичного индивидуалиста в ряды белогвардейцев, он бежал за границу. Бальмонтом издано множество книг. Качества их различны, но, как классик русского символизма, Бальмонт, несомненно переживет себя. Брюсов долгое время был дружен с Бальмонтом и не однажды посвящал ему стихи. Все это однако не мешало Брюсову судить о своем собрате по поэзии, в случае необходимости, и очень жестко. См. некоторые стихи в этом издании, мнения о Бальмонте в дневниках и автобиографиях и критические высказывания в «Далеких и близких».

По поводу сборников «Русские символисты».—Эта и следующая вещи характерны как первые попытки Брюсова подойти к русскому декадентству исторически.

В неконченном здании.—Ср. с некоторыми страницами уэллсова романа «Когда пробуждается спящий» и с драмой Брюсова «Земля».

В дни запустений.—Здесь хорошо сказался историзм поэта. *Тауэр*—замок-тюрьма в Лондоне.

Краски.—Первоначальное воспитание и образование Брюсов получил в материалистическом духе. Об этом см. в дневниках и автобиографиях, а также в «Материалах к биографии Валерия Брюсова», приложенных к нашему изданию.

Аганат.—Карфаген—славный в древности финикийский город (государство) на африканском берегу Средиземного моря. Прежде поэма называлась «Аганатис».

Царю Северного полюса.—Как уже указывалось, скандинавские викинги, совершая большие плаванья, открыли побережья Америки, Гренландию (Эрик Рыжий) и т. д. Есть сказанья и о путешествиях скандинавов к Северному полюсу. В поэме упоминаются некоторые скандинавские божества. Поэма примечательна и в смысле техническом (комбинированные размеры, рифмы типа «бесследно—изведано»).

Блудный сын.—Использован библейский сюжет. Ср. с поэмой Н. Гумилева «Блудный сын» (в кн. «Чужое небо», 1912).

В ответ.—Приводим стих. «Труженик» А. С. Хомякова, славянофила и дворянского поэта (1804—1860).

По жестким глыбам сорной нивы,
С утра до истощенья сил,
Довольно, пахарь терпеливый,
Я плуг тяжелый свой водил.
Довольно, дикою враждою
И злым безумьем окружен,
Боролся крепкой я борьбою...
Я утомлен! Я утомлен!
Пора на отдых! О, дубравы!
О, тишина полей и вод,
И над оврагами кудрявый
Ветвей сплетающихся свод!
Хоть раз один в тени отрадной,
Склонившись к звонкому ручью,
Хочу всей грудью, грудью жадной,
Вдохнуть вечернюю струю.
Стереть бы пот дневного зноя,
Стряхнуть бы груз дневных забот!..
—«Безумец! Нет тебе покоя,
Нет отдыха: вперед, вперед!
Взгляни на ниву: пашни много,
А дня немного впереди.
Вставай же, раб ленивый бога!
Господь велит: иди, иди!
Ты куплен дорогой ценою,
Крестом и кровью куплен ты.
Сгибайся ж, пахарь, над браздою!
Борись, борец, до поздней тьмы!»—
Пред словом грозного призванья
Склоняюсь трепетным челом,
А ты безумного роптанья
Не помяни в суде твоем!
Иду свершать в труде и поте
Удел, назначенный тобой!
И не сомкну очей в дремоте,
И не ослабну пред борьбой.
Не брошу плуга, раб ленивый,
Не отойду я от него,
Покуда не прорежу нивы,
Господь, для сева твоего.

Помпеянка.—Стихи были написаны по поводу находки в пепле Помпей тел двух любовников. *Casta et pudica*—в переводе с лат.—«целомудренная и стыдливая». *Мим*—актер.

L'ennui de vivre.—В переводе с франц.—«Скука жизни». *Habet illa in alvo.*—В переводе с лат.—«Она понесла в чреве». *Ребекка, Лия*—из библии.

Лев святого Марка.—Св. *Марк*—патрон Венеции, некогда (XV—XVII вв.) мощной республики. *Беллини*—известный художник (умер в 1519 г.). *Торквато Тассо* (1544—1595)—итальянский поэт, автор «Освобожденного Иерусалима». Сопоставьте с этой вещью написанные *после* Октябрьской революции упадочные стихи О. Мандельштама о Венеции («Веницейской жизни мрачной и бесплодной для меня значение светло») и, во французской поэзии, замечательный венецианский цикл в «Emaux et camées» Теофиля Готье (1811—1872); полный перевод «Эмалей и камей» на русский язык принадлежит Н. Гумилеву (изд. Ясного, СПБ, 1914).

Париж.—Одна из лучших урбанистических поэм Брюсова. Ср. с поэмами Верхарна и Жюля Ромэна; в советской поэзии интересны парижские циклы П. Антокольского (книги «1920—1928», «Действующие лица» и «Коммуна 1871 г.»). *Мальстрем*—водоворот у берегов Норвегии.

In hac lacrimarum valle.—В переводе с лат.—«В сей долине слез». *Грааль*—легендарная изумрудная чаша, наполненная кровью Христа и служившая в средние века предметом поклоненья рыцарей. *Рюбецаль*—в германской мифологии горный дух.

В Дамаск.—Характерный образчик уподобленья эротических переживаний—религиозным. По евангелью, апостол Павел, гонитель первых христиан, познал Христа, отправившись в Дамаск.

К близкой.—Стихи выражают мистическую надежду на продолженье земной любви в загробном мире.

Женщина.—Терцины для своего времени были исключительно резкими. Картина чисто физиологическая.

Каменщик.—Это стих., в котором ясна некрасовская традиция, пользовалось и пользуется широкой известностью, многократно перепечатывалось в хрестоматиях, сборниках и т. д. Н. Ашукин в своей статье о брюсовском «Каменщике» (см. в книге «Литературная мозаика», 1931) опубликовал материалы по вопросу о происхождении этой вещи. Второй брюсовский «Каменщик»—в «Венке».

Мир.—Поэму дополняет одна из удачнейших работ Брюсова в области художественной прозы—повесть «Обручение Даши», посвященная купеческому быту и являющаяся во многом семейной хроникой.

В раю.—Стих., вероятно, было навеяно бодлэровым сонетом «Экзотический аромат» («Parfum exotique»). Со-

нет этот переведен Брюсовым во «Французских лириках XIX века», правда, без соблюдения всей формы оригинала.

К. Д. Бальмонту и *Ему же.*—Уже эти стихи показывали угол творческого расхождения Брюсова с Бальмонтом (последнее брюсовское обращение к Бальмонту см. в кн. «В такие дни»: «пусть погасло пламя в небе» и т. п.

Арион—полумифический греческий поэт, который, будучи брошен корабельщиками в море, был спасен дельфином, очарованным его пением. Напомним знаменитые стихи Пушкина и приведем здесь оду «Арион» француза Лебрена (1729—1807; почти неизвестен у нас), в переводе Т. М. Казмичовой:

Какой корабль, летящий в море,
Эринния, дохнув в раздоре,
Ты заговору предала?
Я слышу стоны и моленья:
Рукой кровавой преступленья
В пучину брошены тела.
О, стойте, жадные пираты!
О, грубая рука, должна ты
Жизнь Ариона пощадить.
Внемлите лире благородной,
Уже дельфин из мглы свободной
Спешит ему на помощь плыть.
Поет он... Голос лиры верной,
Стихии блещущей, безмерной,
Смягчает злое торжество...
Подставив спину полубогу,
С собою в зыбкую дорогу
Влечет чудовище его.
Подобное ладье покорной,
Стремит оно свой бег проворный
По дивной ширине морской.
Там Нереид, он видит, стаи,
Морские гроты покидая,
Летят на голос молодой.
О, музыки святое диво!
Волна колышется лениво
И небо чисто и светло.
Покой оцепенил Борея
И зыбкие дворцы Нерея
Блестят сквозь водное стекло.
О, юный Арион, не бойся,
В Коринфских берегах укройся!
Там Периандра ждет твоя.
Минерва дружит с их простором,
И там твоим предстанет взорам
Мудрец на троне короля.

Андрею Белому.—Белый (псевдоним Б. Н. Бугаева; род. в 1880 г.)—видный деятель русского символизма, автор «Петербурга» и др. книг. Продолжает свою работу и сейчас. Творчество Белого в послеоктябрьские годы претерпело значительные изменения, освободилось от густого мистицизма; последние произведения Белого, в частности, его цикл романов о Москве, выводят этого большого писателя на дорогу советской литературы. «В сиянье небо» и т. д.—строки из первой книги стихов Белого («Золото в лазури», 1904). Суждения Брюсова о Белом см. в «Далеких и близких»; второе стих. к Белому—в III томе «Путей и перепутий».

З. Н. Гиппиус.—Гиппиус-Мережковская (род. в 1867 г.)—представительница декадентского периода в русском символизме. Дореволюционная лирика Гиппиус исполнена мистицизма, индивидуализма, декадентской символики. Позднее, в 1918 г., издав книгу «Последние стихи» (насыщенную злобой по отношению к большевикам), Гиппиус эмигрировала (вместе с Мережковским). Теперь она является в Париже лютым врагом пролетарской диктатуры и выразителем глубочайшего идейного упадка белой эмиграции. О Гиппиус Брюсов писал в «Далеких и близких» и в «Дневниках», ей же посвящена им отдельная статья в «Русской литературе XX века» (изд. «Мир»).

«На этих камнях, вытесанных морем».—Этот отрывок был опубликован Брюсовым в приложении к «Городу и миру».

STEPHANOS

Вячеславу Иванову.—Вяч. Иванов (род. в 1866 г.; первую книгу оригинальных стихов—«Кормчие звезды»—выпустил в 1903 г.)—один из русских символистов. Человек редкой эрудиции (ученик Моммзена), Вяч. Иванов выступил вместе с «младшими символистами» (Блоком, Белым). В дореволюционное время пользовался серьезным влиянием. Этот значительный поэт (и ученый) явно пострадал от своей связи с буржуазной культурой. Он пробовал стать гражданским поэтом, много стихов написал, например, о 1905 годе, но поэзия его оказалась эзотерической, обремененной мистикой и, несмотря на проповедь поэтом «соборности» и «народности», глубоко чуждой народу. Пребывание Вяч. Иванова за границей (живет в Риме) поэтому вполне закономерно (за границей поэт прожил и всю молодость). О Вяч. Иванове см. в «Далеких и близких». Другие стихотворные обращенья Брюсова к Иванову—в III томе «Путей и перепутий» и в «Семи цветах радуги». *Перикл* (V век до н. э.)—знаменитый афинский политик, опекун Алкивиада. *Алкивиад* пытался сделать Афины великой державой, воевал со Спартой, затем

боролся с Афинами, участвовал в различных смутах, думал о покорении Сицилии.

Охотник.—Основные образы этой вещи Брюсов заимствовал, повидимому, из стих. Леконта де Лиля (1818—1894) «Закат солнца» (Un coucher de soleil):

...Soudain le géant Orion,
Ou quelque sagittaire antique,
Du côté du septentrion
Dresse sa stature athlétique.
Le Chasseur tend son arc de fer
Tout rouge au sortir de la forge,
Et, faisant un pas sur la mer,
Transperce le Rok à la gorge... и т. п.

К Деметре.—Деметра (иначе Церера) в греч. мифологии являлась богиней растительного мира.

Адам и Ева.—По поводу этого стих. Ю. Айхенвальд писал: «невыносимы заключительные строки, пошлые в своей физиологичности и отталкивающие грубостью не только выражения, но и мысли». См. поэму Верхарна об Адаме и Еве (в кн. «Les rythmes souverains»).

Орфей и Эвридика.—«Орфей очаровал своей лирой бога подземного царства, и тот возвратил ему Эвридику, но с условием, что Орфей ни разу не оглянется на нее, пока будет вести ее из мира мертвых в мир живых» (прим. Брюсова).

Бальдеру Локи.—«По скандинавской мифологии, светлый Бальдер погиб от коварства злого Локи, направившего, во время игр, стрелу слепого Гаду. В наказание боги приковали Локи к скале, а над ним повесили ядовитую змею, жгучий яд которой падал на его лицо. Верная жена Локи, Сигина, сидела подле и держала над ним чашу, перехватывая капли яда. Эдда предрекает однако грядущее торжество Локи. Боги мрака и огня начнут войну со светлыми асами, одолеют их, и вся вселенная сгорит. Чертоги Одина, Гладсгейм, стоят в середине Асгарда, царства асов; Нерта—богиня земли; Гела—богиня мертвых; Игдразил—исполинское дерево, соединяющее все восемь миров, корни его в аду, ствол на земле, вершина в небе» (прим. Брюсова). Ср. «Бальдер» Бунина:

Хаду—слепец, он жалок! Мрак глубокий
Скрывает свет и правду от него.
Но, чадо тьмы, он весь во власти Локи—
Он на смерть поражает божество.
И все же мир лишь жаждой света дышит!
И солнце, погребенное во тьму,
Из гроба тьмы, из бездны ада слышит,

Что мир в тоске взывает лишь к нему.
И дрогнет тьма! И вспыхнет на востоке
Воскресший Свет! И боги пригвоздят
Тебя, как пса, к граниту гор, о Локи!
И будет змей, свирепый и стоокий,
Точить со скал на темя Локи—яд!

Тесей Ариадне.—«Критский лабиринт, где заключен был Минотавр, был построен Дедалом. Ариадна, дочь критского царя, научила Тезея, как выйти из лабиринта с помощью клубка ниток, разматываемых по пути. Уезжая с Крита, Тезей взял Ариадну с собой, но бросил ее на острове Наксосе, где встретил ее бог Дионис. Тезей не переменил траурной оснастки корабля на белую, что было бы знаком успеха. Отец Тезея, Эгей, видя приближающиеся черные паруса, бросился в море» (прим. Брюсова). Другие стихи Брюсова об Ариадне в книгах «Городу и миру» и «Последние мечты».

Ахиллес у алтаря.—«По одной версии сказаний, греки и трояне, в конце войны, думали заключить мир, сочетав браком Ахиллеса и Поликсену, дочь Приама. Но Ахиллес был убит стрелой, пущенной Парисом и направленной самим Аполлоном» (прим. Брюсова).

Клеопатра.—Клеопатра (I в. до н .э.)—прославленная египетская царица, любовница Юлия Цезаря и Антония. Преследуемая Октавианом, покончила с собою (укус змеи). Ср. сонет «Клеопатра» в «Третьей страже» и замечательное брюсовское продолжение «Египетских ночей» Пушкина. Своеобразна «Клеопатра» А. Блока; красочные французские стихи о Клеопатре есть в «L'Esprit qui passe» Леконта и в кн. Альбэра Самэна (A. Samain, 1858—1900) «Au jardin de l'infante».

Антоний.—Триумвир *Марк Антоний* (I в. до н. э.), по утверждениям прежних историков, бесславно погиб из-за своей любви к Клеопатре. В решающем столкновении его с Октавианом (морская битва при Актии) Клеопатра обратила свои корабли в бегство; Антоний последовал за нею, и оставленные без вождя флот и сухопутное войско его были рассеяны; Антоний позже бросился на меч. Ср. эти стихи Брюсова с циклом сонетов Эредиа «Антоний и Клеопатра» («Antoine et Cléopatre»), в переводе Д. Глушкова-Олерона. Вот третий сонет этого цикла:

Вдвоем, они глядят с террасы потаенной:
Внизу Египет спит под душной пеленой,
И Нил в вечерней мгле медлительной волной
Катится на Саис по Дельте омраченной.
Как пленник, детский сон баюкать принужденный,
Он слышит, Римлянин, сквозь панцырь боевой,

Как на груди его победно огневой
Трепещет страстный лик, объятьями зажженный.
Волна живых кудрей небрежно разлита,
Пьянит дыханье амбр. Она манит уста
И ластится к нему извивами пантеры,
А он к ее зрачкам склонился и затих,
И видит, страстный вождь, в их звездах золотых
Пучину и свои, бегущие, галеры.

Орфей и аргонавты.—«Целью плавания героев на корабле Арго было золотое руно, издавна похищенное у минийцев. Язон был предводителем всего похода, Тифис—кормщиком; Линкей славился зоркостью, Геракл—силой. Нелей—отец Нестора, Менотий—отец Патрокла. Симплегады—вечно движущиеся скалы, которые раздавливали корабли, проходящие между ними» (прим. Брюсова).

Из ада изведенные.—«По халдейской мифологии, богиня Истар (Астарта) сошла в подземное царство, в жилище Иркаллы, и вывела мертвых к жизни. Истар в то же время богиня любви; ей была посвящена утренняя звезда (Венера)» (прим. Брюсова).

Из песен Мальдуна.—Мальдун—герой одной из ирландских саг, пасынок королевы, воин и путешественник, испытывающий различные приключения. См. «Ирландские саги», пер. А. Смирнова, изд. «Academia», 1929 г., и поэму Тэннисона (1809—1892) «Странствия Мальдуна«.

Встреча.—Перевод эпиграфа: «о ты, которую я имел любимой, о ты, которая это знала!» В бумагах Брюсова сохранился сделанный им в 1894 г. перевод стих. Бодлэра «Прохожей».

Кинжал.—«Стихи эти были написаны в 1903 г., при обстоятельствах, объяснять которые здесь не место. По цензурным условиям стихотворение в свое время не могло быть напечатано и появилось лишь в № 10 «Нового Пути» за 1904 г., в эпоху так называемой «весны», обратив на себя неожиданное для меня внимание печати...» (прим. Брюсова). О возникновении «Кинжала» см. рассказ Г. Чулкова в его кн. «Годы странствий»).

К согражданам.—Азраил—ангел смерти. *Форум*—площадь в древнем Риме. *Веи*—этрусский город, долго сопротивлявшийся римлянам. *Авентин*—холм, на который удалились плебеи в знак «забастовки». Библейский *Исав* продал свое историческое назначенье за похлебку.

Цусима.—2-я русская тихоокеанская эскадра, под командой адмирала Рождественского, была разгромлена японцами у о. Цусимы (в Корейском проливе) 15 мая 1905 г. «По теории московских книжников должно было существовать три Рима: первый завоевали германцы, второй—турки; третьим была Москва, а четвертому не быть» (М. Покровский, очерк

«Турки в Европе и падение Византии»). Ср. заключительные строки этого стих. с последними стихами «Панмонголизма» Вл. Соловьева («и третий Рим лежит во прахе, а уж четвертому не быть»). См. также «Цусиму» Вяч. Иванова («Cor ardens», ч. 1-я):

В моря заклятые родимая армада
Далече выплыла...—последний наш оплот!
И в хлябях водного и пламенного ада—
Ко дну идет...

Юлий Цезарь.—Внешне стих. разрабатывает некоторые страницы из римской истории (I в. до н. э.). *Секст Помпей*—прославленный полководец и консул. *Милон* и *Клодий*—трибуны-демагоги. *Парфяне* (парфы) разбили легионы Красса. *Рубикон*—река, являвшаяся границей между Галльской провинцией и Италией,—границей, которую Цезарь, в силу государственного постановления, не смел переходить во главе войска, но которую он перешел. Неплохое подражанье этому стих. Брюсова написано Н. Минаевым («Кай Юлий Цезарь»—«Новые стихи Всерос. союза поэтов», сб. 2-й, М., 1927).

Знакомая песнь.—Афинянин *Гармодий* (IV в. до н. э.), участник заговора против тиранов Гиппия и Гиппарха. *Брут*—римлянин-республиканец, убивший царя Тарквиния Гордого.

Мара—(Marat)—деятель французской революции (у нас обычно произносится: Марат). К «Знакомой песне» и к «Юлию Цезарю» Брюсов в первом издании «Венка» дал знаменательное примечание: «Эти стихотворения написаны *до* октябрьских событий».

Цепи.—См. соответствующие стихи пушкинского «Наполеона»:

...Среди рабов до упоенья
Ты жажду власти утолил,
Помчал к боям их ополченья,
Их цепи лаврами обвил.
И Франция, добыча славы,
Плененный устремила взор,
Забыв надежды величавы,
На свой блистательный позор...

Лик Медузы.—По греч. мифологии, ужасной головой *Медузы* был украшен панцырь богини Афины-Паллады.

Довольным.—Эти стихи Брюсова следует сравнить с «Сытыми» А. Блока, первоклассного и тоже отозвавшегося на революцию 1905 года поэта. Разница между Блоком и Брюсовым—характерна:

....Теперь им выпал скудный жребий:
Их дом стоит неосвещен,

И жгут им слух мольбы о хлебе
И красный смех чужих знамен!
Пусть доживут свой век привычно—
Нам жаль их сытость разрушать.
Лишь чистым детям—неприлично
Их старой скуке подражать.

Грядущие гунны.—Первоначально стих. имело эпиграф из Вяч. Иванова: «Топчи их рай, Атилла!» *Гунны*—условное, собирательное название народов, вышедших из Азии и начавших т. н. «переселение народов». Гунны в своем движении на запад покорили лангобардов, остготов и др. В 451 г. произошла Каталаунская битва, в которой король гуннов Атилла, считавшийся непобедимым, был разбит Аэцием и Теодорихом, стоявшими во главе объединенных войск римлян, вестготов, бургундов и т. д.

Фонарики.—Стих. очень характерно для Брюсова, поэта-историка, часто правильно искавшего в прошлом зарождения настоящего и будущего. В стих.—ряд намеков на особенности некоторых эпох в истории человечества.

Слава толпе.—Ср. эту и следующую («Духи огня») поэмы с урбанистическими вещами Верхарна, имеющимися в хороших переводах самого Брюсова, Г. Шенгели и М. Волошина. В 1905 г. Брюсов усиленно печатал свои переводы из Верхарна, тем самым вводя бельгийского поэта в русский литературный обиход не механически, но глубоко тенденциозно.

Конь блед.—Первоначально имелся эпиграф из «Апокалипсиса»: «И се конь блед и сидящий на нем, имя ему Смерть». Эта поэма Брюсова принадлежит к числу лучших созданий мировой урбанистической поэзии.

ВСЕ НАПЕВЫ

Радуга.—Ирида—олицетворение радуги, вестница Гебы (у римлян—Юноны). По поводу настоящего стих. один из критиков Брюсова писал: «...Он смотрит на радугу и сейчас же сам разбивает ее иллюзию и восклицает: «*Знаю,*—ты мечта моя!» Он слишком знает...» Позднее Брюсов ответил этому критику следующим образом: «У меня есть стихотворение о радуге, в котором я, между прочим, признаюсь, что знаю, как объясняет этот феномен современная наука:

Знаю,—ты мечта моя!

Нашелся критик, который яростно разбранил меня за это скромное познание, объявив, что, обладая им, нельзя быть поэтом. Такое откровенное требование, чтобы поэт был

непременно невеждою, столь примечательно, что имя критика стоит сохранить: это—Ю. И. Айхенвальд». («Miscellanea», альманах «Эпоха», 1918). Укажем тут, что до революции у Брюсова вместо «земного чуда» было—«божье».

Отречение.—Секстина—форма, очень редкая в русской поэзии. До Брюсова лучшая секстина была у нас написана Л. А. Меем (1822—1862).

Встреча.—*Ра*—бог солнца. Стих. интересно и с внешней стороны (многостопный стих, сложная строфа).

Ее колени...—Рондо—стихотворная форма, широко применявшаяся в феодальной французской поэзии (Шарль Орлеанский и др.). В России, кроме Брюсова, удачные рондо писали Вяч. Иванов и Б. Лившиц.

Лишь одного!—*Газелла* (газель)—восточная стихотворная форма. Блестящие русские газеллы есть у Вяч. Иванова.

Призрак неизбежный.—После Брюсова множество *триолетов* было написано Сологубом и Рукавишниковым.

Холод.—В эпоху написания этой вещи гипердактилические рифмы в русской поэзии были редкостью.

La belle dame sans merci.—В переводе с франц.—«Прекрасная дама без пощады». Написано в духе средневековых французских романсов.

Фаэтон.—*Фаэтон*—в греч. мифологии юноша, пытавшийся править колесницей Феба-Аполлона (солнца) и погибший в море. *Кронион*—Зевс. *Океаниды*—морские нимфы.

Городу.—Ср. брюсовский дифирамб с лучшими поэмами Верхарна в его кн. «Города-спруты» («Les villes tentaculaires»).

Хвала человеку.—«Ты по прихоти направишь бег в пространстве меж светил». Эта мысль (для тех лет вполне смелая) не идет в разрез с гипотезами передовой науки. Подобно тому как уже «выбивают» (пока только в порядке трудного эксперимента) электрон из атома (Резефорд и другие физики), так и земля, впоследствии, когда человечество овладеет новыми источниками энергии, может быть выбита из своего «атома»—солнечной системы.

Оры.—*Оры*—богини времени (часов). Айхенвальд иронизировал насчет метафоры: «душная кузница вселенной».

Гесперидовы сады.—По греческому мифу, *сады Гесперид*, дочерей Атланта, находились на «Счастливых островах».

Дедал и Икар.—Миф о *Дедале* и *Икаре*—один из интереснейших. Дедал, по преданию, был строителем критского лабиринта (критские лабиринты считались легендарными, пока их не открыл Эванс). Минос (царь) не отпускал своего архитектора и скульптора. Тогда Дедал соорудил себе и сыну Икару крылья из скрепленных воском перьев. При полете Дедал держался невысоко над водой, но сын его захотел взлететь к солнцу. Лучи растопили воск, и Икар упал в море. Миф этот принадлежит к стариннейшим (имеет любопытную

аналогию в индийской эпопее «Рамаяна»); в нем ярко сказалась давняя мечта людей о полетах или отголосок когда-то бывшего. Рассказ о Дедале и Икаре см. в «Метаморфозах» Овидия. *Кумы*—древний город в Италии.

Одиссей.—См. 12-ю песнь «Одиссеи». Брюсов в своей трактовке темы, конечно, отходит от Гомера.

Эней.—Стих., в основном,—пересказ 4-й песни «Энеиды» Вергилия, одного из любимейших поэтов Брюсова (см. его статью о Вергилие в X томе Нов. энцикл. словаря Брокгауза и Ефрона, перевод семи песней «Энеиды»,— остальные переведены С. Соловьевым,—вышедший в изд-ве «Academia» и рассказ «Предсмертный бред Вергилия», опубликованный в «Литературной газете» от 14 октября 1929 г.). *Нептун* (Посейдон)—бог моря. *Дидона*—царица, покончившая с собою после отъезда Энея. *Циллений*—Гермес(Меркурий). *Пределы Итала*—Италия.

Висби.—*Висби*—старинный город на о. Готланде, в XIV—XV вв. один из могущественнейших в Ганзейском союзе купеческих городов, торговавших на Балтийском и Северном морях.

Карл XII.—Ср. со стихами Пушкина в «Полтаве».

К собору Кэмпера.—*Кэмпер*—город во Франции. Ср. с «архитектурными» стихами О. Мандельштама, написанными после этой вещи Брюсова, с такими, например, как «Айя-София» или «Notre Dame».

Где римский судия судил чужой народ,—
Стоит базилика,—и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.
Но выдает себя снаружи тайный план!
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.
Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом—дуб, и всюду царь—отвес.
Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

На форуме.—*Константин* и *Траян*—римские императоры-«строители». Ср. это и др. итальянские стих. Брюсова сначала со стихами Блока, затем с итальянским циклом Гумилева в «Колчане», с соответствующими *пореволюционными* пассеистскими вещами Кузмина и наконец с «Итальянскими стихами» советского поэта Асеева в IV томе его собр. стих.—с такими, как

«Рим», «Туннель в Риме», «Флоренция», «Форум—Капитолий», «Термы Каракаллы»:

Будет дурака ломать,
старый Рим...
Термы Каракалловы—
это ж грим!
Втиснут в камни шинами
новый след.
Ты ж
покрыт морщинами
древних лет.
. . . . . .
Силу
силой меряя,
крался враг,
римская империя
стерлась в прах.
Всё забыто начисто:
тишь
и тлен.
Ладаном монашества
взят ты в плен... и т. п.

Служителю муз.—*Сиракузы*—греч. город (колония) на о. Сицилия. *Архимед* (287—212 гг. до н. э.)—великий греч. математик, физик и изобретатель. *Урания*—муза астрономии.

Дух земли.—Стих., по существу тесно примыкающее к тем вещам «Венка», которые служат обличеньем буржуазных соглашателей. Появление духа—по Гете (см. в стих. «Колдун-ученик»). Первоначально имелся эпиграф из Гете.

Наш демон.—Здесь—намеки на различные исторические события. Перейдя *Неман*, *Наполеон* шел к пораженью; *Цезарь*, переходя *Рубикон*, шел навстречу славе, и т. д.

Первым авиатором.—Стих. сначала называлось «Кому-то» *Фарман* и *Райт*—изобретатели, в начале XX в. осуществившие идею аэроплана, машины тяжелее воздуха (фактически над осуществлением этой идеи работал еще Леонардо да-Винчи; в 1895 г. аэроплан был изобретен нашим гениальным соотечественником—К. Э. Циолковским, проект которого не заинтересовал косное царское правительство). Н. Ашукин в «Литературной мозаике» указывает, что некоторые строки этого стих. были навеяны кн. Тиссандье «Мученики науки», которую Брюсов читал еще в детстве (см. в автобиографии, написанной для «Русской литературы XX века», и в кн. «Из моей жизни»). Только после этих стихов Брюсова в русской поэзии появились «аэропланные» вещи Зенкевича, Блока и др. Считаю нужным привести здесь некоторые строки стих.

В. Ходасевича «Авиатору» (1914); разница между буржуазным *упадочником* Ходасевичем и *передовым* буржуазным поэтом Брюсовым—в данном случае разительна:

...Что тебе до надоблачной ясности?
На земной материнской груди
Отдохни от высот и опасностей,—
Упади—упади—упади!
Ах, сорвись и большими зигзагами
Упади, раздробивши хребет,—
Где трибуны расцвечены флагами,
Где народ—и оркестр—и буфет.

Довольно показательно в этом смысле и стих. Блока «В неуверенном зыбком полете...»

ЗЕРКАЛО ТЕНЕЙ

Счастье Цезаря.—В этом стих., хорошо выражающем жизнелюбие поэта—намек на случай из биографии Цезаря.

Le Paradis artificiel.—Заглавие, в переводе с франц., «Искусственный рай». Эпиграф: «это блаженство безмятежности и неподвижности». См. кн. Бодлэра о наркотиках, имеющуюся в русском переводе («Искания рая», 1908).

В полях забытые усадьбы.—Ср. со стихами Бунина на аналогичные темы («Запустенье», «Детская» и т. д.).

В игорном доме.—Алезия—город в Галлии, взятый Цезарем после искусной осады (см. «Сочинения Юлия Цезаря, Записки о его походах», пер. А. Клеванова, 3-е изд., М., 1876).

Ответ—«Odi et amo»—в переводе с лат.—«ненавижу и люблю» (слова римского поэта Катулла). *Дегаз* (Degaz, правильнее Дега)—французский художник (1834—1917), часто писавший балерин.

На берегу.—Стих. опытного порядка, написано омонимическими рифмами.

Фирвальдштеттское озеро.—Озеро в Швейцарии. Это стих., как и следующее («Мюльбах»), немаловажно в урбанистическом цикле Брюсова.

На могиле Ивана Коневского.—Ив. Ив. Коневской (настоящая фамилия—Ореус)—один из основоположников русского символизма. Род. в 1877 г., утонул близ Риги в 1901 г. Лучшие стихи Коневского (по существу, юношеские) являются образчиками философской лирики. Поэт глубоко чувствовал свою связь с природой, космосом. При жизни Коневской выпустил только одну небольшую книгу («Мечты и думы», 1900); после смерти поэта его «Стихи и проза» были изданы «Скорпионом» (1904) со статьей Брюсова. (ст. перепечатана в «Далеких и близких».) О личности Коневского и о том

влиянии, которое она имела на Брюсова, см. еще в дневниках и автобиографиях. В кн. «Городу и миру» есть стих. «На смерть Ив. Коневского».

Египетский раб.—Тематически эта вещь совпадает с сонетом «Затерянный крик» Сюлли-Прюдома (1839—1907), подлинного представителя французской научно-философской поэзии, а не только автора сентиментальных лирических стихов. Вот этот сонет (из книги «Испытания»—«Les Epreuves»), в переводе И. П:

Явился кто-то мне в эпохе отдаленной
То был мастеровой высоких пирамид,
Пропащий юноша, чей робкий след забыт;
Он для царя дробил гранит нагроможденный.
В коленях дрожь была; сгибался изнуренный
Под небом, на рабов давившим хуже плит;
Стал от усилий лоб морщинами изрыт;
Он вскрикнул вдруг, как ствол, внезапно сокрушенный.
Тот крик поколебал и воздух, и эфир,
И поднялся туда, в несчетный звездный мир,
Где астролог прочел игру слепую рока...
Он трудится, богов ища среди обид,
И после тысяч лет, громадной кладкой скрыт,
Недвижно спит Хеопс во славе одинокой.

Революционная тенденция при разработке подобной темы выражена в стих. видной украинской поэтессы Леси Украинки (1872—1913) «Напис на руїні» (перевод см. в «Антологии украинских поэтов в русских переводах», изд. ГИЗа Украины, 1924 г.).

Моисей.—Эта поэма, навеянная библией, во многом—противопоставление «Моисею» Альфреда де-Виньи (1797—1863), поэта, в угоду своему пессимизму феодала, выразившего идею отреченья Моисея от людей и его жажду смерти (см. переводы «Моисея» Виньи, сделаннные А. Кудишем—«Стихотворенья», 1911, и А. Булдеевым—«Потерянный Эдем» 1910). У Брюсова есть еще сонет о Моисее—в книге «Городу и миру».

Клитемнестра.—Стих. написано, главным образом, на тему Эсхила (трилогия «Орестея»). *Клитемнестра*—жена аргосского царя Агамемнона (Атрида) и сестра *Елены* Троянской. *Дочь*, принесенная в жертву,—Ифигения. *Эгист*—любовник Клитемнестры и пособник ее в убийстве Агамемнона. См. Эсхилову трагедию «Агамемнон», в пер. С. Радцига, М., 1913. См. также «Эринии» Леконта де Лиля, тоже использовавшего тему Эсхила (есть отличный русский перевод «Эриний», выполненный М. Лозинским,—изд. «Петрополис», П., 1922 г.).

Смерть Александра.—Стикс—в греч. мифологии подземная река. *Харон*—перевозчик. *Минос, Радамант* и *Эак*—судьи

в аиде. *Саламин* и *Милет*—места сражений греков с персами. *Фивы*—город в Греции (не египетские Фивы). См. последнее стих. Брюсова об Александре в кн. «Меа» («Диадохи»). Близко к теме смерти Александра подходят и интересные стихи М. Зенкевича в его «Дикой порфире»—«Поход Александра в Индию».

Александрийский столп.—Колонна в Ленинграде перед б. Зимним дворцом. Сфинксы, привезенные из Египта, стоят на одной из набережных Невы.

К финскому народу.—Стих. было написано в связи со столыпинскими мероприятиями, цель которых заключалась в руссификации Финляндии. Здесь Брюсов проявил себя как буржуазный демократ, лишенный шовинизма. Характерно, что в примечании к этой вещи Брюсов в «Зеркале теней» сообщал, что стих. «после своего первого появления в печати было переведено на шведский язык». См. также переводы Брюсова из финских поэтов в «Сборнике финляндской литературы под редакцией В. Брюсова и М. Горького» (1918) и финские циклы поэта в «Венке» и «Семи цветах радуги».

СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ

Памятник.—Стих. чрезмерно похоже на свои прообразы (вещи Горация, Державина, Пушкина), но содержит и довольно своеобразные мысли, в частности мысль о «новых звуках», естественную у Брюсова, бывшего умелым переводчиком. Приведем здесь малоизвестный («Опыты») брюсовский перевод Горациева стих. «Exegi monumentum aere perennius»:

Вековечней воздвиг меди я памятник,
Выше он пирамид царских строения,
Ни снедающий дождь, как и бессильный ветр,
Не разрушат его ввек, ни бесчисленных
Ряд идущих годов или бег времени.
Нет, не весь я умру, большая часть меня
Либитины уйдет; славой посмертною
Возрастать мне, пока по Капитолию
Жрец верховный ведет деву безмолвную.
Буду назван, где мчит Авфид неистовый
И где бедный водой Давн был над сельскими
Племенами царем, из ничего могущ.
Первым я перевел песни Эолии
На Италийский лад. Гордость заслуженно
Утверди и мою голову Дельфийским
Благосклонно венчай лавром, Мельпомена.

Предвещание. Ср. со «Свершением» М. Зенкевича (темы, конечно, не тождественны):

...И он настанет—час свершения,
И за луною в свой черед
Круг ежедневного вращения
Земля усталая замкнет.
И обнаживши серебристые
Породы в глубях спящих руд,
От полюсов громады льдистые
К остывшим тропикам сползут... и т. д.

См. также «Тьму Байрона, некоторые поэмы Лиля и «Последнюю смерть» Боратынского.

Земля молодая.—Стих. по своей идее приближается к таким произведениям Зенкевича, как «Земля» и «Всему весы, число и мера».

Детские упования.—Эта вещь связана со стих. «При свете электричества», помещенным в отделе посмертных стихов (см. прим. там).

Истинный ответ.—Здесь вкратце изложены индийская философия, эллинское миропонимание, взгляды римлян, мировоззрение средневековья и учение современного материализма. Стихи эти у Брюсова достаточно самостоятельны, но тем интереснее сопоставить их с поэмой «Книги» Верхарна, (величина и конструкция верхарновой поэмы не позволяют ее цитировать,—см. перевод Г. Шенгели во II томе «Полного собрания поэм» Верхарна, ГИЗ, 1922).

В разрушенном Мемфисе.—Гиксы (гиксосы)—название народа, в древности покорившего Египет и продержавшегося там около ста лет (1700—1600 до н. э.).

Над Иматрой.—«Диямбический триметр, обычно называемый *ямбическим триметром,* есть античный метр, которым написаны диалогические части античных драм» (Брюсов, «Основы стиховедения»). *Дольмен*—первобытная гробница, чаще из трех или четырех камней, на которые сверху положен еще камень, образуя таким образом закрытое со всех сторон помещение.

Мой маяк.—Триолет—экспериментальный (из «Опытов»).

Ф. Сологубу.—Федор Сологуб (псевдоним Федора Кузьмича Тетерникова) род. 17 февр. 1863 г., умер 5 дек. 1927 г. Сын кухарки и портного, Сологуб рос в чужой семье. Позднее он был уездным учителем, и в литературу вошел уже не молодым человеком (прославился романом «Мелкий бес»). Октябрьскую революцию Сологуб творчески принять не захотел или не сумел. В творчестве своем Сологуб отобразил упадочные настроения дооктябрьской интеллигенции. Были у Сологуба и периоды сближения с общественностью (1905 г.), но лицо поэта определяется не ими. Индивидуализм, философский солипсизм, мистика и нездоровая эротика преобладают в произведениях Сологуба. Высказывания Брюсова о Сологубе—в «Далеких и близких».

Ночь.—Стих. показывает богатство русской рифмы (от гипердактилической до мужской).

Образы времен.—*Одноглазый финикиец*—знаменитый Ганнибал (III в. до н. э.). *Эмилий Павел*—римский консул, войска которого в 216 г. до н. э. были разбиты Ганнибалом. *Антиохия*—город в Сирии. *Годфрид Бульонский*—предводитель крестоносцев.

Баллада о Любви и Смерти.—В русской поэзии—одна из лучших баллад франц. типа (см. брюсовский перевод баллады Фр. Вийона в «Опытах»). Ряд намеков на образы «романтически» погибших любовников (из Шекспира и так далее).

Гарибальди.—Стихи о борце за освобождение Италии от ига Австрии. Род. *Гарибальди* в 1807 г., умер в 1882 г. *Капрера*—остров близ Сардинии, резиденция Гарибальди.

Последняя война.—*Ньюпор*—тип аэроплана. Этим стих. Брюсов открыл в 1914 г. цикл своих военных стихов, напечатанный в «Русской мысли». Ср. с «Война объявлена» В. Маяковского:

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
Багровой крови пролилась струя!..

Старый вопрос.—Стих. лишено грубого шовинизма, но «ново-славянофильский» характер его заставляет вспомнить о военных стихах Ф. Сологуба, Георгия Иванова, С. Соловьева, Б. Садовского, тогдашнего С. Городецкого и др.

Фламандцам.—Стих. естественно вытекало из давнего интереса Брюсова к Верхарну и было обусловлено той позорной позицией, которую великий бельгийский поэт занял во время империалистической войны. *Карл Смелый* и *Бодуэн Железная рука*—«национальные» герои, воспетые Верхарном. *Льеж* был взят немцами после упорного сопротивления бельгийцев. *Марафонское сражение*—в древности, во время греко-персидской войны; закончилось победою греков.

Наши дни.—*Ронсеваль*—ущелье в Испании, где Ролан, герой французского эпоса, дрался с маврами. *Карл Мартелл* (VIII в.)—франкский палатный мэр (т. е. первый министр и советник короля; одно время палатные мэры фактически стояли во главе государства франков), остановивший наступленье арабов на Европу.

Круги на воде.—*Марна*—река во Франции, *Висла*—в Польше. *Ангола*—область в Африке (Конго). *Чили*—государство на тихоокеанском берегу Южной Америки. *Пе-че-ли*—залив в Желтом море.

На Карпатах.—«...Карпаты были общеславянским гнездом, из которого впоследствии славяне разошлись в разные сто-

роны» (В. Ключевский, «Курс русской истории», ч. 1-я). Вопрос о происхождении и расселении славян ставится теперь более сложно в работах яфетидологов (см. напр., очень значительную работу С. Быковского «Яфетические предки восточных славян—киммерийцы», «Известия ГАИМК», 1932 г.).

Западный фронт.—Ср. с империалистическими стихами Гумилева в «Колчане» («Война»), с соответствующими страницами «Войны и мира» Маяковского и «Войны в мышеловке» В. Хлебникова. Вот, между прочим, некоторые строки из поэмы Хлебникова:

...Поймите, люди, да есть же стыд же,
Вам нехватит в Сибири лесной костылей,
Иль позовите с острова Фиджи
Черных и мрачных учителей,
И проходите годами науку,
Как должно есть человечью руку.
Нет, о друзья!
Величаво идемте к Войне Великанше,
Что волосы чешет свои от трупья.
Воскликнемте смело, смело, как раньше:
Мамонт наглый, жди копья!..

ДЕВЯТАЯ КАМЕНА

В Баку.—Стих. было опубликовано в «Русской мысли», позднее вошло в III том «Избранных произведений». *Шираз*—город, центр персидской культуры в X—XIII вв. *«Шах-Намэ»*—кн. персидского поэта Фирдуси. *Гафиз*—знаменитый персидский лирик. *Спарапеты*—военачальники в древней Армении; армяне входили в число разнопленных войск Кира-старшего при осаде Вавилона.

Баку.—Стих. было опубликованно в «Русской мысли» позднее вошло в III том «Избр. произв.». *Ахтуба*—русло Волги. *Каспийское* море в давние эпохи занимало большую площадь и соединялось с Черным и Азовским морями.

В Тифлисе.—Было опубликовано в «Русской мысли», вошло в III том «Избр. произв.». *Эталажи*—выставки. *Тамара*—царица Грузии. *Саят-Нова*—замечательный армянский поэт (1719—1795; см. статью Брюсова и переводы в «Поэзии Армении»).

К Арарату.—Первоначально появилось в Русской мысли», позднее вошло в «Избр. произв.» и другие книги. *«Алатяз*—гора; в армянских народных песнях *Арарат* (Масис) всегда олицетворяется как старец, а Алагяз—как дева в короне (верхние зубцы Алагяза напоминают, по форме, венец)» (прим. Брюсова).

Победа при Каррах.—Стих. было опубликовано в 1917 г. в № 2 журнала «Армянский вестник»; в книгах Брюсова не перепечатывалось. Даем место прим. автора—по машинописному экз. «Девятой камены»: «Битва при Каррах (53 г. до Р. Х.) прозошла при армянском царе Артавазде II (56—33 г. до Р. Х.), сыне Тиграна Великого. Римские историки считают поражение при Каррах самым тяжелым после несчастных сражений при Аллии (с Галлами) и при Каннах (с Ганнибалом). Во главе римских легионов стоял Красс, один из членов так называемого «первого триумвирата»; во главе армяно-парфских войск—парф Сурена. В бою пало свыше двадцати тысяч римлян; десять тысяч было взято в плен; захвачены были римские «значки» (знамена) и весь военный обоз; был убит и сам Красс, вместе со своим сыном. Сурена приказал отрубить у Красса голову и правую руку и отвезти эти кровавые трофеи царям, армянскому—Артавазду и парфскому—Ороду. Цари, в то время, находились в новой армянской столице Арташате, где праздновали бракосочетание парфского царевича Пакура с сестрой Артавазда. Посланный Сурены, по имени Силлах, нашел обоих царей в театре, где в тот день исполнялась трагедия Еврипида «Вакханки»—приезжей труппой греческих актеров, конечно, на греческом языке (что служит, между прочим, доказательством, как распространен был греческий язык в ту эпоху среди армян, хотя бы в высших кругах общества). Перебежав театр, Силлах поднялся на сцену, преклонился перед царями и бросил голову Красса актеру, игравшему роль Агавы (женские роли, как известно, исполнялись тогда мужчинами же). Этот актер (до нас дошло его имя: Ясон Тральский) по ходу пьесы должен был показать зрителям голову Пенфея, растерзанного менадами. Вместо того, Ясон схватил голову римского полководца и, бросая ее на подмостки, продекламировал подходящие стихи трагедии: «Мы по обычаю приносим из гор нашу добычу, рога оленя, только что убитого на счастливой охоте!» Весь театр был охвачен взрывом энтузиазма, все рукоплескали, приветствуя царя и поздравляя друг друга с победой над сильным врагом.—Рассказ об этом сохранил нам Полион, греческий историк, живший при императоре Марке Аврелии, писатель вообще добросовестный, пользовавшийся хорошими источниками и сообщающий сведения, которым можно доверять.—Поражение при Каррах долго оставалось не отомщенным римлянами, и римские «значки» (знамена) висели в армянских и парфских храмах».

К Армянам.—Впервые появилось в армянской газете «Orizon» в 1916 г. (по русски), впоследствии вошло во II том «Избр. произв.». Стих. охватывает историю Армении. *Кир*—персидский царь (VI в. до н. э.). *Юстиниан*—римский император. *Чингисхан* и *Ленгтимур* (Тимур, Тамерлан)—знаменитые монгольские завоеватели. В связи с армянскими

стихами Брюсова см. цикл «Армения» О. Мандельштама («Новый мир», № 3 за 1931 г.) и стихи Н. Тихонова о *советской* Армении—его поэму «Красные на Араксе» (II том собр. стихов) и «Тишину», помещенную в I томе:

Раз перед ночью, часом осенним,
Стоял я на горном валу—
Как на ладони лежала Армения
От Гокчи до Камарлу.
С запада пыль, тут не причем
Природа—между амбаров
То молокане дерут кирпичом
Сотни своих самоваров.
Тут отношенье в тиши и глуши
Особое к чаю имелось,
Ибо вся крепость сектантской души
Без крепкого чая—не крепость.
А на востоке мычанье стоит,
Встали стада великие—
Езидов стада это, всякий езид
Дьявола чтит, как владыку.
Рядом шатер со звездою простерт,
Загса шатер основался—
Так втихомолку здесь дьявол живет
Через дорогу от Маркса... и т. д.

Тридцатый месяц.—Первоначально помещенное в «Новой жизни», стих. это было перепечатано затем в «Кругозоре» и других пореволюционных книгах Брюсова. Даем здесь место отрывку из любопытнейшего документа—брюсовского «письма в редакцию» («Несколько слов о себе»): «Мои стихи «Тридцатый месяц», помещенные в № 40 «Новой Жизни» (4 июня), подали повод некоторым изданиям обвинять меня, так сказать, в измене убеждениям. Валерий Брюсов, говорят мои критики, прежде восхвалял войну, а, став сотрудником «Новой Жизни», начал писать против войны. Так как критикуется не достоинство моих стихов, а моя позиция человека и гражданина, я считаю себя вправе ответить несколько слов.

Во-первых, почему «став сотрудником, начал писать такие стихи», а не наоборот: «начав писать такие стихи, сделался сотрудником»? Не естественнее ли предположить, что «Новая Жизнь» потому и предложила мне участвовать на ее страницах, что ждала от меня стихов, не противоречащих ее программе? Во-вторых, я никак не вижу в своих стихах не только «измены своим прежним убеждениям», но даже отказа от прежних взглядов, всегда возможного у человека, который мыслит, идет вперед, иное из своего прошлого осуждает. В моем стихотворении сказано:

Призывы светлые забыты
Первоначальных дней борьбы...

Если в «первоначальные дни борьбы» слышались «*светлые* призывы», почему же поэту было не приветствовать их? И, наконец, в-третьих, дата, поставленная под стихотворением, и самое его *содержание*, где идет речь о *тридцатом* месяце войны, показывают, что стихи были написаны еще до основания «Новой Жизни»... («Литературная газета», № 46 от 11 окт. 1932 г.).

Парус и чайка.—Перепечатывается из кн. «Неизданные стихи».

Ночные страхи.—Перепечатывается оттуда же. Стих. характерно как попытка противопоставить идеалистическим стихам Тютчева иную, научную, точку зрения. Тема атавизма у Брюсова получила дальнейшее развитие в книге «Меа».

Петру Ивановичу Постникову.—Относится к московскому хирургу, в лечебнице которого Брюсов лежал в 1916 г. *Протоплазма* — органическое вещество, дающее жизнь клетке. См. стихи на сходные темы в «Дикой порфире» Зенкевича—«Ящеры», «Темное родство» и др. (некоторые из них—в «Позднем пролете», 1929).

ПОСЛЕДНИЕ МЕЧТЫ

Пророчества весны.—*Самсон*, в юности, встретив льва, разорвал его руками. На обратном пути Самсон нашел в пасти льва пчелиный рой и мед; придя к родителям с медом, герой ничего не сказал им о своем подвиге (см. в библии «Книгу судей Израилевых»).

Мировой кинематограф.—По своему содержанию это стих. (как и «Фонарики» в «Венке») близко подходит к поэме Э. Верхарна «Древние царства» (см. перевод Г. Шенгели, том VI собр. соч. Верхарна).

Голос иных миров.—Некоторый «мистический» налет на лексике не убивает, конечно, чисто научных мыслей Брюсова в этом стих. Интересна сложная строфа.

О себе самом. Своеобразное «библиографическое» стихотворение. *Камены*—музы; *Мусагет*—водитель муз, Аполлон.

В ТАКИЕ ДНИ

Мятеж.—Эмиль Верхарн умер в ноябре 1916 г., попав под колеса экспресса. Как известно, Брюсов не только переводил верхарновы стихи и много писал о бельгийском поэте, но и гордился своей дружбой с ним. Данное стихотв. подражает поэмам Верхарна «Мятеж» и «Восстание» (обе переведены Брюсовым).

В такие дни.—Капитолий—крепость в древнем Риме.

На высях.—Парид—Парис. *Пергамы*—крепость в Трое (не город Пергам). *«Сон Паоло и сон Франчески»*—намек на историю, рассказанную в «Божественной комедии» Данте.

Вещий ужас.—Троглодит—первобытный пещерный житель. *Тристан* и *Изольда*—герои средневекового романа.

Klassische Walpurgisnacht.—В переводе с нем.—«Классическая Вальпургиева ночь». В 1919—1921 гг. Брюсов перевел обе части «Фауста» (первая была издана только после смерти поэта—в 1928 г.; теперь переиздана первая часть и впервые печатается вторая—ГИХЛ и «Academia»). Это стих. навеяно образами второй части «Фауста». Непосредственно на тему «Фауста» Брюсовым написано стих. «Фауст» (в кн. «Зеркало теней»).

Египетский профиль.—Стих. замыкает темы некоторых дореволюционных вещей Брюсова.

Руками плечи...—Здесь выражена идея фатума, предопределенья (любви). *Илий—Илион. Иоанн*—пророк с о. *Патмоса. Рем*—один из двух мифических основателей Рима. *Аларих* (IV—V вв.)—король вестготов, воевавший с Римом. *Сапфо*—греческая поэтесса. *Овидий*—римский поэт. В стих. интересны составные рифмы, постепенно получающие все большее распространенье в новых стихах Брюсова.

От столетий...—Атилла наводил ужас на своих врагов и был называем *«бичом божьим». Хирам*—тирский царь, строитель Соломонова храма (библия). *«Солнце пятна вращает»* и т. д.—намек на деятельность солнца. *Алеппо*—город в Сирии.

Череп на череп...—Хлодвиг, родоначальник династии Меровингов,—известный в истории король франков (V—VI вв.)

Боттичелли.—Саванарола (1452—1498)—знаменитый флорентийский проповедник, сжигавший «соблазны дьявола», а позднее и сам погибший на костре. *Боттичелли*—прославленный художник того времени, мастер «греховных» картин. *Калидаса*—индийский (собственно, санскритский) поэт (V в. н. э.), автор драм «Сакунтала», «Урваси». *Веды*—древнеиндийские священные книги. *Рембрандт*—великий нидерландский художник (1607—1669), много писавший на религиозные темы («Снятие с креста» и др.).

Все люди.—Ахилл, Терсит, Елена—из Гомера. Не говори Брюсов здесь о «дьяволах» и т. п., эти его стихи напоминали бы гипотезу Циолковского: «Настоящая материя есть результат эволюции более простой материи, элементов которой мы не знаем. Я хочу сказать, что когда-то была материя более легкая и упругая, состоявшая из частиц более мелких, чем электроны. Может быть, это были частицы эфира... Каждый разреженный мир дал «свои» твердые, жидкие и газообразные вещества, которые и послужили для образования разумных существ (из весьма тонкой материи). Всех подобных

эпох было без конца сзади и без конца будет впереди...» (К. Циолковский. «Растение будущего», 1929).

Во мне.—Город вод—в Атлантиде; *орихалк*—металл атлантов (см. прим. к стих. «Пирамиды» и «Город вод» в отделе «Сны человечества»). *Геракл, Омфала*—из греч. мифологии (у Омфалы, индийской царицы, Геракл служил три года).

Пределы.—Орион и *Лира* (Геркулес)—созвездия.

День за днем.—Клеопатра, Марго, Таиах,—женщины истории, царицы.

Груз.—Андре да-Орканьи—художник (1308—1369), автор фрески «Страшный суд» (в Пизе).

МИГ

Октябрь 1917 года.—В мартовские *иды* (идами в календаре римлян назывались то 13-е, то 15-е дни каждого месяца) 44-го г. до н. э. был убит Юлий Цезарь. События *четырнадцатого декабря* читателям известны. *Двадцатого июня* 1789 г. в Париже, в зале для игры в мяч, состоялось собрание, на котором присутствовавшие поклялись не расходиться, покамест не будет дана конституция; *десятого августа* 1792 г. во Франции была уничтожена монархия; 18-го *брюмера* (9 ноября) 1799 г. пала Директория и Наполеон Бонапарт был провозглашен первым консулом. В 1830 г. во Франции произошла *июльская* революция, в 1848—*февральская*.

Коммунарам.—Лабиринтцы—жители критского лабиринта, побежденные греками (см. работу Брюсова «Учители учителей»). *Пифагорейцы*, выродившиеся в группу аристократов, своими насилиями вызвали народное восстание и были сожжены. *Вальденсы*—средневековая религиозно-коммунистическая секта. *Виклеф, Ян Гус, Иоанн Лейденский*—религиозные и политические деятели эпохи реформации.

Советская Москва.—Фермопилы—ущелье, где в древности произошла знаменитая битва 300 спартанцев, предводимых Леонидом, с персидскими полчищами. *Зеркала Архимеда*—сохранилось преданье, что Архимед, находясь в осажденных Сиракузах, сжигал вражеский флот особыми зеркалами, собиравшими солнечные лучи. Парижский собор «*Notre Dame*» украшен странными изображеньями *химер*. *Ариэль*—злой ангел.

Римини.—См. в «Божественной комедии» Данте и трагедию «Франческа да-Римини» д'Аннунцио, переведенную Брюсовым и Вяч. Ивановым.

Звено в цепь.—Савская царица и *Соломон*—из библии. *Ветилуя*—город в Иудее, который был осажден ассирийцем Ольферном. По существу, Брюсов в этом стих. склоняется к абсолютному отрицанию случайности, т. е. сближается с фаталистической точкой зрения.

Зачем?—Мистраль—холодный северо-восточный ветер на юго Франции. *Гольфштрем*—теплое океанское течение, начинающееся в Мексиканском заливе и огибающее Норвегию. *Стигматы*—святые язвы. *Виктория Регия*—гигантская лилия. *Ориноко*—река в Южной Америке.

Кондор.—Анды—южно-американская часть горного хребта Кордильеры. Ср. со стих. Буниан «Кондор» и с фактическим прообразом всех стихов о кондоре—«Дремотой кондора» (Le sommeil du condor) Леконта де-Лиля. Брюсовский перевод стих. Лиля—во «Французских лириках» (2-е изд.); здесь предлагаю свой, как мне кажется, более точный перевод этой вещи:

За лестницей крутой безмерных Кордильер,
За пеленой, куда орел летает черный,
И выше всех вершин, где из щелей упорно
Кровавой лавы ток выходит на барьер,—
Раскинув крылья в ширь, местами красен тоже,
Огромен и ленив, направил кондор взгляд
На всю Америку, на медленный закат—
И солнцу мрачному в зрачках не вызвать дрожи.
С Востока ночь плывет, из диких тех сторон,
Где протянулись в даль пампасы и болота;
На Чили, на дома, на дивный небосклон,
На Тихий океан уже легла дремота.
Овладевает ночь немым материком:
С песков на берега, с ущелий к первым склонам,
По череде вершин взростаньем неуклонным
Идет ее разлив своим прямым путем.
Как призрак, он один, на высоте коснея,
Купаясь в зареве, ложащемся на снег,
Ждет горделиво тьмы, ведущей свой набег:
Она пришла, бурля, и он окутан ею.
Зажегся Южный Крест в бездонной глубине,
Подобно маяку для кряжа и для дола;
Он издает свой хрип, он радостен вполне,
И шеей он трясет, узлистою и голой.
Потом, снег отряхнув, взлетает с грозных Анд
И, с криком, ввысь плывет к безветрию, к покою,
И, черный шар забыв, простясь с живой звездою,
В холодном небе спит, раскрыв крыла, гигант.

Дом видений.—Апостат—отступник. *Сократ и Горгий*—древнегреческие философы-софисты. *Статеры*—греч. монеты.

ДАЛИ

Красное знамя.—«Мойры—богини судьбы. *Дике*—богиня справедливости. *«По слову поэта»*—намек на стихи Тютчева:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые:
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.
. . . . . .
(Он) заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил»

(прим. Брюсова).

От Перикла до Ленина.—Фараон Снофру—один из строителей пирамид (3-е тысячелетие до н. э.), *Мвутанг* (иначе Альберт-Ньянца)—озеро в Африке, исток Нила. *Bull*— в Париже. *Котурн*—особая деревянная обувь греч. актеров. *Анри Бергсон*—франц. буржуазный философ, теоретик «интуитивизма». *Плезиозавр*—доисторическое животное. Лобачевский—великий русский математик (1793—1856). *Альдебаран*—звезда Альфа в созвездии Тельца.

Мы все—Робинзоны.—«*Стимер*—пароход. *Вихрь электронов*—современная физика рассматривает атом как систему, где вокруг центрального ядра вращаются электроны. *Налет кометы*—намек на возможность столкновения земли с кометой» (прим. Брюсова).

Загадка Сфинкса.—«*Плюшар*—издатель «Энциклопедического лексикона». «*...il mondo poco*—«мир мал», восклицание, приписываемое Колумбу. *Скотт*—один из исследователей, достигших Ю. Полюса. *Пири*—исследователь, достигший С. Полюса. *Спиралей пляску...* В виду поступательного движения солнца, истинные пути планет в пространстве должны представлять собою никак не эллипсы, но кривые, приближающиеся к спирали, определить природу которых еще невозможно при современном состоянии математики. *Простые числа...* Теория чисел до сих пор не дала точных методов для определения природы простых (первоначальных) чисел и порядка их размещения в ряде натуральных чисел» (прим. Брюсова).

Кругами двумя.—Иония—ионический стиль. *Андромаха*—жена Гектора (см. «Илиаду»).

Принцип относительности.—«*Оси сдвинуты*—намек на утверждение А. Эйнштейна, что «такое воззрение (принцип относительности) несовместимо с теорией Ньютона». *Leges motus*—законы движения (небесных тел), формулированные Ньютоном. *До чего, современники...* и т. д.—пародия речи Ф. Прокоповича на погребении Петра I» (прим. Брюсова). Поскольку это стих. выражает собою общее отношение Брюсова к теории относительности, нужно привести здесь выдержку из работы одного из советских ученых,—выдержку, которая покажет читателю брюсовских стихов, в чем теория относительности совпадает с диалектическим материализмом: «Теория относительности отрицает абсолют-

ный покой и связанное с ним «абсолютное» движение, но признает *объективный абсолютный мир*, к которому беспредельно приближаются наши относительные познания, и в основу этого мира она кладет *движущиеся материальные массы*. По теории относительности пространство и время—*не формы сознания наблюдателя, а формы бытия материи*, неразрывно с ней—материей—связанные и без нее—материи—немыслимые. Различия в *структуре* пространства и времени и связанные с ними различия в *измерительных* результатах закономерно определяются объективным различием самих *материальных масс*. Теория относительности Эйнштейна *отнюдь не признает обратимости времени* и не означает прорыва причинности. Напротив, она вносит большую точность и строгость в *понимание причинной связи, как физического процесса*, распространяющегося с конечной скоростью. Теория относительности в основах своих *диалектична и материалистична*. Теория относительности отнюдь не забронирована от опытной проверки. Ряд сделанных ею предсказаний блестяще оправдался, ряд выводов из нее в различнейших областях точной науки получает все большее экспериментальное подтверждение. Но если бы даже дальнейшие эксперименты заставили модифицировать ту или иную часть теории относительности, ничто уже во всяком случае не сможет свести на-нет *коренного переворота*, который она произвела в традиционных воззрениях на пространство и время,—переворота, который в основном сводится к тому, что бесплотным в их абстрактном существовании «абсолютным»—т. е. отрешенным от материи—пространству и времени она дала материальный становой хребет, поставив их в зависимость от движущейся материи» (С. Ю. Семковский. «Диалектический материализм и принцип относительности». ГИЗ, 1926).

Nihil.—«*Nihil*—ничто. *Святилище Ра, форум, трувер*—намеки на учение о метапсихозе» (прим. Брюсова).

Pou stô.—«*Pou stô*—где бы стать; намек на слова, приписываемые Архимеду: «дай (мне точку опоры), где бы стать, и я переверну мир». *Страх, что врат... Черепка скрип...*—намеки на быт каменного века. *Скреп Эвклидовых*—намек на то, что современная математика сомневается, соответствует ли реальное пространство Эвклидову». (прим. Брюсова). *Орфики*—авторы священных гимнов, приписываемых Орфею.

Мы и те.—«*Светогода.* Расстояние от земли до звезд измеряется числом лет, в какое это пространство проходит луч света. *Пифагором Птоломей.* Пифагор и его ученики развивали в древности учение о гелиоцентрической системе мира; в этом смысле они «победили» господствовавшую после геоцентрическую систему, творцом которой был Птоломей. *E pur se* (muove)—«а все-таки» (движется), восклицание, приписываемое Галилею. «*На Венере градусы*, см. след. стих.» (прим. Брюсова).

Разочарование.—«*Лед и зной лишь...* Новейшие исследования точно определили среднюю температуру на поверхности планет: для Марса около —70°, для Венеры +70°. *Звезд ряды строить...*—намек на изменения взаимного расположения звезд в зависимости (для земного наблюдателя) от поступательного движения солнца и (абсолютно) от их собственного поступательного движения» (прим. Брюсова). К «семи планетам» Брюсова теперь надо прибавить новые, занептунные планеты, открытые в 1930—31 гг. американскими астрономами. Это и предыдущее стих. непосредственно связаны с тем волнением, которое научный мир испытывал в 1920—1922 гг. «...В 1920 и 1922 гг. неоднократно отмечались случаи приема радиостанциями таких сигналов, для которых, по некоторым соображениям, затруднительно допустить земное происхождение; это обстоятельство,—в связи с тем, что сигналы наблюдались как раз в эпохи наибольшей близости Марса к Земле,—побудило искать станцию отправления сигналов именно на этой планете» Я. Перельман, «Межпланетные путешествия», изд. 6-е, 1929).

Молодость мира.—«*Лемуры*—по оккультной традиции, первая раса, достигшая на земле сравнительно высокой культуры (на исчезнувшем материке в Тихом океане). *Персеиды*—периодический поток метеоритов» (прим. Брюсова). *Раппальский договор* между Германией и Советской Россией был заключен в 1922 г. *Песни к Делии*—условное имя в поэзии. *Риккеритианство*—идеалистическое философское направление. *Санта-Маргарита*—близ Генуи (Генуэзская конференция состоялась в 1922 г.).

Весенняя песнь о любви.—«*Вигонь*—животное, водящееся в Андах. *Проделки Лесажовы*—намек на роман Лесажа «Хромой бес». *Артур*—намек на рыцарей «круглого стола». *Миоцен*—геологический термин. *Древних дебрей слеза*—янтарь. *Джон Фич*—один из изобретателей, ранее других применивший паровой двигатель к передвижению судов (пароходов); не признанный современниками, Джон Фич кончил жизнь самоубийством, бросившись в реку Делавар (открыта в 1610 г. лордом De la Warr)» (прим. Брюсова).

Годы в былом.—«*В Иосафатовой долине,* по христианской легенде, предстоит воскресение мертвых» (прим. Брюсова). Здесь поэт правильно утверждает необратимость времени.

Кто?—Мы? Иль там...—«*Сан-Марко два жгута*—две колонны в Венецианском соборе *San-Marco*, имеющие форму жгутов; по преданию, конечно недостоверному, составляли часть храма Соломонова. *Франклинова игла*—громоотвод. *Мимнерм*—первый поэт-эротик, известный нам в древнегреческой литературе. Ему принадлежат стихи:
Есть ли жизнь, есть ли счастье, помимо златой Афродиты!
Пусть я умру, если мне этого больше не знать!

Ur-Mensch—пра-человек» (прим. Брюсова).

Под зимним ветром.—«*Гаттерас*—герой романа Жюля Верна» (прим. Брюсова).

Над картой Европы 1922 г.—«*Столбы Мелькарта*, позже Геркулеса,—Гибралтарский пролив. *Колхида*—Кавказ. *Край Перикла*—Аттика; край *Лисандра*—Спарта; *царства Мидий*—Персия. *Газдрубал*—полководец карфагенян в их последней борьбе с Римом. *На Оссу Пелион*—намек на сказания о борьбе гигантов с Зевсом. *Крон*—Хронос» (прим. Брюсова).

Сегодня.—«*Занзибар* (в Африке)—шумный торговый город. *Гавайские* (Сандвичевы) острова (в Тихом океане)—поныне лесисты. *Мандрагоры*—намек на роман «Мандрагора», имевший большой успех в Германии за годы после войны» (прим. Брюсова).

Новый синтаксис.—«*Эдита*—намек на легенду об Эдите Лебединой шее, искавшей тело Гаральда на Гастингском поле. *Хеми*—Египет. *Шлак в Йоахимстале* содержит в себе урановую руду (радий). *Сын Креза* был нем до отрочества и заговорил под влиянием испуга, когда, при взятии Сард, смерть грозила его отцу. *Метценжер* и *Матисс*—современные французские художники; *супрематизм*—новейшее направление в живописи» (прим. Брюсова). Это «лингвистическое» стих. нашло свое самостоятельное продолжение в стихах Г. Шенгели—«Трудовые слова» («Новый мир», № 8 за 1928 г.):

...Пусть филологи плачут, что смолкла навеки латынь,
И пуристы скорбят, что язык засорился,—
Звон латыни живет средь железных фабричных святынь,
Он в моторах и тракторах вновь повторился.
А в смешеньи наречий нам новый язык расцветет.
За его красоту ты борись и воинствуй:
Трудовая латынь, обвивая народы, ведет
От единства труда к мировому единству...

Стихи о голоде.—«*Халдеи* первые определили видимые пути планет между звездами; из «*Эллинов*» мерил «просторы неба» еще Анаксимандр, точнее—Архимед, и др. *Танганайка*—озеро в Африке. *Пи*—термин элементарной математики» (прим. Брюсова). *Чимборазо*—горный вулкан (Центр. Америка). Ср. со стих. Маяковского—«Сволочи». Обратите внимание на языковую разницу—уже одна она покажет, что голосами обоих поэтов говорили различные общественные слои:

Гвоздимые строками,
стойте немы!
Слушайте этот волчий вой,
еле прикидывающийся поэмой!
Дайте сюда
самого жирного,
самого плешивого!
За шиворот!
Ткну в отчет Помгола.
. . . . . .
Будьте прокляты!

Пусть
ваши улицы
бунтом будут запружены.
Выбрав
место, где более больно,
пусть
по Америке —
по Северной,
по Южной —
гонят
брюх ваших
мячище футбольный!..

МЕА

Магистраль.—Семирамида — легендарная ассирийская царица. *Пуанкаре*—франц. политический деятель (б. президент), ярый империалист и известный враг пролетариата.

После смерти В. И. Ленина.—Ср. со стихами Маяковского, Асеева, Безыменского и др. Небезынтересно указать, что Брюсов, в последние годы своей жизни отчетливо понявший все величие вождя мирового пролетариата и отозвавшийся на 21 янв. 1924 г. несколькими стих.,—в 1905 г. полемизировал со статьей Ленина «Партийная организация и партийная литература». Будучи в то время буржуазным литератором и сторонником «свободы искусства», Брюсов тогда писал: «...г. Ленину нельзя отказать в смелости: он идет до крайних выводов из своей мысли; но меньше всего в его словах истинной любви к свободе. Свободная («внеклассовая») литература для него—отдаленный идеал, который может быть осуществлен только в социалистическом обществе будущего. Пока же «мнимо свободной, а на деле связанной с буржуазией литературе» г. Ленин противопоставляет «открыто связанную с пролетариатом литературу»....Современная литература, в представлении г. Ленина, на службе у «денежного мешка»; партийная литература будет «колесиком и винтиком» общепролетарского дела. Но если мы и согласимся, что общепролетарское дело—дело справедливое, а денежный мешок—нечто постыдное, разве это изменит *степень* зависимости? Раб мудрого Платона все-таки был рабом, а не свободным человеком.... Однако, возразят мне, та свобода слова (пусть еще неполная, пусть вновь урезанная), которой мы сейчас пользуемся в России или, по крайней мере, пользовались некоторое время, была достигнута ничем другим, как энергией «российской социал-демократической рабочей партии». Не стану спорить, воздам все должное этой энергии... Но, признав всю благодетельность пережитого нами события, неужели я должен поэтому самому отказаться от критического отношения

к нему?.... «Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии?» спрашивает г. Ленин. Я думаю, что на этот вопрос не один кто-нибудь, а многие твердо и смело ответят: «да, мы свободны!» Разве Артюр Рембо не писал своих стихов, когда у него не было никакого издателя, ни буржуазного, ни не буржуазного, и никакой публики, которая могла бы потребовать от него «порнографии» или чего другого. Или разве не писал Поль Гоген своих картин, которые упорно отвергались и не находили себе, до самой смерти художника, никаких покупателей?....Заметим, кстати, что работники эти были вовсе не из числа «обеспеченных буржуа», а нередко должны были, как тот же Рембо, как тот же Гоген, терпеть и голод и бесприютность...» (см. статью «Свобода слова», подписанную псевдонимом «Аврелий», в № 11 «Весов» за 1905 г.). Знал ли тогда Брюсов, что впоследствии он откажется от целого ряда своих буржуазных иллюзий, в том числе и от «свободы искусства», войдет в ряды партии пролетариата и посвятит Ленину свои стихи?... См. еще стенограмму речи Брюсова о Ленине, опубликованную в № 4 «Экрана» за 1928 г.

С.С.С.Р.—Написано по поводу провозглашения СССР. «К созвездию Геракла (Геркулеса), предположительно, направляется наше солнце в своем поступательном движении по пространству» (прим. Брюсова). См. «Хвалу солнцу» Вяч. Иванова («Cor ardens», часть 1-я)—вещь, в которой данные астрономии смешаны с представлениями религиозными:

О солнце! вожатый ангел божий
С расплавленным сердцем в разверстой груди!
Куда нас влечешь ты, на нас непохожий,
Пути не видящий пред собой впереди?
. . . . . .
И в расплавленном лоне пока не иссякла
Вихревой пучины круговратная печь,—
Нас, зрящих и темных, к созвездью Геракла,
Вожатый слепец, ты будешь влечь!..

З.С.Ф.С.Р.—Написано на образование Закавказской федерации. *Сателлиты*—планеты-спутники. *Яфетиды*—древнейшие народы (яфетическая теория разработана виднейшим ученым, ныне коммунистом, академиком Н. Я. Марром, о трудах которого Брюсов еще в эпоху «непризнания» яфетидологии неоднократно писал как о «поистине гениальных прозрениях»).

Штурм неба.—«*Персей* и *Икар*, в греческих мифах,—люди, летавшие на искусственных крыльях; *Леонардо да-Винчи* и *Гойя*—художники, изображавшие летающих людей; «*вскрылит великая птица*»—слова Леонардо да-Винчи о летающем чело-

веке; в полумифической *Атлантиде* люди, по преданию, умели летать. *В Жювизи*, под Парижем, были одни из первых, после изобретения аэропланов, полеты, на которых автор присутствовал. *Кудрино*—площадь в Москве. «*Allons, enfants...*» и «*Ça ira*»—революционные песни, соответствующие нашему гимну: «Вставай, пробуждайся...» (прим. Брюсова).

Машины.—«*Интеграл* означается знаком $\int$; d—условное обозначение дифференциала, f—функции» (прим. Брюсова). Ср. со стих. «Снаряды» И. Коневского.

Невозвратность.—«Движение планет вокруг солнца по эллипсам есть лишь условное допущение. В силу поступательного движения солнца, подлинные кривые, вычерчиваемые планетами в пространстве, нам неизвестны. *Фильма*, популяризирующая «принцип относительности Эйнштейна», в 1923 г. обошла все кино Европы. *Гольфштрем, Куро-Сиву*—большие океанские течения» (прим. Брюсова).

Мир N измерений.—«Математика допускает возможность измерений свыше третьего, чему посвящен ряд исследований. *Пифагор* учил о «музыке сфер». *Демокрит*—основатель атомистической теории. *Лобачевский, Риман*—математики, много сделавшие для так называемой «не-эвклидовой» геометрии» (прим. Брюсова).

Мировые спазмы.—«*Гекла* и *Крабла*—волканы в Исландии. *Femina*—парижский журнал для женщин» (прим. Брюсова), *Лингам*—индийская эмблема фалла в ведийскую эпоху (каменный столб или конус). Ср. с биологическими темами в «Œuvre» Ренэ Гиля (род. 27 сент. 1862 г., умер 15 сент. 1925 г.):

> L'Homme, instants en venir dans la grande Fluence
> doit sa prière à tout Atome, et son immense
> amour à toute Vie où plonge son moment
> ainsi qu'en tout ovule, le germe—germant...

О Гиле по-русски см. статьи Брюсова в «Весах» (1904) и «Русской мысли» (1909); переводы некоторых стихов—во «Французских лириках» (2-е изд.). На украинском языке о Гиле см. кн. М. Калиновича «Шляхи новітньої французької поезії» Киев 1924. Автор «Œuvre», не случайно так плохо понятый на родине, ныне больше многих других поэтов буржуазной Франции нуждается в переоценке. Опыт такой переоценки и перевод основных фрагментов монументальной поэмы Гиля—готовятся.

Явь.—«*Малларме*—французский поэт. *Флорида*—в Америке, *Уэллс*—в Англии. *Хорь* и *Калиныч*—герои Тургенева, *Домби*—герой Диккенса» (прим. Брюсова). *Изотермы*—линии, соединяющие точки с одинаковой средней температурой.

Как листья в осень.—«См. «Илиада», песнь VI, ст. 446 и сл.: «Листьям в дубравах подобны мы все, сыны чело-

веков» и т. д. Вопрос о возможности *научным путем* бороться со смертью составлял предмет изысканий философа Федорова» (прим. Брюсова). Прибавим от себя: у Федорова *преобладала* мистика.

Атавизм.—Это стих. следует сопоставить со стих. Бальмонта «Избранный» (в «Горящих зданиях»), с соответствующими стихами Коневского и с некоторыми вещами Зенкевича в «Дикой порфире», например с его «Темным родством».

Родное.—«*Беарн*—во Франции; *Берн*—в Швейцарии. *Серебряная латынь*—условный термин латинского языка I—II в. по Р. Х.» (прим. Брюсова).

Дождь перед ночью.—«При суточном движении земли, тень непрестанно продвигается, как и день, с востока на запад. *Пумы, змеи, колибри*—фауна Америки» (прим. Брюсова).

Книга.—«*Белые параллелограмы*—страницы книги; *черные черточки*—буквы на ней. *Аустерлиц, Ваграм, Ватерло*—известные места сражений Наполеона. *Риккерт* и *Мах*—философы. *За гранью далей*—на других планетах» (прим. Брюсова). «Семь значков»—очевидно, Октябрь.

Общая станция.—«*Гея*, в греческой мифологии,—богиня земли; *ступени* (лестницы) *Иакова*—библейское сказание; *Ариосто*—итальянский поэт XV—XVI в.; *пир у феаков*—описан в «Одиссее» Гомера; *эринии*—божества из др.-греческой мифологии; *Конфуций*—китайский мудрец» (прим. Брюсова).

Диадохи.—«*Диадохи*—общее название для ближайших преемников Александра Македонского, основателей т. н. «Эллинистических» царств. Диадохами были и *Селевк* и (Деметрий) *Полиоркет. Край Хеми*—Египет. «*Достойнейшему*», по преданию, завещал Александр свою империю. *Александриями* назывался целый ряд городов, основанных Александром в разных странах. Исторический смысл эллинизма заключался в том, чтоб объединить культуры *Запада* (Эгейи, Эллады) и *Востока* (передней Азии, Египта); позднее *Рим* объединил эту эллинистическую культуру и культуры крайнего Запада (италийские, друидические и др.) в единой античной» (прим. Брюсова). Стих. замыкает предыдущие стихи поэта об Александре. Об эллинизме ценный научный труд написан И. Дройзеном (русск. перевод «История эллинизма», 3 тома, 1891—93 гг.).

Бодлер.—«Шарль *Бодлер* род. в 1821 г., ум. в 1867 г. В стихотворении ряд намеков на поэмы и отдельные стихи Бодлэра: «Гимн Сатане», «Каин и Авель», «Падаль», «Emporte-moi vagon! enlève-moi frégat!» и др. «Epaves»—заглавие одного цикла стихотворений Бодлера (и одной посмертной книги). *Бездна коммун*—парижская коммуна 1871 г. *Нево*, в библейском предании,—гора, с которой Моисей обозрел «обетованную землю», вступить в которую ему не было дано» (прим. Брюсова).

Вариации.—«...*Он* вариаций—Пушкин; время действия—эпоха июльского восстания 1831 г. *Двое под одним плащом*—Пушкин и Мицкевич; сохранилось известие, что Пушкин и Мицкевич однажды, во время ненастья, укрывались у памятника Петра, под одним плащом. *Народы мира* и т. д.—намек на стихи Пушкина к Мицкевичу, мечтавшему «о временах, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся». *Другой*—Мицкевич. *Здесь*—на Сенатской площади. *Первой вольности предтечи*—декабристы. *Вильгельм*—школьный товарищ Пушкина, Вильгельм Кюхельбекер, один из декабристов, сосланный в Сибирь. В стихотворении—ряд стихов и выражений из «Медного всадника» Пушкина. Мысль «Вариации» подсказана прекрасными вариациями Б. Пастернака, которому автор почтительно посвящает эти стихи» (прим. Брюсова). См. в книге Брюсова «Мой Пушкин» статью «Медный всадник».

Мысленно, да!—«*Бирма* в Индо-Китае, *Мози-оа-Тунья* (т. е. «дымы делают шум»)—водопад на р. Замбези, в Африке, который Ливингстон предлагал назвать водопад Виктории. *Сирий*—правильнее, чем Сириус» (прим. Брюсова). Это стих. принадлежит к глубочайшим созданиям научной поэзии.

В Тихом океане.—«Дж. Кук (1728—1779)—известный английский мореплаватель, один из первых обследовавший южную часть Тихого океана» (прим. Брюсова). *Антильские* острова—в Атлантическом океане, перед Мексиканским заливом.

Марриэтовы мичманы.—«Имеются в виду такие романы Марриэта, как «Питер Симпль», «Мичман Изи» и др.» (прим. Брюсова).

Та же грудь.—*Брокен,* в сказаниях германцев,— место шабаша ведьм.

У смерти на примете.—«*Тень к свету*—путь в поэме Данте, через чистилище, к раю. *Гаучосы*—конные пастухи Ю. Америки. Заглавие взято их стихов Адалис: «Опять у смерти на примете...» (прим. Брюсова).

Мертвец.—«Халд—правильнее, чем халдей. *Селена*—луна. *Хлоя и Дафнис*—известный др.-греческий роман» (прим. Брюсова).

Так вот где...—*Кураре*—губительный яд. *Пентакль*—пятиконечная звезда, служившая прежде таинственным знаком.

Два крыла.—«В стихотворении имеются в виду разные сборники стихов автора, которые выходили под заглавием: «Пути и перепутья», «Зеркало теней», «Все напевы», «Семь цветов радуги», «Девятая камена», «Опыты», «Миг», «Дали «В такие дни», и сборник стихов Адалис под заглавием «Первое предупреждение». *Казот* — французский писатель XVIII в., с которым связаны разные легендарные сказанья» (прим. Брюсова).

Карусель.—«*Кермессы*—народные праздники во Фландрии, которые любил изображать Рубенс» (прим. Брюсова).

На рынке белых бредов.—«*Игуанадон*—вымершее животное. *Les Soirs*—сборник стихов Э. Верхарна. *Мойра*—судьба. *Фра-Беато Анджелико*—художник, любивший изображать ангелов. *Bucentoro*—праздничный корабль венецианского дожа» (прим. Брюсова). Стих. чрезвычайно интересно с технической стороны.

Ночь с привидениями.—«*Гоплиты*—тяжеловооруженные воины в др. Греции. Далее—имена известных писателей и философов разных стран» (прим. Брюсова).

Симпосион заката.—«*Симпосион*—пир. *Стерлядь Державина*—намек на стих. Державина «Шекснинска стерлядь золотая...». Далее—те же намеки на стихи Пушкина и Языкова. *Тинторетто*—итальянский художник XVI в.» (прим. Брюсова).

Дачный бред.—«*Жакерии*—вооруженные восстания французских крестьян в XIV в.» (прим. Брюсова). *Виллан*—крепостной крестьянин.

Волшебное зеркало.—«Заглавие намекает на известную сказку Г. Х. Андерсена. *Ассурбанипал*—ассирийский царь. *Фидиев Zeus*—знаменитая статуя Зевса, исполненная Фидием из золота и слоновой кости (эбур). *Кук*—английская фирма, организующая поездки туристов. *Эгейская культура* предшествовала др.-греческой на Балканском полуострове. *Мудания, Рапалло*—намеки на недавнее прошлое» (прим. Брюсова).

СНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Пирамиды.—Стих. было опубликовано впервые во II томе «Избр. произв.». «Пирамиды» во многом—параллель к некоторым страницам брюсовского исследования «Учители учителей». Подробно об истории и предполагаемом смысле пирамид (символ устремления вверх и т. д.), которые рассеяны не только в Египте, но и в Мексике и в других странах,—см. там же.

Город Вод.—Впервые стих. появилось во II томе «Избр. произв.». *Город Вод*—в преданиях древности и у Платона—название главного города Атлантиды. Яркое гипотетическое описание этого города см. в «Учителях учителей». Об *Атлантиде*, погребенной на дне Атлантического океана, см. также «Потонувшие материки» Добрынина, кн. Р. Дэвиня «Атлантида», изд-во «Петроград», Л., 1926, статью П. Термье «Атлантида» в «Ежегоднике геологии и минералогии России», № 2—3 за 1913 и особенно исследование Б. Богаевского «Атлантида и атлантская культура» в «Новом Востоке», кн. 15-я, 1926 г. Брюсов в этом стих. говорит от лица древнего; поэтому условная трактовка гибели Атлантиды здесь естественна. В кн. Бальмонта «Литургия Красоты» входит стих. «Город Золотых Ворот», на тему об Атлантиде. Л. Рейснер дебютировала драмой «Атлантида» в альманахе

«Шиповник», кн. 21, 1913 г.). Любопытное мистическое стих. «Атлантида» есть у Вяч. Иванова («Cor. ardens», II.) Поэма о «Гибели Атлантиды» написана В. Хлебниковым (том I собр. соч.; поэма тоже не лишена мистики). По замыслу—интересен «Путь к Атлантиде» Б. Гуревича («Вечно человеческое», 1913). Нелишне привести своеобразные строфы Б. Лившица, (кн. «Кротонский полдень», 1928):

И вот умолк повествователь жалкий.
Прародины последняя заря,
Не догорев, погасла в орихалке...
Беспамятство. Саргасские моря.
Летейский сон. Летейская свобода.
Над памятью проносятся суда
Да в простодушном счете морехода
Двух-трех узлов не хватит иногда.
Да вот еще... Когда, смежая очи,
Я Саломее говорю: пляши!—
В морях веков, в морях единой ночи,
Ты оживаешь, водоросль души.
О, танцовщица! Древняя русалка,
Опознаю сквозь обморок стиха
В твоих запястьях отблеск орихалка
И в имени—все три подводных «а».
А по утрам, когда уже тритона
Скрываются под влагой плавники,
Мне в рукописи прерванной Платона
Не достает всего одной строки.

Эгейские вазы.—Пифы, лекифы и т. п.—типы сосудов. О замечательной эгейской керамике (и вообще об эгейской материальной культуре) интересующиеся читатели могут найти необходимые сведения как в «Учителях учителей» Брюсова, так и в более специальных работах других ученых. См. 2-ю часть книги В. Бузескула «Открытия XIX и начала XX века в области истории древнего мира» (изд. «Academia», 1924), труды Б. Богаевского («Крит и Микены», ГИЗ, 1924; «Древне-минойский период на Крите в системе культур IV—III т. до н. э.»—«Сообщения ГАИМК» за 1928 г.; «Гончарные божества минойского Крита»—«Известия ГАИМК», т. VII, вып. 10 за 1931 г.); книгу А. Захарова «Эгейский мир в свете новейших исследований» (изд. Сабашниковых, 1924), «Доисторическую Грецию» Лихтенберга (изд. Сойкина, 1913) и 2-ю часть «Культуры доисторического прошлого» М. Гёрнеса (изд. «Фарос», 1914).

Женщины лабиринта.—Впервые стих. появилось во II томе «Избр. произв.». О предполагаемом быте и декадентской культуре лабиринтцев см. в «Учителях учителей»; стих. это параллельно некоторым страницам исследования.

Клинопись.—Первоначально появилось в сборнике «Сирин», кн. 2-я за 1913 г., затем вошло в «Опыты». Стих. это—перевод одной ассирийской надписи. Ввиду того, что в «Сны человечества» Брюсов намечал включить и некоторые переводы, для этого отдела настоящего издания допущено известное исключение, оправданное, на наш взгляд. Переводами, кажется, являются и четыре следующих стихотворения (*точно* установить не удалось).

Поучение.—Было напечатано во 2-м сборнике «Сирина».

Из песен австралийских дикарей.—Было напечатано во 2-м сборнике «Сирина».

Песня северо-американских индейцев.—Печатается впервые. *Маниту*—бог. Ср. это и следующее стих. с «Песнью пленного ирокезца» А. Полежаева (1805—1838).

Заговор от стрелы.—Печатается впервые.

Друзья.—Стих. первоначально появилось в «Русской мысли», позже вошло в «Опыты».

Das Weib und der Tod. Женщина и смерть.—Впервые было напечатано во II томе «Избр. произв.».

Пляска смерти.—Впервые появилось во II томе «Избр. произв.». Тема взята у художника Г. Гольбейна (1497—1543)—см. его сюиту «Пляска смерти». См. сходные мотивы и в стихах Т. Готье—напр. в поэме «Костры и могилы» (перевод Н. Гумилева):

Со смехом в адский пляс толкает
Сеньеров, пап и королей,
И, полных ужаса, бросает
Бойцов с испуганных коней.
И каждый миг все больше банда;
За старцем следом молодой;
Стремительная сарабанда
Бросает в пляску род людской...

ИЗ ПОСМЕРТНЫХ СТИХОВ

«Да, я к людям пришел».—Печатается впервые. *«Башня слоновой кости»*—символ индивидуализма.

К народу.—Редкие у Брюсова белые стихи, дополняющие политические мотивы «Венка». Впервые были напечатаны в I томе «Избр. произв.».

Нить.—Впервые появилось в «Литературной газете» (от 7 октября 1931 г.). *Ацтеки*—народ, уничтоживший древнюю культуру майев (в Мексике) и в свою очередь побежденный испанцами. У ацтеков существовало сказанье о «белых людях».

«Чуть видные слова седого манускрипта».—Было опубликовано в том же номере «Литературной газеты». *Криптосклеп. Анри де-Ренье* (род. в 1864 г.)—известный буржуазный

поэт и беллетрист современной Франции (см. собр. соч. в изд. «Academia», переводы стихов в брюсовских «Французских лириках» и т. д.).

При электричестве.—Было напечатано в «Новом мире» (кн. 12-я за 1926 г.). *«Грет-Истерн», «Слон», «Наутилус», Гаттерас, Роберт*—из известных романов Жюля Верна. Новейшие исследования *Марса* разрушили гипотезу «прямолинейных» каналов, но, вместе с тем, современная астрономия убеждается, что на Марсе жизнь существует и вода по «трещинам» направляется разумными силами. *Маркони*—изобретатель беспроволочного телеграфа. Телеграфное сообщение с планетами едва ли осуществимо. Интересные мысли Брюсова о возможности межпланетных сообщений см. в его статье «Эпоха чудес» («Новая жизнь», 1 мая 1918) и в альманахе «Эпоха» (1918). Теория межпланетных сообщений с помощью реактивного двигателя (ракета) впервые была разработана Циолковским в самом начале текущего века (Оберт, Годдард и др. выступили много позже). Труды Циолковского—сочетание мощной фантазии и строгого расчета. «Многие воображают себе небесные корабли с людьми, путешествующими с планеты на планету, постепенное заселение планет и извлечение отсюда выгод, какие дают земные обыкновенные колонии. Дело пойдет далеко не так. О спуске на крупные небесные тела нельзя теперь и мечтать—так он труден. Даже спуск на такие небольшие тела, как наша луна,—дело отдаленного будущего. Вполне доступны только такие маленькие тела и луны, как астероиды (от 10 до 400 верст в поперечнике). Главная цель и первые достижения относятся к распространению человека в эфире, использованию солнечной энергии и повсюду рассеянных масс, как астероиды и еще меньшие тела» (К. Циолковский. «Цели звездоплавания» 1929).

Больше никогда.— Inferno—по итальянски «Ад» (первая часть «Божественной комедии» Данте).

В моей душе, как в глубях океана.— Gordiana (Гордиана)—в древности горная страна по соседству с Ассирией. *Даки* были разбиты римским императором *Траяном*. Стих. перепечатывается из «Неизд. стихов».

К стальным птицам.—Аэроплан *Райта* подымался только после разбега по рельсу. *«Северный бард»*—из стихов Игоря Северянина. *«Альбатросы»* и *«голуби»* («таубе»)—типы аэропланов во время империалистической войны. Стих. перепечатывается из «Неизд. стихов».

«Во дни великого страдания».—Впервые появилось в «Литературной газете» (от 7 окт. 1931 г.). *Bone coete*—в переводе с лат.— общий круг, единение. См. еще стих. «Германии» в кн. «Неизданные стихи».

«На мне печать тысячелетий».—Публикуется впервые.

Сонет.—Вещь, весьма интересная в техническом отношении. Необычайный по форме, сонет этот распадается

на два самостоятельных сонета, имеющих свои формальные особенности и свои темы. Перепечатывается из «Неизд. стихов».

«Я — междумирок. Равен первым».— Стих. было впервые напечатано в «Неизд. стихах», с пропуском шестой строфы. Первоначальные варианты этой вещи восходят еще к периоду «Зеркала теней». Эти строки обусловили появление сходных тем в «Меа». *Пэры*—во Франции (до 1848 г.) и в Англии—представители высшего дворянства.

Светоч мысли.—Этот венок сонетов первоначально был напечатан в № 2 журнала «Искусство» за 1925 г. (в черновой редакции), затем издан отдельной брошюрой и перепечатан уже в чистовой редакции—в «Неизд. стихах». Венок сонетов одна из труднейших стихотворных форм. Он должен состоять из 14 сонетов (причем последний стих каждого служит началом следующего) и из 15-го—заключительного—сонета, составленного из первых стихов предыдущих 14 сонетов. В русской поэзии первый венок сонетов был создан Вяч. Ивановым, затем подобные «венки» писали Бальмонт и Брюсов (в наше время модернизированные венки сонетов опубликовал И. Сельвинский). Поэт идей, Брюсов и здесь, сжатый трудной формой, остался самим собою. «Светоч мысли» писался в то время, когда Брюсов только начинал ломку своего миропонимания; поэтому мы не можем упрекать поэта за то, что в этом венке сонетов он остается на идеалистических позициях, говорит об абстрактной истине, историческом прогрессе вообще и не видит главных движущих сил истории (особенно в последних сонетах), т. е. классового деления и классовой борьбы. «Светоч мысли» во многом суммирует прежние исторические стихи поэта (вплотную примыкает, например, к «Снам человечества»), а отсюда следует, что читателям, уже проследившим за предыдущими этапами брюсовской поэзии, в этом венке сонетов многое должно быть ясным. Даем здесь пояснения только к некоторым, еще не встречавшимся в книге мыслям и словам. Сонет II: *Аймара*—одно из центральных индейских племен в Боливии и Перу, некогда имевшее высокую цивилизацию; *Ягве*—Иегова, бог иудеев; *Кукулкан*—высшее божество Аймара. Сонет VII: *Карл Великий* (768—814)—средневековый император. Сонет X: *Лютер* (1483—1546)—основатель лютеранства, реформатор; *Густав* (второй)—шведский король эпохи реформации; *Тилли*—полководец, участник 30-летней войны (1618—1648); *Оливер Кромвель* (1599—1658)—вождь английской революции; *Ночь Варфоломея*—ночь избиения католиками гугенотов (в Париже, с 23 на 24 августа 1572 г.).

Я выростал в глухое время.—Это стих. (важное автобиографическое признанье) перепечатывается из «Неизд. стихов».

Дни для меня не замысловатые фокусы.—*Крокус*—цветок. Формула: $f(x, y) = 0$—*эф от икс, игрек равняется нулю*

(формула анализа бесконечно малых величин). Функция эф двух переменных величин икса и игрека равняется нулю—это уравнение, значение которого зависит от значения двух переменных; a и b—в алгебре изображение уже известных величин. Стих. перепечатывается из «Неизд. стихов».

Aux Champs Elysées или на Реджент-стрите.—Елисейские поля в Париже, *Реджент-стрит*—в Лондоне. *О Демокрите* (род. между 480—470 гг. до н. э., умер в глубокой старости)—праотце современного материализма и нынешней атомистики см. кн. Р. Пикеля «Великий материалист древности», изд-во «Новая Москва» 1924 г. Стих. печатается по рукописи.

Пророчество.—Впервые было опубликовано в «Неизд. стихах», с серьезными опечатками. *Нострадам*—ученый XVI в., знаменит как предсказатель (книга четверостиший «Пророчества»). О Нострадаме Брюсов писал в «Биржевых ведомостях» (от 14 мая 1915 г.). *«Юнайтед»*—объединение (англ.); подразумеваются САСШ. *Филиппины*—в Малайском архипелаге, принадлежат Америке. *Фест*—один из эгейских городов на Крите. *Эсимнет*—диктатор (греч.). Стих., конечно, во многом навеяно «Борьбой миров» Уэллса.

Товарищам поэтам.—Перепечатывается из «Неизд. стихов». *Клондайк*—золотоносная область на крайнем севере Америки; *Камбоджа*—королевство в Индо-Китае.

Dolce far niente.—В переводе с итальянск.—«сладкое безделье». Стих. впервые было напечатано в «Новом мире» в 1927 г., затем вошло в «Неизд. стихи».

Утро в ночи.—*Капелла* (Коза)—яркая звезда. Стих. перепечатывается из «Неизд. стихов».

«Вот я—обвязан, окован».—По предположению И. М. Брюсовой, это—последние стихи поэта. Первоначально появились в альманахе «Стык» (1926), затем вошли в «Неизд. стихи». *Асканий*—сын Энея («Энеида» Вергилия). *Сашем*—у сев.-америк. индейцев—вождь племени. *Калюмет*—трубка мира у индейцев.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Указатель, не являясь исчерпывающим, все же достаточно полон. В нем, прежде всего, перечислены в хронологическом порядке книги самого Брюсова (включая повторные издания)—как книги, целиком написанные им, так и официально им редактированные (на сборниках «Русские символисты» фамилия Брюсова-редактора не значится, но с ними нужно считаться как с подлинными брюсовскими редактурами). В отделе «Литература о Брюсове» составитель нашел целесообразным указать не только книги о поэте и большие статьи о нем, но и некоторые, сравнительно мелкие, отзывы, в том или ином смысле *характерные*. Размеры указателя не позволили аннотировать этот перечень авторов, критиковавших Брюсова с различных позиций, поэтому отдел этот *условно* разбит на две части: литература о Брюсове *до* и *после* Октябрьской революции. Малое количество марксистских статей о Брюсове, да и спорность некоторых из них разрешили составителю не выделять эти статьи в особую группу. Помещены в указателе и стихотворные вещи, непосредственно относящиеся к Брюсову, а также воспоминания и т. п.

Произведения Брюсова переводились на другие языки еще при жизни поэта (даже в начале его литературной деятельности)—на немецкий, французский, английский, шведский, польский, украинский, армянский, чешский, новогреческий, латышский и другие языки. Под рубрикой «Брюсов в переводах» указаны только *отдельные* издания и некоторые из иностранных антологий, те, в которых Брюсов представлен более или менее удачно и широко.

Иностранная литература о Брюсове читателям в данное время малодоступна (отдельных изданий к тому же нет) и в силу этого не указывается. Белоэмигрантские отзывы в указатель не включены.

При составлении указателя были просмотрены существующие библиографические справочники («Библиография Валерия Брюсова», указатели Фомина, Владиславлева, Мацуева, Мезьера и др.); но значительная часть библиографических данных приводится впервые.

КНИГИ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА

«Русские символисты». Выпуск I. (В сотрудничестве с А. Миропольским.) Редакция (не указана). М., 1894.

«Русские символисты». Выпуск II. (В сотрудничестве с Новичем, Миропольским и др.) Редакция (не указана) и предисловие (псевдоним).

Поль Верлен. Романсы без слов. Перевод Валерия Брюсова. М., 1894.

Chefs d'œuvre. Сборник стихотворений. М., 1895.

«Русские символисты». Выпуск III. (В сотрудничестве с Миропольским и др.). Ред. и предисл. («Зоилам и аристархам») Валерия Брюсова. М., 1895.

Chefs d'Œuvre. Второе издание, с изменениями и дополнениями. М., 1896.

Me eum esse. Новая книга стихов. М., 1897.

О искусстве. М., 1899.

Книга раздумий. (В сотрудничестве с К. Бальмонтом, М. Дурновым и И. Коневским.) М., 1899.

Tertia vigilia. Книга новых стихов. К-во «Скорпион», М., 1900.

Письма Пушкина и к Пушкину. Новые материалы, собранные под ред. Валерия Брюсова. К-во «Скорпион», М., 1903.

Urbi et orbi. Стихи 1900—1903. К-во «Скорпион», М., 1903.

Морис Метерлинк. Избиение младенцев. Перевод Валерия Брюсова. С критико-биографическим очерком А. ван-Бевера. К-во «Скорпион», М., 1904.

Στέφανος. *Венок.* Стихи 1903—1905. К-во «Скорпион», М., 1906.

Эмиль Верхарн. Стихи о современности. Перевод Валерия Брюсова. К-во «Скорпион», М., 1906.

Земная ось. Рассказы и драматические сцены. К-во «Скорпион», М., 1907.

Лицейские стихи Пушкина. По рукописям московского Румянцевского музея и другим источникам. К критике текста. К-во «Скорпион», М., 1907.

Морис Метерлинк. Пеллеас и Мелизанда. Стихи. Перевод Валерия Брюсова. К-во «Скорпион», М., 1907.

Вилье де-Лиль Адан. Жестокие рассказы. Перевод Б. Рунт. Под ред. и с предисл. Валерия Брюсова. К-во «Пантеон», СПБ, 1907.

Вилье де-Лиль Адан. Жестокие рассказы. Перевод Б. Рунт. Под. ред. и с предисл. Валерия Брюсова. К-во «Польза» (Универсальная библиотека), М., 1908.

Пути и перепутья. Собрание стихов. Том I. 1892—1901. К-во «Скорпион», М., 1908.

Пути и перепутья. Собрание стихов. Том II. 1901—1905. К-во «Скорпион», М., 1908.

Габриэль д'Аннунцио. Франческа да-Римини. Трагедия. Перевод Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова. Предисл. («Герои д'Аннунцио в истории») Валерия Брюсова. К-во «Пантеон», СПБ, 1908.

Огненный ангел. Повесть XVI века в двух частях. Часть 1-я. К-во «Скорпион», М., 1908.

Огненный ангел. Часть 2-я. К-во «Скорпион», М., 1909.

Французские лирики XIX века. Переводы в стихах и биобиблиографические примечания Валерия Брюсова. К-во «Пантеон», СПБ, 1909.

Испепеленный. К характеристике Гоголя. К-во «Скорпион», М., 1909.

Огненный ангел. Издание второе, исправленное и дополненное примечаниями. К-во «Скорпион», М., 1909.

Эмиль Верхарн. Елена Спартанская. Трагедия. Единственный авторизованный перевод с рукописи (в стихах) Валерия Брюсова. К-во «Скорпион», М., 1909.

Пути и перепутья. Собрание стихов. Том III. Все напевы. К-во «Скорпион», М., 1909.

Все напевы. Стихи 1906—1909. К-во «Скорпион», М., 1909.

Испепеленный. Издание второе. К-во «Скорпион», М., 1909.

Земная ось. Издание второе, дополненное. К-во «Скорпион», М., 1910.

Поль Верлен. Собрание стихов. Перевод Валерия Брюсова. С критико-биографическим очерком, библиографией, портретами. К-во «Скорпион», М., 1911.

Путник. Психодрама в одном действии. Отдельный оттиск из «Русской мысли». М., 1911.

Великий ритор. Жизнь и сочинения Децима Магна Авсония. С приложением переводов стихов Авсония. Отдельный оттиск из «Русской мысли». М., 1911.

Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней. К-во «Скорпион», М., 1911.

Габриэль д'Аннунцио. Франческа да-Римини. Перевод размерами подлинника Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова. «Герои д'Аннунцио в истории»—статья Брюсова. Издание 2-е. К-во «Шиповник», СПБ, 1911 (собр. соч. Г. д'Аннунцио, т. IX).

Оскар Уайльд. Герцогиня Падуанская. Драма в стихах. Перевод Валерия Брюсова. К-во «Польза» (Универсальная библиотека), М., 1911.

Зеркало теней. Стихи 1909—1912. К-во «Скорпион», М., 1912.

За моим окном. Воспоминания, наблюдения, мысли. К-во «Скорпион», М., 1912.

Ночи и дни. Рассказы и драматические сцены. 1907—1912. К-во «Скорпион», М., 1913.

Стихи Нелли с посвящением Валерия Брюсова. К-во «Скорпион», М., 1913.

Библиография Валерия Брюсова. 1889—1912. К-во «Скорпион», М., 1913.

Агриппа Неттейсгеймский. Очерк Жозефа Орсье. Перевод Б. Рунт. Под ред., с введ. и прим. Валерия Брюсова. С приложением трех статей редактора. К-во «Мусагет», М., 1913.

Полное собрание сочинений и переводов. Том I. 1892—1899. Juvenilia.—Chefs d'œuvre.—Me eum esse. К-во «Сирин», СПБ, 1913.

Полное собрание сочинений и переводов. Том XII. Алтарь Победы. Повесть IV века. Книги 1-я и 2-я. К-во «Сирин», СПБ, 1913.

Полное собрание сочинений и переводов. Том XIII. Алтарь Победы. Книги 3-я и 4-я. К-во «Сирин», СПБ, 1913.

Полное собрание сочинений и переводов. Том XXI. Французские лирики XIX века. (Издание второе, дополненное, с приложением «Очерка французской лирики XIX века»). К-во «Сирин», СПБ, 1913.

Полное собрание сочинений и переводов. Том II. 1897—1901. Tertia vigilia. К-во «Сирин», СПБ, 1914.

Полное собрание сочинений и переводов. Том. III. 1901—1904. Urbi et orbi. К-во «Сирин», СПБ, 1914.

Полное собрание сочинений и переводов. Том IV. 1905—1909. Stephanos.—Все напевы (1-я часть). К-во «Сирин», СПБ, 1914.

Полное собрание сочинений и переводов. Том XV. 1904—1912. (Театр.) К-во «Сирин», СПБ, 1914.

Разноцветные каменья. Книга маленьких рассказов, собранных и переведенных под редакцией Валерия Брюсова (его же комментарии). К-во «Альциона», М., 1914.

Французские лирики XVIII века. Сборник переводов, составленный И. М. Брюсовой, под ред. и с предисл. Валерия Брюсова. К-во К. Ф. Некрасова, М., 1915.

Оскар Уайльд. Баллада Редингской тюрьмы. Перевод Валерия Брюсова. К-во «Польза» (Универсальная библиотека), М., 1915.

Эмиль Верхарн. Собрание стихов. Перевод Валерия Брюсова (вступ. статья его же). К-во «Польза» (Универсальная библиотека), М., 1915.

Избранные стихи. 1897—1915. К-во «Польза» (Универсальная библиотека), М., 1915.

Обручение Даши. Повесть. К-во «Польза» (Универсальная библиотека), М., 1915.

Каролина Павлова. Собр. сочинений. Ред. и материалы для биографии К. Павловой Валерия Брюсова. Два тома. К-во К. Ф. Некрасова, М., 1915.

Семь цветов радуги. Стихи 1912—1915. К-во К. Ф. Некрасова, М., 1916.

Избранные стихи. Второе издание. К-во «Польза» (Универсальная библиотека), М., 1916.

Рея Сильвия. Элули, сын Элули. Повесть из жизни VI века. Рассказ о древнем финикийце. К-во «Польза» (Универсальная библиотека), М., 1916.

Эмиль Верхарн. Собрание стихов. 1883—1916. Издание второе, дополненное. Перевод Валерия Брюсова (вступ. статья, с дополнениями, и библиография—его же). К-во «Польза» (Универсальная библиотека), М., 1916.

Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней. В переводе русских поэтов. Ред., вступ. очерк и прим. Валерия Брюсова (в антологии длинный ряд его переводов). Издание Московского армянского комитета, М., 1916.

Сборник латышской литературы. Под ред. В. Брюсова и М. Горького (участие Брюсова в переводах). К-во «Парус» А. Н. Тихонова, П., 1916.

Как прекратить войну? Изд-во «Свободная Россия», М., 1917.

А. С. Пушкин. Гавриилиада. Полный текст. Вступ. статья и критич. прим. Валерия Брюсова. К-во «Альциона», М., 1917.

А. С. Пушкин. Гавриилиада. Вступ. статья и критич. прим. Валерия Брюсова. Второе изд. К-во «Альциона», 1917.

Рея Сильвия. Элули, сын Элули. Второе издание. Акц. о-во «Универсальная библиотека», М., 1917.

Erotopaegnia. Стихи Овидия, Петрония, Сенеки, Приапеевы, Марциала, Пентадия, Авсония, Клавдиана, Луксория в переводе размерами подлинника. К-во «Альциона», М., 1917. (Издание не продавалось.)

Сборник финляндской литературы. Под ред. В. Брюсова и М. Горького (участие Брюсова в переводах). К-во «Парус» А. Н. Тихонова, П., 1917.

Избранные стихи. 1897—1915. Издание третье. К-во «Универсальная библиотека», М., 1918.

Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам. Стихи 1912—1918. К-во «Геликон», М., 1918.

Летопись исторических судеб армянского народа. Изд. Московского армянского комитета ,М., 1918.

Наука о стихе. Метрика и ритмика. К-во «Альциона», М., 1919.

Оскар Уайльд. Баллада Редингской тюрьмы. Перевод Валерия Брюсова (вступ. заметка его же). ГИЗ, М., 1919.

Виктор Гюго. Последний день осужденного. Под ред. и с предисл. Валерия Брюсова. ГИЗ (Всемирная литература), П., 1919.

А. С. Пушкин. Баллады. Сказки и поэмы. Под ред. Валерия Брюсова (его же комментарии). ГИЗ. (Народная библиотека), М., 1919.

А. С. Пушкин. Песни и стихотворения разных народов. Под ред. Валерия Брюсова (его же комментарии). ГИЗ. (Народная библиотека), М., 1919.

А. С. Пушкин. Стихотворения 1815—1835 годов. Под ред. Валерия Брюсова (его же очерк и комментарии). ГИЗ (Народная библиотека), М., 1919.

А. С. Пушкин. Стихотворения о разных странах. Под ред. Валерия Брюсова (его же предисловие и комментарии). ГИЗ (Народная библиотека), М., 1919.

А. С. Пушкин. Стихотворения о свободе. Под ред. Валерия Брюсова (его же вступ. очерк «Политические взгляды Пушкина и комментарии). ГИЗ (Народная б-ка), М., 1919.

А. С. Пушкин. Собрание сочинений. Под ред., со вступ. статьями и прим. Валерия Брюсова. Том I, часть 1-я. ГИЗ, М., 1920.

Последние мечты. Лирика 1917—1919 гг. К-во «Творчество», М., 1920.

В такие дни. Стихи 1919—1920 гг. ГИЗ, М., 1921.

Миг. Стихи 1920—1921 гг. К-во З. И. Гржебина, Петербург—Берлин, 1922.

Дали. Стихи 1922 г. ГИЗ, М., 1922.

Кругозор. Избранные стихи 1898—1922 гг. ГИЗ. М., 1922.

Французская лирика XIX века. Перевод В. Брюсова (часть тома, выпущенного вторым изданием в 1913 г.; сопроводительных текстов нет). «Русское универсальное изд-во», Берлин, 1922.

Ромэн Роллан. Лилюли. Сатирическая драма. Перевод Валерия Брюсова (перевод сделан стихами). ГИЗ, М., 1922.

Эмиль Верхарн. Поэмы. Перевод Валерия Брюсова. Четвертое дополненное и переработанное издание (с приложением краткого очерка и библиографии). ГИЗ (Всемирная литература), П., 1923.

Эдгар По. Полное собрание поэм и стихотворений. Перевод и предисл. Валерия Брюсова (комментарии, библиография—его же). ГИЗ (Всемирная литература), П., 1924.

Основы стиховедения. Общее введение. Метрика и ритмика. Части 1-я и 2-я. ГИЗ. М., 1924.

Меа. Собрание стихов 1922—1924. ГИЗ, М., 1924.

Проблемы поэтики. Сборник статей под ред. В. Я. Брюсова (предисл. и статья «Синтетика поэзии»). Изд-во «Земля и Фабрика», М.—Л., 1925.

Венок сонетов. («Светоч мысли», 1-й вариант.) Изд. ГАХН, М., 1925.

Избранные произведения. Том I. Стихотворения 1894—1904. ГИЗ, М.—Л., 1926.

Избранные произведения. Том II. Стихотворения 1905—1912. ГИЗ, М.—Л., 1926.

Избранные произведения. Том III. Стихотворения 1913—1924. ГИЗ, М.—Л., 1926.

Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову. 1894—1896. (К истории раннего символизма.) Изд. ГАХН, М., 1927.

Из моей жизни. Моя юность. Памяти. Предисл. и прим. Н. Ашукина. К-во М. и С. Сабашниковых, М., 1927.

Дневники. 1891—1910. Предисл. И. М. Брюсовой. Прим. Н. Ашукина. К-во М. и С. Сабашниковых, М., 1927.

Гете. Фауст. Часть 1-я. Перевод Валерия Брюсова. Ред. и комментарии А. Луначарского и А. Габричевского. ГИЗ, М.—Л., 1928.

Неизданные стихи. 1914—1924. Собраны И. М. Брюсовой. Под ред. Н. Ашукина и А. Ильинского-Блюменау. ГИЗ, М.—Л., 1928.

Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения. Ред. Н. К. Пиксанова. С приложением заметки Н. Ашукина «Пушкиниана в архиве Брюсова». ГИЗ, М.—Л., 1929.

Гете. Фауст. Часть 1-я. Перевод В. Брюсова. Вступ. статьи П. С. Когана и А. Г. Габричевского. ГИХЛ, М.—Л., 1932.

Вергилий. Энеида. Перевод Валерия Брюсова и Сергея Соловьева. Ред., вступ. статья и комментарии Н. Ф. Дератани. К-во «Academia», М., 1933.

Перечислим также наиболее значительные работы В. Брюсова, оставшиеся по тем или иным причинам за пределами его книг и не подвергнутые точному рассмотрению во вступительной статье и комментариях к настоящему изданию.

Поэзия: «Египетские ночи». Поэма в 6 главах, обработка и окончание поэмы Пушкина—в альманахе «Стремнина», М., 1917. *Художественная проза:* «Семь земных соблазнов», фрагменты романа,—в альманахе «Северные цветы» за 1911 г., изд. «Скорпион». *Критика, история и теория литературы:* «Что дает академическое издание сочинений Пушкина?»—«Русский архив», № 12 за 1899 г.; «Рене Гиль»—«Весы», № 12 за 1904 г.; «Священная жертва» — «Весы», № 1 за 1905 г.; «В защиту от одной похвалы» — «Весы», № 5 за 1905 г.; «Реализм и условность на сцене»—в «Книге о новом театре», СПБ, 1908; «Литературная жизнь Франции. Научная поэзия»—«Русская мысль», № 6 за 1909 г.; «Пентадий»—«Русская мысль», № 1 за 1910 г.; «Сегодняшний день русской поэзии»—«Русская мысль», № 7 за 1912 г.; «Новые течения в русской поэзии»—ряд статей в «Русской мысли» за 1913—1914 гг. «Игорь Северянин»—в сборнике «Критика о творчестве И. Северянина», изд. Пашуканиса, М., 1916; «З. Н. Гиппиус» и «Александр Блок»—статьи в I и II

томах «Русской литературы XX века», изд. «Мир»; «Альфред де-Виньи», «Альфред де-Мюссе» и «Эдгар По»—статьи во II и IV томах «Истории западной литературы», изд. «Мир», 1912; «Ф. И. Тютчев»—в полном собр. соч. Тютчева, изд. А. Маркса; «Эмиль Верхарн»—«Русская мысль», № 1 за 1917 г.; «Эмиль Верхарн и Московский литературно-художественный кружок»—«Известия Моск. лит.-худ. кружка» за февраль—сентябрь 1917 г.; «Пролетарская поэзия» и «Смысл современной поэзии»—№№ 1 и 2 «Художественного слова» за 1921 г.; обзоры «Среди стихов» в ряде №№ «Печати и революции» за 1922—1923 гг.; статья «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии»—«Печать и революция», № 7 за 1922 г.; полемика с М. Гофманом, Б. Арватовым и Г. Шенгели—в № 2 «Печати и революции» за 1922 и № 6 за 1923 гг.; «Суд акмеиста»—«Печать и революция», № 3 за 1923 г.; «О рифме»—«Печать и революция» № 1 за 1924 г.; рецензия на книгу Зелинского «Древнегреческая литература эпохи независимости»—«Печать и революция», № 1 за 1921 г.; «Высший литературно-художественный институт»—«Журналист», № 8 за 1923 г.; *Политика:* корреспонденции в «Русских ведомостях» в 1914—1915 гг.; «Политические обозрения» в №№ 1, 2, 3, 5 и 8 «Нового пути» за 1903 г.; «Новая эпоха во всемирной истории»—«Русская мысль» за 1913 г.; «Война вне Европы»—«Русская мысль», № 8—9 за 1914 г.; «Эпоха чудес»—«Новая жизнь» от 1 мая 1918 г. *История и археология:* «Учители учителей. Древнейшие культуры человечества и их взаимоотношения»—«Летопись», №№ 5, 6, 7, 8, 9-10 за 1917 г.

Большая *автобиография* Брюсова помещена в «Русской литературе XX века», том I, изд-во «Мир».

Опубликованные письма Брюсова см. в журналах: письма к П. Перцову—в «Русском современнике», № 4 за 1924 г. и в «Печати и революции» № 7, за 1925 г.; письма к Л. Гуревич—в «Звезде», № 10 за 1929 г.; письма к Е. Ляцкому—в «Новом мире», № 2 за 1932 г. Любопытный автобиографический документ—«Письмо В. Я. Брюсова к М. Г. Г-овой»—был напечатан в № 6 «Нового мира» за 1926 г.

☆

БРЮСОВ В ПЕРЕВОДАХ

На украинском языке

Валерій Брюсов. Елулій, син Елулія. Оповіданнє про стародавнього фінікійця. Переклав О. К. Жалоба. Критичний етюд Леся Горенка. Видавництво «Грунт» (Універсальна бібліотека, № 3), Київ, 1918.

Валерій Брюсов. 1873—1924. Статті Ю. Каменєва та Б. Якубського. Переклади М. Зерова, М. Рильського та П. Филиповича. Загальна редакція Б. Якубського. Державне видавництво України, 1925. (Переведено 40 стихотворений.)

На чешском языке

VALERIJ BRJUSOV.—Cesty a Rozcestí. Přeložil Petr Křička. V Praze. Nakladatelstvi J. Otto. 1913. (Sboňik světové poesie).

(Предисловие и перевод 51 стихотворения.)

На армянском языке

ՎԱԼԵՐԻ ԲՐԻՒՍՈՎ.—ՀԱՅ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՒ ԻՐ ՆՈՅՆՈՒԹԻՒՆԸ ԴԱՐԵՐՈՒ ԸՆԹԱՑՔՈՒ ՄԵՋ ԹԱՐԳՄԱՆԵՑ ՌՈՒՍ ԲԱՆԱԴՐԵՑ Հ. ՅՈՎՍԵՓ ՄԱՐԿԱՐԵԱՆ, ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ. ՎԵՆԵՏԻԿ. ՍԻՒՐԲ ՂԱԶԱՐ, 1923.

(Валерий Брюсов. Армянская поэзия. Перевод с русского Иосифа Маркаряна. Венеция, святой Лазарь, 1923).

На немецком языке

Walerius Briüssoff. Die Republik des Südkreuzes. Novellen. Autorisierte Übersetzung von Hans von Guenther. Verlegt bei Hans Weber. München, 1908. (Рассказы из книги «Земная ось».)

Walerius Brjüssoff. Erduntergang. Tragödie Künftiger Zeiten in 5 Handlungen und 9 Szenen. Autorisierte Übersetzung von Hans Guenther. Verlag von Hans von Weber. München. 1909. (Драма «Земля».)

Walerius Brjüssoff. Der feurige Engel. Erzählung aus dem sechszehnten Jahrhundert. Hyperion — Verlag Hans von Weber. München, 1910. («Огненный ангел».)

Walerius Brjüssoff. Letzte Seiten aus dem Tagebuch einer Frau. Einzige autorisierte Übersetzung von Axel Lübbe. Fr. Ernst Fehsenfeld. Freiburg i. Br. 1911 («Последние страницы из дневника женщины».)

Walerius Brjüssoff. De Siegesaltar. Roman aus dem vierten Jahrhundert. Verlagt beir Georg Müller. München, 1913 («Алтарь Победы».)

Brjüssoff und Balmont. Gedichte. Übersetzung von W. E. Gröger. Verlag Skythen. Berlin, 1922. (Перевод 26 стихотворений).

Russische Lyrik der Gegenwart Deutsch von A. Eliasberg. R. Piper u. Co. Verlag. München und Leipzig, 1907. (Перевод 11 стихотворений.)

Neuer Russischer Parnass. Ausgewahlt, eingeleitet und übertragen von J. von Guenther. Oesterheld u. Co. Verlag. Berlin, 1912. (Перевод 10 с ихотворений.)

На французском языке

Jean Chuzewille. Anthologie des Poètes russes. Paris, 1914 (переиздавалось). Перевод 18 стихотворений; тут же предисловие Брюсова к книге и статья переводчика о поэте.

На английском языке

Valery Bryusov. The fiery angel. Translasten from russian. Librery Humphrey Toulmin. London, 1930. (видеть кн. не пришлось).

Russian Poetry an anthology. Chosen and translanted by Babette Deutsch and Avrahm Yarmolinsky. New-York, International Publishers, 1927. (Перевод 8 стихотворений Брюсова и заметка о нем.)

☆

ЛИТЕРАТУРА О БРЮСОВЕ

До Октября 1917 года

Адрианов. С.— «Критические наброски» — «Вестник Европы», №№ 8 и 10 за 1910 г.

Айхенвальд, Ю.—«Силуэты русских писателей». Том III, М., 1910 (в том же году статья «Валерий Брюсов» вышла отдельной брошюрой в изд-ве «Заря»).

Амфитеатров, А.—«Vies imaginaires»—«Речь», № 17 от 20 января 1908 г.

Анненский, И. — «О современном лиризме» — «Аполлон», № 1—2 за 1909 г.

Аничков, Е.—«Поэты «Скорпиона»—«Литературные образы и мнения». СПБ, 1904.

Арский.—«Валерий Брюсов»—«Русская правда», от 19 января 1905 г.

Ауслендер, С.—«Проза поэта»—«Речь» от 1 ноября 1910 г.

Банкет в честь Брюсова (отчет)—«Баку» от 10 января 1916 г.; *На банкете в честь Валерия Брюсова*—та же газета от 12 января.

Бальмонт, К.—«Морское свечение». Изд. Т-ва М. О. Вольф, СПБ, 1910.

Бальмонт К.—«Восковые фигурки» и «Забывший себя»—две рецензии—«Утро России», №№ 149 и 179 за 1913 г. (ответ Брюсова—«Право на работу» в № 190 той же газеты).

Батюшков, Ф.—«Валерий Брюсов»—«Русская литература XX века». Под ред. С. А. Венгерова. Том I. Изд-во «Мир». М., 1914.

Бедный Родственник Теткина Вильгельма.—«Зеркало теней в кривом зеркале» (стих.-пародия)—«Сатирикон», № 7 за 1913 г.

Белый, А.—«В. Я. Брюсову» (стих.)—Альманах к-ва «Гриф», М., 1903.

Белый, А.—«Поэзия Валерия Брюсова»—«Новый путь», № 7 за 1904 г.

Белый, А.—«В. Я. Брюсову» (стих.)—«Пепел». К-во «Шиповник», СПБ, 1909 (и в переизданниях).

Белый, А.—«В. Брюсову» (3 стих.)—«Урна». К-во «Гриф», М., 1909 (и в переизданиях).

Белый, А.—«Поэт мрамора и бронзы» и «Огненный ангел»—«Арабески». Изд-во «Мусагет», М., 1910.

Белый А.—«Брюсов»—«Луг зеленый». Изд-во «Альциона», М., 1910.

«*Белый, А.*—«Символизм». Изд-во «Мусагет», М., 1910.

Белый, А.—«Венок или венец»—«Аполлон», № 11 за 1910 г.

Б., А. (Богданович)—«Критические заметки»—«Мир божий», № 10 за 1895 г.

Б., Н.—«Самоубийство поэтессы Н. Г. Львовой»—«Русское слово», № 272 от 26 ноября 1913 г.

Блок, А.—Рецензия на «Urbi et orbi»—«Новый путь», № 7 за 1904 г.

Блок, А.—Рецензия на «Stephanos»—«Золотое руно», № 1 за 1906 г.

Блок, А.—Рецензия на «Земную ось»—«Золотое руно», № 1 за 1907 г.

Блок, А.—«И вновь, и вновь твой дух таинственный» (стих.)—«Стихотворения», том III. К-во «Мусагет», М., 1916 (и в позднейших собр. соч. Блока.)

Бобров, С.—«Валерию Брюсову» (стих.)—«Вертоградари над лозами». К-во «Лирика», М., 1913.

Булдеев, А.—«Валерий Брюсов в «Зеркале теней»—«Жатва», кн. 3-я за 1912 г.

Буренин, В. — «Критические очерки»—«Новое время», № 9037 за 1901 г.

Буренин, В. — «Критические очерки»—«Новое время», №№ 11550 и 11557 за 1908 г.

Буренин, В. — «Критические очерки»—«Новое время», № 12082 за 1909 г.

Буренин, В.— Пародии на Брюсова «Сочинения», том IV, «Стрелы». Изд. 4-е, дополненное. П. 1916.

Венгеров, С.—«Победители или побежденные?»—«Основные черты истории новейшей русской литературы», изд. 2-е. К-во «Светоч», СПБ, 1909.

Венгеров, С.—«Брюсов»—Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Том VIII.

Вергежский, А.—Рецензия на I том «Путей и перепутий»—«Речь», № 14 от 17 января 1908 г.

Веселовской, Ю.—«Брюсов и Бальмонт»—«Вестник знания», № 1 за 1904 г.

Вечев, Я.—«Дела и дни» (глава «Чаяния грядущего», по поводу политических выступлений Брюсова)—«Заветы», № 9 за 1913 г.

Волошин, М.—«Лики творчества»—«Русь», № 348 от 29 декабря 1907 г.

Волошин, М.—«Эмиль Верхарн и Валерий Брюсов»—«Весы», № 2 за 1907 г.

Волошин, М.—«Лики творчества. Город в поэзии Брюсова»—«Русь», № 21 от 22 января 1908 г.

Волынский, А.—«Борьба за идеализм», СПБ, 1900.

Волынский, А.—«Современная русская поэзия»—«Книга великого гнева». СПБ, 1904.

Войтоловский, Л.—Рецензия на «Далекие и близкие»—«Киевская мысль» от 31 октября 1911 г.

Войтоловский, Л.—Рецензия на «Ночи и дни»—«Киевская мысль» от 7 апреля 1913 г.

Войтоловский, Л.—Рецензия на «За моим окном»—«Киевская мысль», № 154 за 1913 г.

Выгодский, Д.—Рецензия на «Поэзию Армении»—«Летопись», № 2—4 за 1917 г.

Г., Арсений.—«Московские декаденты»—«Новости дня» от 5 сентября 1895 г.

Г., В.—«Заблуждения поэта пушкинской школы»—приложение к «Новому времени», от 25 января 1906 г.

Герцык, А.—Рецензия на «Стихи о современности»—«Весы», № 8 за 1906 г.

Городецкий, С.—Рецензия на «Зеркало теней»—«Речь» от 2 апреля 1912 г.

Городецкий, С.—«Два стана»—«Речь» от 25 мая 1913 г. (в обзоре—о «Стихах Нелли»).

Горький, М.—«Литературные заметки. Стихи К. Бальмонта и В. Брюсова»—«Нижегородский листок», № 313 от 14 ноября 1900 г.

Гофман, В.—«Валерию Брюсову» (стих.)—«Северные цветы», третий альманах к-ва «Скорпион», М., 1903. (перепечатано во II томе «Стихов» В. Гофмана, изд. «Огоньки», Берлин, 1923).

Гофман, В.—Рецензия на «Все напевы»—«Слово», № 788 за 1909 г.

Гумилев, Н.—Рецензия на II том «Путей и перепутий»—«Речь», № 127 от 29 мая 1908 г.

Гумилев, Н.—«Письма о русской поэзии» (отзывы о «Зеркале теней», «Собрании стихов» Верлена, «Стихах Нелли» и др.; перепечатки из «Аполлона»). К-во «Мысль», Петроград, 1923.

Гурвич, Л.—«Дальнозоркие»—«Литература и эстетика», СПБ, 1912.

Закржевский, А.—«Карамазовщина. Психологические параллели». Изд. журнала «Искусство», Киев, 1912.

Иванов, В.—«Валерию Брюсову» (стих.)—«Прозрачность» К-во «Скорпион», М., 1904.

Иванов, В.—«Строки Валерию Брюсову...», «Mi fur le serpi amiche» и «Венок» (3 стих.)—«Cor Ardens», ч. 1-я. К-во «Скорпион», М., 1911.

Измайлов, А.—«Литературные заметки»—«Новая иллюстрация» (приложение к «Биржевым Ведомостям») от 25 ноября 1903.

Измайлов, А.—«Помрачение божков и новые кумиры», М., 1910.

Измайлов, А.—«Валерий Брюсов» и «В старом доме, на Цветном бульваре»—«Литературный Олимп», М., 1911.

Измайлов, А.—«Любовь экзотическая» (стихотворение-пародия)—«Кривое зеркало», изд. 4-е, к-во «Шиповник», СПБ, 1914.

Кадмин, Н. (Абрамович)—«Валерий Брюсов»—«История русской поэзии». Том II, М., 1915.

Каменев, Ю.—«О ласковом старике и о Валерии Брюсове»—сборник «Литературный распад». К-во «Зерно», СПБ, 1908.

Кова, К.—Рецензия на «Далекие и близкие»—«Жатва», кн. 3-я за 1912 г.

Коган, П.—«Валерий Брюсов»—«Очерки по истории новейшей русской литературы». 2-е изд., том III, вып. 2-й, М., 1912.

Койранский, А.—«Валерию Брюсову» (стих.)—альманах к-ва «Гриф», М., 1903.

Колтоновская, Е.—«Брюсов о женщине»—«Критические этюды», СПБ, 1912.

Кораблев, В.—«Валерий Брюсов»—«Литературные заметки», СПБ, 1908.

Крайний, А. (З. Гиппиус)—«Два зверя» и «Проза поэта» — «Литературный дневник», изд-во М. Пирожкова, СПБ, 1908.

Крайний, А. (З. Гиппиус)—«Свой»—«Русская мысль», № 2 за 1910 г.

Кузмин, М.—«Художественная проза «Весов»—«Аполлон», № 9—10 за 1910 г.

Левинсон, А.—Рецензия на «Огненный ангел»—«Современный мир», № 3 за 1909 г.

Лернер, Н.—Рецензия на «Лицейские стихи Пушкина»—«Весы», № 7 за 1907 г.

Липскеров, К.—Рецензия на «Семь цветов радуги»—«Русские ведомости» от 21 декабря 1916 г.

Луначарский, А.—«Книга о новом театре. Валерий Брюсов» (о статье «Реализм и условность на сцене»)—«Образование», № 6 за 1908 г.

Ляцкий, Е.—Рецензия на «Стихи о современности»—«Вестник Европы», № 11 за 1906 г.

Ляцкий, Е.—«Вопросы искусства в современных его отражениях»—«Вестник Европы», № 4 за 1907 г.

Ляцкий, Е.—«Пути и перепутья в поэзии Брюсова»—«Современный мир», № 3 за 1908 г.

Львов-Рогачевский, В.—Рецензия на «Все напевы»—«Современный мир», № 7 за 1909 г.

Львов-Рогачевский, В.—Рецензия на «Французские лирики»—«Современный мир», № 9 за 1909 г.

Львов-Рогачевский, В.—«Лирика современной души. Валерий Брюсов»—«Современный мир», № 6 за 1910 г.

М., А. (А. Малеин)—Рецензия на кн. «Великий ритор»—«Гермес», № 9 за 1911 г.

Малхазян, А.—«Валерий Брюсов (эскиз)»—«Баку», № 4 от 6 января 1916 г.

Михайловский, Н.—«Литература и жизнь»—«Отклики». Том I. Изд. редакции журнала «Русское богатство». СПБ, 1904.

Мельшин (Гриневич-Якубович, П. Я.)—«Валерий Брюсов»—«Очерки русской поэзии». Изд. 2-е, СПБ, 1911.

Морозов, П.—«Строгая критика»—«Журнал министерства народного просвещения», № 10 за 1907 г. (см. ответ Брюсова—«Защитнику авторитета» в № 11 «Весов» за тот же год).

Неведомский, М.—«В защиту художества»—«Современный мир», №№ 3 и 4 за 1908 г.

Неведомский, М.—«Что сталось с нашей литературой? (О поэзии и прозе наших дней)»—«Современник» № 5 за 1915 г.

Пильский, П.—«Валерий Брюсов»—«Критические статьи», том I. К-во «Прогресс», М., 1910.

Поярков, Н.—«В. Я. Брюсов» и «Русские символисты»—«Поэты наших дней». М., 1907.

Пяст, В.—«Валерий Брюсов»—«Книга о русских поэтах последнего десятилетия». Под редакцией М. Гофмана. СПБ, 1909.

Рок, Н. (Рокшанин)—«Из Москвы»—«Новости» от 18 ноября 1895 г.

Рославлев, А.—«Учителю (Валерию Брюсову)» (стих.)—«В башне. Стихи». К-во «Эос». СПБ, 1907.

Саводник, В.—«Современная русская лирика»—«Русский вестник», № 9 за 1901 г.

Садовской, Б.—Рецензия на III том «Путей и перепутий»—«Русская мысль», № 6 за 1909 г.

Садовской, Б.—«Футуризм и Русь» и «Юбилей безвременья»—«Озимь. Статьи о русской поэзии». Петроград, 1915.

Садовской, Б.—«Pro domа sua»—«Ледоход». Изд. автора, Петроград, 1916.

Северянин, И.—«Ответ Валерию Брюсову на его послание» (стих.)—«Громокипящий кубок». К-во «Гриф», М., 1913 (и в переизданьях).

Северянин, И.—«Поэза для Брюсова» (стих.)—«Victoria Regia». К-во «Наши дни», М., 1915 (и в переизданьях).

Скрябин, А.—«Валерию Яковлевичу Брюсову» (стих.)—«Известия лит.-худ. кружка», выпуск 10, 1915 г.

Слоним, М.—Рецензия на «Семь цветов радуги»—«Одесский листок», № 179 за 1916 г.

Сны человечества (отчет)—«Русское слово», № 265 от 16 ноября 1913 г.

Соловьев, В.—«Русские символисты»—Собрание сочинений, К-во «Просвещение», СПБ, 1912 (2-е изд.). Том VII (отзывы о «Русских символистах»—перепечатка из «Вестника Европы»).

Соловьев, С.—«Валерию Брюсову» (2 стих.)—«Цветы и ладан», М., 1907.

Соловьев, С.—Рецензия на «Огненный ангел»—«Русская мысль», № 2 за 1909 г.

Соловьев, С.—«Рецензия на «Все напевы»—«Весы», № 5 за 1909 г.

Соловьев, С.—Предисловие к «Цветнику царевны», 3-й кн. стихов. К-во «Мусагет», М., 1913.

Сологуб, Ф.—«Зальдивши тайный зной страстей, Валерий» (стих.)—Собрание сочинений, том XVII. К-во «Сирин», СПБ, 1914.

Струве, П.—«Наше «бездарное» время» (статья о «Венке»)—«Полярная звезда», № 14 от 19 марта 1906 г.

Тардов, Т. (В. Тардов)—«Ересь символизма и Валерий Брюсов»—«Отражения личности». К-во «Сфинкс», М., 1909.

Тумповская, М.—«Семь цветов радуги» Валерия Брюсова»—«Аполлон», № 1 за 1917 г.

Ходасевич, В.—«Лед и пламень»—«Голос Москвы», № 114 от 18 мая 1913 г.

Ходасевич, В.—«Juvenilia Брюсова»—«София», № 2 за 1914 г.

Ходасевич, В.—«Русская поэзия»—альманах «Альциона», кн. 1-я, 1914 г.

Ходасевич, В.—Рецензия на «Семь цветов радуги»—«Утро России», № 141 от 21 мая 1916 г.

Цветаева, М.—«В. Я. Брюсову» (стих.)—«Из двух книг». К-во «Оле-Лук-ойе», М., 1913.

Ч. (Чешихин)—Рецензия на «Далекие и близкие»—«Вестник Европы», № 2 за 1912.

Чествование В. Я. Брюсова (отчет)—«Известия лит.-худ. кружка», выпуск 10, 1915 г.

Чернов, В.—«Модернизм в русской поэзии»—«Вестник Европы», №№ 11 и 12 за 1910 г.

Чернов, В.—«Эрос и мечта в поэзии Валерия Брюсова»—«Заветы», № 12 за 1913 г.

Чуковский, К.—«Валерий Брюсов»—«От Чехова до наших дней», СПБ, 1908.

Чуковский, К.—«Авиация и поэзия»—«Речь» от 8 мая 1911 г.

Чуносов, М.—«Новый поэт»—«Критич. статьи». СПБ, 1904.
Чулков, Г.—Рецензия на «Земную ось»—«Перевал», № 4 за 1907 г.
Чулков, Г.—«Покрывало Изиды. Критические очерки. Сочинения». Том V. К-во «Шиповник» (2-е изд.), СПБ, 1912.
Шемшурин, А.—«Стихи В. Брюсова и русский язык». М., 1908.
Шемшурин, А.—«Футуризм в стихах В. Брюсова». М., 1913.
Шершеневич, В.—«Зеленая улица». К-во «Плеяды», М., 1916.
Шмидт, В.—«Об одном сборнике стихотворений»—«Русская мысль», № 10 за 1913 г.
Эллис.—Рецензия на «Французские лирики XIX в.»—«Весы», № 7 за 1909 г.
Эллис.—«Валерий Брюсов»—«Русские символисты». К-во «Мусагет», М., 1910.
Я., П. (Якубович)—«Без руля и без ветрил»—«Русское богатство», № 5 за 1908 г.
Янус.—«Птичий апокалипсис»—«Пегас», № 8—10 за 1916 г.

После Октября 1917 года

Аксенов, И.—Рецензия на кн. «В такие дни»—«Печать и Революция», № 6 за 1922 г.
Аксенов, И.—Рецензия на книгу «Э. По. Полное собрание поэм и стихотворений»—«Печать и революция», № 1 за 1925 г.
Аннибал, Б.—«Поэзия или механика? (Опыт характеристики В. Брюсова)»—«Вестник литературы», № 12 за 1921 г. и № 1 за 1922 г.
Аннибал, Б.—Рецензия на «Миг»—альманах «Утренники», кн. 2-я, Петроград, 1922.
Аннибал, Б.—«В. Я. Брюсов»—«Наша газета», № 233 от 9 октября 1926 г.
Аннибал, Б.—«В. Я. Брюсов»—«Пламя», № 18 за 1929 г.
Анисимов, И.—«В. Я. Брюсов»—«Книгоноша», № 40 за 1924 г.
Арватов, Б.—«Контрреволюция формы. (О Валерии Брюсове)»—«Социологическая поэтика». Изд-во «Федерация», М., 1929. (Раньше—в «Лефе», № 1 за 1923 г.)
Артюшков, В.—«Эвфонические работы Брюсова»—«Родной язык в школе», сб. 8-й, Л., 1925.
Асеев, Н.—«В. Я. Брюсов»—«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 11 октября 1924 г.
Асеев, Н.—«Наша рифма»—«Дневник поэта». Изд-во «Прибой», Л., 1929.
Ашукин, Н.—«Валерий Брюсов. (К 50-летию со дня рождения)»—«Прожектор», № 21 за 1923 г.

Ашукин, Н.—«Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики».—Изд-во «Федерация», М., 1929. (Монтаж; собраны некоторые неопубликованные материалы, приведены многочисленные выдержки из статей и отзывов—но в сокращениях, не всегда удачных. Кроме того, Н. Ашукин, порою включая в свой монтаж пустяки, иногда проходит мимо значительных документов литературной истории, не имеет определенной точки зрения и как бы «игнорирует» последний этап творчества Брюсова.)

Ашукин, Н.—«Валерий Брюсов и Петр Иванович Бартенев» и отдел «Брюсовиана»—«Литературная мозаика». Изд-во Московского т-ва писателей, 1931.

Багрий, А.—«Валерий Яковлевич Брюсов»—«Русская литература XIX—первой четверти XX вв.». Изд. Восточного факультета АГУ. Баку, 1926.

Белый, А.—«Воспоминания об Александре Александровиче Блоке»—«Записки мечтателей», № 6 за 1922 г. (сокращенный вариант см. в сборнике «Северные дни», II, М., 1922).

Белый, А.—«Валерий Брюсов»—«Россия», № 4 за 1925 г.

Бельчиков, Н.—Рецензия на «Дневники»—«Красная новь», № 8 за 1927 г.

Благой, Д.—Рецензия на кн. «Из моей жизни»—«Печать и революция», № 4 за 1927 г.

Благой, Д.—«Брюсов»—Литературная энциклопедия. Том II.

Блок, А.—«Письма», изд-во «Колос», Л., 1925.

Блок, А.—«Письма к родным». Т. I, с предисл. и прим. М. А. Бекетовой, изд-во «Academia», М.—Л., 1927; т. II, под ред. и с прим. М. А. Бекетовой и предисл. В. А. Десницкого; то же изд-во, 1932.

Блок, А.—«Дневники», тт. I и II. Под ред. П. Н. Медведева. Изд-во писателей в Ленинграде, 1928.

Богаевский, Б.—«Атлантида и атлантская культура» (замечания об «Учителях учителей»)—«Новый Восток», кн. 15, 1926.

Богословский, Н.—«Неизданный Брюсов»—«Печать и революция», № 8 за 1928 г.

Богословский, В.—«Об общественном строе «нахарарской» Армении» (замечания о «Летописи исторических судеб армянского народа»)—«Известия ГАИМК», Л., 1932.

Боднарский, Б.—«В. Я. Брюсов как библиограф»—«Советская библиография», № 1 за 1933 г.

Боцяновский, В.—«У окна из книг (памяти Валерия Брюсова и Анатоля Франса)»—«Вестник знания», № 1 за 1932 г.

Брик, О.—«Брюсов против Ленина» (о полемике Брюсова с Лениным в 1905 г.)—«На литературном посту», № 5—6 за 1926 г.

Брюсовка.—«Товарищ и лектор»—«Вечерняя Москва», от 8 октября 1925 г.

[redacted]—«Валерий Брюсов и Владимир Маяковский»—«Этюды», Гос. технико-теоретическое издательство, М.—Л., 1932.

Винокур, Г.—«Игра в науку (В. Брюсов. Звукопись Пушкина)»—«Леф», № 2 за 1923 г.

Волошинов, В.—Рецензии на три тома «Избранных произведений»—«Звезда», № 3 за 1926 г. и № 3 за 1927 г.

Выгодский, Д.—Рецензия на «Последние мечты»—«Печать и революция», № 3 за 1921 г.

В. Я. Брюсов (неподписанная заметка).—«Вестник работников искусств», № 1—2 за 1924 г.

Валерию Брюсову, 1873—1923. Сборник, посвященный 50-летию со дня рождения поэта. Под ред. проф. П. Когана. Изд. КУБСа ВЛХИ, М., 1924. (Статьи доклады и речи Луначарского, Сакулина, Гроссмана, Цявловского, Григорьева, Шервинского и др.; ответная речь юбиляра; стихи Брюсова и пр. Сборник вышел уже после смерти поэта.)

Гимельфарб, Б.—«Валерий Брюсов» (некролог)—«Красная нива», № 43 за 1924 г.

Гинзбург, Л.—«Пушкин и В. Я. Брюсов»—«Молодая гвардия», № 10 за 1924 г.

Гольцев, В.—«Брюсов и Блок. (По неопубликованным материалам)»—«Печать и революция», №№ 4 и 5 за 1928 г.

Горбачев, Г.—«Пережившие себя»—«Современная русская литература». Изд-во «Прибой», Л., 1929 (и в предыдущих изданиях).

Горбачев, Г.—«В. Я. Брюсов» (статья-некролог)—«Два года литературной революции». ГИЗ, М.—Л., 1926.

Горбачев, Г.—«Валерий Брюсов» (глава)—«Капитализм в русской литературе», изд. 2-е. ГИЗ, М.—Л., 1928.

Горбов, Д.—«Янус на рубеже»—«Красная нива», № 41 за 1929 г.

Городецкий, С.—«Алый вечер» (заметка о книгах «Последние мечты», «В такие дни» и «Дали»)—«Известия ВЦИК» от 28 июня 1922 г.

Городецкий, С.—«Валерий Брюсов. (Из воспоминаний.)»—«Красная нива», № 4 за 1925 г.

Городецкий, С.—«Валерий Брюсов» (стих.)—«Грань». К-во «Никитинские субботники», М., 1929.

Городской, Я.—«К портрету Валерия Брюсова» (стих.)—«Красное слово», № 7 за 1929 г.

Горький, М.—«Письма к Валерию Брюсову»—«Печать и революция», № 5 за 1928 г.

Гофман, М.—«Пушкин. Первая глава науки о Пушкине» (полемика с Брюсовым-пушкинистом). Изд-во «Атеней», П., 1922.

Григорьев, М.—Рецензия на кн. «Из моей жизни»—«На литературном посту», № 8 за 1927 г.

Григорьев, М.—«В. Я. Брюсов. (К 50-летию со дня рождения)»—«Жизнь искусства», № 50 за 1923 г. (Тут же автобиография Брюсова.)

Григорьев, М.—«Брюсов и Высший литературно-художественный институт»—«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 14 октября 1924 г.

Григорьев, М.—«Валерий Брюсов в последние годы жизни».—«Прожектор», № 3 за 1925 г.

Григорьев, М.—«От историзма к современности»—«Литературная газета» от 7 октября 1929 г.

Груздев, И.—«Утилитарность и самоцель»—альманах «Петроград», кн. 1-я, П., 1923.

Гроссман, Л.—«Брюсов и французские символисты» и «Последний отдых Брюсова»—«Собрание сочинений», том IV. Изд-во «Современные проблемы», М., 1928.

Гроссман, Б.—«Валерий Брюсов»—«Молодой ленинец» от 13 октября 1927 г.

Гудзий, Н.—«Из истории раннего русского символизма».—«Искусство». Том III, кн. 4-я, 1928 г.

Гудзий, Н.—«Тютчев в поэтической культуре русского символизма»—«Известия по русскому языку и словесности». Том III, вып. I, изд. Академии наук СССР, 1930.

Гусман, Б.—«Валерий Брюсов»—«100 поэтов». Изд-во «Октябрь», Тверь, 1923.

Давидович, М.—«Тема ночи в поэзии В. Я. Брюсова»—«Научные записки научно-исследовательской кафедры истории европейской культуры. II. История и литература». ГИЗ Украины, 1927.

Дурылин. С.—«Валерий Брюсов(силуэт)»—«Понедельник», № 17 за 1918 г.

Евгеньев-Максимов, В.—«Поэтический путь В. Брюсова»—«Памяти В. Брюсова». Сб. под. ред. В. Евгеньева-Максимова. Изд. Ленингр. отдела губоно, Л., 1925. (В собрнике даны также библиографические сведения, извлечение из автобиографии и ряд стихотворений поэта.)

Евгеньев-Максимов, В.—«Валерий Брюсов»—«Очерк истории новейшей русской литературы». Изд. 4-е, ГИЗ, М.—Л., 1927.

Ефремин, А.—«Творческая трагедия Брюсова. (К 5-й годовщине смерти поэта)»—«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 9 октября 1929 г.

Жаров, А.—«Начало поэтической работы»—«Литературная газета», № 57 от 22 октября 1931 г.

Жирмунский, В.—«Валерий Брюсов и наследие Пушкина. Опыт сравнительного стилистического исследования». Изд-во «Эльзевир», П., 1922 (см. рецензию С. Боброва на эту кн. в № 1 «Печати и революции» за 1923 г.).

Кириллов, В.—«В те дни» (стих.)—«Стихотворения», кн. 1-я. К-во «Мосполиграф», М., 1924.

Кириллов, В.—«О Брюсове»—«Прожектор», № 40 за 1929 г.

Клюев, Н.—«Меня хоронят, хоронят» (стих.)—«Львиный хлеб». К-во «Наш путь», М., 1922.

Коган, П.—«Литература этих лет». К-во «Основа», М., 1924.
Коган, П.—«Памяти Брюсова»—«Молодая гвардия», № 9 за 1924 г.
Коган, П.—«Памяти В. Я. Брюсова»—«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 10 октября 1924 г.
Коган, П.—«В. Я. Брюсов»—«Вечерняя Москва» от 8 октября 1925 г.
Коган, П.—«Очерки по истории новейшей русской литературы». Том IV. ГИЗ, М.—Л., 1929.
Корень, Н.—«В. Я. Брюсов»—«Красная газета» (веч. выпуск) № 246 от 9 октября 1925 г.
Кор., В.—Рецензия на «Дали»—«Коммуна» (Калуга) от 4 октября 1922 г.
Королев, В.—«Валерий Брюсов»—«Коммуна», № 286 от 15 декабря 1923 г.
Короткин, И.—«Валерий Брюсов»—«Экран», № 40 за 1929 г.
Кюнерт, М.—«Валерий Брюсов»—«Соловецкие острова», № 3—4 за 1929 г.
Лаврова, К.—Рецензия на книгу «Меа»—«Красная новь», № 7—8 за 1924 г.
Лелевич, Г.—«В. Я. Брюсов»—«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 9 октября 1925 г.
Лелевич, Г. (и А. Луначарский—)—«Анатоль Франс». Изд-во «Огонек» (библиотека «Огонька»), М., 1925.
Лелевич, Г.—Предисловие к письмам Брюсова к П. П. Перцову—«Печать и революция», № 7 за 1926 г.
Лелевич, Г.—«В. Я. Брюсов». Критико-биографическая серия (монография). ГИЗ, М.—Л., 1926.
Лелевич, Г.—Рецензии на три тома «Избранных произведения»—«Печать и революция», №№ 3 и 7 за 1926 г. и № 2 за 1927.
Лелевич, Г.—«Брюсов»—Больш. сов. энциклопедия. Том VII.
Лернер, Н.—«Саморазоблачение Валерия Брюсова»—«Жизнь искусства», № 8 за 1923 г. (См. ответ Брюсова—«По поводу очередной критики»—в № 9 того же журнала.)
Локс, К.—Рецензия на кн. «Моя юность»—«Красная новь», № 4 за 1927 г.
Луначарский, А.—«В. Я. Брюсов» и «Брюсов и революция» (перепечатки из «Правды» и «Печати и революции»)—«Литературные силуэты». ГИЗ, М., 1925.
Луначарский, А.—«Памяти Брюсова»—«Вечерняя Москва» от 8 октября 1926 г.
Луначарский, А.—Предисловие к I тому «Избранных произведений» Брюсова, ГИЗ, М.—Л., 1926.
Львов-Рогачевский, В.—Новейшая русская литература. Изд. 5-е, изд-во «Мир», М., 1927.
Львов-Рогачевский, В.—«Художественная литература революционного десятилетия (1917—1927)». Изд-во «Мир», М., 1927.
Малеин, А.—«Валерий Яковлевич Брюсов и античный

мир»—«Известия Ленинградского государственного университета», том II, 1930.

Мандельштам, О.—«Буря и натиск»—«Русское искусство», № 1 за 1923 г.

Мессер, Р.—«Валерий Брюсов»—«Красная газета», веч. выпуск от 9 октября 1929 г.

Мессер, Р.—«О социальной природе поэзии В. Я. Брюсова»—«На литературном посту», №№ 19 и 21—22 за 1929 г.

Назаренко, Я.—«В. Я. Брюсов (социальное и художественное значение творчества Брюсова)»—«История русской литературы XIX века», изд. 9-е, ГИЗ, М.—Л., 1931.

Накануне. Литературная неделя. 16 декабря 1923 г., Берлин (сменовеховский журнал; весь номер посвящен юбилею Брюсова; статьи и заметки Б. Дюшена, Р. Гуля, А. Кусикова, Н. Петровской, М. К.).

Наркомпрос хлопочет об ордене Красного трудового знамени для Валерия Брюсова. Правильно ли это? (Анкета «Вечерней Москвы»)—«Вечерняя Москва» от 14 декабря 1923 г.

Оленев, С.—«И было... (Из старой хроники)» (рецензия-памфлет на «Миг»)—«Горн», № 1 за 1922 г.

Пастернак, Б.—«Брюсову» (стих.)—«Поверх барьеров», 2-е изд. ГИЗ, М.—Л., 1930.

Писатели современной эпохи.—Био-библиографический словарь русских писателей XX века. Под ред. Б. П. Козьмина. Том I, изд. Гос. ак. худ. наук, М., 1928 («Брюсов»).

Полонский, В.—«Очерки литературного движения революционной эпохи». Изд. 2-е, исправленное и дополненное. ГИЗ, М.—Л., 1929.

Полтавский, И.—«Новое о Брюсове»—«Вечерняя Москва», № 31 от 11 апреля 1927 г.

Полтавский, И.—«Новые дневники В. Брюсова»—«Вечерняя Москва», № 131 от 21 июня 1927 г.

Полянский, В. (П. И. Лебедев)—«Валерий Брюсов»—«Вопросы современной критики». ГИЗ, М.—Л., 1927.

Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР.—«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 14 марта 1924 г.

Поступальский, И.—«К вопросу о научной поэзии» (глава 5-я)—«Печать и революция, № 2—3 за 1929 г. (Одна из первых статей автора (1928); отсутствует правильная методологическая установка, не использовано надлежащее количество фактов, допущены ошибочные утверждения; коренным образом переработанная, статья эта послужит частью подготовляемого ныне автором общего очерка истории научной поэзии от древности до наших дней.)

Поступальский, И.—«Валерий Брюсов» (к семилетию со дня смерти)—«Красное студенчество», № 39 за 1931 г.

Поступальский, И.—«Брюсов и Беранже»—«Литературная газета», № 32 от 17 июля 1932 г.

Пяст, В.—«Встречи». Изд-во «Федерация», М., 1929.

Розов, Б.—«Брюсов-филателист»—«Советский филателист», № 10 за 1924 г.

Садовской, Б.—«Из воспоминаний о Валерии Брюсове»—«Красная нива», № 40 за 1928 г.

Саянов, В.—«Из истории русского символизма»—«Очерки по истории русской поэзии XX века». Изд-во «Красная газета, Л., 1929.

Саянов, В.—«Современные литературные группировки». Изд. 2-е, «Прибой», Л., 1930.

Северянин, И.— «Валерию Брюсову» (стих.) — «Соловей». Изд. акц. о-ва «Накануне», Берлин, 1923.

Сергиевский, И.—Рецензия на кн. «Мой Пушкин»—«Новый мир» № 5 за 1929 г.

Соболев, Ю.—«Образ Валерия Брюсова»—«Красная газета» (веч. выпуск), № 181 от 8 июля 1927 г.

Соболев, Ю.—«В кабинете Брюсова»—«Вечерняя Москва» от 16 октября 1928 г.

Тарасенков, А.—«Поэзия и русско-японская война 1904—1905 гг.»—«Локаф», № 7 за 1932 г.

Тарсис, В.—«Брюсов, Валерий Яковлевич»—«Современные русские писатели». Изд-во писателей в Ленинграде, 1930.

Тер-Мануэлян, Н.—«Валерий Брюсов—народный поэт Армении»—«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 12 октября 1924 г.

Тимофеев, Л.—«Проблемы стиховедения. Материалы к социологии стиха» (о Брюсове периода «Меа»—в последней главе). Изд-во «Федерация», М., 1931.

Товарищу юбиляру В. Я. Брюсову (приветственный адрес Госиздата и журналов «Красная новь» и «Печать и революция»; подписи О. Шмидта, Н. Мещерякова, А. Воронского, В. Полонского)—«Красная новь», № 7 за 1923 г.

Томашевский, Б.—Рецензия на I том полн. собр. соч. Пушкина (ред. Брюсова)—«Книга и революция», № 1 за 1921 г.

Томашевский, Б.—Рецензия на кн. «Наука о стихе—«Книга и революция», № 10—11 за 1921 г.

Торов, М.—«Основы стихотворной техники В. Брюсова»—«Горн», № 1 за 1918 г.

Трубниковский, Ф.—«Судья лукавый (В. Брюсов и «Кузница»)—«Рабочий журнал», № 2 за 1924 г.

Тынянов, Ю.—«Валерий Брюсов»—«Архаисты и новаторы». Изд-во «Прибой», Л., 1929.

Фриче, В.—«Поэзия В. Брюсова»—«Красная молодежь», № 3 за 1924 г.

Ходасевич, В.—«Египетские ночи»—«Ипокрена», № 1—2 за 1918 г.

Чулков, Г.—«Годы странствий. Воспоминания» Изд-во «Федерация», М., 1930.

Чествование Брюсова (отчет)—«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 19 декабря 1923 г.

Шварц, Н.—Рецензия на «Опыты Брюсова»—«Горн», кн. 2—3, 1919 г.

Шенгели, Г.—«Два памятника». (Сравнительный обзор стихотв. Пушкина и Брюсова. Изд-во «L'oiseau bleu», П. 1918).

Шенгели, Г.—«Валерий Брюсов между двух стульев. (По поводу статьи В. Брюсова «Верхарн на прокрустовом ложе»).—«Печать и революция», № 6 за 1923 г.

Шенгели, Г.—«У гроба Брюсова» (стих.).—«Норд». Изд-во Всеросс. союза поэтов, М., 1927.

Шувалов, С.—«Последние песни Брюсова (стилистический анализ сборника «Меа»)»—«Семь поэтов». Изд-во «Никитинские субботники», М., 1927.

Эренбург, И.—«Валерий Яковлевич Брюсов»—«Портреты русских поэтов». Изд-во «Первина», М., 1923 (и Берлин, изд-во «Аргонавты, 1922).

Якобсон, Р.—«Брюсовская стихология и наука о стихе»—«Научные известия», № 2 за 1922 г.

Ямпольский, И.—«Брюсов и русская критика».—«Пролетарская правда» (Киев), № 5 за 1924 г.

См. также хронику болезни, смерти и похорон Брюсова в «Правде», «Известиях» и других газетах за октябрь 1924 г.

И. П.

№ 1606
35730

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. *Валерий Брюсов.* Фронтиспис. Гравюра на дереве Н. А. Шевердяева. 2
2. *Валерий Брюсов* Фото 1880 г. 16
3. *Валерий Брюсов.* Фото 1884 г. 17
4. *Валерий Брюсов.* Фото 1897 г. 32
5. *Валерий Брюсов.* Фото 1900 г. 33
6. *Валерий Брюсов.* Фото 1902 г. 48
7. *Валерий Брюсов в кругу родных.* Фото 1904 г. 49
8. *Валерий Брюсов.* Фото 1904 г. 64
9. *Валерий Брюсов.* Фото 1906 г. 65
10. *Валерий Брюсов.* Фото 1907 г. 80
11. *Валерий Брюсов.* Фото 1923 г. 81
12. *Валерий Брюсов.* Фото 1924 г. 96
13. *Валерий Брюсов на смертном одре.* Рисунок д-ра Ю. А. Рихтера. 97
14. *Валерий Брюсов.* Автограф стихотворения «Диадохи» (Н. К. П. — РСФСР. Научно-исследовательский кабинет экспериментальной и прикладной фотографии). 592
15. *Валерий Брюсов.* Автограф стихотворения «У смерти на примете» (Н. К. П.— РСФСР. Научно-исследовательский кабинет экспериментальной и прикладной фотографии). 593

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора 7

Поэзия Валерия Брюсова. Статья Игоря Поступальского . 13
Материалы к биографии Валерия Брюсова. Статья Иоанны Брюсовой 117

Из книги «Juvenilia»

Сонет к форме 155
Осеннее чувство 155
Творчество 156
«О закрой свои бледные ноги» 157
«Она в густой траве запряталась ничком» 157
Ученый 157
Мечты о померкшем 157

Из книги «Chefs d'œuvre»

Предчувствие 161
Тени 161
«Знаешь, Миньона,—один только раз» 162
На журчащей Годавери 163
На острове Пасхи 164
Львица среди развалин 165
Жрец 166
С кометы 166
Осужденная жрица 167
Ночью 168
Сумасшедший 168
«Свиваются бледные тени» 169

Из книги «Me eum esse»

Юному поэту 173
Холод 173
«И, покинув людей, я ушел в тишину» 174
Идеал человека 174
Мучительный дар 175
По поводу «Chefs d' œuvre» 175
«Четкие линии гор» 176
«О, плачьте, о, плачьте» 176
«Есть что-то позорное в мощи природы» 177
Мгновение 177
«Я помню вечер бледно-скромный» 178
«Побледневшие звезды дрожали» 178
«И ночи, и дни примелькались» 178
«Я бы умер с тайной радостью» 179
Последние слова 179
Посв. *** 180
«Кончено, кончено! я побежден» 180
«Я вернулся на яркую землю» 181
«Из бездны ужасов и слез» 181
«Не плачь и не думай» 182
Годы молчания 182
Обязательства 183

Из книги «Tertia vigilia»

Возвращение 187
—Я— 188
Tertia vigilia 189
Ассаргадон 190
Халдейский пастух 190
Жрец Изиды 191
Рамсес 192
Александр Великий 193
Скифы 195
Старый викинг 196
Разоренный Киев 197
Данте 197
Наполеон 198
«Я люблю большие дома» 199
«Когда опускается штора» 199
«Я провижу гордые тени» 200
«Мы к ярким краскам не привыкли» 200
К металлам 201
«В борьбе с весной редеет зимний холод» 201
Дон-Жуан 202
Женщине 202

Любовь 203
«И снова ты, и снова ты» 203
К портрету Лейбница 204
К портрету К. Д. Бальмонта 205
По поводу сборников «Русские символисты» 205
По поводу «Me eum esse» 205
Тени прошлого 206
В неоконченном здании 206
В дни запустений 208
Братьям соблазненным 209
Устои 209
Отрады 210
—Мы— 211
«С неустанными молитвами» 211
Краски 212
Аганат 214
Царю Северного полюса 219
Отрывок из поэмы «Замкнутые» 232

Из книги «Urbi et orbi»

«По улицам узким, и в шуме и ночью..» 237
Лестница 238
Последнее желанье 238
У себя 239
Побег 240
Работа 241
Мечтание 242
Искатель 243
Блудный сын 244
У земли 245
В стрет 246
Фабричная 247
Частушка II 248
Частушка III 249
Раб 250
Решетка 252
Помпеянка 253
Ennui de vivre 254
Habet illa in alvo 256
Лев святого Марка 258
Италия 259
Париж 261
In hac lacrimarum valle 264
Свидание 266
В ночном безлюдьи 267
В Дамаск 268
К близкой 269
Таинства ночей 270

Одиночество 271
Отвержение 272
Сонет 272
Женщина 273
Терцины к спискам книг 274
Раньше утра 275
Прохожей 276
Каменщик 276
Мир 277
На скачках 279
Ночь 280
Прелести земли 281
Зимняя красота 281
Яростные птицы 282
Сладострастие 282
В раю 283
Знойный день 284
К устью 284
К. Д. Бальмонту 285
Ему же 286
Андрею Белому 287
Младшим 288
З. Н. Гиппиус 289
«На этих камнях, вытесанных морем» 289

Из книги «Stephanos»

Вячеславу Иванову 293
Приветствие 294
Вечеровая песня 295
Помню вечер 295
Голос прошлого 296
Охотник 297
Целение 297
Первые встречи 298
«Меня, искавшего безумий» 299
Сайма 299
«Мох, да вереск, да граниты» 300
К Деметре 300
Адам и Ева 302
Орфей и Эвридика 303
Медея 305
Бальдеру Локи 306
Тесей Ариадне 308
Ахиллес у алтаря 309
Клеопатра 310
Антоний 311
Орфей и аргонавты 312

В полдень . . . 313
Молния . . . 314
Последний пир . . . 314
В склепе . . . 315
В трюме . . . 316
Из ада изведенные . . . 317
Из песен Мальдуна . . . 318
Встреча . . . 319
В публичном доме . . . 319
В ресторане . . . 320
В вагоне . . . 321
После пира . . . 322
Гребцы триремы . . . 323
Кинжал . . . 324
Волна . . . 325
На новый 1905 год . . . 326
К согражданам . . . 327
Цусима . . . 328
Юлий Цезарь . . . 329
Одному из братьев . . . 329
Знакомая песнь . . . 330
Цепи . . . 331
Паломникам свободы . . . 332
Лик Медузы . . . 332
Довольным . . . 333
Грядущие гунны . . . 334
К счастливым . . . 335
Фонарики . . . 336
Слава толпе . . . 337
Духи огня . . . 339
Конь блед . . . 342

Из книги «Все напевы»

Поэту . . . 347
Близкой . . . 348
Сумерки в городе . . . 348
Быть без людей . . . 349
Век за веком . . . 349
Август . . . 350
Осеннее прощание эльфа . . . 351
Радуга . . . 352
Час воспоминаний . . . 352
Который раз . . . 353
Отречение . . . 354
Встреча . . . 355
Ее колени . . . 356
Лишь одного! . . . 357

Призрак неизбежный 357
В потоке 358
Умирание любви 359
Холод 359
Умирающий костер 360
Себастиан 361
La belle dame sans merci 361
Оправдание земного 362
Фаэтон 363
Голос мертвого 364
Заклинание 365
Весенняя песня девушек 365
Голос города 366
Городу 367
Уличная 368
Вечерний прилив 369
Хвала Человеку 370
Жизнь 372
Оры 372
Гесперидовы сады 373
Дедал и Икар 375
Одиссей 377
Эней 378
В шхерах 479
Висби 380
Карл XII 381
К собору Кэмпера 382
Опять в Венеции 383
На форуме 383
Над океаном. I. Отлив. II. Прилив 384
Служителю муз 386
Дух Земли 386
Наш демон 387
Первым авиаторам 388
Сеятель 389

Из книги «Зеркало теней»

Веселый зов 393
На вечернем асфальте 394
На груди земной 395
Счастие Цезаря 396
Демон самоубийства 396
На пляже 397
Бессонница 399
Сон 400
Le paradis artificiel 401
В моей стране 402

Зерно 403
В поле 404
По меже 405
«В полях забытые усадьбы» 405
Ночное одиночество 407
На заре 407
Вечеровая песня 408
И снова я 409
В игорном доме 410
«Опять безжалостные руки» 410
Ответ 411
На берегу 412
Близ моря 413
Утром 414
Фирвальдштеттское озеро 415
Мюльбах 416
На могиле Ивана Коневского 416
Поэт—Музе 417
Египетский раб 418
Моисей 419
Клитемнестра 421
Смерть Александра 422
Александрийский столп 425
К финскому народу 426

Из книги «Семь цветов радуги»

Sed non satiatus 431
Юношам 432
Летом 1912 года 433
Памятник 434
Предвещание 435
Земля молодая 436
Сын земли 437
Детские упования 438
Царица Страсть 439
На церковной крыше 440
Истинный ответ 441
В разрушенном Мемфисе 442
Иматра 444
Над Иматрой 444
Закат над морем 445
Над Северным морем 446
Вечерний Пан 447
Вечером в дороге 448
Мой маяк 448
Ф. Сологубу 449
Ночь 449

Туман осенний 449
В том же парке 450
«Мне вспомнить страшно, вспомнить стыдно» 451
Умершим мир! 452
Сухие листья 453
Образы времен 454
Баллада о Любви и Смерти 455
Гарибальди 456
Три кумира 457
Последняя война 458
Старый вопрос 459
Фламандцам 460
Наши дни 461
Все чаще 462
Круги на воде 462
На Карпатах 463
Пора! 464
Поле битвы 465
Западный фронт 466

Из неизданной книги «Девятая камена»

В Баку 471
Баку 472
В Тифлисе 473
К Арарату 474
Победа при Каррах 475
К армянам 476
Тридцатый месяц 478
Освобожденная Россия 480
В мартовские дни 481
Парус и чайка 482
Счастие уединения 482
Ночные страхи 484
Петру Ивановичу Постникову 485
Десятая часть 486

Из книги «Последние мечты»

В горнем свете 489
Пророчества весны 490
Ожерелья дней 491
Работа 492
Пока есть небо 494
Тусклая картинка 495
Зов автомобиля 495
Снежная Россия 496
Мировой кинематограф 497

Дама треф 498
Библиотеки 500
Библия 500
Голос иных миров 502
О себе самом 503
Гребень волны 504

Из книги «В такие дни»

Третья осень 507
К русской революции 508
Парки в Москве 509
Нам проба 510
Товарищам интеллигентам 511
Только русский 512
К Варшаве 513
Мятеж 515
Серп и молот 517
В такие дни 518
На высях 518
Вещий ужас 519
Klassische Walpurgisnacht 520
Мадригал 521
Египетский профиль 522
Ночная улица 523
Руками плечи 524
От столетий 524
Череп на череп 525
Боттичелли 526
Все люди 527
В первый раз 527
Во мне 528
Пределы 529
Первый меридиан 530
День за днем 531
Одно лишь 532

Из книги «Миг»

Смотреть в былое 535
Груз 536
Грядущий гимн 536
Октябрь 1917 года 537
Коммунарам 538
Оклики 539
Советская Москва 540
Сеет Хронос 541
Римини 541

Звено в цепь 542
Зачем? 543
Кондор 544
Дом видений 544

Из книги «Дали»

Красное знамя 551
От Перикла до Ленина 552
Мы все — Робинзоны 553
Загадка Сфинкса 554
Кругами двумя 554
Легенда лет 555
Принцип относительности 556
Nihil 556
Pou sto 557
Мы и те 558
Разочарование 559
Молодость мира 560
Весенняя песня о любви 560
Годы в былом 561
Кто? — Мы? — Иль там... 562
Под зимним ветром 563
Над картой Европы 1922 года 564
Сегодня 565
Новый сингаксис 566
Стихи о голоде 566

Из книги «Меа»

Магистраль 571
После смерти В. И. Ленина 572
Ленин 573
У Кремля 574
С. С. С. Р. 575
З. С. Ф. С. Р. 576
Штурм неба 576
Машины 578
Невозвратность 579
Мир электрона 580
Мир N измерений 581
Мировые спазмы 581
Явь 582
Как листья в осень 583
Атавизм 584
Не память 585
Родное 586
Из лесной жути 587

Лесная тьма 587
Дождь перед ночью 588
Зимой 589
Книга 590
Общая станция 590
Диадохи 591
Бодлер 592
Вариации 593
Мысленно, да! 595
В Тихом океане 596
Марриэтовы мичманы 597
Песня девушки в тайге 598
Та же грудь 598
Это—я 599
У смерти на примете 600
Ариадне 601
Мертвец 602
Так вот где... 603
Два крыла 603
Пятьдесят лет 604
Карусель 606
На рынке белых бредов 607
Ночь с привидениями 608
Симпосион заката 609
Дачный бред 610
Волшебное зеркало 611

Из неконченной книги «Сны человечества»

Пирамиды 615
Город Вод 617
Эгейские вазы 619
Женщины Лабиринта 620
Клинопись 622
Поучение 623
Из песен австралийских дикарей 623
Песня северо-американских индейцев 24
Заговор от стрелы северо американских индейцев 625
Друзья 625
Das Weib und der Tod 626
Пляска Смерти 627

Из посмертных стихов

«Да, я к людям пришел» 633
К народу 633
Близким 635
Нить 635

«Чуть видные слова седого манускрипта» 635
При электричестве 636
«Больше никогда 637
«В моей душе, как в глубях океана» 638
К стальным птицам 639
«Во дни великого страдания» 640
«На мне печать тысячелетий» 640
Сонет 641
«Народные вожди! вы—вал, взметенный бурей» 641
«Я—междумирок. Равен первым» 642
Светоч Мысли 643
Труд 650
Дворец центро-машин 652
«Когда стоишь ты в звездном свете» 653
«Я выростал в глухое время» 654
«Дни для меня не замысловатые фокусы» 655
«Aux Champs Elysées или на Реджент-стрите» 655
Пророчество 656
Товарищам поэтам 657
Dolce far niente 659
Утро в ночи 659
«Вот я—обвязан, окован» 660

Комментарии 663

Библиографический указатель И. П. 709

Перечень иллюстраций. 734

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строки	Напечатано	Надо читать
34	18 снизу	первой	едва ли не первой
59	19 сверху	1905 годом	1907 годом
109	3 »	связи	слитости
116	5—6 снизу	положительно	положительное
129	4 »	из	из-за
133	13 сверху	им	ими
133	17 »	в I и II книгах	в нескольких книгах
133	18—19 »	политического обзора и обзора книг	политических обзоров, рецензий и стихов
135	10 »	Пентуар	Пентаур
162	9 »	далеко	далекое
465	11 снизу	голям	полям
490	12 сверху	отечества	отрочества
610	9 снизу	мигать	шигать
611	14 »	Слово	Словно
671	9 сверху	XV—XVII	XIV—XVIII
677	11 »	Секст Помпей	Гней Помпей
677	12 »	полководец и консул	полководец, соперник Цезаря
693	7 »	Буниан	Бунина
706	17 снизу	Данте).	Данте). Перепечатывается из «Неизд. стихов».

На стр. 196, 220 и 222 вместо — Скерлингов, должно стоять Скрелингов. Кроме того, на стр. 273 в стих. «Женщина» перепутаны строки; пятый терцет надо читать так:

В ней все угасло — разум и любовь,
Хотелось одного: уйти от боли...
Пьянящим запахом царила кровь.

Художественная редакция
М. П. Сокольников
Лит.-технич. наблюдение
А. Н. Плавильщиков
Выпуск. И. А. Подсухин
Наблюдение на производ.
М. И. Козлов

Сдана в наб. 7.X 32. Подп.
к печ. 5.VII.33. Тир. 4300.
Уполномоченный Главлита
Б 24029. ЗТ 6392 „Ас" 25.
Инд. А-0. Бум 82×110 1/32.
П.л. 46 3/4 + 8 вкл. Авт. л. 40.
Тип. зн. на 1 бум. л. 33500
Зак. 6392

Отпечатано на ф-ке книги
«Красный пролетарий»
издательства ЦКиВКП(б)
Партиздата, Москва,
Краснопролетарская, 16.

Цена Р. 12 50
Перепл. Р. 2,50

200-00

366

2018

0000534216